



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

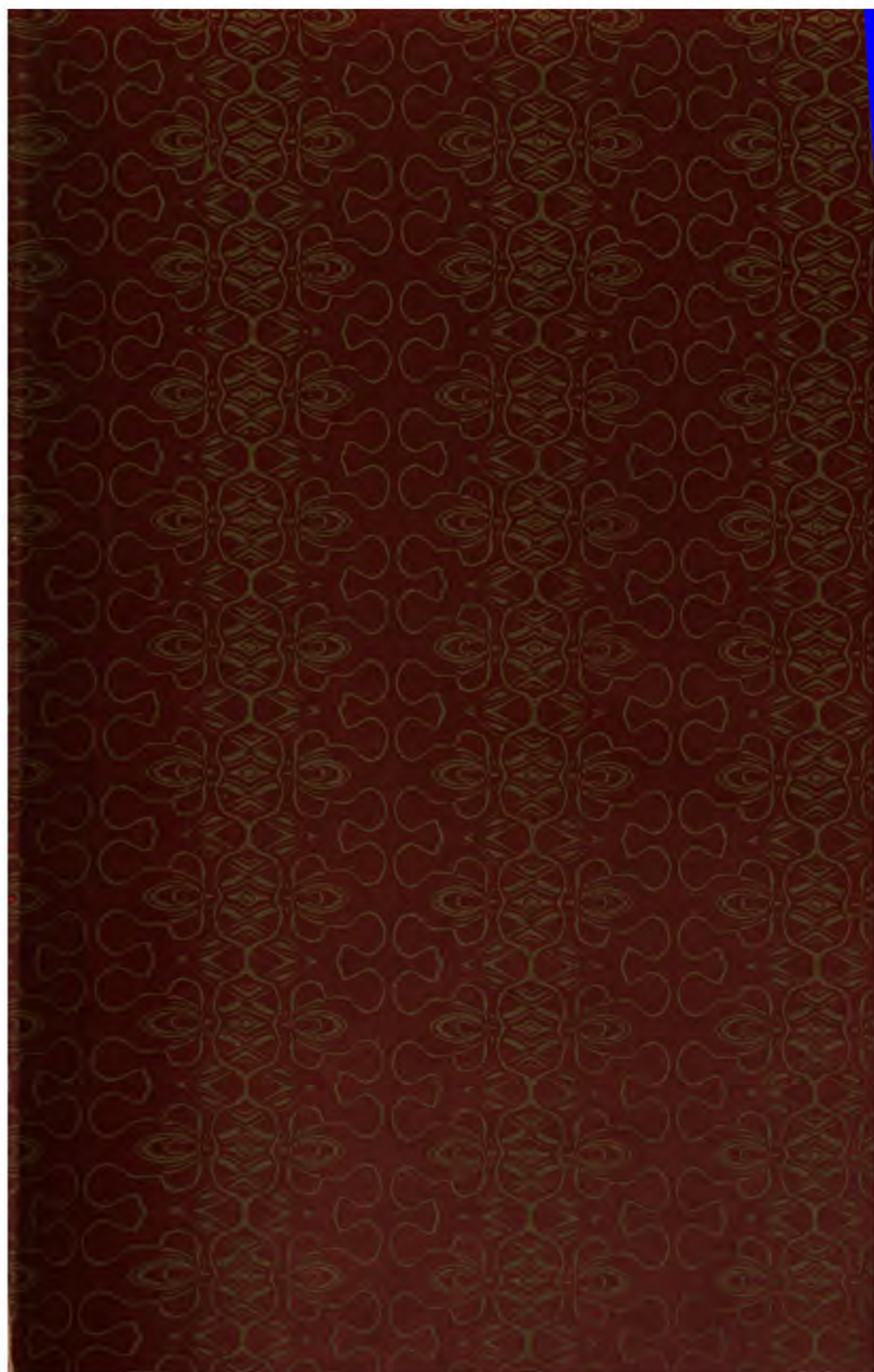
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



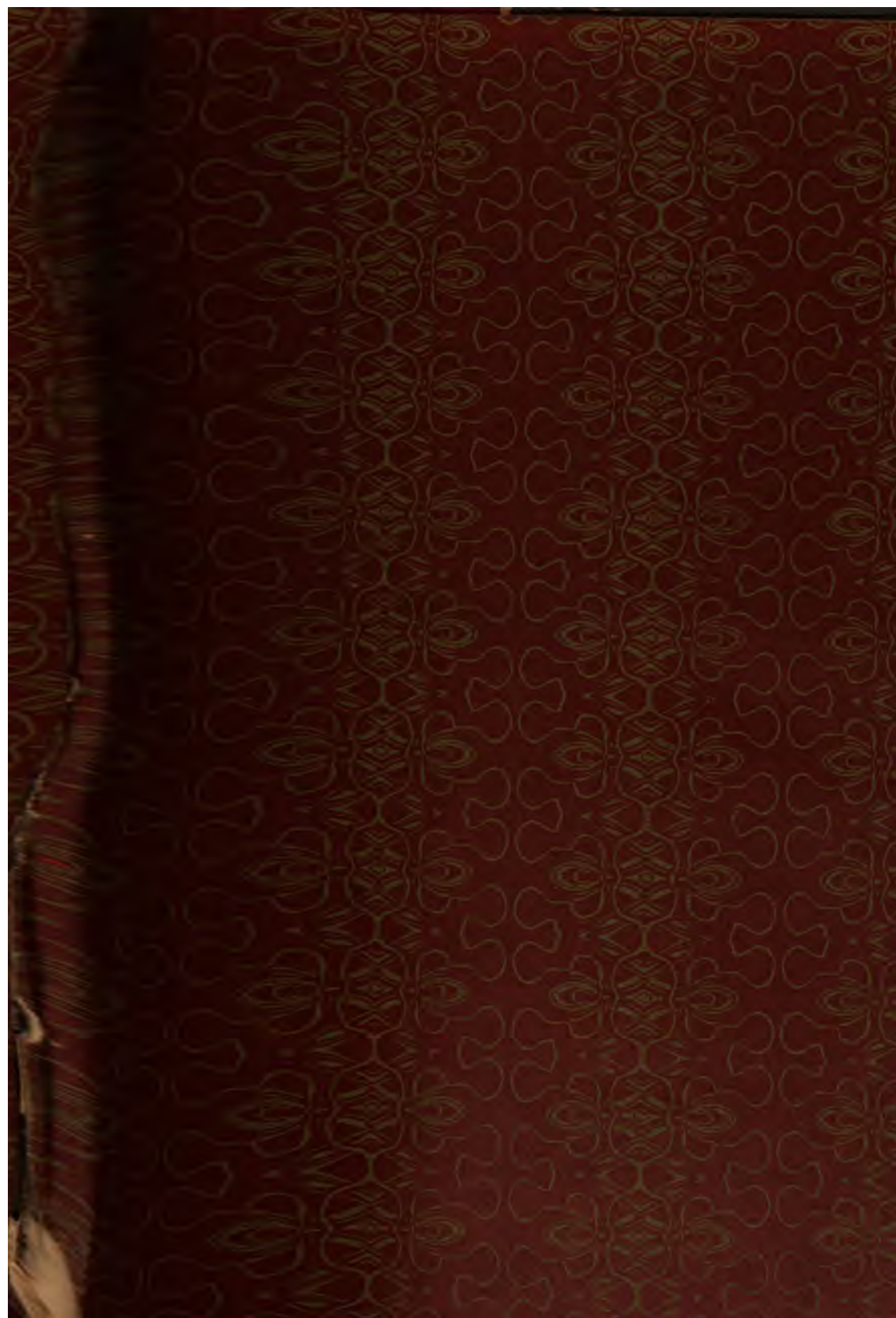


STANFORD UNIVERSITY LIBRARY





STANFORD UNIVERSITY LIBRARY



ВЪ ПРЕДДВЕРІИ.

Блѣдныя тѣни! Ужасныя тѣни!
Здоби, безумье, любовь...
Идемъ мы, братецъ, въ крови по колѣни...
— «Полно! тутъ пыль, а не кровь»...

Н. Некрасовъ.

Много лѣтъ довелось мнѣ прожить въ мірѣ отверженныхъ, и прожить не въ качествѣ посторонняго наблюдателя, а непосредственно участвуя во всѣхъ мелочахъ ихъ жизни, лежа рядомъ на тѣхъ же нарахъ, питаюсь той же омерзительной баландой, работая ту же работу, дѣля отчасти и умственные, и нравственные интересы. Много пришлось видѣть любопытнаго; пришлось, разумѣется, и выстрадать не мало... Поэтому часто подмывало меня и до сихъ поръ подмываетъ желаніе передать свои впечатлѣнія бумагѣ, повѣдать о нихъ свѣту.

Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великимъ художникомъ. Не смотря на то, что цѣли, которыя я ставлю себѣ, очень скромны, и я совершенно чуждъ претензій на художественность письма, мною всетаки овладѣваетъ невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существованіи „Записокъ изъ Мертваго Дома“: таково ужъ очарованіе генія...

Я долго колебался... И только мысль о томъ, что столько измѣненій произошло въ этомъ мрачномъ мірѣ со времени Достоевскаго, что его эпоха отдѣлена отъ насъ уже нѣсколькими десятками лѣтъ, такъ многообразно отразившимися на всѣхъ сторонахъ и явленіяхъ русской жизни, а между тѣмъ не слишкомъ-то часто случается въ исторіи, чтобы такіе писатели, какъ Достоевскій, шли въ каторгу,—одна только эта мысль побудила меня

взяться, наконецъ, за перо и оттолкнуть отъ себя всѣ сомнѣнія. Исполню свою задачу такъ, какъ позволятъ мои силы, не ставясь на ходули и добиваясь одной награды—признанія искренности.

Для начала попытаюсь изобразить путь въ Сибирь по этапамъ, составляющій какъ бы преддверіе міра отверженныхъ. Насколько мнѣ извѣстно, никто еще достоющимъ образомъ не описалъ въ нашей литературѣ всѣхъ красотъ и прелестей этого невольнаго вояжа — къ счастью, съ проведеніемъ сибирской желѣзной дороги отходящаго уже въ область исторіи. Но, съ другой стороны, спѣшу оговориться: читатель не найдетъ въ этой части моихъ очерковъ непосредственнаго изображенія арестантскаго міра. Принадлежа къ привилегированному званію, имѣя ярлыкъ высшей образованности, я ѣхалъ въ каторгу съ сравнительнымъ комфортомъ,—пользовался отдѣльнымъ отъ уголовной партіи помѣщеніемъ на этапахъ, имѣлъ подводу и проч. Однимъ словомъ, я былъ въ то время еще диллетантомъ-каторжникомъ, только что начавшимъ знакомиться съ новымъ своимъ положеніемъ, наблюденія мои неизбежно должны были отличаться поэтому нѣкоторой поверхностностью и подчасъ прямой невѣрностью. Тѣмъ не менѣе, я надѣюсь, что и здѣсь могу сказать кое-что любопытное и неизвѣстное большой публикѣ. Далъ бы только Богъ хорошо и правдиво высказать то, что видѣлось и чувствовалось!

I.

Начало своей каторжной жизни, какъ это ни странно, я помню очень смутно. Много рисуется мнѣ, будто, во снѣ, и за нѣкоторые факты я не поручусь даже—точно ли они были въ дѣйствительности, или же только пригрезились мнѣ. Это произошло оттого, конечно, что я былъ и физически, и нравственно боленъ, хотя никому изъ врачей, свидѣтельствовавшихъ меня, не приходило этого въ голову. Я очень долго сидѣлъ подъ слѣдствіемъ, въ тяжеломъ одиночномъ заключеніи, безъ книгъ, на одной казенной пищѣ, въ угнетенномъ душевномъ состояніи. Особенно тяжелы были послѣднія недѣли заключенія, когда изъ далекой провинціальной глуши притащилась въ столицу моя старая мать (какая-то добрая душа „обрушила утесъ на ея грудь“, сообщила ей

обо всемъ). Она вся посѣдѣла и согнулась отъ горя, хотя за какіе-нибудь три года передъ тѣмъ я видѣлъ ее вполне бодрой, черноволосой еще женщиной,—никто не давалъ ей на видъ больше сорока пяти лѣтъ. На свиданіяхъ со мною она старалась казаться по прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала ободрить меня этимъ! Но я не могъ не видѣть ее опухшихъ отъ слезъ и покраснѣвшихъ глазъ, не могъ не улавливать по временамъ глубокой, глубокой грусти въ ея ласкающемъ взглядѣ, не могъ не догадываться, что она неустанно хлопотеть—обиваетъ пороги, кланяется, молить, плачетъ...

Ахъ, проклятые, проклятые дни!.. Сколько высосали вы крови изъ моего сердца, сколько влили въ него яда, сколько отняли лучшихъ силъ... Мимо, мимо! Не хочу вспоминать. Одно скажу: страшно было послѣднее свиданіе съ матерью. Во снѣ я часто испытывалъ кошмары, но ни одинъ изъ нихъ никогда не могъ сравниться съ болью и ужасомъ нашего прощанья!..

Простились мы часа въ три дня, а въ шесть, какъ объявилъ мнѣ смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню, какъ сейчасъ, что я тогда испытывалъ. Кандаловъ я до тѣхъ поръ не видалъ, какъ не видалъ и бритыхъ головъ; изъ книжныхъ описаній тоже могъ составить лишь слабое понятіе, по той простой причинѣ, что не имѣлъ надобности и охоты вникать въ нихъ. Все это я представлялъ себѣ совсѣмъ иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мнѣ почему-то казалось, на примѣръ, что когда закутъ въ кандалы, уже нельзя будетъ свободно двигаться, и потому я спѣшилъ насладиться послѣдними минутами свободы, торопливо рассказывая по своей маленькой кѣткѣ, позволявшей дѣлать всего три шага въ одинъ конецъ. И вотъ наступила роковая минута; меня повели въ баню и тамъ ошельмовали: обрили гладко-на-гладко ровно половину головы (правую половину въ продольномъ направленіи) и заковали крѣпко-на-крѣпко въ десятифунтовые кандалы съ желѣзными кольцами, такъ тѣсно обнимавшими щиколку ноги, что съ трудомъ проходило между ними и тѣломъ нижнее бѣлье. Черезъ нѣсколько дней у меня распухли ноги, такъ что принуждены были перековать меня въ болѣе просторныя и легкія оковы. Впослѣдствіи я убѣдился, что въ Сибири, особенно восточной, начальство въ этомъ отношеніи снисходительнѣе: и на кандалы, и на бритье тамъ склонны глядѣть, какъ на устарѣлую и ни къ чему ненужную формальность.

Партіи сплошь и рядомъ идутъ раскованныя, держа кандалы въ мѣшкахъ вмѣстѣ съ прочими казенными вещами; головы брѣются тоже безъ особеннаго педантизма, а въ каторжныхъ тюрьмахъ часто и вовсе не брѣются. Не то въ Россіи и въ Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мѣшали бѣжать и скрыться кандалы или бритая голова: обнаженный черепъ легко прикроетъ парикъ, или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить въ пять минутъ, хорошенько ударивъ по кольцу дверью и разбивъ заклепки; иногда достаточно бываетъ и простого сплюсненія кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла черезъ него. Серьезно мѣшаютъ побѣгу только тюремныя стѣны и конвой.

Кандалы и бритые головы, несомнѣнно, имѣютъ въ виду одну только цѣль — надруганіе надъ достоинствомъ человѣка, лишеннаго правъ. Не въ столь отдаленную старину на лицахъ и плечахъ колодниковъ выжигались каленымъ желѣзомъ особыя клейма, и до сихъ поръ еще можно встрѣтить въ Сибири, въ каторжныхъ богадѣльняхъ и на поселеніи дряхлыхъ стариковъ, имѣющихъ эти ужасныя печати. Но современное просвѣщеніе запрещаетъ уже подобнаго рода безчеловѣчіе, находя его одной изъ разновидностей средневѣковой пытки; оставлены только кандалы и бритые головы... И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцѣлѣвшій пережитокъ? Можно ли не жалѣть, когда время отъ времени замѣчается на этотъ счетъ поворотъ въ сторону реакціи, издаются циркуляры о строгомъ и неукоснительномъ выполненіи закона, и арестантамъ начинаютъ снова по настоящему брить головы и надѣвать на ноги оковы? Припоминая свой личный опытъ, я могу, впрочемъ, сказать, что съ этими послѣдними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели съ бритьемъ: кандалы въ значительной степени опозтизированы преданіемъ и народной пѣсней, они являются въ глазахъ арестантовъ своего рода почетомъ, а не поруганіемъ... Совсѣмъ иное чувство испытываешь, глядя на приготовленія солдата-цирульника къ своему отвратительному дѣлу. Бритье головы, кромѣ нравственной муки, причиняетъ еще обыкновенно и чисто-физическую боль: неумѣлыя руки и тупыя бритвы рѣжутъ до крови кожу на головѣ, расцарапываютъ на ней мелкіе прыщики, дѣлаютъ ссадины на естественныхъ неровностяхъ черепа... Кровь, смѣшанная съ обильно струящимся по головѣ грязнымъ мыломъ, совершающій свою опе-

рацію равнодушный и безмолвный палачъ, гримасы и вскрикиванья оперируемой имъ жертвы,—все это превращаетъ въ подлинную пытку тѣ минуты, когда приходится ждать своей очереди, чтобы быть такъ же ошельмованнымъ и такъ же изувѣченнымъ. Не говорю уже о необходимости морозить потомъ голый черепъ во время ужасныхъ сибирскихъ холодовъ и схватывать, неизвѣстно чего ради, простуду, кашель и насморкъ.

Кандалы не разъ уже были подробно описаны въ русской беллетристикѣ. На каждую ногу надѣваютъ по большому желѣзному кольцу, настолько свободному, чтобъ между нимъ и тѣломъ могло проходить бѣлье, и настолько тѣсному, чтобъ его нельзя было снять съ ноги, и кузнецы наглухо заклепываютъ ихъ. Отъ этихъ колецъ идутъ двѣ цѣпи, состоящія изъ маленькихъ колечекъ; онѣ сходятся въ одномъ болѣе значительномъ кольцѣ, къ которому прикрѣпляется ремень, замѣняющій арестантамъ поясъ. Такимъ образомъ самыя цѣпи висятъ и при движеніи хлопаютъ васъ по ногамъ и ударяются другъ о дружку—„бряцаютъ“, „лязгаютъ“. Кольца, надѣтыя на ноги, вертятся и причиняютъ боль, для устраненія которой служатъ кожаные „подкандалники“ и „поджильники“. Въ Восточной Сибири, гдѣ начальство не такъ педантично, какъ въ Россіи, и арестанты носятъ кандалы только для формы, кольца надѣваются прямо на сапоги, и тогда никакихъ подкандалниковъ и поджильниковъ не нужно. Я давно уже не ношу кандаловъ и описать теперь достаточно ясно, пожалуй, не могъ бы, какъ умудряются арестанты надѣвать на ноги бѣлье и штаны въ томъ случаѣ, если кандалы не снимаются; однако, хорошо помню, что какъ только явилась необходимость въ этомъ, я отлично сообразилъ все безъ чужой помощи. Нужда научить калачи ѣсть...

Еще хорошо запомнился мнѣ день отъѣзда, или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этотъ отъѣздъ. Въ этотъ день мать не пустила ко мнѣ на свиданіе (прощаніе, какъ я рассказывалъ уже, происходило наканунѣ, въ день заковки). Рано утромъ меня посадили въ закрытую карету и помчали на станцію желѣзной дороги. И вотъ, тутъ увидѣлъ я нѣчто необычайное, что положительно растерзало мнѣ сердце. Подлѣ самага окна быстро мчавшейся кареты я увидѣлъ дорогое лицо, искаженное мукой нечеловѣческихъ усилій казаться веселымъ; я подумалъ сначала, что брежу, галлюцинирую... Заглядываю въ

окно—и что же вижу? Моя мать—бѣдная, больная старуха,—съ раскраснѣвшимъ лицомъ и выбившимися изъ-подъ шляпки жидкими прядями бѣлыхъ, какъ снѣгъ, волосъ, бѣжитъ рядомъ съ каретой; бѣжитъ, не слыша подъ собой ногъ и видимо не ощущая усталости, что-то говоритъ и дѣлаетъ рукой воздушные поцѣлуи... Бѣдняга! она опоздала къ тому моменту, когда меня сажали въ карету, потому что съ ранняго утра бѣгала хлопотать о свиданіи (наканунѣ ничего не могла добиться), и вотъ теперь ей хотѣлось искупить свой проступокъ („опоздала!“) и еще разъ проститься съ безконечно любимымъ сыномъ. Я махалъ ей въ окно рукой (махалъ и сердитый охранитель мой), знаками умолая остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бѣжала она, пока, наконецъ, тѣлесная немощь не одержала верхъ, и карета не умчалась навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакалъ. Больше я не видалъ матери, да и никогда въ жизни не увижу, потому что давно уже спитъ она вѣчнымъ сномъ на одномъ изъ сырыхъ кладбищъ бездушнаго города. Но, уже находясь въ Сибири, я получилъ отъ нея письмо, одно мѣсто котораго неизгладимыми чертами врѣзалось въ моей памяти и теперь еще жжетъ сердце горячѣй всякаго огня, больнѣй всякихъ слезъ.

„Послѣ нашего свиданія у окна кареты,—писала она,—я взяла извозчика и поспѣшила на желѣзную дорогу. Но я прѣхала туда, конечно, позже тебя, какъ ни погоняла влосчастнаго Ваньку, и потому не могла увидѣть тебя, когда ты выходилъ изъ кареты. На платформу меня не пустили, какъ я ни просила, какъ ни молила жандармовъ. Пробраться туда тайкомъ также не удалось—за мной приказали слѣдить. Что было дѣлать? Я прибѣгла къ новой хитрости. Сдѣлавъ видъ, что примирилась съ судьбой и приняла рѣшеніе уйти совсѣмъ, я, выйдя изъ вокзала, вмѣсто того, чтобы отправиться домой, прошла нѣкоторое разстояніе медленными шагами и потомъ, быстро измѣнивъ направление, побѣжала въ поле, по рельсамъ, рассчитывая, что поѣздъ будетъ проходить мимо меня, и я, быть можетъ, еще разъ увижу милое личико... Дѣйствительно, мнѣ удалось обмануть бдительность аргусовъ; но, должно быть, я очень ужъ далеко зашла въ поле, и поѣздъ промчался мимо съ ужасающей быстротой, такъ что ни одного лица я не могла различить. Но я утѣшилась мыслью, что хоть ты, быть можетъ, видѣлъ меня...

Я стала на возвышеніе, на камушекъ, и усиленно махала платкомъ, пока проносилось черное чудовище“.

Увы! я никого и ничего не видѣлъ... Я не смотрѣлъ въ это время въ окно, мнѣ никуда не хотѣлось глядѣть, даже въ собственную душу, гдѣ было такъ пустынно, такъ темно...

Дальше все рисуется мнѣ въ какомъ-то смутномъ и безпорядочномъ видѣ не имѣющихъ между собой связи обрывковъ. Къ счастью,—какъ я сказалъ уже,—везли меня въ особыхъ условіяхъ отъ уголовной партіи, и на этапахъ, вплоть до Иркутска, я помѣщался въ отдѣльной отъ нея камерѣ, съ интеллигентными товарищами. Если бы не это, не знаю, какъ бы вынесъ я всѣ трудности дороги въ томъ болѣзненномъ состояніи, въ которомъ въ то время находился... На баржѣ у насъ была особая комната въ каютѣ и особое крошечное отдѣленіе на палубѣ (конечно, тоже съ рѣшеткой), гдѣ можно было дышать свѣжимъ воздухомъ. Отъ общей арестантской палубы оно отдѣлялось простымъ парусиннымъ брезентомъ. Помню, я очень любилъ сидѣть на палубѣ, особенно ночью, и по цѣлымъ часамъ вглядывался въ темные берега Волги и Камы, бѣжавшіе мимо. Помню, что эти уходившіе назадъ берега казались мнѣ собственнымъ моимъ прошлымъ, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь въ темную даль, стоявшую позади, я вздрагивалъ при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передніе же берега, закрытые брезентомъ, выдвигались только маленькими частицами, соразмѣрно съ движеніемъ баржи впередъ; эти берега отождествлялись въ моемъ больномъ воображеніи съ будущимъ, такимъ же, какъ они, неизвѣстнымъ. Днемъ я лежалъ обыкновенно въ каютѣ, забившись гдѣ-нибудь въ углу, и на палубу выходилъ очень рѣдко. Вотъ почему у меня не осталось ясныхъ воспоминаній о роскоши и прелести волжскихъ и камскихъ ландшафтовъ, которыми такъ восхищаются всѣ вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическомъ освѣщеніи звѣздъ или луны.

Среди моихъ спутниковъ-интеллигентовъ я былъ одинъ, осужденный въ каторжныя работы; вотъ почему я сравнительно мало ими интересовался, хорошо понимая, что нахожусь въ ихъ средѣ лишь какъ временный гость; гораздо больше занималъ меня тотъ міръ, что скрывался тамъ, за брезентомъ, и вскорѣ долженъ былъ стать роднымъ мнѣ... Хорошо

помню, что долгое время я страшно идеализировалъ уголовныхъ арестантовъ съ ихъ артельными нравами и обычаями. Они всё рисовались моему воображенію какими-то Стеньками Разинными, людьми беззавѣтной удали и какого-то веселаго отчаянія... Среди маленькой кучки интеллигентовъ кандалный звонъ раздавался какъ-то жидко и прозвучно; но тамъ, за парусиннымъ брезентомъ, гдѣ двигались сотни ногъ, звонъ этотъ имѣлъ въ себѣ что-то музыкальное, властное, чарующее... Цѣлые вѣка слышала этотъ звонъ матушка-Волга; въ немъ была передающаяся изъ рода въ родъ поэзія, стихійная, безыскусственная... Тамъ страдаютъ безъ гнѣва, безъ жалобы и надежды, страдаютъ, зная, что такъ и нужно, что иначе и невозможно: „Не взяла моя—значить, меня бей; а коли я опять сорвусь, такъ ужъ вы не прогнѣвайтесь!..“

Особенно такія чувства вызывали во мнѣ эти невѣдомыя арестантскія массы, когда по вечерамъ собирался ихъ могучій хоръ, и далеко по Волгѣ разносились, подъ музыку цѣпей, дикіе напѣвы, гдѣ слышалась то безконечная грусть, то вдругъ опять безшабашная отвага и удалъ.

Полно, братъ, мѣлодецъ,
Ты вѣдь не дѣвица,
Пей, пей—тоска пройдетъ!

Первая моя попытка ближе подойти къ этому поэтическому міру едва не стоила мнѣ, однако,—чего бы вы думали, читатели?—глаза!.. Однажды подъ вечеръ, выйдя на палубу, я подошелъ къ самому брезенту и прислушивался къ несвязному шуму и говору, доносившимся изъ большого отдѣленія. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ парусины небольшое прорванное отверстіе, къ которому и поспѣшилъ припасть глазомъ, чтобы ознакомиться съ невѣдомымъ мнѣ міромъ. Но не успѣлъ я хорошенько рассмотреть море бритыхъ головъ и всевозможныхъ фигуръ современныхъ Стенекъ Разинныхъ, какъ чья-то грубая рука ткнула пальцемъ въ мое импровизированное оконце, и я только очень быстрымъ прыжкомъ въ сторону успѣлъ спасти любознательную часть своего тѣла. Больше я уже не осмѣливался подходить къ отверстію; это было первое мое разочарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мнѣ столько лѣтъ жить, первое свѣдѣтельство того, какой крошечный адъ тьмы и ненужной злости, бессмысленной жестокости представляетъ этотъ таинственный

міръ, какъ онъ чуждъ мнѣ, и какъ много я долженъ буду страдать, живя съ нимъ одною жизнью...

Въ Тюмени я впервые увидѣлъ лицомъ къ лицу огромную партію арестантовъ на переключкахъ, происходившихъ во дворѣ тюрьмы. Боже! какихъ только лицъ тутъ не было—отъ самыхъ симпатичныхъ и мыслящихъ до самыхъ отталкивающихъ и звѣроподобныхъ; какихъ не было національностей, какихъ именъ! Въ особенности характерны были имена бродягъ, составлявшихъ почти половину всей партіи: Иванъ Пострадавшій, Петръ Потерпѣвшій, Семенъ Много-горя-видѣлъ, Хвостомъ-на-гору, Махнидраловъ, А я за нимъ, Непомнящій 32 лѣтъ, и такъ далѣе, и такъ далѣе въ томъ же родѣ. Любимыми также фамиліями были: Алмазовъ, Бриллиантовъ, Львовъ, Орловъ, Соколовъ, Буринъ, Вѣтровъ, Скобелевъ, Гурко и т. п. громкія и гордыя имена.

Но, собственно, только съ Томска я начинаю помнить дорогу и всё ея впечатлѣнія довольно живо и отчетливо. Однако, спѣшу еще разъ напомнить читателю, что ѣхалъ я хоть и вмѣстѣ съ партіей, но жилъ отдѣльной отъ нея жизнью. Я имѣлъ свою подводу, отдѣльное „дворянское“ помѣщеніе, пользовался сравнительнымъ спокойствіемъ и комфортомъ. Въ довершеніе всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами съ предупредительной вѣжливостью. Повторяю, что въ это время я былъ лишь диллетантомъ-каторжникомъ, и если, при всемъ томъ, дорога была для меня сплошнымъ кошмаромъ, то я боюсь даже и подумать о томъ, что пришлось бы мнѣ пережить, находясь на общемъ арестантскомъ положеніи!

II.

Прежде всего—что такое этапный путь?

Представьте себѣ по всей линіи безконечнаго сибирскаго пути, который тянется отъ Томска до Стрѣтенска (средоточія Нерчинской каторги), т. е. на пространствѣ трехъ тысячъ верстъ, разбросанныя въ 20—40 верстахъ другъ отъ друга огромныя, мрачныя зданія съ рѣшетчатыми окнами, большею частью ветхія, осунувшіяся, вѣющія холодомъ, одиноко стоящія гдѣ нибудь въ полѣ или на краю села, въ сторонѣ отъ большой дороги. Это и есть такъ называемые этапы—дорожныя тюрьмы, въ которыхъ отдыхаютъ и ночуютъ утомленные партіи. Точнѣе выражаясь, изъ

двухъ такихъ тюремъ одна, поменьше, зовется полуэтапомъ и только другая, побольше и почище, — этапомъ: при последнемъ находятся казармы для мѣстной команды солдатъ, конвоирующихъ арестантовъ, и квартира для офицера, неограниченнаго хозяина на пространствѣ двухъ и даже четырехъ подобныхъ тюремъ. На полуэтапахъ партія только ночуетъ, утромъ слѣдующаго дня снова трогаясь въ путь; придя на этапъ, она проводитъ слѣдующій день въ отдыхъ, называемомъ поэтому „дневкою“. Такимъ образомъ, каждый третій день проходитъ въ бездѣйствіи, и этимъ движеніе партіи, и безъ того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство отъ Томска до Красноярска (500 верстъ) проходится въ мѣсяцъ времени, отъ Красноярска же до Иркутска (1,000 верстъ) въ два мѣсяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрѣе при тѣхъ же условіяхъ— тоже немислимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгимъ тюремнымъ заключеніемъ и обремененные цѣпями, въ своей тяжелой обуви и вѣтромъ подбитыхъ полшубкахъ, всѣ, кромѣ положительно больныхъ и увѣчныхъ, идутъ пѣшкомъ, и проходятъ въ день больше 30 ти верстъ круглымъ счетомъ, безъ отдыха черезъ два дня въ третій, были бы положительно не въ состояніи.

Не могу не сказать тутъ же нѣсколькихъ словъ объ арестантской одеждѣ. Сибирская администрація, ближе знакомая съ климатическими и другими мѣстными условіями, глядитъ сквозъ пальцы на присутствіе у арестантовъ въ дорогѣ собственныхъ вещей. Я не говорю уже о томъ, что, помимо практическихъ соображеній, и простая справедливость требуетъ менѣе строгаго и формалистически-жесткаго отношенія къ арестантамъ, находящимся въ пути, только что начавшимъ свое многострадальное каторжное поприще и окруженнымъ всевозможными неудобствами и лишеніями; другое дѣло—послѣ прибытія на мѣсто назначенія, гдѣ жизнь имѣетъ прочные устои, идетъ по разъ установленной колѣѣ. Въ Россіи чиновники не руководствуются, къ сожалѣнію, ни отвлеченными, ни практическими соображеніями и неукоснительно слѣдуютъ буквѣ инструкцій. Въ Москвѣ у меня отобрали *все свое* и отправили въ дорогу въ одномъ казенномъ одѣяніи, отнявъ даже иголку и нитки, и мнѣ пришлось страшно забнуть, простужаться и вынести много не нужныхъ ни для кого лишеній и страданій. Казенныя вещи не приспособлены ни къ перемѣ-

намъ погоды и климата, ни къ особенностямъ отдѣльныхъ индивидовъ; все подведено подъ одинъ ранжиръ—и ростъ, и здоровье, и привычки,—тѣло, какъ и душа. Такъ называемые, напр., наушники казенной шапки оказались пришитыми такимъ образомъ, что лежали у меня на спинѣ, точно я былъ заяцъ, а не человѣкъ; ноги мои, завернутыя въ жиденькія холщевыя онучки, тонули, какъ въ бездонныхъ бочкахъ, въ бродняхъ-левіаеанахъ, и я не могъ въ нихъ ходить по человѣчески; напротивъ, узкія брюки съ трудомъ натягивались на ноги и немилосердно поролись по всѣмъ швамъ, треща при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи...

Обыкновенно на партію въ четыреста человѣкъ, имѣющую при себѣ столько же пудовъ багажу и изрядное количество стариковъ и больныхъ, дается 30—40 подводъ, половина которыхъ идетъ подъ багажъ („буторъ“) и отправляется въ путь рано утромъ, еще до выступленія партіи. Остается около пятнадцати подводъ для больныхъ и слабыхъ. Ямщики пускаютъ на каждую подводку четырехъ и, только послѣ большой перебранки, пять человѣкъ. Большинство мѣстъ занимается такими больными, право которыхъ на сидѣнье никто не смѣетъ оспаривать, и только очень немного вакансій остается для слабосильныхъ, не могущихъ пройти пѣшкомъ всю 25—40-верстную дорогу. Эти мѣста берутся буквально съ бою, и часто видишь, какъ бѣжитъ свади телѣги какая-нибудь безпомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая „дать посидѣть“ ей, а на телѣгѣ возвышается между тѣмъ нахальная фигура здоровеннаго дѣтины, сильнаго своимъ кулакомъ, горломъ и именемъ бродяги. Нужно прибавить къ этому, что распоряженіе свободными мѣстами на подводахъ составляетъ одну изъ статей дохода артельного старосты.

Бродяги, вообще, являются сущимъ наказаніемъ каждой партіи. Это люди по преимуществу испорченные, не имѣющіе за душой, что называется, *ni foi, ni loi*, но они цѣлко держатся одинъ за другого и составляютъ въ партіи настоящее государство въ государствѣ. Бродяга, по ихъ мнѣнію, высшій титулъ для арестанта: онъ означаетъ человѣка, для котораго дороже всего на свѣтѣ воля, который ловокъ, умѣетъ увернуться отъ всякой кары. Въ плутовскихъ глазахъ бродяги такъ и написано, что какой, молъ, онъ непомнящій! Онъ не разъ, молъ, бывалъ уже „за моремъ“, т. е. за Байкаломъ, въ каторгѣ, да вотъ не захо-

тѣлѣ покориться—ушелъ!.. Впрочемъ, онъ и громко утверждаетъ то же самое, въ глаза самому начальству.

— Который разъ идешь, борода? — спрашиваетъ какой-нибудь офицеръ съ добродушно-фамильярной усмѣшкой.

— Пятый разъ, ваше благородіе, — отвѣчаетъ борода, становясь въ солдатскую позу: — два раза за море ходилъ, два раза въ Иркутскую, да вотъ теперь въ Енисейскую.

— Смотри, мошенникъ, въ шестой разъ пойдешь, — уличу!

— Радъ стараться, ваше благородіе, — отшучивается мошенникъ: — авось, къ тому времени повышение въ чинѣ получите — въ Якутскую переведетесь.

Партія хохочетъ, офицеръ, въ смущеніи, отходитъ въ сторону.

— Что вы съ такими бестіями подѣлаете? — обращается онъ въ сторону интеллигентовъ.

Каторжная часть партіи, особенно въ Западной Сибири, гдѣ бродяги составляютъ большинство, находится обыкновенно въ загонѣ; ихъ меньше, они безправнѣе, запуганнѣе, на нихъ, какъ бы по преимуществу, лежитъ печать отверженія, даже съ арестантской точки зрѣнія: не сумѣлъ, молъ, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари продалъ себя!.. Уваженіемъ пользуются только „вѣчные“, да тѣ, про которыхъ навѣрно знаютъ, что они уже не въ первый разъ идутъ и опять сумѣютъ „сорваться“. Но вообще каторжная часть партіи, по преимуществу, зовется презрительнымъ именемъ „кобылки“ (сибирское названіе саранчи) и „шпанки“ (стадо овецъ). Положительно отказываешься порой вѣрить тому, что рассказываютъ о продѣлкахъ бродягъ въ тюрьмахъ и по дорогѣ, а между тѣмъ не вѣрить нельзя — это неприкрашенные факты. Бродяги — царьки въ арестантскомъ мірѣ, они вертятъ артелью, какъ хотятъ, потому что дѣйствуютъ дружно. Они занимаютъ всѣ хлѣбныя, доходныя мѣста: они — старосты и подстаросты, повара, хлѣбопеки, больничные служители, майданщики, они все и вездѣ. Въ качествѣ старостъ, они не добавляют кормовыхъ, продаютъ мѣста на подводахъ; въ качествѣ поваровъ, крадутъ мясо изъ общаго котла и раздаютъ его своей шайкѣ, а несчастную кобылку кормятъ помоями, которые не всякая свинья станетъ ѣсть; больничные служители — бродяги морятъ голодомъ своихъ паціентовъ, обворовываютъ и часто прямо отправляютъ на тотъ свѣтъ, если это оказывается выгоднымъ. Узнавъ, что у кого-нибудь изъ кобылки есть деньги, зашитыя въ „ошкурѣ“ (въ

поясѣ), они подкарауливаютъ его въ уединенномъ мѣстѣ, хватаютъ среди бѣлаго дня за горло и грабятъ. Дѣлаютъ еще болѣе нахальныя вещи. На виду у сотни арестантовъ, какой-нибудь „Иванъ“, одѣтый въ красную рубаху и побрякивающій двумя-тремя серебряшками въ бездонномъ карманѣ шароваръ, присосѣживается къ чужой женѣ, начинаетъ обнимать и цѣловать ее на глазахъ у мужа, и если тотъ протестуетъ, съ помощью товарищей избиваетъ его до полусмерти, а жену беретъ себѣ уже по праву побѣдителя. Хорошо организованная „бродяжнѣ“ помещается всегда на нарахъ. Староста-бродяга, по обычаю впускаемый въ этапъ раньше всѣхъ, еще до окончанія повѣрки, занимаетъ для своихъ товарищей лучшія мѣста, а каторжная кобылка ютится большею частію подъ нарами, на голомъ полу, въ грязи, темнотѣ и холодѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время бродягамъ, слышно, сломили рога. Больше всего подкосилъ ихъ Сахалинъ, поглотившій въ свои нѣдра тысячи безпаспортнаго люда; сыграли роль и вообще болѣе строгія узаконенія относительно бродяжества. Прежде бродягъ судили на поселенье, гдѣ бы ихъ ни арестовывали, но съ 1878 года на поселенье судятъ только арестованныхъ въ російскихъ губерніяхъ, а всѣхъ остальныхъ—въ каторгу *). Изъ каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалинъ. Ряды бродягъ сильно стали рѣдѣть,—особенно бродягъ старыхъ, закаленныхъ въ бояхъ, строго слѣдившихъ за неуклоннымъ соблюденіемъ старинныхъ арестантскихъ законовъ. Къ этому нужно прибавить, что тюремныя условія измѣнились: начальство начало вмѣшиваться въ артельные порядки арестантовъ, въ ихъ интимную, внутреннюю жизнь, ставъ при этомъ рѣшительно на сторону каторжанъ; во многихъ тюрьмахъ бродягамъ прямо запрещено занимать какія бы то ни было артельные должности. Стала и каторжная кобылка поднимать голову. Въ томской пересыльной тюрьмѣ, гдѣ собирается иногда до 3,000 арестантовъ, нѣсколько разъ происходили страшныя избіенія бродягъ. Въ одной такой бойнѣ (въ срединѣ 80-хъ годовъ) ихъ было убито и изувѣчено, говорятъ, до пятидесяти человѣкъ. Новый духъ, проникающій въ тюремный міръ, производитъ общее разложеніе и паденіе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и нравовъ. Много исчезаетъ симпатичныхъ, но еще болѣе безобраз-

*) Вотъ почему мечта всякаго бѣлаго каторжника—арестоваться не ближе, какъ въ Шадринскѣ (Пермск. губ.).

Прим. авт.

ныхъ сторонъ. Сухарника (смѣнщика), измѣнившаго своего договору, прежде обязательно „пришивали“, если не въ одной, такъ въ другой тюрьмѣ; убивали также того, кто „засыпалъ“ (уличилъ) товарищей по дѣлу, всѣхъ „язычниковъ“ (доносчиковъ). Въ той же томской тюрьмѣ въ прежніе годы чуть не каждую ночь случались убійства, и изъ тюремнаго колодца нерѣдко вытаскивали трупы пропавшихъ передъ тѣмъ безъ вѣсти арестантовъ. По всему тюремному міру, начиная отъ Кіева вплоть до Владивостока, ходили бывало „записки“, указывавшія на преступленіе какого-нибудь арестанта противъ обычнаго права и настаивавшія на его „прикрытіи“. Существовалъ даже арестантскій законъ— казнить смертью „язычника“ по полученіи на его счетъ *семи* подобныхъ записокъ...

Теперь бродяги начинаютъ вести себя смиреннѣе, и когда видятъ неустойку въ словесной стычкѣ съ каторжными, только скрежещутъ зубами и говорятъ, отходя прочь: „Не тѣ времена... Новый родъ!..“

Возвращаюсь къ своему описанію этапнаго пути.

У насъ, привилегированныхъ, какъ я сказалъ выше, было свое отдѣльное помѣщеніе, хотя нерѣдко очень горькой цѣной доставалось оно. Этапы построены не всѣ по одному плану, и каждый разъ, подъѣзжая къ мѣсту отдыха, мы принуждены были волноваться и гадать о томъ, что ждетъ насъ въ сегодняшнемъ мѣстѣ покоя. Если намъ давали отдѣльную каморку, хорошо натопленную и съ особымъ корридормъ, мы говорили, что попали сегодня въ рай. Но очень рѣдко встрѣчалось соединеніе рѣшительно всѣхъ достоинствъ. Иногда намъ давали помѣщеніе съ отдѣльнымъ ходомъ, но за то въ такомъ холоду, что зубы не попадали одинъ на другой; въ другой разъ давали теплую камеру, но безъ отдѣльнаго корридора, и тутъ же, за нашимъ порогомъ, гремѣла и ревѣла стоголовая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адскій концертъ осипшихъ отъ натуги голосовъ и бьющихъ по нервамъ цѣпей. Въ нашу дверь то и дѣло заглядывали враждебныя лица, бритыя головы; если кому-нибудь изъ насъ приходилось выйти на открытый воздухъ, нужно было проходить черезъ нѣсколько камеръ, гдѣ помѣщались арестанты, валяясь и подъ нарами, и прямо на грязномъ полу, на дорогѣ, нужно было шагать черезъ ихъ мѣшки, черезъ ихъ ноги. А у насъ были женщины, молодыя дѣвушки... Даже и то обстоя-

тельство, что послѣднимъ приходилось ночевать въ одной камерѣ съ своими же товарищами—мужчинами, доставляло имъ не мало страданій и мученій всякаго рода. Нужно было мѣнять бѣлье, хотѣлось хорошенько умыться (что было просто необходимо при нѣсколькихъ мѣсяцахъ пути по грязнымъ, отвратительнымъ этапамъ)—и не находилось укромнаго уголка, куда можно было бы скрыться отъ постороннихъ глазъ. Общія старанія товарищей импровизировать разныя ширмы и занавѣски могли, конечно, лишь въ малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого положенія. Здѣсь я подхожу къ одному пункту моихъ воспоминаній, который и теперь еще леденитъ мнѣ душу. Я говорю о ретирадныхъ мѣстахъ, объ ихъ ужасающей грязи и—пусть бы только грязи! Главное,—о невыразимо безстыдныхъ условіяхъ, всей своей тяжестью падающихъ прежде всего, разумѣется, на женщинъ. Мѣстное начальство, повидимому, глядитъ на всѣхъ уголовныхъ каторжныхъ женщинъ, какъ на потерянныхъ, и потому не заботится о нихъ больше, чѣмъ о мужчинахъ. Насколько справедлива такая точка зрѣнія, не знаю. Лично я,—это правда,—не встрѣчалъ ни одной каторжанки изъ уголовныхъ, которая не была бы на содержаніи у одного какого-нибудь Ивана или у всѣхъ арестантовъ одновременно. Но вопросъ въ томъ: не доводятъ ли женщину до такого паденія самыя условія тюремной и дорожной жизни? Неужели же всѣ женщины, попавшія въ каторгу, уже и раньше были потеряны? Наконецъ, оставляя въ сторонѣ каторжанокъ, вспомнимъ, сколько идетъ въ каторгу добровольныхъ женъ, сестеръ, матерей, дочерей, о предварительной развращенности которыхъ врядъ ли кто станетъ говорить. И всѣ онѣ должны жить въ тѣхъ же омерзительныхъ условіяхъ... Мнѣ скажутъ, что семейныя партіи идутъ отдѣльно отъ холостыхъ. Но это одна отговорка. Именно семейныя-то партіи и представляютъ сплошной организованный развратъ. Изъ кого онѣ состоятъ? Изъ нѣсколькихъ десятковъ „холостыхъ“ женщинъ и нѣсколькихъ же десятковъ семействъ, т. е. мужей, женъ, подростковъ и дѣтей. Все это спитъ въ повалку въ одной камерѣ. За дверью камеры, въ корридорѣ, стоитъ большой чанъ, знаменитая сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, безъ всякаго стѣсненія совершая естественныя надобности. Ко всему этому надо прибавить развращенныхъ и развращающихъ солдатъ, которые даже послѣ повѣрки, когда аре-

станты должны быть заперты въ своемъ помѣщеніи, тайкомъ отъ начальства, десятками вламываются въ камеру, гдѣ происходитъ въ теченіе всей ночи невообразимая оргія. Крики, визгъ, хохотъ, беззащитный торгъ, поцѣлуи, циничныя шутки,—все на виду, все открыто... И такъ идетъ изо дня въ день, изъ этапа въ этапъ, иногда въ продолженіи цѣлаго года и больше,—и при этихъ-то условіяхъ смѣютъ бросать камнемъ презрѣнія въ дѣвушку или женщину, не сохранившихъ своего цѣломудрія!..

Особенно солдаты конвойныхъ командъ вносятъ въ арестантскую среду страшный развратъ; они же сѣютъ и всевозможную физическую заразу. Сибирскій солдатъ, идущій „конвоировать“ холостыхъ женщинъ, смотритъ на эту обязанность, какъ на веселый пикникъ съ рядомъ занимательныхъ интрижекъ. Никакой дисциплины, никакой заботы! Сидитъ себѣ на подводѣ, бросивъ ружье и обнимаясь съ каторжными прелестницами, оретъ во все горло пѣсни, срамословитъ и знать ничего больше не хочетъ! Ночи проводить въ попойкахъ и развратѣ, а потомъ, съ угаромъ въ головѣ и пустотой въ карманѣ, возвращается въ казарму, на свой этапъ, до новаго такого же путешествія... Вотъ его жизнь. Можно себѣ представить, какой образцовый семьянинъ долженъ выйти изъ такого война по окончаніи срока службы въ конвойной командѣ. Впрочемъ, не лучше бывали въ мое время и нѣкоторые изъ этапныхъ офицеровъ: по крайней мѣрѣ, не разъ слыхалъ я о случаяхъ покупки ими невинныхъ дѣвушекъ у родителей-арестантовъ и о другихъ не менѣе достохвальныхъ дѣяніяхъ.

Въ мое время интеллигентнымъ женщинамъ, пользующимся отдѣльнымъ помѣщеніемъ, дозволялось идти, по желанію, и при холостой партіи, но въ послѣдніе годы (вѣроятно, по соображеніямъ нравственнаго характера) вышло, говорятъ, предписаніе отправлять ихъ исключительно съ семейными. Могу сказать одно, что въ холостыхъ мужскихъ партіяхъ нѣтъ и тѣни того безобразія, того откровеннаго цинизма и распущенности, какія пришлось наблюдать мнѣ въ партіяхъ семейныхъ... Ничего ужаснѣе не могу себѣ представить, какъ положеніе образованной женщины среди подобныхъ условій. Нечистыя руки разврата, не прикоснутся, разумѣется, къ ней самой, но уже одна необходимость все видѣть и слышать дѣлаетъ ее, поистинѣ, мученицей! А еще, быть можетъ, тяжелѣе крестъ любящаго мужчины, жениха или брата, который

зорко слѣдить за бушующей вокругъ заразой, употребляетъ всё усилія смягчить удушливость окружающей атмосферы, создать болѣе или менѣе человѣческія условія жизни, и часто видитъ и чувствуетъ, что безпомощенъ, безсиленъ что-либо сдѣлать! У меня не было въ этомъ кругѣ никого родного и милаго, ни одной близкой мнѣ женщины, и тѣмъ не менѣе я испыталъ всё эти чувства, пережилъ всё эти мученія...

Настаетъ вечеръ. Солдаты дѣлаютъ повѣрку и приказываютъ внести въ-камеру парашу. Мы протестуемъ, говоримъ, что у насъ женщины. Послѣ долгихъ переговоровъ съ нами и съ офицеромъ, старшій рѣшается, наконецъ, не запираетъ камеры, а парашу помѣститъ въ корридорѣ. На одномъ изъ этаповъ, помню, вышла цѣлая исторія изъ-за того, что офицеръ, согласившись на помѣщеніе парашы въ корридорѣ, хотѣлъ, тѣмъ не менѣе, поставить около нея часового... Трудно сказать, чего здѣсь было больше—наивности, или злости! Подобные вопросы возникаютъ на этапахъ ночью, но и днемъ немногимъ лучше. На нѣсколько сотъ человѣкъ, среди которыхъ есть образованныя женщины и всевозможнаго рода больные, существуетъ одно только ретирадное мѣсто, содержимое, болѣею частью, въ невообразимой грязи и мерзости... Но довольно объ этомъ. Остальное можно дополнить воображеніемъ. Нѣсколько словъ прибавлю лишь относительно арестантскихъ ругательствъ. Нигдѣ не слыхалъ я такой гнусной, такой отвратительной, звѣроподобной брани, какую впервые услышалъ въ Сибири среди арестантовъ, солдатъ и свободныхъ жителей-ямщиковъ. Неизвѣстно, кто изъ нихъ у кого позаимствовался; правдоподобнѣе, конечно, думать, что такой изысканный, художественный въ своемъ родѣ языкъ могъ создаться только въ тюрьмѣ. Повторяю: ни отъ одного мужика въ Россіи ничего подобнаго не слыхалъ я... Тамъ также процвѣтаетъ отборная трехъэтажная ругань; надъ всей русской землей, по выраженію сатирика, стономъ стоитъ „мать! мать!“ Но только въ тюрьмѣ, только въ Сибири ругань эта доходитъ до виртуозности своего рода, до самыхъ тонкихъ оттѣнковъ и самой реальной пластики. Въ Россіи несчастная „мать“ вся цѣликомъ служитъ объектомъ изливаемыхъ на нее помоевъ ругателя; въ Сибири она разбирается по косточкамъ, по мелочамъ, и каждая маленькая часть въ отдѣльности шельмуется и подвергается надругательству: печенка, глазъ, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь—

все является предметомъ дикой злобы и самой безсердечной ненависти! Этого мало: истинные художники брани идутъ дальше и приплетаютъ къ „матери“, совершенно уже безъ всякаго смысла, слова въ родѣ „закона“ „вѣры“ и самого „Бога“,—ругательства, которыя, при всемъ своемъ безсмыслии, звучатъ не менѣе гнусно и омерзительно. Въ первое время я положительно содрогался, слушая эти ужасныя богохуленія; мнѣ было въ буквальномъ смыслѣ слова больно, какъ отъ ударовъ ножа или плети. Въ настоящее время я отношусь къ нимъ, конечно, равнодушно; но и теперь не могу еще безъ ужаса вспомнить, что все это, рѣшительно все должны были выслушивать и молодые дѣвушки, образованныя, съ тонкимъ вкусомъ, съ нервной организаціей, съ чуткой и нѣжной душой...

О, неужели найдется кто-нибудь,—кто не пойметъ меня, посмѣется надъ моими словами?..

III.

Большинство арестантовъ, при которыхъ нѣтъ особыхъ бумагъ и предписаній, задерживается въ центральныхъ этапныхъ пунктахъ (въ Томскѣ, Красноярскѣ, Иркутскѣ) иногда на полгода, на годъ и даже на болѣе продолжительное время, пока не запишутъ ихъ въ партію. Путешествіе до мѣста назначенія нерѣдко продолжается такимъ образомъ отъ 1½ до 3-хъ лѣтъ. Семейнымъ и мастеровымъ, конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно вольготнѣе каторжной: такіе цѣпляются за каждый случай, дающій возможность продлить дорогу, и часто, являясь на мѣсто назначенія, уже имѣютъ право на выходъ въ вольную команду, такъ что и не сидятъ почти въ каторжныхъ тюрьмахъ. Другое дѣло—одинокіе и не знающіе никакого прибыльнаго мастерства: тѣмъ надоѣдаетъ дорога, и они сами молятъ начальство поскорѣ записать ихъ въ партію. Но всего мучительнѣе этотъ путь для такъ называемыхъ „обратниковъ“, т. е. окончившихъ свои сроки каторги и идущихъ на поселенье. Они движутся еще медленнѣе: тамъ, гдѣ партія, идущая впередъ, отдыхаетъ всего одинъ день, обратная сидитъ порой цѣлую недѣлю.

Такъ какъ самыя раннія партіи выбираются изъ Россіи не раньше половины мая, то путешествіе по сибирскимъ этапамъ

выпадаетъ для большинства на осенніе и зимніе мѣсяцы, когда ко всѣмъ прочимъ страданіямъ и лишеніямъ присоединяются еще грязь, холодъ, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный дорожный день.

Съ ранняго утра (на дворѣ едва еще брежжетъ свѣтъ) кобылка уже поднимается на ноги; громъ, звонъ и перебранка раздаются за нашей стѣной. Арестанты ложатся рано, по поднимаются еще раньше; нѣкоторые, выспавшись днемъ, и совсѣмъ не спятъ, на пролетъ всю ночь играя въ карты. Спросите ихъ: почему они такъ спѣшатъ на слѣдующій этапъ? Они и сами не знаютъ. Они и сами говорятъ про себя: „кобылка всегда торопится, какъ будто тамъ отецъ съ матерью ждутъ насъ“.

Нерѣдко у насъ выходили по этому поводу непріятности. Офицеры и конвой относились къ намъ, большей частью, вѣжливо и даже предупредительно; мы имѣли свои подводы и съ частью конвоя могли отправляться въ путь долго спустя послѣ ухода главной партіи. Мы догоняли ее, потомъ обгоняли и первыми являлись на слѣдующій этапъ. Но иногда случалось, что офицеръ, имѣвшій какое-нибудь столкновение съ предшествовавшей намъ партіей интеллигентовъ, требовалъ, чтобы мы ни на шагъ не отставали отъ остальныхъ арестантовъ—одновременно выступали въ походъ и одновременно же являлись на этапъ. Если мы, не узнавъ наканунѣ о характерѣ офицера, долго сидѣли вечеромъ, болтали, читали,—тогда по утру выходили непріятныя сцены. Шпанка уже выстроилась и готова тронуться въ путь, а мы только встаемъ еще, торопимся умыться, одѣться, собрать вещи... Шпанка бушуетъ, ругается, жалуется, что изъ-за „паршивыхъ дворянишекъ“ ей приходится мерзнуть... И добро бы еще предстоялъ большой и трудный станокъ, когда желательно придти на мѣсто до сумерекъ. Нѣтъ, часто никакихъ подобныхъ резонновъ не приводится: будь станокъ всего 16—20 верстъ, кобылка все равно торопится!..

Но вотъ всѣ сборы кончены. Кобылка помчалась, сломя голову. Только звонъ стоитъ по дорогѣ, сани съ больными и слабыми едва успѣваютъ слѣдовать. Есть настоящіе виртуозы ходьбы, особенно изъ бродягъ, которые по принципу всегда идутъ пѣшкомъ, еслибы даже и была возможность присѣсть. Такіе всегда впереди партіи: впереди легче и „способнѣе“ идти.

Вѣгутъ, едва духъ переводятъ, такъ что привыкшіе къ

хотьбѣ солдаты—и тѣ еще поспѣваютъ. Прибѣжали на мѣсто совсѣмъ рано.

Вотъ, остановились въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ этапа или полуэтапа, выстроились въ двѣ шеренги, въ ожиданіи повѣрки. Около тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель пересчитываетъ арестантовъ, и тотчасъ же послѣ того, съ дикимъ крикомъ „ура“, они летятъ въ растворенныя ворота занимать мѣста на нарахъ. Происходитъ страшная свалка и давка. Болѣе слабые падаютъ и топчутся бѣгущей толпой, получая иногда серьезные увѣчья; болѣе дюжіе и проворные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются впередъ и растягиваются во весь ростъ поперекъ наръ, стараясь занять своимъ тѣломъ какъ можно больше мѣста и успѣвая еще кинуть впередъ себя халатъ, кушакъ или шапку. Такимъ образомъ случается, что одинъ подобный ловкачъ займетъ нѣсколько сажень мѣста; развѣ брошена на нары хоть маленькая веревочка, мѣсто это считается неприкосновеннымъ. Тутъ прекращается всякая борьба—таково обычное право. Непривычный и слабонервный человѣкъ не могъ бы, я думаю, испытать большаго ужаса, какъ, стоя гдѣ-нибудь въ углу корридора, въ сторонѣ отъ дверей, ведущихъ въ общія камеры, слышать постепенно приближающійся гулъ неистовыхъ голосовъ, рева, брани и драки, бѣшенный звонъ кандаловъ, топотъ несущихся ногъ: точно громадная орда варваровъ идетъ на приступъ, идетъ растерзать васъ, разорвать въ клочки, все разгромить и уничтожить! Все ближе и ближе... Вотъ, ворвалась, наконецъ, въ корридоры эта ужасная лавина: дикія лица, искаженные страстью и послѣднимъ напряженіемъ силъ, сверкающіе бѣлки глазъ, сжатые кулаки, оглушительное бряцанье цѣпей, яростная ругань,— все это, кажется, мчится прямо на васъ. Зажмурьте глаза въ страхъ... Но вотъ бѣшенный потокъ толпы повернулъ направо въ дверь камеры и слился въ одинъ глухой ревъ, въ которомъ ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья, и, наконецъ, почти уже шагомъ плетутся, съ проклятіями и бранью, самые отсталые, отчаявшіеся захватить мѣсто наверху и принужденные лѣзть подъ нары... Мы тоже плетемся въ отведенное намъ помѣщеніе, озабоченные, полные мрачныхъ предчувствій...

Входимъ въ камеру; тускло свѣтятъ рѣшетчатые окна, непріятно глядятъ высоко построенныя нары, на которыя и залѣзть-то трудно: подъ потолкомъ теплѣе, меньше дровъ выходитъ на

топку печей. Брр! какъ холодно... Отъ дыханія паръ такъ и валить столбомъ по камерѣ. Бросаемся къ стоящей въ углу чугунокъ—не топлена; даже и дровъ нѣтъ. Разыскиваемъ сторожа (такъ называемаго каморщика), обязанность котораго топить печи къ приходу партіи.

Мрачный, антипатичный старикъ.

— Не ждали сегодня партіи,—оправдывается онъ. Вретъ, конечно.

Кто отводитъ душу перекурами съ нимъ; болѣе благоразумные, не долго думая, отправляются сейчасъ же за дровами. Шубъ, между тѣмъ, никто не снимаетъ; всѣ стараются согрѣться ходьбою по камерѣ и топаньемъ ногъ по одному мѣсту. Наконецъ, принесены дрова, толстыя, сучковатыя, сырыя... Надо ихъ наколотъ. Топоръ уже занятъ *) арестантами, тоже колющими дрова; надо погодить. Но вотъ и спасительный топоръ явился, вотъ и дрова наколоты, положены въ печку, зажжены... О, проклятіе! Новое, горчайшее испытаніе: желѣзная печка страшно дымитъ... Дымъ наполняетъ всю камеру, невыносимо ѣстъ глаза, не даетъ глядѣть, не даетъ ни о чемъ думать, ни о чемъ заботиться... Пытка эта тянется часъ, два и три, пока, наконецъ, сырые дрова разгорятся, дымъ исчезнетъ, станетъ тепло и свободно дышать. Поспѣваетъ и какое-нибудь неприхотливое варево, супъ или каша, чай. Кормовыхъ выдается на человѣка почти по всей Сибири 10 коп. въ сутки, привилегированнымъ 15 коп. Въ западной Сибири, гдѣ все такъ дешево, гдѣ коврига пшеничнаго хлѣба стоитъ 5 коп., кринка молока 3 коп., денегъ этихъ

*) Не потому, конечно, что уголовные арестанты «подкупили кого слѣдуетъ», какъ высказалъ предположеніе одинъ изъ моихъ критиковъ, а просто потому, что они практичнѣе, проворнѣе, и ихъ больше. Вообще, нужно замѣтить, что, подъ влияніемъ устарѣвшихъ данныхъ сочиненія г. Максимова «Сибирь и каторга», въ публикѣ существуетъ совершенно ложное мнѣніе о богатствѣ уголовныхъ арестантскихъ партій. Не знаю, получаютъ ли онѣ въ настоящее время тѣ огромныя денежныя подаванія, какими надѣляла ихъ когда-то прежде Москва и вообще Россія (быть можетъ, эти деньги въ Россіи же и растрачиваются, переходя очень скоро въ руки начальства, или отдѣльных лицъ изъ своей же братии, майдашиковъ и картежныхъ шулеровъ); но фактъ тотъ, что въ предѣлахъ Сибири большинство арестантовъ является уже буквально нищими. Въ Зап. Сибири подаванія еще дѣлаются, и даже довольно щедрыя, но почти исключительно съѣстными припасами.

за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствуютъ. Многіе изъ нихъ и на волѣ лучше не питались. Но съ переходомъ въ предѣлы Енисейской и, особенно, Иркутской губерніи, провізія все становится дороже и дороже: фунтъ мяса стоитъ 10 коп., фунтъ чернаго хлѣба 3—4 коп., и я помню одинъ этапъ, гдѣ можно было достать хлѣбъ только по 6 коп. фунтъ. А иному нужно до четырехъ фунтовъ одного хлѣба, чтобы насытиться!.. Въ партіяхъ начинается буквальный голодъ, тѣмъ болѣе, что отчаяніе еще сильнѣе развиваетъ картежную игру. Появляются почти совсѣмъ голые „жиганы“, и приходится быть безпомощнымъ свидѣтелемъ ужасной расплаты за промोटъ казенныхъ вещей...

Говорятъ, что это былъ исключительный голодный годъ, когда все было такъ дорого, а вообще кормовыхъ денегъ хватаетъ за глаза, особенно когда арестанты соединяются группами человѣка въ три, четыре, питаюсь сообща. Но, во-первыхъ, не каждый можетъ подыскать себѣ группу; а главное, такое неравномѣрное распредѣленіе кормовыхъ, безъ соображенія съ мѣстными цѣнами на продукты *), рѣшительно никогда не гарантируетъ арестантовъ отъ рыночныхъ случайностей. Администрація, мнѣ кажется, легко могла бы, при желаніи, своевременно видоизмѣнять въ каждой данной мѣстности количество кормовыхъ, сообразно съ цѣно-сѣбѣстныхъ припасовъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее время незамѣтно съ ея стороны никакой подобной заботливости. Если и происходитъ иногда измѣненіе количества кормовыхъ, то, благодаря канцелярской волокитѣ, до того несвоевременно, точно дѣлается это для смѣха: въ голодный годъ денегъ выдается меньше, въ урожайный—больше... Но еще было бы лучше, еслибы, вмѣсто выдачи на руки денегъ, на каждомъ этапѣ ожидала партію горячая баланда и казенный хлѣбъ. Устроить это было бы не трудно. Поваровъ-арестантовъ можно бы отправлять впередъ; хлѣбъ закупать заранѣе у тѣхъ же торговыхъ по строго опредѣленной казенной цѣнѣ. Худшая половина арестантовъ, состоящая изъ игроковъ и кулаковъ-майданщиковъ, конечно, была бы страшно огорчена такою реформой, но за то не было бы голодныхъ, сократились бы случаи промота казенныхъ вещей и другихъ безо-

*) Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Забайкалья, гдѣ цѣны не выше иркутскихъ, выдавалось по 20 коп. кормовыхъ.

бразий; кто знает, — быть может, увеличатся и в этот контингент христианств, из которых многих привели сюда в тюрьму иудины, католики и другие. Но сами собой разумеется, что преобладающие мною религиозные взгляды при изложении их научному и нравственному человеку, имеющему власть над христианами...

Къ сожалѣнию, эти нрѣзки оставались еще жалки, даже и очень многого. Тѣмъ, начавшимъ одного вечера читать въ залѣ, привычку не останавливать одновременнаго чтенія, а когда началась партія, не думать ей дровъ похъ предложенаго изданія, уже на дворѣ темноты, небыло изъ больницы показало... Нѣтъ, разсказывали, что у этого господина было нѣсколько случаевъ излеченія больныхъ крестьянъ, а удивлялось одному — какъ оставались у него живыми и здоровыми... Налу партіи показались изъ огромномъ сыромъ погребѣ, не топчанномъ, по крайней мѣрѣ, за теченіе десяти дней (во время жестокаго мороза). Старшіе, изъ котораго мы познали для объясненій, только хихикали и отмахивались шутками.

— Вѣдь это ни на что не похоже, — убавляли его мѣры
никс — доложите офицеру. Хорошо, что у вас есть такая
одежа много, а какъ же прочие арестанты проживутъ? Тутъ же
такомъ холоду?

— Сю-де! — поспешался старший — вы тут не знаете где.
У них такие секретны есть...

— Какие секреты?

— Да знаете, у насъ дано изъ нихъ ботелочекъ танъ шарочекъ въ запасѣ, утолкъ...

Стоило ли продолжать споръ съ этими несправедливыхъ истинствомъ? Да онъ и самъ поторопился, впрочемъ, уйти. Въ камеру встали наравну, дверь быстро захлопнулась, ключъ затрещалъ въ железномъ замкѣ, и имъ очутились одни. Арестанты остались цѣлы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бѣгали по камерѣ, играя въ чехарду и занимаясь другими полезными упражненіями. Миѣ припомнилось при этомъ утѣшеніе веселого фельдфебеля: „У нихъ такіе секретны есть“. Да, живутъ и тигучь русскій человѣкъ, ко многому приспособиться умѣетъ, многими житейскими „секретами“ обладаетъ!

Начальникъ описываемаго этапа слыть, между прочимъ, просвѣщеннымъ человѣкомъ и даже либераломъ; онъ приходитъ

иногда въ камеру интеллигентовъ, за-просто бесѣдовалъ съ ними и высказывалъ самые передовые, порой даже смѣлые взгляды...

Этапы, въ большинствѣ случаевъ, очень ветхи и стары; нѣкоторые изъ нихъ строились еще въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, и хотя ремонтныя деньги, надо думать, отпускаются въ извѣстные сроки, но серьезныхъ перестроекъ и поправокъ почему-то не приходится замѣчать. Можно подумать, что зданія эти существуютъ скорѣе для крысъ, нежели для людей,—такое въ нихъ множество этихъ отвратительныхъ животныхъ, бѣгающихъ во время ночи по тѣламъ арестантовъ, поднимающихъ шумныя драки и противнымъ пискомъ своимъ не дающихъ спокойно заснуть. Помню, какъ однажды огромная крыса до крови уеусила палецъ спавшему рядомъ со мной человѣку...

Встрѣчаются, между прочимъ, погорѣлые этапы, вмѣсто которыхъ въ теченіе десяти и болѣе лѣтъ „не успѣли“ еще выстроить новыхъ. Въ такихъ мѣстахъ партіи или проходятъ два станка въ одинъ день, или останавливаются въ частномъ помѣщеніи, въ обыкновенной крестьянской избѣ, къ окнамъ которой придѣланы желѣзныя рѣшетки и въ которой нѣтъ даже наръ,—ничего, кромѣ неизбѣжной параша. Вся партія спитъ въ повалку на голомъ полу. Не мудрено, что въ подобныхъ условіяхъ, при плохомъ и недостаточномъ питаніи, при непрерывной ходьбѣ въ страшные сибирскіе морозы, при жизни въ грязи и холодѣ, организмъ арестантовъ, и безъ того уже истощенный годами предварительнаго заключенія въ тюрьмѣ, часто не выдерживаетъ и легко поддается всевозможнымъ тифамъ, горячкамъ и другимъ эпидемическимъ болѣзнямъ. Цѣлыми десятками остаются они въ больницахъ и десятками же отправляются отдыхать на близъ лежащія сопки, гдѣ даже убогій крестъ не отмѣтитъ мѣста ихъ вѣчнаго упокоенія... Но и въ больницу попасть не такъ-то легко. Больницы имѣются только въ большихъ городахъ и селахъ, и я живо помню нѣсколько случаевъ, когда къ этапу, имѣвшему лазаретъ, привозились уже одни остывшіе трупы... А сколько страдаетъ несчастный больной, прежде чѣмъ умереть! Бросаютъ его, какъ полѣно, на подводу, прикроютъ халатомъ и везутъ отъ этапа до новаго этапа. Привезутъ—и въ этапѣ тоже бросятъ гдѣ-нибудь на полу въ грязи и стужѣ. Если нѣтъ у него родственника или близкаго товарища, то никто не позаботится ни напоить,

ни накормить, ни спросить, что болитъ и что нужно. До того ли тутъ? Каждый заботится о себѣ, боится, какъ бы самому не оплошать и не пасть жертвой въ этой ужасной битвѣ за жизнь, за сегодняшний день. Огрубѣло у каждого сердце, окаменѣло... Я видалъ ужасныя сцены: какъ, напр., арестанты, спотыкаясь о подобныхъ больныхъ, въ отвѣтъ на ихъ стонъ, принимались угощать ихъ самыми забористыми ругательствами и пожеланіями скорѣе отправиться на тотъ свѣтъ—и никто не думалъ вступить за несчастныхъ!.. Варварскіе нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрѣе арестантовъ? Почему мы не брали этихъ больныхъ къ себѣ, въ свое болѣе просторное помѣщеніе, не ухаживали за ними, не дѣлились съ ними послѣднимъ? Почему? Да потому, что и у насъ своя рубашка была ближе къ тѣлу, потому что и намъ жилось не легче уголовной партіи.

Въ годъ моего путешествія свирѣпствовала на этапахъ страшная болѣзнь, похожая не то на тифъ, не то на нервную горячку и унесшая въ могилу множество народа. Болѣзнь эта, начинавшаяся съ сильной головной боли, особенно косила образованныхъ людей, какъ менѣе сильныхъ и привычныхъ къ этапнымъ лишеніямъ, и на моихъ глазахъ умерло нѣсколько юношей, любимыхъ и уважаемыхъ всѣми товарищами.

Въ холодный осенній день, когда снѣгъ лежалъ уже на землѣ, но рѣки еще не стали, мы переплывали на маленькомъ баркасѣ, едва не потонувшемъ подъ тяжестью повозокъ, солдатъ и арестантовъ, черезъ рѣку Бирюсу, находящуюся невдалекѣ отъ селенія того же имени съ этапомъ по срединѣ. Мы заковенѣли отъ холода, ощущали сильный голодъ и съ нетерпѣніемъ ждали отѣха въ тепломъ и уютномъ помѣщеніи (на завтра предстояла дорога). Кто-то изъ солдатъ обрадовалъ насъ извѣстіемъ, что этапъ большой, чистый, и что въ немъ найдется отдѣльная камера не только для нашей группы, но и для нашихъ женщинъ. Последнее было особенно всѣмъ пріятно. Этапъ оказался, дѣйствительно, просторнымъ и новымъ, сравнительно, зданіемъ, совсѣмъ непохожимъ на тѣ крысиныя норы, какія представляетъ изъ себя большинство сибирскихъ тюремъ. Мы вбѣжали въ освѣщенный намъ корридоръ, радостные, улыбающіеся, съ оживленіемъ и шумомъ. Унтеръ-офицеръ мѣстной команды, встрѣтившій

насъ, тоже улыбался при видѣ общей радости и предложилъ на выборъ цѣлыхъ три камеры.

— Эта вотъ лучше всѣхъ будетъ, — сказалъ онъ, отворяя одну изъ дверей:—отсюда три дня только назадъ уѣхалъ Л.

— Какъ три дня назадъ?—удивились мои спутники:—вѣдь онъ былъ въ прошлой партіи, которая прошла двѣ недѣли назадъ.

— Такъ-то такъ; да онъ выпросилъ позволеніе остаться при больномъ С., похоронилъ его, потомъ еще прожилъ здѣсь два дня и уѣхалъ съ конвойнымъ догонять свою партію.

— Похоронилъ С?! С. умеръ?!

Всѣ, какъ громомъ, были поражены этой вѣстью... С. былъ молодой польскій поэтъ, прелестные переводы котораго изъ Надсона и оригинальные стихи нравились даже мнѣ, плохо понимавшему по-польски, и котораго за мѣсяцъ передъ тѣмъ всѣ мы видѣли здоровымъ, сильнымъ, полнымъ бодрости и энергіи. Этапное зданіе сразу потемнѣло въ нашихъ глазахъ, стало унылымъ, холоднымъ, непривѣтнымъ; и когда, шатаясь и блѣднѣя, вошли мы въ одну изъ камеръ и увидали враждебно высившіяся въ вечернихъ сумеркахъ пустыя нары, на насъ пахнуло вдругъ холодомъ смерти. Здѣсь онъ страдалъ, здѣсь умеръ, почти одинокій, безпомощный, вдали отъ друзей и родины!.. Правда, любезный унтеръ, видимо уже каявшійся въ томъ, что сболтнулъ о смерти С., увѣрялъ, будто онъ умеръ не въ этой, а въ сосѣдней камерѣ, куда мы отказались поэтому идти, но утѣшеніе было не большое. Въ стѣнѣ нашего помѣщенія была огромная щель въ эту страшную сосѣднюю камеру, и помню, я съ мучительнымъ любопытствомъ заглядывалъ въ нее, всматриваясь въ сумрачную пустоту, гдѣ, чудилось мнѣ, бродилъ духъ поэта. И завывавшій по временамъ въ трубѣ вѣтеръ казался мнѣ его стономъ...

Но еще больнѣе, чѣмъ эта вѣсть о совершившемся уже фактѣ, была обострившаяся, благодаря ему, тревога за товарищей и знакомыхъ, оставшихся позади или бывшихъ впереди насъ. Что-то съ ними? Не унесла ли безпощадная смерть еще кого-нибудь близкаго, дорогого? И смерть, точно, не щадила въ тотъ годъ самыхъ нѣжныхъ привязанностей, поражая друзей, невѣсть, братьевъ...

Настроеніе было, разумѣется, совсѣмъ отравлено, и дневка въ конецъ испорчена. Малѣйшее недомоганіе кого-нибудь каза-

лось уже предвѣстникомъ грозной болѣзни; и въ самомъ дѣлѣ, на другой же день серьезно захворалъ одинъ изъ конвойныхъ солдатъ, очень симпатичный малый, съ которымъ внезапно сдѣлалось сильный жаръ съ бредомъ; не смотря на всѣ старанія нашихъ доморощенныхъ врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить въ Бирюсъ. Выздоровѣлъ онъ или умеръ, мы такъ и не узнали.

Среди моихъ спутниковъ не было ни одного человѣка, основательно изучившаго медицину, и тѣмъ не менѣе больные арестанты, конвойные солдаты и даже мѣстные жители толпами валили къ намъ на этапъ, ни днемъ, ни ночью не давая покоя. Слава объ ихъ умѣньи лѣчить гремѣла по всему пути. И какихъ только болѣзней, какого горя не перевидали мы! Какой заразы не приносилось въ наше помѣщеніе! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики... Приносились грудные младенцы съ распухшими шеями, посинѣвшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшныя болячки, гноящіяся раны, одинъ видъ которыхъ приводилъ въ ужасъ и прогонялъ самый жадный голодъ... И, при отсутствіи лекарствъ и достаточныхъ знаній, какъ больно было видѣть всѣ эти устремленные на насъ глаза, полныя мольбы и наивной вѣры, и чувствовать свое безсиліе что-нибудь сдѣлать, оказать какую-нибудь помощь!

IV.

Въ Иркутской тюрьмѣ, гдѣ мнѣ пришлось разстаться съ товарищами-интеллигентами, я захворалъ и задержался на нѣсколько мѣсяцевъ.

Въ дальнѣйшемъ пути, пользуясь какъ и прежде, значительными привилегіями сравнительно съ прочими арестантами, я, благодаря отвычкѣ отъ одиночества, нерѣдко имъ тяготился и испытывалъ жестокую скуку. Можетъ быть, благодаря именно этому, я обратилъ вниманіе на красоту и величіе забайкальской природы. Особенно поразилъ меня только что вскрывшійся Байкаль, черезъ который мы переѣзжали на одномъ изъ первыхъ пароходовъ. Какъ сейчасъ вижу это грозно-зеленое, клокочущее и скачущее чудовище. Въ отдаленіи, за разъяренными валами, виднѣются огромныя желтыя скалы, и грезится, что онѣ такъ близко—рукой подать, а между тѣмъ до нихъ 20—30 верстъ.

Оставшись одинъ, съ заботами объ одномъ лишь себѣ, я какъ-то невольно сталъ дѣлать больше наблюденій и надъ окружающимъ меня міромъ арестантовъ, тогда какъ прежде сплошь и рядомъ не замѣчалъ происходившаго вокругъ. Прежде отдѣльные лица какъ-то ступевывались въ моемъ представленіи; я видѣлъ передъ собой только огромныя массы, имѣвшія въ моихъ глазахъ одно лицо, одинъ характеръ и волю. Теперь изъ этой громады начали выдѣляться отдѣльные человѣчки и оставливать на себѣ мое любопытство. Нужно, впрочемъ, сказать, что той сплошной идеализаціи, какою нѣкогда окружалъ я арестантовъ, во мнѣ давно и слѣда не было: я хорошо зналъ, что къ ихъ рассказамъ о себѣ нужно относиться скептически, что они всегда привираютъ и т. п.

Опишу для образчика нѣкоторыя запомнившіяся мнѣ фигуры.

Прежде всего помню одного страннаго субъекта изъ грековъ съ пронзительными черными глазами, страшно худого, со множествомъ штыковыхъ и огнестрѣльныхъ ранъ на тѣлѣ, полученныхъ во время побѣговъ. Онъ былъ очень угрюмъ и несловохотливъ, однако почему-то любилъ заходить ко мнѣ, особенно въ тѣ минуты, когда никого другого изъ арестантовъ у меня не было. Долгое время я думалъ, что онъ хочетъ попросить денегъ; но денегъ онъ ни разу не просилъ. Однажды я задалъ ему вопросъ, за что идетъ онъ въ каторгу. Онъ объяснилъ мнѣ съ самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что въ послѣдній разъ вырѣзалъ съ товарищемъ одну семью. Мнѣ даже жутко стало...

— За что же это?—не удержался я.

— Извѣстно, за деньги,—усмѣхнулся спокойно мой собесѣдникъ.

— Да, но зачѣмъ же было рѣзать?.. И притомъ всѣхъ, даже дѣтей?..

— Всю породу. Въ другой разъ мы двѣ семьи вырѣзали.

Я невольно содрогнулся и недоумѣвалъ, зачѣмъ онъ такъ говорить.

— А Богъ?—спросилъ я,—развѣ не боитесь?

— Какой Богъ?—спросилъ грекъ въ свою очередь, понизивъ нѣсколько голосъ и, будто, съ нѣкоторою грустью:—Гдѣ только мы не бывали... Въ такихъ глухихъ мѣстахъ, куда и воронъ

костей не заносить и звѣрь не заходить. Нигдѣ не видали ни Бога, ни дьявола!

— А были-ль вы въ одиночномъ заключеніи?—спросилъ я еще и, получивъ отрицательный отвѣтъ, попробовалъ нарисовать собесѣднику картину внутреннихъ мученій, овладѣвающихъ многими изъ знаменитыхъ даже разбойниковъ и доводящихъ ихъ порой до сумасшествія и самоубійства. Онъ послушалъ меня минуты двѣ и, ничего не сказавъ въ отвѣтъ, вышелъ подъ какимъ-то предлогомъ.

Вскорѣ послѣ того я и совсѣмъ потерялъ его изъ виду: должно быть, онъ остался гдѣ-нибудь въ больницѣ.

Захаживалъ также ко мнѣ щеголеватый молодчикъ изъ лакеевъ, въ неизбѣжномъ пестренькомъ галстучкѣ и съ утонченными, по его пониманію, манерами. Этотъ мелко плавалъ и все вспоминалъ, какія прекрасныя „покупки“ дѣлывалъ онъ въ Петербургѣ во время публичныхъ казней на Семеновской площади: покупать на его языкѣ значило залѣзть безъ разрѣшенія въ чужой карманъ. Въ концѣ концовъ я замѣтилъ, что онъ и у меня кое-что покупалъ во время своихъ визитовъ...

За то не могу безъ улыбки вспомнить милѣйшаго Тюпкина, бѣглаго солдатики, пропадавшего два года безъ вѣсти, наконецъ добровольно заявившагося начальству и шедшаго теперь въ Читу на судъ. Это былъ добродушнѣйшій паренъ лѣтъ двадцати-шести, плохо развитой физически, безусый, повурый и всегда меланхолическій. Онъ ухаживалъ за мной, варилъ мнѣ обѣдъ и чай и жилъ въ моемъ „дворянскомъ“ помѣщеніи. Въ долгіе зимніе вечера мы много болтали, и я узналъ всю его подноготную. Онъ былъ страстный игрокъ, и когда я давалъ ему немного денегъ, сейчасъ же скрывался и всю ночь напролетъ игралъ въ штоссъ. По-утру кто-нибудь изъ арестантовъ сообщалъ мнѣ, что мой Тюпкинъ спустилъ все до послѣдней копѣйки.

— Не стоитъ такой скотинѣ благодѣянія оказывать,—философствовалъ при этомъ доноситель:—какъ будто другой кто не могъ бы вамъ самоварчикъ поставить, или другое тамъ что сдѣлать? Еще благодарность бы чувствовалъ... А онъ что? Какъ онъ былъ *духомъ* (названіе солдатъ), такъ *духомъ* и останется до гробовой доски!

Между тѣмъ, Тюпкинъ появлялся мрачный, какъ сама ночь, и въ камерѣ моей начиналась усиленная дѣятельность: выкола-

чивалась пыль изъ моихъ вещей, перекладывались съ мѣста на мѣсто, безъ всякой видимой нужды, мѣшки и ящики; по камерѣ раздавался неумолкаемый топотъ сапогъ, аккомпанируемый глубокими, глубокими вздохами.

— Что, Тюпкинъ, вы нездоровы, что ли?

Молчаніе.

— Или, можетъ быть, потеряли что? Можетъ быть, проигрались?

— Нѣтъ! — и вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ мой Тюпкинъ моментально исчезалъ, сконфуженный.

Вечеромъ онъ опять остается въ моей камерѣ. Мы насытились вкуснымъ кулецомъ, напились чаю; намъ такъ пріятно грѣться передъ весело потрескивающими въ догорающей печкѣ угольями. Мой Тюпкинъ совсѣмъ разнѣжился. Ему хочется говорить, безъ конца говорить, безъ конца жаловаться на свою судьбу.

— Ахъ, горегорькій я, горегорькій! И зачѣмъ только мать на свѣтъ меня породила!

— А чѣмъ же вы особенно несчастнѣе другихъ, Тюпкинъ? Другіе идутъ въ каторгу, а васъ—самое большое—переведутъ въ штрафной разрядъ. Ну, накажутъ...

Тюпкинъ прислушивается къ моимъ утѣшеніямъ и молчитъ.

— Не такъ ли?—говорю я.—Вѣдь вы же добровольно заявили къ началству, васъ не поймали? Это, конечно, примутъ во вниманіе. Вамъ дадутъ снисхожденіе.

Вѣсто отвѣта, онъ вдругъ начинаетъ яростно таскать себя за волосы.

— Охъ, горегорькій я, горегорькій!..

— Да вы, можетъ быть, скрываете? Вы, можетъ быть, бѣжали послѣ какого-нибудь преступленія?

Но тутъ Тюпкинъ начинаетъ божиться и клясться, что явился добровольно, а бѣжалъ со службы просто такъ, съ тоски...

— Съ какой же тоски?

— Да съ пьянства, съ картъ.

— Гдѣ же вы пропадали эти два года?

Онъ подробно рассказываетъ мнѣ, какъ жилъ въ Бичурской волости у семейскихъ (раскольниковъ), работалъ простую мужицкую работу, съ одной вдовой жилъ душа въ душу, какъ мужъ съ женой, дѣвочку отъ нея имѣлъ.

— Хорошо было жить! И-ихъ, хорошо!..

— Такъ зачѣмъ же вы заявили? И жили бы такъ, пока было можно.

— Нельзя было.

— Да почему же нельзя?

— Такъ.

Съ большими усиліями, однако, удается мнѣ добиться, что и тутъ причиной были вино и карты. Проигрался въ пухъ и прахъ, тоска взяла: пошолъ и заявился.

— А жену извѣстили?

— Зачѣмъ извѣщать!

Я засыпаю въ эту ночь съ увѣренностью, что все-таки успѣлъ утѣшить бѣднаго малаго, успокоить насчетъ предстоящей ему судьбы. Но на слѣдующій вечеръ, если опять нѣтъ денегъ и картежной игры, и мы снова грѣмся и болтаемъ около печки, мой Тюпкинъ начинаетъ прежнюю пѣсню:

— Охъ, бѣдный я, злосчастный! И на что только мать на свѣтъ меня породила?

Я, наконецъ, не выдерживаю и начинаю его ругать за бабью трусливость и плаксивость. Онъ защищается, и тутъ мнѣ удается, наконецъ, выудить отъ моего Санчо-Пансо, что онъ въ сущности и раньше побѣга былъ уже штрафованнымъ.

— За что же?

— Деньщикомъ былъ... Пьянъ напился, часы разбилъ офицеру, да еще нагрубилъ...

— Вотъ оно что! Ну, все-таки хныкать нечего. Не въ каторгу же осудятъ васъ.

— Да не миновать каторги, чуетъ мое сердечушко, охъ, чуетъ!.. Кабы все-то знали вы да вѣдали... Охъ, злосчастная я сиротинушка!

— Что же все-то? Ужъ рассказывайте, коли начали. Что еще натворили? Ужъ не были-ль вы въ дисциплинарномъ батальонѣ?— спрашиваю я, полу-шутя, полу-серьезно.

Молчаніе. Тяжелый вздохъ. Я начинаю, наконецъ, догадываться.

— Такъ, значить, правда? Были?

— Охъ, горегорькій я! Непокрытая моя головушка!

— За что же? Что тогда вы сдѣлали?

— Арестанта выпустилъ.

— За деньги?

— Пьяны оба напились... Въ баню его водилъ... Ну... Ступай, говорю Иванъ, на всѣ четыре стороны. А самъ легъ и заснулъ. Онъ и ушелъ.

— Сколько же вы пробыли въ дисциплинарномъ?

— Три года. Нѣтъ, ужъ быть мнѣ въ каторгѣ, быть! Чуетъ моя душа... А то и еще хуже: убью кого-нибудь, ей Богу, убью. Кровь всю они выпили изъ меня, кровопивцы!

— Сами во всемъ виноваты, Тюпкинъ, нечего людей винить. Возьмите себя въ руки, перестаньте въ карты играть, пьянствовать,—вотъ и станете опять человѣкомъ.

Но Тюпкинъ уже ни слова не отвѣчаетъ мнѣ и угрюмо укладывается спать. Утромъ онъ проситъ у меня деньжонокъ, и если я даю, ближайшую ночь опять пропадаетъ въ общей арестантской палатѣ.

Приближаясь къ Читѣ, онъ замѣтно все больше и больше волновался и омрачался; порой мнѣ казалось даже, что онъ замышляетъ бѣжать (конвой, знавшій, что онъ добровольно явился, не очень зорко слѣдилъ за нимъ); но Тюпкинъ былъ тряпка-человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова, и отваги на побѣгъ никогда бы у него не достало. Такъ и дошелъ онъ до Читы, цѣлъ и невредимъ. Со мной онъ разстался довольно холодно, даже не простившись настоящимъ образомъ. Не тѣ думы занимали его въ эти минуты...

Въ большинствѣ случаевъ трудно узнать арестанта доподлинно во время дорожной жизни, гдѣ нѣтъ прочно установившихся условій, нѣтъ ничего постоянного, все быстро мѣняется, и жизнь походитъ не то на какой-то вѣчный побѣгъ отъ невидимаго врага, не то на безконечно длящійся безобразный праздникъ. Тѣмъ труднѣе это для „барина“, бѣдущаго на отдѣльной подводѣ и живущаго въ отдѣльномъ дворянскомъ помѣщеніи. Даже и передъ „своими“ арестантъ не открываетъ въ этихъ измѣнчивыхъ и кошмарныхъ условіяхъ всего своего внутренняго міра; тѣмъ сдержаннѣе будетъ онъ передъ „бариномъ“, идущимъ хоть и въ каторгу, но въ привиллигированномъ положеніи. Нужна очень тонкая наблюдательность, умѣнье разбираться въ мелкихъ оттѣнкахъ впечатлѣній и въ самыхъ ничтожныхъ фактахъ, чтобы различить въ арестантскихъ разсказахъ правду отъ лжи, напускной и показной характеръ отъ истиннаго.

Вотъ почему я не стану представлять читателю большого числа портретовъ и характеристикъ за этотъ дорожный періодъ своей жизни въ мірѣ отверженныхъ. Для этого у меня будетъ еще достаточно времени и поводовъ. Отмѣчу лишь нѣсколько главныхъ теченій въ характерахъ и фізіономіяхъ арестантовъ, насколько они выяснились мнѣ *въ ту пору*. Къ первому разряду относятся „тихонькіе“, большей частью старички, играющіе роль неповинныхъ жертвъ и выказывающіе даже ненависть къ своему же брату-кобылѣ. Въ большинствѣ случаевъ, это одни изъ самыхъ антипатичныхъ. Резонерство, черствое себялюбіе, кулачество, лицемерное ханжество,—вотъ главные черты этихъ людей. Черты эти нерѣдко уживаются съ неподкупной честностью (въ казенномъ смыслѣ этого слова), но отъ честности этой вѣетъ всегда какимъ-то бездушіемъ, и сердечныя вашъ симпатіи никогда не тяготеютъ къ этимъ благочестивымъ резонерамъ-старцамъ. Другой типъ—тоже пожилые уже, а иногда и совсѣмъ старые арестанты, не скрывающіе того, что они мошенники и разбойники, но держащіе себя съ нѣкоторымъ гоноромъ и благородствомъ: „То, молъ, по вольной жизни я воръ и разбойникъ, а въ тюрьмѣ, промежъ своихъ, я честный человѣкъ, арестантъ старинной закалки“. Эти тоже не прочь порезонировать, посѣтовать на паденіе старинныхъ арестантскихъ нравовъ и обычаевъ, побранить „новый родъ“. Третьи, которыхъ большинство, составляютъ душу и сердце шпанки: это — игроки, жи-
ганы, сухарники, палачи, готовые превратиться въ жертвы, и жертвы, могущія завтра же стать палачами; люди, которые, какъ будто нарочно, созданы природой для жизни въ каторгѣ и особенно въ „путѣ слѣдованія“. Врядъ ли даже понимаютъ они, что можно жить иной, лучшей жизнью, чѣмъ этотъ адъ кромѣшный. Они находятся въ вѣчномъ угарѣ и хмѣлю безъ вина, въ вѣчной ажитации и заботѣ, хотя бы предметъ заботы не стоилъ и выведеннаго яйца: имъ нужно, главнымъ образомъ, само волненіе. Это самый страстный и живой элементъ каторги. Спросите: для чего день и ночь играетъ вотъ этотъ молодой свѣтлорусый парень съ испитымъ, блѣднымъ лицомъ и лихорадочно горящими сѣрыми глазами, почти не умѣющій играть и вѣчно получающій розги за промотъ казенныхъ вещей, вѣчно голодающій и, къ тому же, служащій предметомъ общихъ насмѣшекъ? Вглядитесь въ его постоянно озабоченное лицо, въ его, словно, тоскующіе глаза—

и вы получите отвѣтъ. Безъ картъ или водки, а можетъ быть даже и безъ розогъ, безъ чего-нибудь прянаго, возбуждающаго, жизнь будетъ не въ жизнь этому разъ свихнувшемуся съ пути человѣку! Изъ такихъ-то прожигателей жизни и выходятъ такъ называемые „сухарники“ и „вѣчные тюремные жители“.

Сухарникомъ зовется малосрочный каторжанинъ или лишенецъ, соглашающійся за пустое вознагражденіе, за нѣсколько рублей, за красную рубаху (или, какъ въ насмѣшку говорятъ арестанты, за сухари) помѣняться именемъ и участіемъ съ долгосрочнымъ или даже „вѣчникомъ“.

Не могу не упомянуть, между прочимъ, объ особомъ видѣ смѣлки, значенія котораго я долго не могъ уразумѣть, но который имѣетъ, тѣмъ не менѣе, глубокой и чрезвычайно остроумный смыслъ. Мѣняются именами *безсрочный съ безсрочнымъ же*. Какой-нибудь Бѣлоносовъ уходитъ вмѣсто Долгошеина, на котораго онъ очень мало походить лицомъ и примѣтами, а Долгошеинъ остается, положимъ, въ больницѣ или до слѣдующей партіи. Само собой разумѣется, что „ошибка“ очень скоро обнаруживается и тамъ, и здѣсь. Въ одномъ мѣстѣ начальство набрасывается на Бѣлоносова, въ другомъ на Долгошеина.

— А! Ты сухарникъ?

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣчаютъ Бѣлоносовъ и Долгошеинъ и, не смотря на явную нелѣпость своихъ словъ, упорно продолжаютъ утверждать, что они именно тѣ самыя личности, которыя показаны въ статейныхъ спискахъ, что осуждены на безсрочную каторгу. Конечно, случись это въ одной и той же тюрьмѣ, начальство тотчасъ же сумѣло бы разобраться въ путаницѣ; но предполагается, что смѣшники успѣли уже раздѣлиться приличнымъ разстояніемъ, и напасть на настоящій слѣдъ не такъ-то легко. Мѣстные начальства торжествуютъ: пойманы сухарники, продавшіе себя за красную рубаху... Бѣлоносова и Долгошеина судятъ (опять-таки предполагается, въ различныхъ пунктахъ) и, камъ смѣшниковъ, приговариваютъ на три года каторги cadaго, съ тѣлеснымъ наказаніемъ. А имъ того только и нужно было... *Se non e vero, e ben trovato*, скажетъ, пожалуй, читатель; но пусть онъ вспомнитъ, что въ старые и даже, сравнительно, еще недавніе годы въ тюремномъ мірѣ дѣлались дѣла и почище. Съ появленіемъ реформъ, конечно, становятся все труднѣе и труднѣе подобныя продѣлки.

Майданщиками зовутся арестанты — откупщики, которым артель продаетъ монополію торговли въ теченіе извѣстнаго срока сахаромъ, чаемъ, табакомъ и пр. мелочью, а самое главное — содержаніе игорнаго, а иногда и еще болѣе темнаго притона. Я былъ, напр., свидѣтелемъ, какъ одинъ майданщикъ везъ съ собою публичную женщину въ качествѣ вольно-слѣдовавшей за нимъ невѣсты. Она ѣхала, конечно, отдѣльно отъ холостой партіи, въ которой шелъ „женихъ“, слѣдомъ за нимъ, но на тѣхъ этапахъ, гдѣ старшаго удавалось подкупить или обмануть, разжалобивъ сказкой о предстоящей въ скоромъ времени любящей парочкѣ разлукѣ, „невѣста“ впускалась на ночь въ этапъ къ своему мнимому жениху, и тогда, можно представить себѣ, что тамъ происходило!..

Надо, впрочемъ, сказать, что майданы снимаются въ рѣдкихъ только случаяхъ прижимистыми кулаками, которые, обогатившись, зажили бы трезвымъ и благоразумнымъ порядкомъ (такимъ-то арестанты и не продали бы, пожалуй, майдана); обыкновенно это все тѣ же игроки и жиганы, нуждающіеся въ „поправкѣ“ единственно для того, чтобы въ нѣсколько дней спустить все нажитое на водку и карты.

V.

Въ августѣ мѣсяцѣ я вступилъ въ районъ нерчинской каторги. Какая-то новая атмосфера давала себя чувствовать; порядки становились строже, обращеніе начальства и конвоя грубѣе, настроеніе самихъ арестантовъ удрученнѣе. Толковали о предстоящихъ въ Нерчинскѣ, Стрѣтенскѣ и Усть-Карѣ обыскахъ. Говорили, что отберутъ все до послѣдней нитки. Придумывались средства, куда запрятать лишнюю, имѣющуюся на рукахъ, копейку. Солдаты запугивали разсказами, какъ у одного старичка нашли запрятанными въ сухарѣ сто рублей и какъ офицеръ, конфисковавъ эти деньги, роздалъ ихъ конвою. Я, по своей тогдашней наивности, долго не понималъ, зачѣмъ, не смотря на такіе страхи, спутники мои все-таки намѣрены были прятать свои деньги. Почему бы, спрашивалъ я, не отдать еще до обыска начальству? Все равно вѣдь будутъ въ сохранности, записаны въ книгу, занумерованы и пр. Арестанты въ отвѣтъ только почесывались, или говорили что-нибудь вздорное, чему и сами,

очевидно, плохо вѣрили, въ родѣ того, что начальство очень часто закликаетъ деньги. Только въ каторгѣ, въ тюрьмѣ, понималъ я настоящимъ образомъ, почему арестантъ никогда не промѣняетъ нелегальные деньги на легальные. Онъ глядитъ на нихъ, какъ на послѣднюю тѣнь, своего рода символъ утраченной свободы. Помимо игры въ карты и покупки водки, большинство каторжныхъ изъ чисто-платоническихъ соображеній не отдаетъ начальству всѣхъ своихъ денегъ: хоть двѣ копейки, да постарается затантъ!.. „Пускай пропадутъ лучше, да знаю, что онѣ—мои были“. И такъ говорятъ и дѣлаютъ нерѣдко самые добронравные и благонамѣренные старички, въ руки никогда не берущіе картъ! У одного изъ такихъ старичковъ отняли при обыскѣ пустой, грязный кисетъ и хотѣли бросить въ печку. Тогда онъ съ плачемъ объявилъ, что тамъ есть три рубля.

— Гдѣ-же?—удивился офицеръ, еще разъ обшаривая кисетъ и выворачивая на изнанку. Оказалось, что бумажка была очень искусно, почти виртуозно завита въ тонкую веревочку, служившую для завязыванія кисета.

Подвигаясь впередъ тѣмъ черепашинымъ шагомъ, какимъ обыкновенно ползутъ арестантскія партіи, мы достигли, наконецъ, того пункта Забайкальской дороги, откуда каторжныхъ конвоируютъ не солдаты, а казаки. Въ послѣдніе годы, когда явились перспективы возможныхъ осложненій на востокѣ, слышно, и казаковъ „подтянули“; но въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, эта часть сибирскаго войска (а тѣмъ болѣе конвойныя команды) была лишена почти всякой воинской дисциплины, что сказывалось, разумѣется, и въ болѣе грубости нравовъ. Никогда не забуду одной тяжелой сцены, свидѣтелемъ которой, да отчасти и участникомъ, мнѣ довелось быть послѣ пріемки партіи казаками. Намъ дали очень мало подводъ, а больныхъ и слабыхъ мы имѣли изрядное количество. Въ довершеніе несчастья, конвой тоже разсѣлся, по обыкновенію, на подводахъ. Нѣкоторымъ изъ больныхъ арестантовъ пришлось идти поэтому пѣшкомъ, и одинъ изъ нихъ съ первыхъ же шаговъ началъ отставать и падать. Не въ силахъ сносить такой „безпорядокъ“, самый молодой изъ казаковъ сорвался внезапно съ телеги, подбѣжалъ къ упавшему арестанту и сталъ бить его прикладомъ по чему попало. Партія остановилась.

— За что ты дулишь его, Васька?—спросилъ своего подчи-

неннаго старшій, ковыряя въ носу и съ самымъ безмятежнымъ видомъ сидя на возу съ поклажей.

— Да чего жъ онъ нейдетъ, какъ всѣ?—завопилъ благимъ матомъ Васька, рядовой казакъ, безъ всякихъ нашивокъ, совсѣмъ еще мальчишка, безъ признаковъ растительности на довольно смазливомъ личикѣ.

— Иванъ Егоровичъ!—обратился онъ жалобно къ уряднику:— надо хлопотать о подводахъ. Потому я вѣдь, ей-Богу, прикончу его дорогой, коли онъ такъ идти будетъ!..

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, казакъ такъ принялся потчивать прикладами несчастнаго больного, что тотъ, поднявшись было на ноги, опять со стономъ повалился на землю. Не довольствуясь этимъ, Васька сталъ еще топтать свою жертву ногами. Партія загадѣла, запротестовала... Этого было достаточно, чтобы и самъ старшій, жирный, апатичный ко всему казачина, въ первый моментъ стоявшій даже, повидимому, на сторонѣ больного, внезапно встрепенулся и тоже накинулся на арестантовъ.

— Это что! Бунтъ!?—заревѣлъ онъ, бросаясь съ ружьемъ и кулаками на тѣхъ, которые стояли впереди и казались ему зачинщиками. Тутъ пришлось наблюдать интересное явленіе. Тѣ изъ арестантовъ, что представлялись мнѣ наиболѣе отважными и рѣшительными, сразу замолчали и попрятались за спины товарищей. Особенно поразилъ меня нѣкто Лѣвшинъ, старый бродяга-резонеръ, мужчина атлетическаго сложенія, съ посѣдѣвшей уже бородой и свирѣпыми сѣрыми глазами, въ которыхъ читалась закаленная воля и дерзкая отвага. Вскорѣ послѣ того онъ показалъ себя и дѣйствительно такимъ, совершивъ крайне смѣлый побѣгъ среди бѣла дня, на глазахъ у караульныхъ, которымъ онъ засыпалъ глаза табакомъ... Но это случилось послѣ, уже въ каторгѣ, а теперь онъ стоялъ, повѣсивъ голову, и упорно молчалъ.

— Что-жъ вы молчите, Лѣвшинъ?—шепнулъ я ему:—такъ нельзя этого оставить. Мы недалеко еще отошли отъ мѣста, тамъ начальство. Надо вернуться, пожаловаться... Не бѣда, если и прикладовъ нѣсколько влетитъ.

— Бросьте, баринъ,—зашепталъ мнѣ въ свою очередь старикъ, робко озираясь:—ничего не подѣлаешь... Самому себѣ надо жаловаться.

— Какъ это самому себѣ?

— Такъ. Запомнить, значить, надо. По вольной жизни, коли придется... А тутъ ихъ сила!

Можетъ быть, и правильно рассуждалъ Лѣвшинъ, но тогда, помню, мнѣ не понравились его рѣчи, и я какъ-то сразу охладѣлъ къ своему недавнему еще фавориту. Но чуть-ли не еще больше поразилъ меня полякъ Мацкевичъ, болѣе извѣстный среди кобылки подъ именемъ Кожевникова. Это былъ отчаянный враль и пустозвонъ, къ разсказамъ котораго о его прошломъ, объ этихъ безчисленныхъ походахъ чисто романтическаго характера, невозможно было относиться серьезно. Не знаю, точно-ли зналъ онъ въ старину лучшую жизнь, но теперь, совершенно обрусѣвшій и ошпанѣвшій за двадцать лѣтъ хожденія по Сибири и каторгѣ, онъ былъ яркимъ представителемъ кобылки,—сегодня жиганомъ, завтра майданщикомъ, сегодня артельнымъ старостой, завтра кандидатомъ въ сухарники. Арестанты не долубивали Мацкевича, считая его пустымъ „бóталомъ“, а такіе, какъ Лѣвшинъ, даже и „язычникомъ“. Однако, въ описываемой стычкѣ съ казаками онъ обнаружилъ внезапно такую сторону характера, какой, признаюсь, я совсѣмъ не ожидалъ отъ него. Одинъ изъ всей толпы онъ имѣлъ мужество подойти къ уряднику и громко заявить ему, что „такъ-молъ не годится“. Въ отвѣтъ на это заявленіе, урядникъ размахнулся и со всего плеча ударилъ Мацкевича по лицу, такъ что у того брызнула кровь изъ носу... Мацкевичъ, однако, и тутъ не испугался.

— Что жъ, — сказалъ онъ философически, обтирая полую халата окровавленное лицо,—бейте, ваша воля... А только такъ все-таки не годится—больного сапогами топтать.

Но урядникъ бить больше не сталъ: порывъ энергіи успѣлъ у него пройти и смѣниться вялымъ равнодушіемъ ко всему на свѣтѣ. „Казачишки“ еще покричали, побѣгали, погрозили... Погрозили и мнѣ прикладомъ, когда я тоже „разинулъ“ было ротъ и сталъ „чирикать“, но бить не рѣшились... И, наконецъ, мы тронулись въ путь, посадивъ все-таки больного на подводу. И странное дѣло: эти же самые казаки, только что показавшіе себя въ такомъ звѣрскомъ, возмутительномъ видѣ, потомъ, въ дальнѣйшемъ пути, оказались добродушнѣйшими и милѣйшими малыми! Черезъ какихъ-нибудь два часа времени они успѣли сойтись и почти сдружиться со всей партіей; начались общія

пѣсни, разговоры, шуточки... А тотъ самый Васька, который топталъ ногами больного арестанта и грозился его прикончить, очень мило со мной бесѣдовалъ, обо многомъ разспрашивая, интересуясь разными научными открытіями, тѣмъ, какъ люди хорошо и умно въ другихъ странахъ живутъ, и искренно негодуя на многіе изъ существующихъ у насъ порядковъ. Когда же я напомнилъ ему о недавней сценѣ съ больнымъ и объ его несправедливости, онъ сконфуженно лохматилъ себѣ волосы и говорилъ:

— Горячій я человѣкъ!

Шпанка же и подавно обо всемъ забыла, какъ будто ничего не случилось такого, что не было бы въ порядкѣ вещей. Самъ Мацкевичъ-Кожевниковъ весело заговаривалъ со старшимъ и, по крайней мѣрѣ наружно, ни мало не злобствовалъ.

Заканчивая свои воспоминанія о дорогѣ, скажу прямо, что если бы былъ у меня какой-нибудь заклятый врагъ, и я непременно долженъ бы былъ осудить его на величайшую, по моему мнѣнію, кару, то я избралъ бы путешествіе въ теченіе 3—4 лѣтъ по этапамъ. Осудить на бѣлшій срокъ у меня, право, не хватило бы духу... Да! для интеллигентнаго человѣка нельзя придумать высшаго на землѣ наказанія... Описывая невзгоды и кошмары этапнаго пути, я забылъ подчеркнуть одно еще обстоятельство, которое, быть можетъ, и составляетъ главный его ужасъ и пытку: это необходимость покидать мѣсто, на которомъ вы только что расположились, обогрѣлись и намѣревались отдохнуть; необходимость куда-то и зачѣмъ-то тащиться по грязи и холоду для того только, чтобы вскорѣ опять свить столь же недолговѣчное гнѣздо и опять разрушить его своими же руками! Ничего прочнаго, постояннаго, отраднаго въ этомъ бессмысленномъ, черепашьемъ передвиганіи съ мѣста на мѣсто... И, какъ надъ вѣчнымъ жидомъ, слышится надъ вами каждую минуту властный голосъ, которому нельзя противиться: „Иди! Иди!“ Все это въ душѣ человѣка съ мирными наклонностями способно создавать ужасное, близкое къ отчаянію настроеніе...

Вотъ, наконецъ, и послѣдній этапъ оставили мы за собою. Впереди настоящая, подлинная каторга, тотъ невѣдомый міръ, который поглощаетъ въ себя тысячи людей, тысячи душъ, рѣдко возвращая ихъ свѣту живыми...

Но когда оглянулся я на послѣдній этапъ, на это неуклюжее

зданіе, одиноко торчавшее въ открытомъ полѣ, длинное, сырое, угрюмое, безучастно видѣвшее столько поколѣній людей, изувѣченныхъ, безумныхъ людей, столько напрасныхъ мукъ, слезъ и смертей, я невольно содрогнулся...

ШЕЛАЕВСКІЙ РУДНИКЪ.

I.

Встрѣча.

Въ Нерчинскомъ каторжномъ районѣ сосредоточивается около 10 рудниковъ, гдѣ арестанты отбываютъ сроки своего наказанія. Нѣсколько тюремъ помѣщается на Карѣ—тамъ моютъ золото. Карѣ издавна пользуется среди арестантовъ славою наиболѣе тяжелыхъ работъ: имя „варвара“ Разгильдѣева до сихъ поръ гремитъ по всему Забайкалью, и хотя въ послѣднее время Карійскія каторжныя тюрьмы превратились въ простыя мѣста выси-дочнаго заключенія, гдѣ не только не моютъ золота, но и вообще никакихъ работъ не производятъ,—однако и теперь еще имя „каринца“ окружено нѣкоторымъ ореоломъ. Начинаютъ, впрочемъ, прорываться и ироническія нотки въ отношеніяхъ къ тѣмъ, кто побывалъ на Карѣ.

— Онъ много, братцы, горя видалъ! Онъ на Карѣ былъ!—говорятъ про кого-нибудь и раздражаются гомерическимъ хохотомъ *).

Въ Алгачинскомъ, Зерентуйскомъ, Кадаинскомъ, Покровскомъ, Мальцевскомъ и Акатуйскомъ рудникахъ достаютъ серебряную руду; въ Кутомарѣ плавятъ добытую руду и выдѣляютъ изъ нея серебро. Послѣдняя работа самая тяжелая и нездоровая. Нѣкоторые изъ перечисленныхъ рудниковъ близки къ истощенію и тре-

*) Въ іюнѣ 93 года уничтожена на Карѣ послѣдняя тюрьма; въ Карійскомъ районѣ нѣтъ больше ни одного арестанта. Золотые пріиски отданы въ частныя руки.

буютъ очень мало рабочихъ рукъ. Въ другихъ, напротивъ, почти каждый годъ открываются новыя рудоносныя жилы; туда направляется наибольшее количество арестантовъ, и тамъ строятся огромныя тюрьмы, могущія вмѣщать по тысячѣ человѣкъ. Назначеніе арестанта въ тотъ или другой пунктъ зависитъ всецѣло отъ случая. Меня назначили на Шелай, въ новенькую, только что отстроенную тюрьму, гдѣ могло помѣститься не больше 150 человѣкъ. Рудникъ, къ которому она принадлежала, долгое время заброшенный, теперь только что возобновляли. Доходовъ отъ него въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ нельзя было ожидать, такъ какъ требовались огромныя предварительныя работы для осушенія старыхъ шахтъ и выработокъ; устраивая эту маленькую тюрьму, начальство имѣло въ виду, главнымъ образомъ, произвести опытъ образцовой каторжной тюрьмы, на подобіе заграничныхъ. Въ послѣдніе годы, слышно, во всей Нерчинской каторгѣ заведены тѣ-же порядки, какіе были при мнѣ въ Шелаевской или, какъ говорили въ просторѣчьи, въ Шелайской тюрьмѣ; но въ то время, когда ихъ только что заводили, они являлись для арестантовъ страшилищемъ, какъ что-то новое, никому еще невѣдомое.

— Куда назначены? На Шелай? — спросилъ меня въ Стрѣтенскѣ сѣденькій старичокъ-слесарь, шедшій на поселеніе. — Ну, молитесь Богу! Тамъ для васъ могила!

— А что такое? Развѣ вы слышали что?

— Я тамъ былъ этимъ лѣтомъ на постройкѣ.

Около слесаря собрался кружокъ такихъ же несчастливцевъ, какъ я, назначенныхъ на Шелай.

— Ограда каменная, высокая, — рассказывалъ слесарь: — двойной караулъ, снутри и снаружи; камеры всегда будутъ на замкѣ, день и ночь. Выпускать только на работу будутъ, на повѣрку да на прогулку, и все солдатскимъ строемъ: шагомъ маршъ!.. Ширинками, значить. Обѣдать, спать, работать — на все звонокъ. Смотритель назначенъ изъ военныхъ, штабсъ-капитанъ Лучезаровъ. Ну, словомъ, поддаржись, братцы!.. Картъ, али тамъ водочки-матюшки и поминѣ не будетъ!

— Полно врать, старый хрѣнь! Чтобы нашъ братъ, арестантъ, не примудрился къ самому сатанѣ въ пекло водку и карты пронести? Быка съ рогами протащу! — остановилъ его высокій молодцоватый арестантъ съ длинными, ухарски закрученными усами и

надменнымъ взглядомъ. Слесарь, съ своей стороны, презрительно оглядѣлъ его съ головы до ногъ.

— Увидишь! — сказалъ онъ и, отвернувшись, направился прочь.— Вотъ одно, что хорошо, ребята,—не утерпѣвъ, остановился онъ и заговорилъ снова:—парашекъ у васъ не будетъ. Это точно. При каждой камерѣ особая дверь въ ретирадное мѣсто.

Утѣшеніе это мало, однако, подѣйствовало на меня и моихъ товарищей по несчастью. У каждого невольно ныло сердце, въ ожиданіи безвѣстнаго будущаго.

Въ прекрасный сентябрьскій день, къ полудню, прибыли мы на рѣчку Шелай, на берегу которой стояла новешенькая тюрьма съ бѣлой, какъ снѣгъ, каменной стѣною вокругъ и цѣлымъ рядомъ тѣснившихся по близости строеній для служащихъ и казармъ для казаковъ. Тюрьма находилась въ трехъ верстахъ отъ деревни, въ глубокой и мрачной котловинѣ, со всѣхъ сторонъ огражденной начавшими голѣть сопками, поросшими березой и лиственницей. Не смотря на яркій солнечный день и живописный (говоря безпристрастно) ландшафтъ, послѣдній произвелъ на партію удручающее впечатлѣніе.

— Вотъ такъ Шелай, дьяволъ его валяй!—слышалось повсюду. — Ишь, братцы, въ щель какую насъ загоняють, ровно мышей!

— А вонъ и котъ тутъ, какъ тутъ, на поминѣ легокъ,—съострилъ кто-то, увидавъ статную фигуру, съ тростью въ рукѣ, стоявшую у воротъ тюрьмы. Я разглядѣлъ офицерскую форму и догадался, что это и былъ штабсъ-капитанъ Лучезаровъ. Длинные рыжіе усы на бритомъ красномъ лицѣ были уставлены прямо на насъ и не предвѣщали ничего добраго.

— Смир-р-но!! Шапки до-л-лой!!—крикнулъ, Богъ вѣсть откуда взявшійся, надзиратель. Команда эта была такъ неожиданна, что непривычная къ ней, утомленная шпанка растерялась и далеко не скоро и не единодушно сняла шапки.

— Этто что!?!—загремѣлъ штабсъ-капитанъ, стуча тростью о землю:—не слушаться команды?

— Виноваты, ваше благородіе,—проговорилъ кто-то изъ арестантовъ:—по неопытности, ей-Богу, по неопытности.

— Заморилась, вишь ты, кобылка,—подтвердилъ другой.

— Молчать!!

даю вамъ для отдыха, а затѣмъ милости просимъ на работу. Да вотъ что еще. Въ тюрьмѣ девять камеръ, и каждый изъ васъ долженъ жить въ той, въ которую назначенъ. Слушайте, я прочту списокъ.

И онъ прочелъ списокъ, по которому въ каждую камеру было назначено около двадцати человѣкъ. Я попалъ въ № 4, и сожителями моими были все люди, знакомые мнѣ лишь по фамиліямъ.

— Надзиратели, командуйте теперь на молитву.

— Смирно: на молитву! Шапки долой!

Прочѣли три обычныхъ молитвы: „Царю небесный“, „Отче нашъ“ и „Спаси, Господи, люди твоя“.

— На-кройсь!

— Командуйте расходиться по камерамъ.

Два надзирателя стали по обѣимъ сторонамъ строя, третій въ центрѣ, и всѣ трое закричали почти одновременно:

— 1, 2 и 3 номеръ, на-пра-во!—4, 5, 6 номеръ на-пра-во!—7, 8 и 9 номеръ, на-лѣво!

— 1, 2 и 3 номеръ, въ лѣвыя двери шагомъ ма-аршъ!—4, 5 и 6 номера, въ среднія двери шагомъ маршъ!—7, 8 и 9, въ правыя двери шагомъ маршъ!

Въ головахъ арестантовъ образовалась невообразимая каша: кто поворотился направо, кто налѣво, кто никуда не поворотился и стоялъ на мѣстѣ, тараща глаза, а кто и просто бѣгомъ побѣжалъ къ первымъ попавшимся дверямъ, какъ это принято на этапахъ. Увидавъ первыхъ бѣгущихъ, и вся шпанка поддалась заразительному примѣру: всѣ бросились, очертя голову, куда попало...●

Преслѣдуемая криками надзирателей, кобылка неслась, какъ угорѣлая, и скоро на дворѣ никого не осталось, кромѣ начальника. Надзиратели скрылись въ погонѣ за бѣглецами. Однако, черезъ пять только минутъ удалось снова собрать всѣхъ и выгнать на дворъ.

— Я дѣлаю прежде всего выговоръ надзирателямъ,—громко заговорилъ Лучезаровъ:—слѣдовало сообразить, что списокъ, распредѣляющій арестантовъ по камерамъ, только что былъ имъ прочитанъ, когда они стояли уже въ строю, и потому нелѣпо было, командуя расходиться, упоминать номера.

Надзиратели стояли переконфуженные.

— Теперь постройте арестантовъ отдѣльными взводами, по номерамъ. Каждый изъ нихъ долженъ помнить, кто куда назначенъ.

Надзиратели кинулись исполнять приказаніе, причемъ опять не обошлось безъ путаницы: чуть не половина арестантовъ, особенно изъ татаръ, оказывалось, не знала своихъ номеровъ. Надзиратели совали ихъ наобумъ, куда попало, лишь бы проявить передъ начальникомъ свою расторопность.

— Заморились, ваше благородіе, дайте покой... Въ баньку надуть сходить,—не вытерпѣвъ, громко произнесъ одинъ толстенный арестантъ съ сѣдоватой бородкой.

— Кто говоритъ?!—заоралъ громовымъ голосомъ штабсъ-капитанъ:—отведите его въ карцеръ на трое сутокъ, на хлѣбъ и на воду!

Два надзирателя немедленно повели злосчастнаго выскочку въ карцеръ.

— Если не будете точъ въ точъ исполнять команду, до полночи промору здѣсь. Не получите и бани.

Послѣ такой угрозы все уже обошлось благополучно; команда была выполнена пунктуально.

— Ну, и шестиглазый! Истинно шестиглазый!—бормотали арестанты, расходясь по камерамъ и сообщая другъ другу свои впечатлѣнія:—Самый, что ни есть, пронзительный глазъ. Прямо наскрозъ нашего брата видитъ!—Всѣ остались, впрочемъ, очень довольны тѣмъ, что попало и надзирателямъ.

— Этотъ никому, братъ, спуску не дастъ: молодецъ!..

Съ этихъ поръ за Лучезаровымъ такъ и укоренилось среди арестантовъ прозвище шестиглазаго *).

II.

Первый вечеръ.

Наконецъ-то я спокойно лежу на голыхъ нарахъ послѣ дня, полного столькихъ тревоженій. Изъ сожителей моихъ кто еще

*) Автору напоминали о подобномъ же прозвищѣ тюремнаго смотрителя въ «Запискахъ» Достоевскаго; но ему кажется, что эта мелкая подробность доказываетъ только живучесть преданій, нравовъ и даже остроту описываемой среды, и потому онъ сохраняетъ ее, не опасаясь упрековъ въ подражаніи великому художнику.

разговариваетъ, покуривая трубку, а кто и храпитъ уже; сходили въ баньку, попарились, потомъ напились казенныхъ чайныхъ помоевъ съ хлѣбушкомъ—и довольны. О завтрашнемъ днѣ стараются не думать. Этимъ-то свойствомъ и держится темный человѣкъ, особенно арестантъ. Не обладай онъ счастливой способностью не заглядывать въ будущее—жизнь стала бы не въ моготу. Впрочемъ, видно, что холоду нагналъ Шестиглазый большого: разговариваютъ полупешотомъ, ходятъ въ случаѣ надобности на носкахъ. Да и надзиратели изъ всѣхъ силъ стараются поддержать этотъ страхъ: ежеминутно бѣгаютъ, стуча ключами, по корридору, заглядываютъ въ дверныя форточки. Въ одной изъ камеръ попытались было запѣть („надо быть, молодые ребята!“); мы слышали, какъ тотчасъ же кинулось туда нѣсколько паръ ногъ, какъ раздались грозные оклики—и мгновенно все стихло.

— Ну, и Шелай!—сокрушенно вздыхаетъ мой сосѣдъ Чирокъ, арестантъ лѣтъ подъ сорокъ, съ испытаннымъ блѣднымъ лицомъ, но могучаго сложенія и крѣпкаго еще здоровья. Онъ сидитъ на нарахъ, по турецки сложивъ ноги, посасываетъ папироску и поминутно сплевываетъ на полъ.

— Тутъ издохнешь, въ этой тюрьмѣ, при такой строгости,—поддерживаетъ его красавецъ-бондарь Малаховъ, брюнетъ съ великолѣпной курчавой бородой и маленькими синими глазками. Я вглядываюсь въ Малахова: это тоже атлетъ, въ плечахъ, пожалуй, пошире самого Чирка. Поступь у него увѣренная и правильная; движеніе исполнено достоинства.

— Хм!—фыркаетъ онъ:—подстилки—и тѣ отобрали, на голыхъ нарахъ изволь спать.

— Завтра общали казенные тюфяки выдать.

Малаховъ самъ слышалъ это, но онъ раздраженъ и никакими общаніями удовлетвориться не склоненъ.

— Хм!—продолжаетъ онъ:—образцовая тюрьма... Да гдѣ-жъ справедливость? Почему одного въ Алгачи посылаютъ, въ Покровское или въ Александровскій централъ, гдѣ онъ каторгу, шута, отбудетъ во снѣ да въ ѣдѣ, а другого въ образцовую тюрьму законопатятъ, гдѣ всячески будутъ стязать его, мучить?

— Это не Шелайскій, а прямо шальной рудникъ!—сентенціозно заявляетъ кузнецъ Водянинъ, больше извѣстный подъ прозвищемъ Желѣзнаго Кота. Это маленькій невзрач-

ный человѣчекъ, не первой уже молодости, но бойкій и острый на языкъ. Въ хорошемъ расположеніи духа, онъ постоянно говоритъ созвучіями и рифмами.

— У меня иглоку отобрали,—заявляетъ Чирокъ жалобнымъ голосомъ.

Для Малахова это то же, что масло на огонь. Онъ еще пуще начинаетъ сердиться.

— Какъ же, братецъ, не отобрать? Еще зарѣзаться можешь... Начальство заботится о нашемъ братѣ... Эх-ма! А все, знаешь, кто виноватъ?

— Кто?

— Доктура! Они самые. Все подъ предлогомъ, будто здоровье арестантовъ чистоты и порядка требуетъ. А сами норовятъ, какъ бы больше сюда зацанать, въ мошну, да какъ бы изъ нашего брата получше кровь высосать *)!

— Вѣрно!—поддерживаетъ бондаря Желѣзный Котъ:—эти доктура хуже намъ, чѣмъ мошкара. Та тебя просто заѣстъ, а эти снимутъ и крестъ!

Чирокъ тоже находитъ нужнымъ ополчиться противъ докторовъ и идетъ дальше.

*) По поводу враждебнаго, почти ненавистнаго отношенія арестантовъ къ врачамъ, о которомъ не разъ упоминается въ настоящихъ очеркахъ, считаю нелишнимъ оговориться, что извѣстная доля этого наблюденія, быть можетъ, должна быть приписана и чисто-мѣстнымъ, случайнымъ причинамъ, вродѣ личнаго характера врачебнаго персонала въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ описываемаго времени. Мнѣ самому, напр., прекрасно извѣстно, какой теплой и единодушной любовью пользовался въ 80-хъ годахъ старшій врачъ красноярскаго тюремнаго замка, покойный нынѣ Мажаровъ. «Отецъ родной», «заступникъ»—иначе его и не звали. Даже наиболѣе озлобленные изъ арестантовъ съ удивительною нѣжностью рассказывали многочисленные анекдоты, ходившіе по тюремному міру, объ этомъ необыкновенно добромъ и мягкомъ человѣкѣ, повидимому, глубоко понимавшемъ и любившемъ несчастныхъ питомцевъ каторги, не смотря на то, что былъ онъ уже немолодъ, въ большихъ чинахъ и, конечно, не мало видѣлъ на своемъ вѣку всякихъ художествъ «кобылки»... Но, за всѣмъ тѣмъ, мнѣ думается, что непріязнь къ медицинѣ и ея представителямъ, повидимому, вообще коренится въ нашемъ темномъ народѣ.—достаточно вспомнить о недавнихъ холерныхъ бунтахъ. Въ видѣнныхъ мною тюрьмахъ бывали, конечно, и хорошіе врачи, фельдшера, а принципиально ихъ всетаки ругали и не любили.

— Будь я теперь на волѣ,—говоритъ онъ таинственно,—да попадись мнѣ въ тайгѣ али гдѣ на степѣ дохтуръ, я бы изъ него жилы вымоталъ.

Съ нарѣ поднимается еще одна фигура, лица которой въ вечернемъ полумракѣ я не могу различить. Она поминутно кашляетъ и хватается рукой за грудь.

— Нѣтъ, я бы,—сипитъ она,—я бы зналъ, что съ имъ сдѣлать! Я бы его раздѣлъ до нага, посадилъ въ муравейникъ, привязалъ бы къ дереву и оставилъ такъ.

— А я бы,—воскликаетъ новая личность, Яшка Первановъ,—я бы чиновъ и званія его рѣшилъ!

Замѣчаніе это вызываетъ всеобщую веселость и одобреніе. Одинъ только я не понялъ въ то время соли этого циничнаго предложенія... Вообще, въ этотъ вечеръ я впервые находился въ такой тѣсной близости съ арестантами. До сихъ поръ я жилъ на этажахъ въ отдѣльномъ помѣщеніи, въ одиночествѣ или въ обществѣ подобныхъ мнѣ интеллигентовъ; но теперь, совершенно отрѣзанный отъ всякаго иного, высшаго міра и самъ подвергнутый полной нивелировкѣ съ этими отверженцами человѣческаго общества, теперь я поневолѣ долженъ былъ стать въ другія отношенія съ ними, сдѣлаться для нихъ братомъ, товарищемъ. Съ первыхъ дней каторги я готовился къ этому; однако, до сихъ поръ благоприятныя обстоятельства отдаляли рѣшительную минуту, и самъ я, понятно, не шелъ навстрѣчу печальной необходимости. Сегодня, впервые испивъ горькую чашу настоящаго каторжника, впервые почувствовавъ себя приниженнымъ и зашумленнымъ, я съ большимъ чѣмъ прежде любопытствомъ приглядывался къ своимъ собратьямъ по несчастію. Раньше я тоже приглядывался, но скорѣе какъ туристъ, баринъ, посторонній наблюдатель; теперь я искалъ въ душѣ этихъ людей, лежавшихъ бокъ-о-бокъ со мною, почти прикасаясь ко мнѣ тѣлами, того же настроенія и тѣхъ же ощущеній, какія находилъ въ себѣ. Раздѣленное горе вѣдь легче переносится, чѣмъ переживаемое въ одиночку... Вотъ почему изъ своего уголка я съ жадностью прислушивался къ ихъ разговорамъ и съ жадностью ловилъ каждое слово, которое находило бы откликъ въ моемъ сердцѣ. Мысль, что я не одинъ, что подлѣ меня живутъ и движутся такъ же мыслящія, чувствующія и страдающія существа, такъ же близко принимающія къ сердцу обиды, и тѣ же самыя обиды,

какія и я,—надежда встрѣтить здѣсь такихъ людей согрѣвала и утѣшала меня...

Разговоръ продолжался. Малаховъ вспоминалъ жизнь въ По-кровскомъ рудникѣ.

— Вотъ жизнь, такъ жизнь! На волѣ иной такъ не живетъ. Никакихъ этихъ строгостей и инструкцій не было и въ поминѣ, а кому отъ того хуже было? Кто когда оскорбилъ смотрителя или надзирателя? Сама кобылка блюла за порядкомъ, потому—понимали. И когда прѣзжала какая ревизія или тамъ кто, все находилось на своемъ мѣстѣ: карты, водку, ножи, деньги такъ припрятывали, что, случалось, и самъ хозяинъ потомъ не отыщеть. Ей-Богу! Просто, какъ братья родные, жили съ надзирателями. Они съ нами тутъ же и чай пили, и водочку и штоссъ случалось, закладывали. Вотъ, ей-Богу, не вру! Смотритель былъ Шолсеинъ *) по фамиліи; мы его чухной все звали. Надо быть, изъ нѣмцевъ, хотя по-руски хорошо говорилъ; присюсюкивалъ только малость—языкъ ровно недоклепанъ былъ. Чухна—тотъ, бывало, ни во что не вязался, даже и въ казарму къ намъ рѣдко, бывало, заглядывалъ. А если и придетъ когда на повѣрку, такъ смѣхъ одинъ. Этихъ разныхъ командъ или тамъ строевъ въ поминѣ не было. Зайдетъ въ камеру.—„Ну, ты, дитю (всѣхъ „дитю“ называлъ!)... Лежи, лежи, дитю, я не слѣпой вѣдь, и такъ вижу. А ты тамъ подъ нарами, дитю, ты ножкой только подрывай, чтобъ я видѣлъ, живой ли ты... Ну, что? Всѣ? Лишнихъ тоже нѣтъ? За ночь никто не ожеребился?“ Кобылка: ха-ха-ха!—и онъ тоже смѣется, заливается... Вотъ это я понимаю! Это значитъ—человѣчечное отношеніе! Ну, случалось, конечно, и вспеть иному, не безъ того. Такъ за дѣло вѣдь, а не такъ чтобы что!.. Не за шапку, что не во время снялъ, а въ надѣлъ. Разъ пришелъ, помню, съ обыскомъ. „Ну, что, дѣти, ножи есть? Мнѣ покажите только—не отберу. Лишь бы не скрывали, да не очень чтобъ большіе были“. Мы всѣ, у кого были, показали. У меня чуть не въ поларшина длиной былъ,—и то отговорился: я, молъ, ваше благородіе, мастеровой—бондарь, мнѣ нельзя съ маленькимъ обойтись.—„Только не порѣжся, говорить, дитю... Что-жъ, ни у кого больше нѣтъ? Староста, нѣтъ больше въ камерѣ ножей?“ Васька Косой подлетаетъ:—нѣтъ, говорить ваше благородіе!—„Ручаешься?“—

*) Сольштейнъ.

Ручаюсь. — „Собственной кожей ручаешься?“ — Вполнѣ, говорить. — Чухна привсталъ, протянулъ руку къ полочкѣ (ровно будто зналъ!), пошарилъ — и цопъ! достаетъ ножикъ чуть-ли еще не моего больше... „Это, говорить, какъ же, дитю? Разложите-ка его, каналью, всыпьте ему, мерзавцу, пятьдесятъ горячихъ, чтобъ впередъ не ручался!“ Разложили мы тутъ же Косого и всыпали... Я самъ ему хорошихъ штукъ пять влѣпилъ! Потому — за дѣло собачьему сыну!

— Вѣстимо, — подтвердили слушатели: — не ручайся въ другой разъ... Не могъ онъ развѣ сказать: какъ, молъ, могу я ваше благородіе, за всю камеру заручиться? Ищите, молъ, сами... Ничего-бъ ему тогда и не было!

Всѣ рѣшили послѣ этого единогласно, что жизнь въ другихъ рудникахъ не жизнь, а рай, просто умирать не надо (впослѣдствіи я слыхалъ, однако, отъ этихъ же самыхъ людей и другого рода отзвѣвы). Опять принялись ругать Шелайскую образцовую тюрьму.

— Да что онъ возьметъ, что онъ возьметъ съ насъ? — завопилъ вдругъ, точно кому возражая, смиренный обыкновенно Чирокъ: — Лѣнь мнѣ, что ли, шапку-то лишній разъ снять, али повернуться, куда онъ велитъ? Полинаю я, что-ли, съ этого? Да я готовъ ему весь день въ поясъ кланяться — отваяжись только, сатана!.. Какъ я былъ арестантъ, такъ имъ и останусь. И ничего онъ съ меня не возьметъ!

— Что за шумъ? Чего горланите? — раздался вдругъ окликъ надзирателя у дверного оконца: — Не слышали развѣ — барабанъ зорю пробилъ? Въ девять часовъ по инструкціи полагается спать ложиться.

Чирокъ испуганно нырнулъ подъ свой халатъ. Вся камера, болѣе или менѣ поспѣшно, последовала его примѣру. Одинъ Малаховъ остался сидѣть на нарахъ и, на видъ равнодушно, выколачивалъ золу изъ своей трубки.

— Ты, большая голова, чего сидишь? Сказано — ложиться! — крикнулъ на него надзиратель.

— А если сна нѣтъ, кто укажетъ мнѣ ложиться? — спросилъ онъ дѣланно-спокойнымъ голосомъ, въ которомъ слышалось однако волненіе.

— Не разговаривать, ложиться!

— Говорю, сна нѣтъ. Ежели бы я шумѣлъ — тогда другое дѣло. а что я не сплю, такъ на это Богъ, а не инструкція.

— А! ты говоришь мастеръ? Ну, ладно, завтра потолкуемъ.

И надзиратель отошелъ прочь. Все затихло въ камерѣ. Кое-кто пытался выразить Малахову сочувствіе, ворча изъ-подъ халата, но самъ Малаховъ хранилъ злобное молчаніе. Онъ посидѣлъ еще минутъ пять, все продолжая выколачивать золу изъ трубки, въ которой давно уже ничего не было, и тоже, наконецъ, легъ, тяжело вздыхая. Вскорѣ послѣ того надзиратель опять подошелъ къ двери, но, увидавъ, что все идетъ теперь согласно инструкціи, что арестанты лежатъ, и камера, слабо озаренная керосиновой лампой, погружена въ мертвое безмолвіе, удалился. Скоро я услышалъ, что всѣ захрапѣли, не исключая и красавца-бондаря. Но мнѣ долго еще не спалось. Я думалъ... Думалъ о томъ, куда попалъ и что меня ждетъ впереди; но больше всего мучила меня мысль объ одиночествѣ среди этой массы людей, объ исключительности моего положенія. Уже одного сегодняшняго вечера и только что слышанныхъ разговоровъ было достаточно, чтобы понять, какая громадная разниа существовала во взглядахъ на жизнь и на человѣческое достоинство между ними и мною, образованнымъ человѣкомъ. Невольно приходилъ въ голову вопросъ: гдѣ легче жилось бы и чувствовалось мнѣ—въ Покровскомъ, подъ отеческой фѣрулой столь прославляемаго ими „чухны Шолсеина“, который приглашалъ бы меня „подрыгать ножкой“ и освѣдомлялся бы о томъ, „не ожеребился ли“ я за ночь, или же здѣсь, во власти „Шестиглазаго“, у котораго все идетъ „согласно инструкціи“, формалистически-строга и бездушно-машинально?.. Смогу ли я, кромѣ того, понять и полюбить своихъ сожителей? Можетъ ли кто изъ нихъ посочувствовать мнѣ? Какія въ концѣ концовъ отношенія у насъ установятся? Мнѣ представлялось яснымъ, какъ божій день, что если я и не приобрету ихъ ненависти, то все-таки буду жить и чувствовать себя вполне безконечно-одинокимъ, что буду нести сравнительно съ ними двойную, тысячекратную каторгу...

Сонъ не шелъ. Душа болѣла и претестовала противъ чего-то. Противъ чего? Я и самъ не отдавалъ себѣ въ этомъ отчета. И въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ уста невольно шептали молитву: „Боже, милосердый Боже! Дай мнѣ силу и мужество безъ страха глядѣть въ лицо ожидающей меня доли; дай силу все вынести и дожидаться вождѣннаго дня свободы!“

III.

Впечатлѣнія и знакомства перваго дня.

Что за странный шумъ? Что за крики? Ужъ не потопъ ли, не пожаръ ли? — думаю я во снѣ, но пробудиться нѣтъ силъ; глаза не въ состояніи разомкнуться—такъ слиплись. Но вотъ, кто-то съ сердцемъ сдергиваетъ съ меня халатъ, и я вскакиваю: передо мной усатое лицо надзирателя.

— Вставай на повѣрку! Чего нѣжияшься, ровно дворянинъ какой?

— Да онъ дворянинъ и есть, — хихикаетъ кто-то изъ арестантовъ.

— Можетъ, и былъ, а теперь всѣ каторжные. Вишь разоспались, черти! Звонка не слыхали, свистка не слыхали. Правила висятъ на стѣнѣ, надо прочитать было. Дворяне есть, а грамотныхъ нѣтъ, что ли? По свистку обязаны немедленно вставать, умываться и облокачаться, а какъ только отворять дверь, выходить на дворъ и строиться. Ну, вылазьте!

Заспанная шпанка торопилась умыться. Всѣ толпились въ отхожемъ мѣстѣ, гдѣ съ помощью одного лишь глотка воды каждый ухитрялся умытъ себѣ и лицо, и руки надъ парашей. Это происходило вовсе не ради экономіи воды и не потому, что опоздали и торопились: нѣтъ, таковъ обычай арестантовъ—вкуса къ размываніямъ у нихъ нѣтъ. Въмѣсто полотенцевъ утирались той же рубахой, которая была на тѣлѣ. Вотъ, наконецъ, натянули на себя халаты, нахлобучили шапки и, выйдя на дворъ, построились въ двѣ шеренги. На дворѣ почти совсѣмъ темно еще—шестой часъ въ началѣ. Время близится къ октябрю, и въ утреннемъ воздухѣ чувствуется изрядная свѣжесть; къ тому же, у всѣхъ бритыя головы. Я невольно думаю о томъ, что утрення повѣрка на дворѣ скверная вещь... Проходить вѣрныхъ десять минутъ, пока съ помощью криковъ и угрозъ надзирателямъ удастся выволочь, наконецъ, изъ камеръ всѣхъ арестантовъ. Тогда только начали насъ пересчитывать. Но въ ариметикѣ дежурный надзиратель былъ, видимо, слабъ, потому что два раза понадобилось ему обойти ряды, чтобы смекнуть, сколько онъ насчиталъ. Къ насчитанному числу, съ помощью другихъ надзирателей, въ теченіе добрыхъ пяти минутъ прикладывалъ онъ

кухонную прислугу и арестантовъ, положенныхъ въ больницу. Вышелъ споръ. Рѣшили, что одного всетаки не хватаетъ. Еще разъ пересчитали насъ. Вышло столько же, сколько и прежде. Тогда двое надзирателей бросились, какъ угорѣлые, въ камеры, и вотъ нѣсколько минутъ спустя, съ бранью и подталкиваньями въ шею, пригнали оттуда какого-то заспаннаго и ковылявшаго съ ноги на ногу стариченку. Скомандовали на молитву, пропѣли, что слѣдуетъ. Думали, что затѣмъ уже немедленно позволятъ разойтись, но одинъ изъ надзирателей объявилъ громогласно слѣдующее:

— За споръ съ надзирателемъ начальникъ приказалъ посадить Парамона Малахова въ карецъ на однѣ сутки и объявить арестантамъ, чтобы они не иначе обращались къ надзирателямъ, какъ со словами: „господинъ надзиратель“.

Малахова повели тотчасъ-же въ карцеръ.

— Направо и налѣво! Шагомъ маршъ!

Мы вернулись въ камеры, и тамъ сейчасъ же опять были заперты на замокъ. Однихъ только камерныхъ старостъ выпустили въ кухню за чаемъ. Принесли ведро такого же жидкаго, какъ вчера, кирпичнаго чаю и стали пить. Такъ какъ свои чашки имѣлись не у всѣхъ, а казенныхъ еще не выдали, то по нѣскольку человѣкъ пили изъ одной, а кто и просто ложкой хлебалъ изъ ведра. Принесли и хлѣба. На каждого приходился паекъ въ 2½ фунта (въ рабочіе дни 3 ф.); нашлись такіе ѣдоки, что сразу же и прикончили свои порціи. Я самъ такъ былъ голоденъ, что съѣлъ съ чаемъ добрую половину пайка. Начали опять ругать Шелайскую тюрьму.

— Ну, и тюрьма! Счастливъ тотъ человѣкъ, кому срокъ не великъ. Тутъ замрешь.

— Въ канцерѣ сгноять.

— Да и безъ канцера пропадешь. Ты какъ жилъ на Покровскомъ-то? Тамъ у тебя всегда табачокъ былъ, и молочка, и мяса прикупывалъ. А здѣсь ты на какія же купила купишь?

Я рѣшился полюбопытствовать, откуда же въ Покровскомъ брались у арестантовъ деньги.

Высокій, богатырскаго сложенія старикъ съ рыжевато-сѣдыми бакенбардами, Гончаровъ по фамиліи, видимо былъ обрадованъ тѣмъ, что я нарушилъ молчаніе, которое упорно до тѣхъ поръ хранилъ, и оживленно началъ объяснять мнѣ.

— Вотъ, видите ли, въ чемъ дѣло,—началь онъ...

Но тутъ я долженъ сдѣлать прежде небольшое примѣчаніе. Почти всѣ арестанты, съ которыми мнѣ приходилось сталкиваться въ дорогѣ, за исключеніемъ самыхъ развѣ мужиковатыхъ и просто-душныхъ, обращались со мною на „вы“. Съ прибытіемъ въ Шелайскую тюрьму, я имѣлъ въ виду начать совершенно новую жизнь, вполне слиться съ арестантской средой, потонуть въ ней; но эти мечты съ первыхъ же дней какъ-то сами собою разбились. Не смотря на то, что изъ пришедшихъ со мной въ тюрьму не было почти никого, кто сопутствовалъ бы мнѣ въ дорогѣ до Стрѣтенска, и что въ самое послѣднее время я никакими видимыми привилегіями не пользовался, я, какъ былъ, такъ и остался въ глазахъ всѣхъ „баринѣмъ“. Сначала я недоумѣвалъ, стараясь объяснить себѣ это странное и непріятное для меня явленіе пословицею „слухѣмъ земля полнится“, но вскорѣ понялъ, что главная причина лежала все-таки во мнѣ самомъ. Во-первыхъ, самъ я каждому арестанту говорилъ „вы“, какъ-бы низко ни стоялъ онъ въ глазахъ самихъ его товарищей. У многихъ арестантовъ, особенно изъ городскихъ, тоже есть подобная замашка: первые пять минутъ или даже весь первый день знакомства *вы-кать* своему сосѣду; но ни одинъ изъ нихъ долго не выдерживаетъ этого искуса, и черезъ нѣкоторое время вчерашніе изысканновѣжливые джентльмены уже съ усердіемъ поминаютъ родителей другъ друга... Вотъ почему всегда какъ-то смѣшно слышать выканье между арестантами. Иначе было со мной. Самъ того не замѣчая, я постоянно говорилъ „вы“ даже и тѣмъ изъ нихъ, которые мнѣ тыкали. Ни одного браннаго слова также никто не слыхалъ отъ меня; я былъ всегда предупредителенъ и услужливъ; однимъ словомъ, я велъ себя въ каторгѣ точь въ точь такъ же, какъ велъ бы себя и на паркетѣ гостинной. Наконецъ, всѣ видѣли, что я „ученый“, что у меня есть книжки, что я „все знаю“, и ко мнѣ можно обратиться за совѣтомъ въ самомъ сложномъ юридическомъ вопросѣ. Конечно, не меньшую роль играли въ отношеніяхъ ко мнѣ шпанки и деньги... Ходилъ даже преувеличенный слухъ о количествѣ получаемыхъ мною изъ дому суммъ; каждый видѣлъ, что у меня всегда есть и табакъ, и все, что можно купить въ тюрьмѣ, и что никому ни въ чемъ я никогда не отказываю,—напротивъ, нерѣдко даже самъ предлагаю „одолжаться“. Въ Шелайской тюрьмѣ, гдѣ матеріальныя

обстоятельства арестантовъ были особенно стѣсненные, одолженія эти по-неволѣ должны были принять самыя широкіе размѣры. Въ результатъ всего этого получилось то, чего я первоначально не желалъ: случайно кто-то узналъ мое отчество, и вотъ скоро вся тюрьма не иначе меня звала, какъ Николаичемъ или даже Иваномъ Николаичемъ; встрѣчаясь въ узкомъ корридорѣ, передо мной сторонились; со мной чрезвычайно вѣжливо раскланивались; на работахъ старались поставить меня на самое легкое мѣсто, или же прямо помогали мнѣ, и отказаться отъ этой помощи значило бы иногда нанести тяжкое оскорбленіе. Наконецъ, камерный староста (пока я не замѣтилъ этого и не запретилъ) выдѣлялъ мнѣ лучшую порцію мяса... Впрочемъ, я тутъ же долженъ оговориться, что для большинства тюрьмы (въ общемъ относившейся ко мнѣ, какъ одинъ человѣкъ) этотъ корыстный элементъ имѣлъ, такъ сказать, идеальное только значеніе, такъ какъ само собою разумѣется, что прямую выгоду могли получать отъ меня лишь очень немногіе, жившіе, главнымъ образомъ, въ одной со мной камерѣ, а между тѣмъ обратныя услуги и помощь я получалъ рѣшительно ото всѣхъ. Однако, я слишкомъ далеко забѣжалъ впередъ. Вернемся къ начатому объясненію Гончарова.

— Видите ли, въ чемъ дѣло,—заговорилъ словоохотливый старикъ:—тамъ, на Покровскомъ, дають старательскія.

— Это что же такое?

— Работа рудничная за плату такъ зовется,—сверхъ, значить, казенныхъ урѣдѣвъ. На казенной работѣ, безо всякой то-есть корысти, только чтобы розогъ али карцера не заслужить, сами скажите—зачѣмъ стану я изъ всѣхъ жилъ тянуться? Да наплевать мнѣ на ихъ работу! Я лучше такъ просижу на отвалѣ *), али нарочно даже испорчу то, что другой уже сдѣлалъ и сдалъ нарядчику. Сробилъ мало-мало, что нужно, и сижу, трубку курю. Вотъ посмотрѣли бы вы, какъ пудовку тамъ собирали. Пудовкой бадейка такая махонькая зовется—три пуда пятнадцать фунтовъ каменье въ нее входитъ. Набери въ нее серебряной руды изъ старыхъ отваловъ—вотъ и урокъ. Времени на это не мало надо. Ну, и пускаешься на обманъ. На низъ-то пудовки наложешь простого свинцоваго блеску, чтобъ только значило, будто серебро, а сверху

*) Отваломъ зовется мѣсто, куда сваливаются глыбы вывезеннаго изъ штольни или шахты камня.

и съ боковъ настоящей руды натрусишь. Живой это рукой собираешь и несешь сдавать. Нарядчикъ видитъ, что сверху руда, и доволенъ. Ведетъ тебя въ амбаръ, гдѣ руду сыпаютъ въ кучу. Только сыпать-то не зря тоже надо, а съ толкомъ. А то другой, знаешь, бултыхъ все смаху—нарядчикъ и примѣтитъ, что внизу блескъ одинъ. „Стой, мерзавецъ, что дѣлаешь!“ Приходится тогда выкручиваться: самъ, молъ, обманулся, плохо еще различать научился руду отъ блеска. Ну, а меня, къ примѣру, стараго подлепа и мошенника, не надо учить, какъ сдѣлать! Мы не этакихъ обогтусовъ крутить умѣли... Я въ пудовку-то не то что блеску—простого камчадалу *) напихаю, снизу только да по бокамъ и сверху немного настоящей руды натрушу. И такимъ манеромъ высыплю, что у него, помни, только въ глазахъ засверкаетъ! Будетъ, какъ дуракъ, ротъ разиня, стоять... А то еще проще сдѣлаешь. Лѣнь мнѣ, знаешь, по отвалу на колѣнкахъ ползать; штаны рвать да по зернышку, какъ курица, клевать. Вотъ и заберусь я рано-рано утромъ въ забой, гдѣ только что выпалка была, и дыму еще не продохнешь. Тамъ руды, разумѣется, пропасть, самой настоящей. Ну, безъ огня, конечно, бродишь, а то словятъ,—въ шею накомтыляютъ!.. Наберешь тамъ въ пять минутъ сколько душѣ твоей угодно, иной разъ и въ запасъ еще гдѣ-нибудь въ старыхъ выработкахъ припрятешь. Разъ, впрочемъ, поймалъ-таки меня Измаилка-нарядчикъ. Слышу, бѣжить съ фонаремъ, кричитъ не своимъ голосомъ: „Ты что тутъ, мерзавецъ, дѣлаешь?“ Только я и тутъ маху не далъ, не на такого, братъ, попалъ! Накинулъ рубаху на голову и бросился ему навстрѣчу, какъ оглашенный! Фонарь у него задулъ и самого съ ногъ сшибъ... Еле выбрался оттуда старикъ изъ тьмы кромѣшной; объ камень, сердешный, лобъ разбилъ... Приходить въ свѣтличку, кряхтитъ, охаетъ, оглядываетъ насъ. А я ужъ тамъ стою, какъ ни въ чемъ не бывало, среди прочихъ арестантовъ, ровно бы дѣломъ занятъ—дощечку какую-то стругаю... „Это кто же изъ васъ, чертей, говоритъ, фонарь у меня задулъ? Хотъ бы такъ убѣждалъ, варваръ, а то, вишь, какъ зашибъ и перепугалъ на смерть. Не иначе, какъ ты это, Петрушка Семеновъ, али ты, старый чортъ?“ Это на меня, то есть, указываетъ... Мы съ Петькой божимся, отрещиваемся, а сами смѣемся про себя. Такъ и

*) Такъ выговариваютъ арестанты слово колчеданъ; кварцъ на ихъ языкѣ «шкварецъ», а то и прѣмло—«скворецъ».

Прим. авт.

отдѣлались. Чудной парень этотъ Измаилка. Не вредный онъ для нашего брата.

— Вотъ съ буреньемъ тоже чистый смѣхъ былъ. Казеннаго уркъу десять верховъ выдолбить полагается, а въ мягкой породѣ и всѣхъ двѣнадцать. А надѣлѣ мы выбуривали три-четыре, много—семь верховъ. Потому охоты ни у кого нѣтъ даромъ робить.

— А развѣ не взыскивали?

— Да какъ же со всѣхъ взыщешь? Ну, конечно, если замѣтитъ нарядчикъ, что ты ужъ форменный лодырѣ, тогда посылаетъ къ смотрителю съ запиской. Вотъ присылаетъ разъ Измаилка Сеньку Безпалаго къ чухнѣ. Тотъ читаетъ записку. „Ты что же, говорить, дитю, плохо работаешь? Нарядчикъ жалуется, что всего два вершка выбурилъ, а нужно десять“.—Никакъ невозможно, ваше благородіе,—отвѣчаетъ Сенька:—кобылка просто руки всѣ покалѣчила объ этотъ забой. Какъ сталь, жесткая порода!—„Ну, ладно, говорить, дитю, я погляжу. Пошлю завтра на это мѣсто самыхъ здоровыхъ во всемъ рудникѣ ребятъ“. И точно, посылаетъ Гришку Хохла съ Ванькой Жиганомъ. Тѣ возьми, да и отхватай по полтора вершка — нарочно, вѣстимо. „Ну,—говорить чухна,—коли ужъ эти не могли больше выбурить,—значить, камень желѣзо чистое. Я васъ, говорить, дѣти, не выдамъ“. Беретъ бумагу и пишетъ горному уставщику, что для этого, молъ, забоя не станеть больше давать людей, такъ какъ въ немъ народъ шибко изнуряется... И помни: вѣдь такъ этотъ забой и закрыли!.. Вотъ видить горное вѣдомство, что на казенныхъ уркахъ далеко не уѣдешь, а серебряная руда покровская, между тѣмъ, первый сортъ: втапоры ей одной, почитай, все дѣло держалось. Ну, и учредили старательскія. Опредѣлили намъ жалованье: столько-то рублей за кубическую сажень выработки. И, Боже ты мой! Откуда тогда что взялось! И люди, и сила и охота бурить. Сдѣлаешь сначала казенный урокъ (сполна десять верховъ), а потомъ, не переводя духу, отбухаешь еще двадцать старательскихъ! И помни за то: у каждаго и табачокъ былъ, и молочко и водочка... И въ карты хватало поиграть. Ничего не имѣлъ тотъ развѣ, кто работать не хотѣлъ. Малаховъ, наприимѣръ, тотъ весь день спалъ, за то и жилъ голодомъ.

— Почему голодомъ жилъ? А казенная пища?

— Казенное мясо онъ за табакъ продавалъ. Да и какая-жъ ѣда казенная баланда!

— Но почему же онъ не работалъ? Вѣдь онъ, кажется, здоровый человѣкъ.

— Медвѣдя повалить... Да просто не хотѣлъ... Лѣнь-то, по словица говорить, прежде насъ родилась.

— Зачѣмъ! Зачѣмъ пустяки говорить!—закричалъ вдругъ безмолвно слушавшій до тѣхъ поръ Чирокъ:—вотъ не люблю этого. Парамонъ—справедливый человѣкъ. Онъ не любитъ попрековъ этихъ да самохвальствъ, которые при дѣлежкѣ идутъ: тотъ больше, тотъ меньше сробилъ... У насъ, знаете: все вѣдь Иванцы да хамства... А Парамонъ этого не любитъ! Онъ справедливый человѣкъ. Покамѣстъ работалъ-то онъ, такъ супротивъ его никого не было. Онъ по тридцати верховъ тамъ выбуривалъ, гдѣ на казенномъ урѣ Гришка Хохоль съ Ванькой Жиганомъ по полтора отмочили. Справедливый человѣкъ Парамонъ—вотъ и бросилъ.

— Затвердилъ одно, какъ сорока: справедливый да справедливый! А чего ты самъ-то понимаешь въ этомъ дѣлѣ? Ты вѣдь и не буривалъ, почестъ, никогда! Ты всю свою каторгу въ причендалахъ отжилъ—то прачкой, то баньщикомъ, то больничнымъ служителемъ.

— Да ни дна тебѣ, ни покрышки! Бестыжіе шары твои! Нашелъ чѣмъ попрекать: причендаломъ я, вишь, былъ... А были-ль у тебя, какъ у меня, руки такъ надсажены? Ты самъ сейчасъ сказывалъ, какъ ты работалъ-то, а у меня звонъ вся кожа съ пальцевъ послазила, паршивыя ваши рубашки стирамши! Въ шары только наплевать тебѣ стоитъ, глотъ енисейскій!

— Чего лаешься, чего ты лаешься, пермякъ, соленныя уши? Ишь, хайло-то разинулъ! Что ты видѣлъ въ своей Пермѣ? Что ты знаешь, что понимаешь?

— Ты много знаешь, много горя видѣлъ, челдонъ желторотый!..

— Ну, я-то не желторотый, положимъ: пятьдесятъ третій годъ на свѣтѣ живу, видалъ кое-что и знаю. А вотъ, что ты-то знаешь, такъ то я забывать уже сталъ!

Я понялъ, что теперь интересныя для меня темы на время исчерпаны, что будетъ тянуться безконечная перебранка, и ушелъ на свое мѣсто, въ уголъ камеры. Впослѣдствіи я узналъ, однако, что такія перебранки рѣдко кончаются въ арестанской средѣ потасовками; мнѣ кажется, даже рѣже, чѣмъ въ культурной средѣ... Нельзя сказать, чтобы это объяснялось отсутствіемъ у арестан-

товъ самолюбія. О! я видалъ страшныя вспышки самолюбія, когда дѣло касалось отношеній съ такимъ человѣкомъ, котораго они считали въ чемъ-нибудь выше себя... Тогда оказывалось у нихъ такое тонкое чутье къ обидѣ, какое не всегда сыщешь и у интеллигентныхъ людей. Другое дѣло между собою, со своимъ братомъ. У меня волосы становились порой дыбомъ отъ ужасныхъ ругательствъ, которыми они осыпали другъ друга: не было такого грубаго слова, такого обиднаго словеснаго оборота, которымъ они не старались бы уязвить противника; не только ему самому, но и матери, и отцу и землякамъ его доставалось! Мнѣ думалось, что послѣ такого крупнаго разговора соперникамъ ничего больше не остается, какъ разойтись кровными, непримиримыми врагами... И что-же? Черезъ какой-нибудь день, а иногда и часъ, я видѣлъ ихъ опять мирно и дружелюбно бесѣдующими. Переходъ въ неговореніе, такъ часто имѣющій мѣсто въ образованной средѣ, для нихъ совершенно непонятная и невозможная вещь. Самая страшная перебранка для нихъ, въ сущности, не что иное, какъ пустое словопреніе, своего рода артистическій турниръ. Бываютъ, конечно, какъ вездѣ и во всемъ, свои исключенія; но повторяю что за нѣсколько лѣтъ моего пребыванія въ Шелайскомъ рудникѣ не больше двухъ-трехъ разъ пришлось мнѣ наблюдать потасовки и мордобои, причиной которыхъ были словесныя оскорбленія *). За то рѣдки между арестантами явленія и другого сорта, случаи тѣсной и нѣжной дружбы. Каждый глядитъ на cadaго не какъ на товарища по бѣдѣ, а скорѣе, какъ волкъ на волка, врагъ на врага... Самое слово „товарищъ“—къ мѣсту сказать, одно изъ самыхъ любимыхъ арестантскихъ словъ,—выражаетъ, въ сущности, очень немногое: товарищами зовутся люди, пьющіе и ѣдящіе вмѣстѣ, изъ одной посуды. Но такія экономическія связи происходятъ большею частью случайно. Слово „другъ“ еще меньше осмысливается.

Ссора Чирка и Гончарова была, между тѣмъ, прервана появленіемъ надзирателя, объявившаго, что старостой въ нашей камерѣ назначается старичокъ Гандоринъ, который и вчера уже исполнялъ временно эту должность. Затѣмъ надзиратель предло-

*) Есть два только бранныхъ слова въ арестантскомъ словарѣ, нерѣдко бывающихъ причиной дракъ и даже убійствъ въ тюрьмахъ: одно изъ нихъ (сука) обозначаетъ шпиона, другое—мужчину, который беретъ на себя роль женщины.

жилъ камерѣ высказаться, кого желаетъ она выбрать общеар-
тельнымъ старостой, прачками, парашниками, хлѣбопеками. На-
чалось галдѣнье. Назывались все мало знакомыя мнѣ фамиліи.
Изъ нашего номера предложили Кузьму Чирка въ прачки, а Яшку
Перванова (онъ-же Тарбаганъ) въ парашники.

— Тебѣ, Яша, ужъ не впервой этимъ дѣломъ займаться,
этотъ спиртъ по твоему носу... Да и ты тоже, Чирокъ, къ бабьему
положенію привыченъ. Знай себѣ, наволоки постирывай!

— Вотъ дуракъ, какое слово сказалъ! За него-бъ тебѣ плюхъ
надавать надо.

— Ну, ну! — прикрикнулъ надзиратель: — въ старосты кого
хотите?

Всѣ переглянулись между собой и помолчали немного. Гон-
чаровъ первый указалъ на меня.

— Вотъ они у насъ грамотные, да и люди совѣтъ особаго
рода. Кривизны ужъ никакой не будетъ...

— Николапча, Николапча въ старосты! — загалдѣлъ весь но-
меръ. Но я замахалъ, что называется, и руками, и ногами.

— Увольте, господа! Мнѣ неудобно...

Пытались уговаривать меня, но я наотрѣзъ отказался *). Къ
великому моему удивленію, и въ большинствѣ другихъ номеровъ
въ первую голову называли меня; а я такъ наивно предполагалъ,
что большинство не знаетъ и о самомъ моемъ существованіи!

*) Одинъ изъ критиковъ настоящей книги нашепъ, что въ этомъ именно
отказѣ и заключалась наиболѣе крупная ошибка Ивана Николаевича. Не
будь этой ошибки и не будь избранъ въ старосты Юхоревъ, не было бы,
по его мнѣнію, и тѣхъ непріятностей, какія описаны авторомъ во II томѣ.
Но мнѣніе это показываетъ только, что почтенный критикъ не вникъ въ
сущность положенія и не уяснилъ себѣ мотивовъ отказа Ив. Ник., отнюдь
не бывшихъ капризомъ или желаніемъ покоя: Ивану Никол. нравственно
невозможно было взять на себя права и обязанности старосты уголовной
тюрьмы, — званія, неизбежно сопряженнаго со всякаго рода столкновеніями
съ начальствомъ, униженіями, компромиссами и пр. Не говорю уже о томъ,
что начальство и не утвердило бы, конечно, подобнаго избранія... Но даже
случись невозможное — будь И. Н. избранъ и утвержденъ, что бы изъ этого
могло выйти? Только то, что недоразумѣнія между нимъ и кобылкой нача-
лись бы значительно раньше, и ему все равно пришлось бы очень скоро
отказаться отъ неподходящей къ его положенію должности. — Автору каза-
лось раньше, что все это понятно само собою, но теперь онъ счелъ не-
лишнимъ высказаться яснѣе.

Надзиратель вездѣ объявлялъ, что я ужъ отказался, и потому, погалдѣвъ и поспоривъ нѣкоторое время, сошлись на нѣкоемъ Колпаковѣ, молодомъ развязномъ парнѣ изъ червонныхъ валетовъ. Колпакова, впрочемъ, Лучезаровъ не утвердилъ, и въ старосты выбранъ былъ другой арестантъ, нѣкто Юхоревъ.

Между тѣмъ, старикъ Гандоринъ принесъ изъ кухни небольшой бакъ съ „крошонкой“, т. е. съ мелко наръзаннымъ мясомъ, полагавшимся на двадцать человѣкъ нашей камеры. На каждого арестанта въ нерабочій день отпускалось 32 золотника сырого мяса, а въ рабочій 48 золотниковъ. За часъ или за полтора до раздачи обѣда поваръ въ присутствіи общаго старосты и дневальнаго вынималъ мясо изъ котла, освобождалъ его отъ костей и разрѣзалъ на столѣ большими ножами на мелкіе кусочки. Затѣмъ староста раскладывалъ эту „крошонку“ въ десять бачковъ по числу камеръ (кухня считалась за камеру) и живущаго въ нихъ народа. Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, чистыми.

Камерные старосты уносили бачки въ свои номера, и тамъ происходила вторичная раскладка.

Съ невольнымъ омерзѣніемъ смотрѣлъ я, какъ плюгавый старикашка Гандоринъ, не помывъ даже рукъ, размѣщалъ на грязномъ столѣ (который онъ обтеръ, впрочемъ, своей шапкой) двадцать мясныхъ кучекъ. Съ рукъ его текло сало; кромѣ того, и изъ носа у него текла подозрительная жидкость, которую онъ принужденъ былъ ежеминутно вытирать тою же салною рукою. Отъ этого вскорѣ и носъ его, и губы получили глянцевитый видъ. Старичокъ отличался, видимо, большой добросовѣстностью: ему все казалось, что одна кучка больше, другая меньше, чѣмъ слѣдуетъ, и онъ долго возился, перекладывая изъ одной кучки въ другую по ниточкѣ мяса. Меня чуть не вырвало при видѣ этой отталкивающей операціи... Я легъ на нары и отвернулся къ стѣнѣ. Но дѣлежка была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порціи. Голодъ, какъ говорится, не тетка, и, прождавъ нѣкоторое время, я тоже подошелъ взять свою долю. Меня удивила ея скромная величина: счетомъ было ровно пять кусочковъ мяса, каждый съ наперстокъ величиною, и изъ этого числа половина состояла изъ неудобныхъ для жеванія сухожилій. Я попытствовался спросить, столько ли дается мяса въ другихъ рудникахъ.

— По закону вездѣ одно и то же полагается, — отвѣчалъ словоохотливый Гончаровъ:—только... это ужъ отъ нашего брата зависить, чтобъ все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая вотъ порція: разъ, два, три, четыре... Что-же! шесть кусочковъ у меня. Это еще слава Богу! Въ нерабочій день можно быть сытымъ. А въ другихъ тюрьмахъ, гдѣ нашей кобылкѣ полная воля дана, повѣрите ли, такой порціи и въ свѣтлый Христовъ день не получишь!

— Почему же такъ? Коли тамъ ваша воля,—значить, начальство тамъ ужъ не обманетъ васъ.

Всѣ засмѣялись надъ моею наивностью. Гончаровъ тоже хихикнулъ и помолчалъ немного.

— Какъ вы судите по робячьи!—сказалъ онъ, наконецъ:—да нашъ братъ, кобылка, хуже начальства. Начальство-то у меня не украдетъ, потому я самъ мошенникъ. А свой украдетъ. А не онъ у меня украдетъ, такъ я у него! На то мы и мошенники...

— Кто же мясо крадетъ?

— Кто!.. Да развѣ тамъ мало причендаловъ, на кухнѣ-то? Старосты, повара, дневальные, костогрызы...

— Это что за костогрызы?

— Которые кости грызутъ: жиганы, которые проигрались, и ѣсть нечего. Порцію-то свою иной за мѣсяцъ впередъ спустить. Ну, и толчется въ кухнѣ, когда мясо крошатъ. Иваны тоже у старосты и у поваровъ покупаютъ.

— А какъ же я слышалъ, будто у арестантовъ строго преслѣдуется воровство въ тюрьмѣ, у своего брата?

— Это точно. Самымъ послѣднимъ человѣкомъ тотъ считается у насъ, кто у своихъ же воруетъ—табакъ тамъ, али сахаръ. И помни: ежели поймаютъ вора въ тюрьмѣ, до смерти заколотятъ! Я самъ всю жизнь воромъ былъ, чего таяться? Первой степени подлецъ и разбойникъ былъ; ну, а въ тюрьмѣ... Тутъ я честный человѣкъ и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажетъ, что я вотъ хоть съ-эстолько укралъ когда у своего брата-арестанта!

— А развѣ не такое же воровство—красть у артели мясо?

— Нѣтъ, это разныя вещи! У насъ это воровствомъ не считается.

— Какое же это воровство?—подтвердилъ Чарокъ съ видомъ глубокаго убѣжденія:—тутъ съ общаго согласу. Въ старосты на

поправку идутъ... А то изъ-за чего-жъ и стараться? Артель съ тѣмъ и выбираетъ. Никакого тутъ воровства нѣту.

— Вѣстимо, нѣту,—хорожъ проговорила вся камера. Одинъ Гончаровъ, какъ показалось мнѣ, хитро посмѣивался, куря свою трубку. Меня заинтересовала эта странная арестантская логика.

— Да вѣдь сами-жъ вы жалуетесь,—сказалъ я,—что казенный обѣдъ въ другихъ тюрьмахъ настоящіе помой? Вѣдь этакъ нельзя жить цѣлые годы: замрешь!

— Тамъ не замрешь!—отвѣчалъ мой собесѣдникъ:—тамъ у каждаго есть деньги. Тамъ я къ казенной-то баландѣ за грѣхъ считалъ и притронуться. И баланду, и кашу въ Покровскомъ у насъ цѣлыми ушатами надзирательскимъ свиньямъ относили.

— Хорошо, если есть старательскія,—не унимался я,—но не во всѣхъ вѣдь рудникахъ онѣ есть, да и работать тамъ могутъ только самые сильные.

— Да развѣ только старательскія однѣ! Вы нашего брата еще не знаете, вы, какъ дитѣ малое: все-то вамъ разжуй, да въ ротъ положи...

— И то еще скажетъ: ложь!—сриемовалъ Желѣзный Котъ.

— У насъ много доходныхъ статей, и каждый можетъ найти свою точку. Кто въ карты выиграетъ, кто на стрѣмѣ постоитъ, надзирателя покараулитъ,—за это тоже свою долю получить; кто водкой торгуетъ, кто изъ семейныхъ пирожками, молокомъ, кто карты у себя держитъ. Да, Боже ты мой! Мало ли сколько изворотовъ найдетъ смекалистая башка! Прачка—тотъ пелотенце мнѣ выстираетъ, я ему заплачу сколько-нибудь должить, потому это не казенная работа. Другой болѣзнъ какую измыслить себѣ, въ больницу ляжетъ: молоко, али мясо продастъ за нѣсколько дней—вотъ на табачишко и есть. А проигрался въ пухъ и прахъ—казенную вещь можно спустить. Ну, конечно, шкурой иногда платиться приходится: такъ вѣдь это нашему брату то же, что въ банѣ попариться... Ха-ха-ха! Еще въ пользу идетъ—кровь разгоняетъ... Такимъ вотъ манеромъ и живутъ. Есть, положимъ, въ тюрьмѣ двѣсти цѣлковыхъ—они такъ и идутъ изъ рукъ въ руки колесомъ, не залеживаются долго у одного. Всѣ на нихъ и кормятся.

Эта любопытная финансовая теорія была прервана звонкомъ на обѣдъ, полагавшимся въ одиннадцать часовъ утра грохотомъ замка и появленіемъ Гандорина съ огромны

щей въ рукахъ, знаменитой арестантской „баланды“. Мнѣ она показалась чистѣйшими помоями: немного крупы въ грязной водѣ, немного капусты, нѣсколько неочищенныхъ картофелинъ, множество таракановъ и ни капли навару. Да и откуда могъ взяться наваръ, если арестанты вынимали мясо изъ котла, едва давъ ему свариться, такъ какъ въ противномъ случаѣ оно стало бы расплзаться, и никакая дѣлежка на порціи была бы невозможна. Однако, сожителю мой единогласно похвалили Шелайскую баланду и опростали до дна весь бакъ. Обстоятельство это сильно заставило меня усомниться въ ихъ разсказахъ о райскомъ житіи въ другихъ тюрьмахъ. Гончаровъ, словно, угадалъ мои мысли и, ложась на нары, опять заговорилъ:

— Хороша-то она, хороша, только ежели на ней одной сидѣть, такъ долго не протянешь. А придется, видно, сидѣть. Вотъ въ этой тюрьмѣ, и мы скажемъ, большой былъ бы грѣхъ у артели воровать. Потому послѣднія крохи... Ни откуда больше не достанешь.

— Вѣстимо, ни откуда!—уныло подтвердилъ Чирокъ и добавилъ, подходя ко мнѣ:—Позвольте табачку на папирску.

За нимъ безмолвно потянулись къ моему кيسету Тарбаганъ и другіе. Совершивъ это священнодѣйствіе, всѣ легли на нары и, казалось, погрузились въ созерцаніе предстоящаго горькаго будущаго. Все замолчало, и скоро въ камерѣ послышался дружный храпъ. Это насталъ послѣобѣденный отдыхъ. Въ пять часовъ раздался звонокъ на ужинъ. Принесли размазню изъ гречневой крупы, жидкую, какъ супъ, и невыразимо-отвратительную на вкусъ; долгое время, пока не выработалась привычка, мнѣ слышался въ ней запахъ псины... Вскорѣ же послѣ ужина подали вечерній чай. Въ шесть часовъ камеры отперли для вечерней повѣрки. По корридору раздался оглушительный свистокъ, за которымъ слѣдовалъ взволнованный крикъ надзирателя:

— Вылазь на повѣрку! Скорѣ стройся на дворъ, самъ начальникъ будетъ!

Напуганные всѣмъ предшествовавшимъ, арестанты впопыхахъ надѣвали халаты и, сломя голову, толкая одинъ другого, бѣжали во дворъ, гдѣ и строились въ два ряда, камера отдѣльно отъ камеры. Дежурный надзиратель, въ бѣлыхъ перчаткахъ, бѣгалъ вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, дѣлалъ намъ предварительный счетъ. Наконецъ, ударилъ звонокъ. Старшій

дежурный, стоявшій за воротами, крикнулъ сквозь рѣшетку: „Идешь!“ Всѣ всколыхнулись, какъ море, откашлялись, высморкались—и стихли, замерли, точно вкопанные. Сквозь рѣшетчатые ворота видно было, какъ стоявшіе правдою казаки испуганно побѣжали съ улицы въ караулку... И вотъ, подъ ворота вступила крупная фигура Шестиглазаго, въ накинутой на плечи шинели и съ тростью въ рукѣ, окруженная свитой надзирателей. Видно и слышно было, какъ старшій надзиратель поспѣшно побѣжалъ къ нему и, сдѣлавъ подъ козырекъ, произнесъ рапортъ: „Господинъ начальникъ, при Шелаевскомъ рудникѣ все обстоитъ благополучно; въ тюрьмѣ находится...“ Дальше нельзя было раз- слышать. Замокъ загремѣлъ, ворота распахнулись.

— Смир-р-но!! Шапки дол-л-ой!!—скомандовалъ стоявшій передъ строемъ дежурный такимъ зычнымъ голосомъ, что затрепетало бы и неробкое сердце.

Бритыя головы моментально обнажились.

— Шапки надѣть.

— На-кр-ройсь!!—Шапки очутились на головахъ. Дежурный быстрыми шагами подлетѣлъ къ медленно подплывавшему Лучезарову и, сдѣлавъ подъ козырекъ, отрапортовалъ скороговоркой:

— Господинъ начальникъ! Въ Шелаевской тюрьмѣ все обстоитъ благополучно, въ строю находится 170 человѣкъ, въ лазаретѣ 8, арестованныхъ 2.

— Здравствуйте!—благодушно привѣтствовалъ его начальникъ, опуская руку, которую во время доклада тоже держалъ у козырька.

— Здравія желаемъ, ваше благородіе!—гаркнули было кое-кто изъ арестантовъ, не понявъ, что это привѣтствіе относилось не къ нимъ.

— Здравія желаю, господинъ начальникъ!—отвѣчалъ подобострастно надзиратель и быстро отскочилъ въ сторону.

— Здорово, братцы!—возвышая голосъ и ближе подходя къ строю, произнесъ Лучезаровъ.

— Здравствія желаемъ, господинъ начальникъ!—грянули, словно воспрянувшіе отъ тяжкаго сна, братцы; эхо далеко пронеслось за стѣны тюрьмы и долетѣло до самыхъ сопокъ.

— Командуйте на молитву.

— На молитву! Шапки до-л-ой!

Арестантскій хоръ, ставшій по заранѣе сдѣланному распоря-

женію въ серединѣ строя, пропѣлъ довольно стройно и громогласно обычныя молитвы.

— На-кройсь!

Шапки опять опустились на головы. Минуты двѣ Шестиглазый стоялъ, безмолвно оглядывая арестантовъ, которые были ни живы, ни мертвы.

— Вотъ что!—началъ онъ повелительнымъ голосомъ.—Сегодня, съ моего дозволенія, вы выбрали общаго старосту, поваровъ и другихъ артельныхъ служителей. Пускай же они знаютъ (да и вы всѣ знайте!), что я не потерплю въ моей тюрьмѣ воровства. За каждый случай замѣченнаго мошенничества въ кухнѣ, въ больницѣ или на другой артельной должности я буду отдавать виновныхъ подъ судъ. Не говорю уже о томъ, что воровать у своихъ товарищей, даже съ вашей арестантской точки зрѣнія, позоръ и стыдъ. Знайте, сверхъ того, что, кромѣ отпускаемыхъ на котель казенныхъ продуктовъ, я ничего пропускать въ тюрьму не буду. Чай, сахаръ и табакъ можете выписывать на свои деньги только одинъ разъ въ недѣлю и не больше, какъ въ назначенныхъ мною размѣрахъ на одного человѣка. Никакихъ майдановъ я не допущу. Частныхъ улучшеній пищи также не дозволю. Не дозволю, чтобъ одни ѣли лучше, или хуже другихъ! Другія тюрьмы мнѣ не указъ. Шелайская тюрьма—образцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтобъ она не на бумагѣ только была каторжной. Каторжный режимъ, по моему глубокому убѣжденію, долженъ быть также и пищевымъ режимомъ. Впрочемъ, если кто хочетъ, можетъ отдавать свои деньги на улучшеніе пищи для всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантовъ по камерамъ!

— Первые три номера, направо!—Средніе три номера, по лѣвому оборота направо!—Послѣдніе три номера, налево!

— Шагомъ ма-аршъ!

Арестанты церемоніальной поступью и въ строгомъ порядкѣ разошлись по своимъ мѣстамъ, потихоньку толкуя между собой о „прижимѣ насчетъ пищи“, который посулилъ имъ Шестиглазый.

— Такъ, братцы мои, и рѣжетъ прямо въ глаза: „У меня, говорить, настоящій каторжный прижимъ будетъ“.

Но церемонія дня этимъ не кончилась. Въ камерахъ приказали тоже выстроиться въ двѣ шеренги. Шестиглазый обходилъ камеры и производилъ вторичный, окончательный счетъ. Въ каждой камерѣ, при появленіи его, надзиратель кричалъ: „Смирно!“

и, страшно скосивъ глаза, рапортовалъ: „Двадцать человѣкъ, господинъ начальникъ!“

Наконецъ, дверь захлопнулась, замокъ щелкнулъ, и мы, оглушенные, отуманенные всѣмъ этимъ громомъ и блескомъ, одурѣвшіе, остались одни.

— Ну-ну!—резюмировалъ общее настроеніе Гончаровъ.

— О, Господи, Владыко живота моего!—простоналъ старикашка Гандоринъ и, дѣйствительно, схватился за животъ, заболѣвшій у него со страху... Это всѣхъ разсмѣшило, и тишина прервалась общимъ разговоромъ. Но я не слушалъ его и, улегшись въ своемъ углу, старался успокоиться и собраться съ мыслями.

IV.

На шарманкѣ.

Слѣдующіе два дня, назначенные для отдыха, прошли, какъ двѣ капли воды, похожіе одинъ на другой. Разница была только въ разговорахъ арестантовъ между собою, да въ томъ, что второй день былъ постный, среда, и потому мяса въ баландѣ совсѣмъ не было. Впрочемъ, не религіозными; очевидно, соображеніями руководилось начальство, учреждая въ каторгѣ два постныхъ дня въ недѣлю, потому что сало для капи и въ эти дни отпускалось. Такая странность особенно бросалась въ глаза въ Великомъ посту, когда арестантовъ заставляютъ поститься цѣлыхъ три недѣли (причемъ на одной изъ нихъ происходитъ говѣнье), и все это время угощаютъ пустой баландой съ саломъ. Кромѣ постовъ по средамъ и пятницамъ, въ Шелайской тюрьмѣ еще два раза въ недѣлю отпускалось, вмѣсто мяса, такъ называемое осердіе, или, по арестантскому произношенію, „усердіе“, т. е. печенка, брюшина и легкія. Порція выходила нѣсколько больше обыкновенной, но за то весьма лишь неприхотливый желудокъ могъ ѣсть это „фальшивое“, какъ говорили арестанты, мясо: скользкія, какъ жаба, легкія, плохо вымытая брюшина, отдававшая своими естественными ароматами, съ трудомъ лѣзли мнѣ въ горло. Такимъ образомъ, ѣсть настоящее, не фальшивое мясо приходилось только три раза въ недѣлю—и, ознакомившись покороче съ пищевымъ режимомъ Шелайской тюрьмы, я съ невольнымъ ужасомъ помышлялъ о нѣсколькихъ годахъ, которые предстояло мнѣ про-

вести въ ней. „Тутъ замрешь!“ твердилъ я про себя арестантскую поговорку...

На вечерней повѣркѣ второго дня по-прежнему присутствовали самъ Лучезаровъ, но никакихъ рѣчей больше не держалъ. Вечеромъ третьяго дня старшій надзиратель обошелъ ряды, приглашая арестантовъ объявить свои ремесла и мастерства. Сначала всѣ молчали, потомъ начали поталкивать полегоньку одинъ другого: „Иди, Андрюшка... Можетъ, заработаешь что на табачишко... Знаешь вѣдь, какая тюрьма здѣсь“. Водянинъ изъ нашей камеры первый вызвался въ кузнецы и, назвавшись по фамиліи, вынулъся было изъ шеренги.

— Не выходить изъ строя! Стоять на мѣстѣ! Руки по швамъ!— кинулось къ нему нѣсколько надзирателей. Желѣзный Котъ быстро юркнулъ въ ряды.

— Еще кто? Молотобойцемъ кто можетъ быть?

Изъ нашей же камеры вызвался нѣкто Ефимовъ.

Малаховъ, уже выпущенный изъ карцера, назвался бондаремъ. Изъ другихъ камеръ нашлись плотники, столяры, пильщики, слесаря, сапожники. Послѣ этого дежурный прочиталъ нарядъ на работы. Тутъ была группа назначенныхъ для рытья какой-то канавы, для постройки зимовья, для возки воды и дровъ и, наконецъ,— горныхъ рабочихъ. Съ невольнымъ замираніемъ сердца ждалъ я, куда попадетъ моя фамилія, и былъ душевно радъ, когда услышалъ ее въ числѣ назначенныхъ въ гору, какъ потому, что желалъ познакомиться именно съ рудничными работами, такъ и потому, что всѣ остальные, хотя и болѣе легкія, казались мнѣ какъ то менѣ почетными... Прочитавъ нарядъ, надзиратель объявилъ назначеннымъ въ гору, что, въ виду дальности разстоянія ея отъ тюрьмы и неудобства возвращенія на обѣдъ, они будутъ ходить туда на одинъ „уповодъ“, и потому могутъ брать съ собою хлѣбъ и котелки для варки чая.

Шпанка весь вечеръ волновалась. Сидѣть безвыходно подъ замкомъ успѣло уже надоѣсть, и всѣмъ чрезвычайно нравилась перспектива предстоящей перемѣны. Обсуждали также вопросъ о томъ, будетъ ли въ Шелайскомъ рудникѣ выдаваться „почтенеіе“,—такъ выговаривали слово „поощреніе“. По словамъ арестантовъ, мастеровымъ, работавшимъ въ рудникѣ, шли отъ горнаго вѣдомства какія-то деньги: кузнецу пять рублей въ мѣсяцъ, дневальному и крѣпильщику по четыре рубля и т. п. Ужасно инте-

рессовались также вопросомъ о томъ, что за зимовье хотѣтъ строить. Гнусавый человѣкъ, предлагавшій сажать докторовъ въ муравейникъ, заговорилъ таинственнымъ шепотомъ: „Я знаю... Для вольной команды“.

— Для какой вольной команды? Чего плетешь?

— Не плету, а знаю... Выпускать скоро будутъ... Вѣдь ужъ многимъ строкѣ то покончилисъ. Вонъ Андрюшкѣ Повару, Парамону, Тарбагану, Пестрову Ромашкѣ, Летунову, Скоропадову...

— Такъ-то оно такъ. Только будутъ-ли здѣсь выпущать-то? Образцовая вѣдь тюрьма-то...

— Будутъ... Я тебѣ говорю!

— Да откуда-то знаешь ты, гнусъ проклятый? Съ нами же тутъ всѣ дни подъ замкомъ сидѣлъ.

— Ужъ знаю, мое дѣло... Отъ надзирателя слышалъ!

— Что и за гнусъ у насъ, братцы! Это не гнусъ, а прямо два съ боку. Съ нимъ и вѣдомостей не надо.

Я поглядѣлъ на гнуса. Все лицо его сіяло довольной и вмѣстѣ лукавой усмѣшкой; длинные рыжіе усы шевелились, какъ у таракана, чахоточная грудь дышала прерывисто и часто. Высказавъ свою сенсационную новость, онъ улегся на нары и попрежнему замолкъ.

Начались безконечные разговоры о томъ, кому и когда выходить въ вольную команду. Я полюбопытствовалъ спросить, кто пойдетъ изъ нашей камеры въ гору. Оказалось, что только одинъ Гончаровъ и его землякъ-товарищъ Петрушка Семеновъ, молодой геркулесъ, отличавшійся угрюмой молчаливостью. Кузнецъ и молотобоецъ для горы назначены были изъ другихъ номеровъ; Желѣзный Котъ и Ефимовъ оставлялись при тюремной кузницѣ. Чирокъ подалъ мнѣ благой совѣтъ выспаться хорошенько передъ работой, и я, послушавшись, немедленно легъ и уснулъ, какъ убитый. На слѣдующій день я проснулся еще задолго до свистка, подаваемого за двадцать минутъ до того, какъ отворяютъ камеры на повѣрку. Одѣлся, умылся, снова прилегъ и успѣлъ еще немного соснуть, пока загремѣли, наконецъ, двери и раздался обычный окликъ: „Вылазь на повѣрку!“ Слѣдовательно, было пять часовъ утра. Въ шесть часовъ, когда кончилось утреннее чаепитіе, раздался второй звонокъ у воротъ, а въ корридорахъ тюрьмы оглушительный свистокъ и крикъ надзирателя:

— На работу! На работу! Стройся на дворѣ группами, куда назначенъ.

Всѣ хлынули на дворъ, отыскивая своихъ. Я наглядѣлъ моихъ богатырей, Гончарова и Семенова, и сталъ позади одного изъ нихъ. У каждого горнаго рабочаго была за пазухой холщевая онучка съ ломтемъ хлѣба и чайной чашкой; у нѣкоторыхъ, кромѣ того, котелки. Сначала вызвали за ворота тѣхъ, которые были назначены для рытья канавы, затѣмъ плотниковъ и позже всѣхъ горную группу. За ворота насъ выпускали по одному человѣку, причемъ тутъ же обыскивали, ощупывая всю одежду съ головы до ногъ. На плацу передъ тюрьмой вторично велѣли построиться и окружили густымъ конвоемъ казаковъ. Нѣсколько разъ пересчитали. Старшій конвойный расписался въ дежурной комнатѣ, что принялъ тридцать пять арестантовъ. Затѣмъ раздалась команда надзирателя, который долженъ былъ сопровождать насъ въ гору:

— Полоборота на-пра-во! По четыре человѣка въ рядъ! Шагомъ маршъ!

И кобылка, очертя голову, полетѣла въ невѣдомую даль,—куда бы то ни было, лишь бы подальше отъ тюрьмы, лишь бы на что-нибудь новое, хотя бы это новое было и въ десять разъ горше...

Сначала дорога опускалась внизъ. Повсюду кругомъ желтѣла мелкая таежная поросль, молодая лиственница, жидкая береза, тальникъ, кусты богунника и шиповника, а по всему горизонту высоко поднимались то совершенно голыя, то покрытыя такимъ же кустарникомъ сопки. Мы не знали, въ которой изъ нихъ помѣщается Шелайскій рудникъ. По слухамъ, всѣ шелайскія горы были изрыты шахтами и прорѣзаны штольнями. Мѣстность эта была полна смутныхъ и даже страшныхъ легендъ. Указывали на одну изъ сопокъ и говорили, что тридцать лѣтъ назадъ тамъ случился обвалъ, отъ котораго погибло больше шестидесяти человѣкъ каторжныхъ.

— Это скрываютъ, конечно,—разсказывалъ немолодой уже арестантъ съ сухимъ, какъ щепка, лицомъ и бойкими черными глазами:—скрываютъ, чтобъ не запугивать нашего брата. Ну, да мы-то знаемъ!

— И ничего-то ты не знаешь!—возразилъ ему надзиратель, шедшій рядомъ и слышавшій разговоръ:—завалить обваломъ дѣйствительно завалило, только не здѣсь, а въ Алгачахъ.

— А алгачинскій нарядчикъ тоже сказываетъ, что, молъ, не у насъ, а въ Шелайскомъ.

— Не можетъ этого быть. Алгачинскій нарядчикъ, Степанъ Ивановичъ, мнѣ родной дядя. Кому же изъ насъ лучше знать?

— Можетъ быть, вы и лучше знаете,—супротивъ этого я не спорю,—только начальство вамъ самимъ приказываетъ скрывать отъ насъ.

— Для чего же скрывать?

— А для того, что—знай это кабылка, никого бы тогда и въ гору не загнать!

— Врешь, старикъ! Загнали бы, захотѣли. Вѣдь, вотъ ты же знаешь, говоришь, а гонять тебя—и идешь.

Старикъ пересталъ спорить, но долго что-то ворчалъ про себя. Арестанты были, видимо, на сторонѣ своего брата. Многіе мнѣ подмигивали и шептали:

— Какую пулю отмочилъ? Да насъ, братъ, не проведешь. Знаемъ мы вашу змѣйную породу!

— Во! Во!—дернулъ меня кто-то за рукавъ:—смотри-косъ, Николаичъ.—Я оглянулся влѣво, по направленію къ указанной сопкѣ, и могъ только разглядѣть нѣсколько огромныхъ кучъ наваленныхъ камеѣевъ и чернѣвшія мѣстами ямы.

— Это что за ямы?—спросилъ я.

— Шахты.

— Здѣсь и былъ обвалъ?

— А кто е знаетъ; може, и здѣсь.

Дорога начинала подниматься въ гору. Пройдя съ четверть версты, я почувствовалъ, что задыхаюсь, и невольно закричалъ на сибирскомъ нарѣчій: „Легче!“ Надзиратель объявилъ привалъ. Отдохнувъ минутъ пять, снова тронулись въ путь. Подниматься становилось все труднѣе и труднѣе. Но уже недалеко была свѣтличка, небольшой домикъ, въ которомъ жилъ рудничный сторожъ и гдѣ должна была производиться раскомандировка арестантовъ по работамъ. Тутъ же стояла и кузница. Ввалившись всей толпой въ свѣтличку, мы увидали дряхлаго, подслѣповатаго старичка съ гривой сѣдыхъ нечесанныхъ волосъ и лохмотьями на плечахъ. Острый носикъ его, казалось, вынюхивалъ воздухъ; также и глазки, не смотря на старческую тусклость, производили впечатлѣніе лукавства, того, что называется себѣ на умѣ. Это былъ горный сторожъ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ нарядчикъ, плотный, р-----

мужикъ, одѣтый въ плисовые черные шаровары и поношенную поддевку съ краснымъ кушакомъ. Звали его Петръ Петровичъ. Онъ немедленно началъ спрашивать каждого изъ насъ, кто какую работу знаетъ; но я подмѣтилъ, что всѣ, даже и бывалые, старались увѣрить его, что въ первый разъ въ глаза видятъ рудникъ. Нашлись, впрочемъ, кузнецъ и плотникъ (крѣпильщикъ), открывшіе наканунѣ свои ремесла тюремному начальству. Изъ дальнѣйшаго разговора я очень мало понялъ; слышалъ только, что меня назначили на какую-то „шарманку“.

— Это что же такое?—спросилъ я съ недоумѣніемъ у Гончарова. Мнѣ пришло въ голову—ужъ не шутятъ-ли надо мною.

— Да вы не беспокойтесь! Съ вами Петька Семеновъ назначенъ, онъ все вамъ объяснить и укажетъ.

— А вы сами развѣ въ другое мѣсто?

— Я тутъ остаюсь нарядчику сани дѣлать.

Я подошелъ къ Семенову и узналъ отъ него, что мы пойдемъ на самую верхнюю шахту воду откачивать.

— А шарманка-то какъ же?..

— Это и есть шарманка—воду откачивать,—улыбнулся Семеновъ, показавъ два ряда ослѣпительно-бѣлыхъ зубовъ.

Я въ первый разъ вглядѣлся въ его лицо и, признаюсь, съ трудомъ могъ оторваться. Угрюмое и жесткое въ обыкновенное время, — озаряясь улыбкой, оно плѣняло чисто-дѣтскимъ простодушіемъ; сѣрые глаза, въ глубинѣ которыхъ таилась недобрая сила, блистали тогда довѣрчивостью и располагающей мягкостью.

— Сколько вамъ лѣтъ, Семеновъ?—невольно полюбопытствовалъ я, залюбовавшись его улыбкой.

Улыбка сразу исчезла, какъ солнце за налетѣвшими тучами.

— Двадцать восемь,—отвѣтилъ онъ нехотя и отошелъ прочь.

Наблюдая за нимъ издали, я видѣлъ опять только серьезное, холодное лицо и насупленные брови. Небольшіе, едва замѣтные усики придавали нижней части лица, вообще очень красиваго и энергичнаго, какой-то непріятный, животный характеръ. Лобъ у Семенова былъ большой, совершенно четырехугольный; высокій ростъ и желѣзные мускулы рукъ дорисовывали фигуру. Каждый разъ мнѣ чувствовалось не по себѣ, когда я глядѣлъ въ эти сѣрые, большіе глаза: казалось, они глядѣли не прямо на васъ, а, пронизывая пасквозь, видѣли что-то за вашей спиной, и являлось

инстинктивное опасеніе, что вотъ-вотъ схватитъ васъ за затылокъ желѣзная рука и моментально сорветъ кожу съ черепа... Я далъ себѣ слово узнать поближе этого человѣка, въ душѣ котораго, несомнѣнно, жилъ какой-то демонъ.

Всходить на верхнюю шахту было еще тяжелѣе; гора поднималась все круче и круче, и на пространствѣ семи сотъ шаговъ мы отдыхали, по крайней мѣрѣ, пять разъ. Впрочемъ, пятеро назначенныхъ вмѣстѣ со мной арестантовъ сами, повидимому, не чувствовали потребности въ роздыхахъ и дѣлали это лишь ради меня. При этомъ всѣ они были обременены тяжестью: одинъ несъ громадный толстый канатъ изъ морской травы, вѣсившій не меньше трехъ-четырехъ пудовъ; другой—деревянные носилки; еще двое по тяжелой бадьѣ, окованной желѣзными обручами; наконецъ, пятый желѣзную балду въ полпуда вѣсомъ, топоръ, кайлу и нѣсколько кирокъ. Я же несъ только пустое ведро для чаепитія и хлѣбъ. Когда мы добрались, наконецъ, до мѣста назначенія, сердце у меня билось, какъ птица въ клѣткѣ; задыхаясь, упалъ я на землю и такъ пролежалъ нѣсколько минутъ, пока пришелъ въ себя. Тогда только я съ любопытствомъ оглядѣлся вокругъ. Мы сидѣли возлѣ большого деревяннаго строенія, имѣвшаго форму конуса или колпака, вышиной около пяти сажень, прикрывавшаго собою входъ въ шахту. По бокамъ его были двѣ двери, запертыя на замокъ; старшій конвойный отомкнулъ ихъ. Два казака немедленно стали съ ружьями по обѣимъ сторонамъ колпака, а пятеро другихъ начали разводить костеръ.

Я взглянулъ внизъ. Въ глубинѣ котловины сверкала ограда Шелайской тюрьмы; самый зоркій глазъ едва могъ бы различить черныя точки часовыхъ, проходившія по ея ослѣпительно-бѣлому фону; около тюрьмы чернѣло много другихъ строеній, производившихъ массою дымившихся въ утреннемъ воздухѣ трубъ впечатлѣніе цѣлаго маленькаго городка. Значительно выше, окруженная болотомъ, виднѣлась горная свѣтличка, изъ которой мы только что вышли. Еще выше, нѣсколько въ сторонѣ, стоялъ красивый домикъ уставщика Монахова, завѣдывавшаго Шелайскимъ рудникомъ. Прямо подъ нашими ногами возвышались, одинъ за другимъ, два такихъ-же, какъ нашъ, деревянныхъ колпака, прикрывавшихъ другія двѣ шахты—среднюю и нижнюю. Во время пути, подъ вліяніемъ страшной одышки, я и не замѣтилъ ихъ. Всѣ три шахты находились на одинаковомъ разстояніи двухъ сотъ шаговъ

одна отъ другой. Тутъ только слышалъ я отъ арестантовъ, что около свѣтлички начинается еще „штольня“—горизонтальный корридоръ, углубляющійся въ гору по направленію къ намъ, корридоръ, въ который должны въ послѣдствіи упасть вертикальныя шахты, чтобы играть въ немъ роль отдушныя. Удовлетворившись этими первыми свѣдѣніями, я невольно залюбовался разстилавшеюся передо мной картиной. Стояло яркое осеннее утро; въ воздухѣ было свѣжо, тихо и какъ-то радостно; по блѣдной небесной лазури не плыло ни одного облачка. Только что взошедшее солнце уже проливало море блеска. Мѣстами сопки сверкали ослѣпительно ярко, мѣстами отъ нихъ ложилась черная тѣнь. Темно было также въ ущельи, гдѣ находилась тюрьма. За то выше ея, въ противоположной отъ насъ сторонѣ, ландшафтъ былъ особенно живописенъ и величественъ. Тамъ поднимался цѣлый амфитеатръ горъ, громоздившихся одна на другую и, наконецъ, исчезающихъ въ синѣвшемъ утреннемъ туманѣ. И мнѣ невольно вспомнились слова поэта:

За горами горы,
Хмарю повиты,
Засіяны горемъ,
Кровію пелыты...

Да! страшная мысль о томъ, сколько горя, слезъ и даже живой человѣческой крови видѣли эти бездушно-красивыя горы, омрачала наслажденіе ландшафтомъ и невольно заставляла глазъ отворачиваться... Я посмотрѣлъ въ другую сторону, вверхъ отъ шахты. Тамъ высилась огромная гора, повидимому, господствовавшая надъ всей окрестностью. Одинъ изъ казаковъ, замѣтивъ мое любопытство, подошелъ и сказалъ, что въ этой-то именно горѣ и находятся главные выработки Шелайскаго рудника.

— Она вся изрыта шахтами, и руды тамъ еще многое множество. Только теперь, тридцать вотъ ужъ лѣтъ, водой все затоплено—подступиться нельзя. Мой дѣдушка тамъ робылъ... Онъ и по сую пору живъ еще.

— Каторжный былъ?

— Да почитай, что каторжный. Втапоры всѣ крестьяне каторжные были... Мы заводскіе вѣдь. Какъ послушать дѣдушку-то, такъ нынѣшніе каторжные въ раю живутъ супротивъ ихняго. Разгильдѣевъ вѣдь тогда былъ... Вонъ, спросите-ка свѣтличнаго старика—онъ вѣдь тоже и здѣсь, въ этой самой горѣ робывалъ.

и на Карѣ былъ. Вамъ теперь какая каторга? Урковъ съ вась, почестъ, не спрашиваютъ, порютъ рѣдко, въ препорцію, а втапоры дня не проходило, чтобъ кровь рѣкой не лилась!..

Казакъ отошелъ. Всѣ невольно задумались.

— Что же? Посмотримъ, что за шахта такая,—предложилъ я арестантамъ, и мы отправились въ колпакъ.

По серединѣ его находился большой четырехугольный колодезь, почти до верху наполненный водою. Я нагнулся и почти тотчасъ же зажалъ носъ—такой вонью разило оттуда...

— Тридцать лѣтъ стояла—прогнила,—объяснилъ кто то изъ арестантовъ.

— Что же мы будемъ дѣлать?

— А вотъ придетъ нарядчикъ—укажетъ. Торопиться намъ нечего. Казна-матушка подождетъ.

— Что мы,—каторжные, что-ль? Торопиться!..

— Кто посмѣшитъ, людей насмѣшитъ.

— Да я не къ тому говорю, чтобъ торопиться,—оправдывался я,—а просто спрашиваю: что мы будемъ дѣлать?

— Шарманку крутить.

— Гдѣ же тутъ шарманка?

Всѣ захохотали.

— Ну, и плохи-жъ вы, Миколанчъ! Тутъ объ книжкахъ-то забыть надо...

Я совсѣмъ сконфузился и началъ оглядываться по сторонамъ. Надъ колодеземъ возвышался, на перилахъ, валъ съ желѣзными ручками. Я взялся за одну изъ нихъ, и огромный валъ заскрипѣлъ и грузно повернулся. Тутъ только вспомнилъ я о принесенныхъ нами бадьяхъ и канатѣ.

— Эх-ма! Давайте-ка лучше пѣсенку, братцы, споемъ!—сказалъ молодой, довольно красивый парень Ракитинъ, имѣвшій въ тюрьмѣ прозвище осинового ботала (такъ называется бубенчикъ, который вѣшаютъ на шею коровамъ, чтобъ онѣ не заблудились въ тайгѣ).

И, не дожидаясь поощренія, онъ запѣлъ высокимъ, сладенькимъ теноромъ:

На серебряныхъ волнахъ,
На желтомъ песочкѣ,
Долго-долго я страдалъ
И стерегъ слѣдочки.
Вижу, море вдаль
Быдто всколыхнулось...

Но эта пѣсня, должно быть, не понравилась ему, и онъ тотчасъ же затащилъ другую:

Звенить звонокъ—п тройка мчится
Вдоль по дорогѣ столбовой;
На крыльяхъ радости стремится
Вдоль кровли воинъ молодой.

И насторожилъ уши.

— Вдоль чего стремится?..

— Вдоль кровли воинъ молодой... То-есть совсѣмъ, значить, **молоденькій паренекъ**, ну, вродѣ какъ я... И красавецъ такой же... И ѣдетъ онъ къ женѣ своей родной, **супругѣ** своей драгоценной...

— Постойте! Какъ же по кровлѣ можетъ онъ ѣхать? По дорогѣ, по полю можно ѣхать, а по крышамъ кто же ѣздитъ? „Въ домъ кровныхъ“ нужно цѣть, т. е. въ домъ родныхъ.

— Хорошо-съ. Это я безпремѣнно запомню, будьте спокойны. Охъ, и жестокая-жъ была у меня прежде память, Иванъ Николаевичъ, до чрезвычайности я, бывало, помнилъ всякую вещь! И ужасную страсть имѣлъ къ наукамъ. Ну, а съ тѣхъ поръ, какъ женился, гораздо тупѣе сталъ.

— А вы женаты, Ракитинъ? Гдѣ же ваша жена?

— Здѣсь же, за мной пришла. Да развѣ вы не видали—въ обозѣ женщина ѣхала? Скверненькая такая, скверненькая старушоночка, плюнуть хочется! Она на пятнадцать лѣтъ меня старѣ.

— А вамъ самому сколько лѣтъ?

— Двадцать седьмой, вотъ, съ Покрова пошелъ. И мальчишечка у меня, знаете, есть, сюда же пришелъ. Кешей звать. Третій годокъ. Охъ, и болить же у меня сердечушко объ ѣмъ, какъ подумаю,—болить!

— А объ женѣ не болить?

— Жена что! Женѣ можно двадцать добыть, стоитъ захотѣть. Особенно такому артисту, какъ я!.. Любая баба съ ума отъ меня сойдетъ, отъ честной моей красоты!

И онъ вдругъ пустился въ плясъ, приговаривая скороговоркой:

Ви—лы, грабли, двѣ метелки и косачъ!
Ви—лы, грабли, двѣ метелки и косачъ!
Приходили двѣ чертовки и лѣшакъ,
Утащили двѣ пудовки и мѣшокъ!

— Ахъ ты, ботало осиновое!—хохотали арестанты.

Въ эту минуту въ дверяхъ появился нарядчикъ Петръ Петровичъ.

— Запарился же я, ребята!—сказалъ онъ, снимая шапку и обтирая лобъ краснымъ клѣтчатымъ платкомъ.—Трудненько будетъ забираться сюда.

Тяжело дыша, онъ усѣлся рядомъ съ нами на бревенчатомъ широкомъ срубѣ шахты. Я спросилъ его объяснить, что имѣетъ въ виду горное вѣдомство, предпринимая эти работы.

— Да почестъ, ничего, паря, не имѣетъ... Такъ, дурныя деньги завелись.. Къ старымъ выработкамъ, вишь, подойти хотять, что въ той большой сопкѣ находятся. Тамъ вода теперь—ее нужно спустить черезъ штольню внизъ, вонъ въ то болото у свѣтлички.

— Когда же осуществится этотъ планъ?

— Въ томъ-то, паря, и дѣло, что—когда!.. Если бы вольный трудъ... А съ каторжными никогда этого не будетъ.

— Никогда?

— Ну, можетъ статься, лѣтъ черезъ тридцать-сорокъ. Надо только думать, что гораздо раньше надоѣстъ деньги зря бросать... И въ старину-то, къ тому-жъ, шелайская руда не изъ первосортныхъ была: на пудъ всего какихъ 16 золотниковъ серебра. А въ Алчагахъ, къ примѣру, есть жилы, что 28 золотниковъ даютъ. Тамъ только людей подавай, а серебро сейчасъ же бери, безъ всякихъ подготовительныхъ работъ... Вотъ хоть бы эту шахту взять: ее надо довести, по плану, до шестидесяти сажень глубины; пока же въ ней девять всего сажень.

— Въ такомъ случаѣ, для чего же возобновленъ Шелайскій рудникъ?

— Для тюрьмы... Чтобъ; значить, вашего брата учить!.. Однако, ребята, мы болтаемъ, а работать-то всетаки надо. Какъ-бы уставщикъ не заглянулъ... Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тяжело, а подползти все же можетъ. Надѣвайте канатъ на валокъ!

Мы накрутили на валъ канатъ и къ концамъ его привязали по бадью или, говоря на горномъ жаргонѣ, по кибелю. Четверо изъ насъ, въ томъ числѣ и я, стали вертѣть валъ за желѣзныя ручки, двое другихъ принимали кибель и выливали изъ него вонючую воду въ пристроенный тутъ же жолобъ, изъ котораго она стекала въ кацаву. „Вертѣть шарманку“ вчетверомъ и даже втроемъ было совсѣмъ легко; вдвоемъ приходилось уже изрядно напрягаться,

въ одиночку же изъ всѣхъ насъ смогли выкрутить только двое: Семеновъ и еще одинъ, невзрачный съ виду, хохоль. Петръ Петровичъ тоже захотѣлъ попробовать силу и, хотя съ большимъ трудомъ, все же выкрутилъ.

— Ну, теперь я пойду, братцы. Прощайте, не бросайте робить, пока казака не пришло.

— Вотъ что, Петръ Петровичъ,—подошелъ къ нему съ сладенькой улыбочкой Ракитинъ:—вы задайте намъ лучше урокъ. Знаете, у арестанта тогда только и руки на работѣ чешутся, когда интересъ есть, а такъ, въ сухую, оно что же съ? То же, что со старой бабой такому молодцу, напримѣръ, какъ я, любовь крутить.

— Для меня, пожалуй, какъ хотите. Триста кибелей выкачайте, тогда приходите въ свѣтличку.

— Многовато-съ!

— Нельзя меньше, уставщикъ осердится.

— Ну, ладно, сказалъ Семеновъ:—триста идетъ!

— А тотъ кибелекъ-съ, который вы сами вытащили, тоже прикажете сосчитать?

— Отвяжись, шутъ гороховый, некогда мнѣ съ тобой ласкаться.

— Ну, всего хорошаго! Торговать не дешево! Красныхъ дѣвухъ цѣловать, насъ, горемыкъ, не забывать!

Ахъ, что вы, дѣвки, дѣлаете,
Отъ насъ, парней, бѣгаете!..

Петръ Петровичъ ушелъ. Я полагалъ, что мы сейчасъ же съ большимъ усердіемъ примемся за работу, такъ какъ было уже не рано, а урокъ казался мнѣ изряднымъ. Въ душѣ я удивлялся даже, что товарищи мои такъ мало торговались съ нарядчикомъ: Но какъ только послѣдній скрылся изъ виду, Ракитинъ взвизгнулъ отъ радости, подпрыгнулъ, потомъ заржалъ жеребцомъ и, наконецъ, закукурекалъ.

— Чай варить!—закричалъ онъ:—конченъ урокъ!

Остальные безмолвно послѣдовали его приглашенію. Семеновъ взялъ котелокъ и пошелъ къ казакамъ спрашивать, гдѣ они брали воду. Я съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Ракитина.

— Какъ конченъ урокъ? Когда же мы успѣемъ?

— О, не безпокойтесь, Иванъ Николаевичъ, времени у насъ много будетъ. Вы на сколько лѣтъ осуждены-съ?

Я сказалъ.

— Фю-и!! Много воды выкачаете за эстолько времени! Больше трехъ сотъ кибелей.

— Значить, вы обманете нарядчика? Скажете—триста выкачали, не выкачавъ и тридцати?

— Во-о-отъ съ! Догадались. Вотъ именно! Слѣдуйте всегда моему правилу, Иванъ Николаевичъ: старайтесь объ одномъ только, чтобъ жолобъ замоченъ былъ. Замоченъ у насъ? Ну, и великолѣпно!.. Ай, нѣтъ, нѣтъ! Вонъ тутъ краешекъ сухой остался... Мы его позабрызгаемъ сейчасъ, вотъ такъ, вотъ этакъ... Чтобъ настоящей, значить, работы видъ оказывало. Теперь я свободенъ, господа-съ! Можеть, желаете пѣсенку прослушать?

Не слышно шуму городского,
На вѣской башнѣ тишина,
И на штыкѣ у часового
Горить янтарная луна.

— Или вотъ еще, горазно лучше:

Ужъ за горой сыпучею
Потухъ послѣдній лучъ,
Едва струей дремучею
Юрчить вечерній ключъ.
Возьму винтовку длинную,
Отправлюсь изъ воротъ.
Тамъ за скалой—пустынею
Есть лѣвый поворотъ.

Семеновъ досталъ, между тѣмъ, воды, быстро сварилъ чай на солдатскомъ кострѣ, и мы предались сладкому кейфу.

— Напьемся чайку, можно и соснуть будетъ малость,—продолжалъ болтать Ракитинъ.—Вы лягте-съ, Иванъ Николаевичъ, ей-Богу, лягте, я вамъ постельку приготовлю. Наломая листьеничныхъ вѣточекъ, принесу на носилкахъ съ Петрушкой, и вы превеликолѣпно у насъ отдохнете. Самъ я днемъ не умѣю спать: у меня, знаете, мыслей чрезвычайно много, и кровь также большой напоръ дѣлаетъ. Такъ я на стремѣ около васъ посижу. Чуть замѣчу—идетъ какое начальство—и разбужу васъ легохонько.

Но я наотрѣзъ отказался отъ этого любезнаго предложенія, сказавъ, что тоже не умѣю спать днемъ и, потому, предпочитаю поболтать.

— На сколько вы лѣтъ осуждены, Ракитинъ?

— На одиннадцать. Я вѣдь, Иванъ Николаичъ, совсѣмъ без-

винно въ работу пошелъ. За шапку. Вотъ побойтись, за шапку!

— Какъ такъ?

— Былъ я сердитъ на одного парня... Вотъ Петька знаетъ его, Трофимова Алешку. Мы всё вѣдь изъ одного мѣста, изъ Енисейской губерніи—и Гончаровъ, и Петька, и я... Ну, изъ-за дѣвокъ, конечно, вышло... Вотъ и надумалъ я попотчевать его хорошенько, то-есть ребра отъ души пощупать. Подговорилъ Сеньку Иванова. Укараулили мы съ имъ разъ, какъ Алешка выѣхалъ куда-то со двора, пали въ кошеву, и айда за имъ слѣдомъ. Нагоняемъ на степену: стой!.. Онъ туды, сюды метаться... Нѣтъ, братъ, шалишь. Я прыгъ въ его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь—и прямо зубами въ грудь впиваюсь... У меня, знаете, привычка такая: когда въ гнѣвъ я, сейчасъ зубы въ ходъ... Сенька—тотъ одной рукой за машинку его (за глотку), другой—подъ мякитки жарить. Здорово употчевали голубчика, изукрасили такъ, что не рыдай, моя мамонька! Избили и бросили въ снѣгъ. Я еще снѣжкомъ взялъ малость запорошилъ. Сѣли опять въ кошеву и айда по домамъ. А Алешка возьми, да и отживи! Вылѣзъ, какъ медвѣдь изъ-подъ снѣга, въ кровъ весь... Пришелъ прямо къ сельскому старостѣ и подаль на насъ съ Сенькой заявленіе, что мы у него, молъ, шапку и денегъ семьдесятъ пять рублей отобрали. Сдѣлали у насъ обыскъ: глядь—и впрямь у меня въ кошевѣ Алешкина шапка лежитъ! Пришло кому-то изъ насъ въ дурью пьяную голову шапку у него отобрать, да потомъ и изъ ума ее вонъ! Сами просто диву дались: какъ попала? На что брали? А уликой она, межъ тѣмъ, большой явилась. Такъ, за шапку только, и въ каторгу пошли на одиннадцать лѣтъ.

— А денегъ вы не брали?

— Вотъ разрази меня Богъ—не брали! Честной моей красотой божусь вамъ—не брали!

— И раньше честнымъ трудомъ жили?

— Даже, можно сказать, вполне. Я, видите ли, Иванъ Николаевичъ, сиротинкой взросъ. Отецъ мой поселенецъ былъ, отъ него я совсѣмъ махонькій остался. По кусочки ходилъ съ сумочкой на плечѣ. И бывало, чужіе даже люди, глядя на меня, слезами обливаются: „Ахъ ты, дѣточка милая! Ни отца нѣтъ у тебя, ни матери!“ Такимъ манеромъ я и взросъ. Сталъ къ работѣ привыкать, въ работникахъ жить. Потомъ прикащикомъ. взялъ меня къ себѣ конный торговецъ Иванъ Ивановичъ Чашинъ.

Потому я разудалый былъ парень, на всякій оборотъ способный и лошадей пуще отца-матери любилъ. Тутъ зазнобилъ я сердечко дочери его единокровной, супругъ моей теперешней, Марфѣ Ивановнѣ. И произойди между нами, напимѣрь, грѣхъ... Посерчалъ, конечно, посерчалъ родитель, только видитъ—дѣло ужъ сдѣлано, взялъ да и перевѣнчалъ насъ законнымъ порядкомъ. Съ той поры я ужъ ни въ чемъ не нуждался, пилъ и ѣлъ сладко, трудами собственныхъ рукъ жилъ.

— Ужъ коли сказывать, такъ не вралъ бы, осиновое ты ботало!—сердито поправилъ, угрюмо молчавшій до тѣхъ поръ, Семеновъ:—Фартовыми дѣлами никогда, скажешь, не займывался?

— Ахъ, Петя, братецъ ты мой! Да какъ же могъ я совсѣмъ, значить, въ сторонѣ оставаться? Выросъ я въ нуждѣ, въ бѣдности, столько друзей и товарищевъ имѣлъ, а тутъ, разбогатѣвши, порогъ бы имъ вдругъ указалъ? Нешто возможное это дѣло? Нѣтъ, Петруша, товарищество прежде всего. Такъ-то, другъ мой любезный!

— А чаво, паря,—закричалъ въ это время старшій, входя къ намъ въ колпакъ:—не пора ли домой? Въ свѣтличку пойдѣмъ что ли?

Всѣ встрепенулись и живо собрались въ дорогу. Спускаться внизъ было не то, что подниматься вверхъ: ноги сами такъ и скользили; приходилось употреблять усиліе, чтобы не бѣжать бѣгомъ. Казаки съ ружьями едва поспѣвали за нами. Меня порядкомъ смущала мысль, что первый же свой каторжный день я долженъ былъ начать обманомъ, если не лично, то хоть какъ соучастникъ; но при видѣ того яснаго спокойствія, которое сіяло на лицахъ арестантовъ, у меня тоже стало легче на душѣ. „Если и остальные работы будутъ подобны сегодняшней,—думалъ я,—тогда можно еще жить“.

Ракитянъ настолько имѣлъ нахальства, что, придя въ свѣтличку, самымъ простодушнымъ и естественнымъ тономъ сообщилъ Петру Петровичу, будто мы не только заданный урокъ исполнили, но и лишнихъ пятьдесятъ кибелей выкачали...

— А убываетъ хоть сколько-нибудь вода-то?—полюбопытствовалъ Петръ Петровичъ.

— Пока трудно, господинъ нарядчикъ, опредѣлить. Черезъ нѣсколько дней виднѣе будетъ. Ежели гдѣ-нибудь боковая течь есть, тогда безъ понпы, пожалуй, и не подѣлаешь ничего!

Вслѣдъ за нами пришли рабочіе и изъ другихъ шахтъ. Конвой велѣлъ строиться. Сопровождавшій насъ надзиратель произвелъ повѣрку и скомандовалъ: шагомъ маршъ!.. Мы тронулись обратно въ тюрьму. Смутное, но во всякомъ случаѣ не особенно дурное впечатлѣніе оставилъ этотъ первый день работы. Обратную сторону медали мнѣ суждено было увидѣть позже.

V.

На дни шахты.

Съ горы вернулись въ половинѣ третьяго. У воротъ насъ опять обыскали такъ же тщательно, какъ и утромъ, пересчитали и только затѣмъ пустили въ тюрьму. Пришлось ѣсть подогрѣтый обѣдъ. Парашникъ Яшка Тарбаганъ сообщил мнѣ немедленно тюремныя новости. Зимовье, дѣйствительно, строятъ для вольной команды, скоро выпускать будутъ. Въ тюрьму заглядывалъ Шеестглазый и обходилъ всѣ камеры. Объявилъ старостамъ и парашникамъ, что каждый понедѣльникъ и пятницу они обязаны мыть полы въ камерахъ и отхожихъ мѣстахъ, а корридорщики—въ корридорахъ.

— Нашъ Гандоринъ чуть не померъ со страху!

— Что такое?

— У него нары не подняты были. Какъ только вы ушли на работу, надзиратель вскричалъ, чтобы старосты нары подымали, а нашъ старикъ не слыхалъ...

— Да я,—задребезжалъ жалобно Гандоринъ,—на кувшнѣ картошку чистилъ. А ты тоже нехорошо, Яша, сдѣлалъ: коли ужъ самъ не хотѣлъ за старика потрудиться, такъ долженъ былъ сказать мнѣ... А то, вишь, въ какую бѣду чуть было не вверзилъ!

— Ха! ха! ха! Такъ васъ, старичковъ благословленныхъ, и надо. Говорить, ишь, ему... Мнѣ какая надобность? Мнѣ самъ начальникъ сказалъ: „твое, говорить, дѣло—свой стаканъ въ исправности соблюдать, прочее все старосты касается“.

— Что же случилось съ Гандоринымъ?

— Спросите его самого.

Но старикъ молчалъ и только вздыхалъ тяжело.

— Въ келью подъ елью чуть было не посадилъ Шеестглазый! Богу молиться... Оно бы и подъ стать ему,—продолжалъ Тарбаганъ.—Какъ раскричится на него: „Этто что? Ослушаніе,

непокорство? Въ наручни, на цѣпь! На хлѣбъ, на воду!“ Смо-
тру я: у нашего Гандорина и колѣнки трясутся, и губы побѣ-
лѣли... Бухъ въ ноги!

— Небось, бухнешь! Погоди—и самъ еще бухнешь! Вѣдь я
третій годъ въ каторгѣ-то, а ни разу еще въ карецъ не попадалъ.
Неохота тоже безвинно-то страдать. Вотъ что!

Чтобы перемѣнить разговоръ, я спросилъ, до какого часу
должны работать негорные рабочіе, и узналъ, что въ одиннад-
цать утра они обѣдали, послѣ того два часа отдыхали и опять
по звонку ушли на работу; что урока имъ не дали, и потому
надо работать отъ звонка до звонка, т. е. до пяти часовъ вечера.
Послѣ этого, слѣдуя благому примѣру Семенова и Гончарова, я
легъ отдохнуть отъ трудовъ праведныхъ.

— Слава Богу! Одинъ каторжный день прожить.

Съ первыхъ чиселъ октября, такъ какъ день сталъ короче,
число рабочихъ часовъ, согласно тюремнымъ правиламъ, было
уменьшено: будить стали часомъ позднѣе и на работу выгонять
не въ шесть уже, а въ семь утра. Позже, въ ноябрѣ, умень-
шили еще на одинъ часъ: негорныя работы стали заканчиваться
въ четыре часа, а вечернюю повѣрку начали дѣлать въ пять.
За то и послѣобѣденный отдыхъ сократили на половину. Всю
первую половину октября стояла ясная солнечная осень; снѣгу
не было, но по утрамъ стояли изрядные морозцы. Печи стали
топить только съ перваго октября, и то сначала довольно скупо
и рѣдко; поэтому въ камерахъ было сыро и холодно. Хотя обѣ-
щанные казенные матрацы, набитые соломой, и выдали, но
покрываться приходилось тѣмъ же грязнымъ халатомъ, который
надѣвался во время работъ. Никакихъ одѣялъ и простынь не
полагалось; имѣть собственныя постельныя принадлежности, ради
соблюденія казарменнаго единообразія во всемъ, даже въ мело-
чахъ, было запрещено. Хорошо еще, если у васъ былъ новый,
недавно выданный халатъ, но за два года, которые полагалось
носить его, онъ такъ обыкновенно изнашивался, такъ истирался
о камни шахты и штольни, что сквозилъ буквально, какъ рѣ-
шето, и въ качествѣ одѣяла служилъ самой ненадежной защи-
той отъ ночного холода; многіе арестанты покрывались, поэтому,
еще куртками и даже штанами; нѣкоторые спали, и совсѣмъ
не раздѣваясь... Вообще осенью и весною, а иногда и въ ненаст-
ное лѣтнее время, когда тюрьма не отапливалась, приходилось

порою ужасно страдать по ночамъ отъ холода и часто простужаться. Зимой, когда въ распоряженіи арестантовъ имѣлись шубы, было гораздо лучше.

Не меньше двухъ недѣль ходилъ я на „шарманку“ въ верхнюю шахту, къ которой былъ окончательно прикомандированъ, но вода въ ней все не убывала... Наконецъ, Петръ Петровичъ сообразилъ, въ чемъ дѣло. и началъ стращать насъ тѣмъ, что станетъ отсылать съ записками къ Шестиглазому. Нѣсколько разъ, кромѣ того, онъ имѣлъ терпѣніе просидѣть съ нами нѣсколько часовъ, лично наблюдая за ходомъ работы и ведя счетъ кибелямъ. Въ теченіе какихъ-нибудь четырехъ часовъ непрерывнаго труда мы выкачали 500 кибелей, и уровень воды въ шахтѣ сразу замѣтно понизился. Уличенные въ наглomъ обманѣ, Ракитинъ, Семеновъ и другіе ни мало не сконфузились, но работать стали съ тѣхъ поръ усерднѣе: слово „записка“ имѣла магически устрашающее дѣйствіе... А кромѣ того, Петръ Петровичъ закинулъ удочку, будто уставшій собирался назначить „почтленіе“. Это тоже было волшебное дѣйствующее слово. Меньше чѣмъ въ недѣлю въ верхней шахтѣ выкачали воду до глубины пяти сажень. Дальше пошелъ сплошной ледъ.

Рѣшили сойти на дно осмотрѣть шахту. Семеновъ и Ракитинъ, одинъ за другимъ, спустились прямо по канату, охвативъ его руками и ногами и сдѣлавъ это такъ быстро, что я едва успѣлъ опомниться... Первый надѣлъ, по крайней мѣрѣ, рукавицы, а вѣтрeнный Ракитинъ и ихъ даже не взялъ. Не дождавшись, пока Семеновъ достигнетъ дна, онъ голыми руками схватился за канатъ и, присвистывая и горлая какую-то пѣсню, стрѣлой спустился внизъ, такъ что сѣлъ товарищу прямо на шею. Слышно было, какъ Семеновъ заругался и обозвалъ его чортомъ... Я выразилъ опасеніе, не обжегъ ли себя Ракитинъ рукъ о канатъ, но ему ровнo ничего не сдѣлалось. На днѣ шахты онъ уже пѣлъ, плясалъ и паясничалъ. Остальные арестанты, а за ними Петръ Петровичъ и я, полѣзли черезъ такъ называемую „западню“, деревянную крышку, придѣланную въ одномъ изъ боковъ шахты; съ фонаремъ въ рукахъ мы стали спускаться по темной лѣстницѣ. Осторожность была не лишней, такъ какъ недавно еще шахта была до верху наполнена водой, и ступеньки лѣстницы, обледенѣлыя и мокрыя, скользили подъ ногами. Отвѣсная стѣна изъ толстаго тесу отдѣляла эту часть

шахты, похожую на ящикъ, отъ остальной -- для защиты лѣстницъ и нарядчика отъ динамитныхъ взрывовъ, какъ объяснилъ мнѣ Петръ Петровичъ.

— Только ненадежная это защита, — прибавилъ онъ, — все вѣдь на живую руку сколочено. Сколько разъ случается, что и доски всѣ эти къ чорту полетятъ, и лѣстницы! Я стараюсь поэтому всегда вонъ изъ шахты выбѣжать, когда запалю патроны.

— Плохая же ваша должность; а велико жалованье?

— Каторжное! двадцать рублей въ мѣсяцъ... Хуже всего эти шахты проклятыя, гдѣ по лѣстницамъ надо лазить. Въ штольнѣ куда способнѣе: отбѣжишь сажень десять, спрячешься за уступъ или за стойку и стоишь себѣ, какъ у Христа за пазухой.

Лѣстница въ двѣнадцать ступенекъ кончилась, и мы очутились на деревянной площадкѣ. Я удивился было, что уже конецъ спуску, но оказалось, такихъ лѣстницъ съ площадками впереди было еще четыре. Пятая, которую звали „пасынкомъ“ (простое бревно съ насаѣчками), находилась еще подо льдомъ. Въ шахтѣ было сыро, холодно и темно для непривычнаго глаза; только вонъ оказалась меньшей, чѣмъ я ожидалъ по началу: гнилая вода была выкачена, а ледъ, за первымъ грязнымъ слоемъ, уже пробитымъ кайлами Семенова и Ракитина, былъ бѣлый и чистый, какъ сахаръ. Я поглядѣлъ наверхъ. Широкий колодезь шахты, благодаря прикрывавшему его снаружи колпаку, давалъ мало свѣта; бревна были сплошь замочены водой, и надъ самыми нашими головами, по угламъ шахты висѣли огромныя ледяныя сосульки, которыя, упавъ, могли бы, пожалуй, убить на смерть... „Такъ вотъ она, шахта-то, какая!“ невольно подумалъ я, вздрагивая отъ холода и съ тайной боязнью помышляя о томъ, что въ этомъ погребѣ придется сидѣть по 5—6 часовъ въ день...

— Когда начали работать эту шахту? — продолжалъ я разспрашивать нарядчика.

— Тридцать лѣтъ назадъ. Въ три года выработали тогда девять сажень.

— И срубъ этотъ, и лѣстницы тогда же дѣланы?

— Зачѣмъ! Это все заново прошлымъ и позапрошлымъ лѣтомъ сдѣлано, когда рудникъ къ открытію готовили. Вольная команда зерентуйская и алгачинская старалась.

— Значить, и вода, которую мы качали...

— Недавно набѣжала. Осенью дожди сильные были.

Мы принялись долбить ледъ. Надолбивъ достаточное количество, стали поднимать его, какъ и воду, въ кибеляхъ и выносить на носилкахъ въ канаву. Больше недѣли продолжался этотъ подъемъ льда. Мѣстами вмѣсто льда опять встрѣчались прослойки воды, гдѣ попадались гнилые останки зайцевъ, крысъ и бурундуковъ. Тогда приходилось затыкать носъ отъ нестерпимаго смирада... Наконецъ, достигли на девятой сажени каменнаго дна шахты.

— Будетъ вамъ лодорничать!—сказалъ въ одно прекрасное утро Петръ Петровичъ, встрѣчая насъ въ свѣтлицѣ:—Принимайтесь-ка теперь за буренку.

Это было уже въ послѣднихъ числахъ октября; выпалъ глубокій снѣгъ, и установилась настоящая зима; морозы достигали уже 20°. Старикъ-сторожъ вынулъ изъ баула около сотни круглыхъ желѣзныхъ брусевъ различныхъ размѣровъ (отъ 4 до 16 вершковъ длины) и велѣлъ арестантамъ разобрать по тридцати штукъ на каждую шахту.

— Это что же такое?—любопытствовалъ я.

— А чѣмъ же бурить-то будешь? Это и есть буры.

Я поднялъ одинъ изъ брусевъ и увидалъ на концѣ лезвіе, на подобіе долота, съ закругленными боками. Каждой шахтѣ дали также по шести молотковъ и по три „чистки“ — тонкіе и длинныя желѣзные прутья съ загнутой лопаточкой на концѣ: что именно будутъ чистить ими, оставалось для меня непонятнымъ. Наконецъ, старикъ далъ намъ еще по тонкой сальной свѣчкѣ на человѣка, каждая длиною въ четыре вершка. По поводу этихъ свѣчекъ вышелъ съ нимъ споръ.

— Чего жалѣешь, старый хрычъ, казеннаго добра?

— Да, жалѣешь! Меня самого на учетѣ, небось, держать.

— По двѣ свѣчки на брата полагается.

— Это ежели въ разныхъ мѣстахъ робять, а вы всё вѣдь въ одной кучкѣ... Велика ли шахта-то? Я знаю, самъ робливалъ...

— Ишь, аспидъ старый! Я, говорить, тоже каторжный былъ... Да тебя задавить мало за то, что противъ своего же брата идешь!

— Да вы какіе-жъ каторжные? Вотъ, въ наше время посмотрѣли бы, ребятушки, какъ бурили-то... Одну экую свѣчку на двухъ человѣкъ давали, а урокъ чтобы полный сдаденъ былъ. Впотѣмахъ, бывало, лупишь, всё руки въ кровь побьешь, а выбуришь! Поэтому, ежели урока не сдашь, тутъ же тебѣ, на отвалѣ, и спину

вснинуть! А вы съ нарядчикомъ-то теперь, ровно со своимъ братомъ, говорите и шапки не домаете.

— Эвона, братцы, куды пошелъ! Ахъ ты, безстыжіе шары твои, духъ проклятуцій! Еще старикъ прозываешься... Да встари́ну-то что́ бѣ сдѣлала съ тобой кобылка за такія подобныя твои рѣчи?

— А что? Я чего же такого... Я знаю, что съ моихъ словъ ничего худого не станется, вотъ и говорю... А то мнѣ какое до васъ дѣло? Хотя вы того лучше живите. На-те вотъ еще по одной свѣчкѣ на шахту. При Разгильдѣевѣ пожили-бъ!..

— Чего ты насъ своимъ Разгильдѣевымъ стращаешь? Пуганья вы всѣ вороны были—вотъ онъ и казался вамъ страшнымъ. А нонѣшняя кобылка живо-бъ спѣсь-то ему сбила. Много бы не почирикалъ. Мы нынче ихнему брату не подражаемъ.

— Вишь, какой храбрый выискался! Ну, да не на того напалъ бы. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ по Карѣ проѣзжалъ. Насъ больше тыщи человѣкъ согнато было. Какъ, помню, гаркнетъ: „Запорю!..“ Такъ вся тыща и замерла. Какъ зачалъ поливать, братцы мои, какъ зачалъ поливать... Сто человѣкъ подъ рядъ перепоролъ до полусмерти—и ускакалъ.

— За что-жъ это онъ, дѣдушка?

— Ну, да вотъ показалось, вишь ты, что́ мало сробили.. Бывало, два воза березовыхъ прутьевъ такъ и лежать всегда возлѣ работы.

— И неужели-жъ не находилось человѣка, который бы за себя постоялъ?

— Какъ не находилось, паря! Одинъ татаринъ былъ, здорovenный такой татаринъ, Магометомъ Байдауловымъ звали. „Ну, говоритъ, братцы, я порѣшу Разгильдѣева, въ первый же разъ, какъ увижу, порѣшу“. Смотримъ мы: ровно не пьяный, а глаза кровью налиты, и изъ лица весь перемѣнился. А раньше того смиренный былъ парень. Видимъ, твердо человѣкъ рѣшился. А тутъ кобылка еще подзуживать: „Куды тебѣ, молъ, увальню! И рука-то у тебя дрогнетъ, и гайка ослабитъ“.—„Нѣтъ, не ослабитъ, говоритъ,—убью“. Ну, ладно. Вотъ работаемъ мы опять дня этакъ черезъ два. Глядимъ—ѣдетъ полковникъ, и примехонько въ нашу сторону. Байдаулка рядомъ со мной стоитъ. Надзиратель во все горло оретъ: „Шапки долой! Смирно!“ Всѣ шапки скидаютъ, инструментъ на землю бросаютъ. Смотрю: Байдаулка въ шапкѣ, блѣд-

ный весь и кайлу въ рукахъ держать... Я ни живъ, ни мертвъ, трясусь, не знаю, что будетъ. Соскакиваетъ тутъ Разгильдѣевъ съ коня и прямымъ манеромъ къ нему подлетаетъ: „Мерзавецъ!“ Крѣпкимъ такимъ словомъ загибаетъ его... „Это что тебѣ въ башку дурью влѣзло?“ Лясъ его въ одно ухо! Лясъ въ другое! И что тутъ вышло промежъ нихъ, я и до сихъ поръ не пойму. Вижу только: Байдаулка на землѣ валяется, а Разгильдѣевъ ногами его топчетъ... „Убрать его, негодяя, на край свѣта!“ Вскочилъ на коня—и былъ таковъ. Байдаулку того-жъ часу и увезли. Такъ никто и не узналъ, что съ нимъ сдѣлали.

— Какъ же это онъ оплошалъ? Струсилъ?

— Не струсилъ, а такъ... Рокового, значить, своего не нашелъ еще Разгильдѣевъ.

— Кого рокового?

— Человѣка, человѣка такого.

— Да вѣдь его и послѣ не убили?

— Не убили—это вѣрно, а только кончилъ онъ хуже, чѣмъ убивствомъ.

— Какъ такъ?

— Самъ Государь услышалъ объ его злодѣйствахъ, отрѣшилъ ото всѣхъ чиновъ и должностей и приказалъ явиться къ себѣ въ Питеръ. Только онъ не доѣхалъ—подохъ!.. Заживо сгнилъ—черви съѣли... А опосля того вскорѣ и намъ, крестьянамъ, воля пришла *).

— Пора бы и всему вашему разгильдѣевскому сѣмени подохнуть!—рѣшилъ Семеновъ, вдругъ почему-то со злобой взглянуть на старика:—чужой только вѣкъ заѣдаете! Самимъ было плохо, вы и другимъ того же хотите.

— Полно, однако, бѣтать-то зря,—вступился Петръ Петровичъ,—ступайте лучше на работу.

Ракитинъ подошелъ тогда къ Петру Петровичу и съ сладкой улыбочкой и заискивающими глазами спросилъ:

*) Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, такъ-ли именно умеръ «варваръ» Разгильдѣевъ; но разсказъ о томъ, что онъ сгнилъ заживо и перехъ смертью былъ разжалованъ, весьма распространенъ въ Вост. Сибири. Жаль, что никто не написалъ біографіи Разгильдѣева, не собралъ всѣхъ существующихъ о немъ легендъ, пѣсенъ и пр. Пройдетъ еще десятокъ-другой лѣтъ, перемерутъ живые еще свидѣтели того ужаснаго времени, послѣдніе старики-„богодулы“—и сдѣлать это будетъ уже гораздо труднѣе. *Прим. авт.*

— Кого же назначите вы у насъ буросомъ?

— Ваше дѣло. Кого захотите, того и назначайте. По очереди можно для отдыха ходить...

— Вы бы ихъ, вотъ, Петръ Петровичъ, назначили,—продолжалъ неугомонный Ракитинъ, указывая на меня:—они люди къ работѣ непривычны, люди ученые, не то, что мы, туисы простокышныя *).

— Коли хочеть, пушай. Мнѣ что!

— Вотъ и распрекрасно. Иванъ Николаевичъ, вступите-сь въ исправленіе вашей должности.

— Какой такой должности?—сурово спросилъ я, чрезвычайно недовольный тѣмъ, что онъ распоряжается мною безъ моего согласія и желанія.

— Вы буросомъ у насъ будете-сь... Буры таскать... Какъ только мы затупимъ ихъ, вы, значить, и понесете въ кузницу под-вастривать. Въ этомъ и трудъ вашъ состоятъ будетъ. Бурить-то вѣдь, тяжелѣе, Иванъ Николаевичъ, въ погребу этакомъ сидѣть! Съ васъ-то, положимъ, Петръ Петровичъ не спроситъ, онъ тоже понимаетъ обращеніе... Голова, сейчасъ видно!.. Ну, а все-таки...

— И сколько же разъ ходить мнѣ придется взадъ и впередъ?

— Когда какъ случится. Три, пять, семь разиковъ... А то по-фартитъ—и ни одного, ежели буры стоять будутъ.

Но отъ одной мысли подниматься на эту высокую гору три и даже семь разъ, я пришелъ въ неописанный ужасъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! ни за что!—закричалъ я:—лучше двадцать вершковъ выбурить.

— Иванъ Николаевичъ!—умоляющимъ голосомъ убѣждалъ меня Ракитинъ:—голубчикъ, согласитесь.

— Да вамъ-то что? Вамъ отъ этого легче станеть, что ли?

— Не легче, а жалко мнѣ васъ, вотъ что...

— Вотъ пристало осиновое ботало!—прикрикнулъ на него Семеновъ:—говорить тебѣ человѣкъ—не хочу. Ну, стало быть, и дѣло его.

Ракитинъ тотчасъ же замолчалъ и, съжившись и печально вздыхая, началъ взваливать себѣ вязанку буровъ на плечи. Мы отправились на свою шахту, рѣшивъ, что буросами будутъ желажушіе, или всѣ по очереди. Вслѣдъ за нами явился и нарядчикъ.

*) Туесомъ называется въ Сибири буракъ, берестяное ведро, въ которомъ держатъ молоко.

Мы спустили въ кибелѣ буры, молотки и чистки и затѣмъ, захвативъ съ собою свѣчи, по лѣстницамъ направились сами въ глубину колодца.

— Кто изъ васъ буривалъ?—спросилъ Петръ Петровичъ.

Всѣ молчали.

— Ты, Ракитинъ, вѣдь ужъ, навѣрное, бурилъ. Гдѣ ты былъ раньше?

— Въ Зерентуѣ, Петръ Петровичъ, только я... раза два всего бурилъ, и вышло у меня за два раза, въ сложности, два вершка безъ четверти. Потому у меня рука была сломанная въ младенчествѣ и съ тѣхъ поръ размаху правильного не имѣетъ.

— Ладно, братъ, ладно! Тутъ не размахъ, а сноровка нужна. А ты, Семеновъ, бурилъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ угрюмо Семеновъ, хотя арестанты много разъ разсказывали про него, какъ про лучшаго бурильщика въ Покровскомъ.

— По глазамъ вижу, что врешь, умѣешь. Вотъ ты, братецъ, и наблюдай мнѣ за шахтой, чтобы у всѣхъ дырки, значить, правильно шли. А то другой поведетъ шпуръ сначала въ лѣвый бокъ, потомъ въ правый... Глядишь — скривилъ его, буръ и засаялъ, *) ни назадъ, ни впередъ. И трудъ, и время даромъ пропали! Сегодня, для перваго разу, хотъ по шести вершковъ выбурите, и то хорошо будетъ.

— Нѣтъ, ужъ я, какъ хотите, старшимъ не буду, — грубо проговорилъ Семеновъ, — это тотъ пускай будетъ, у кого языкъ длинный, или кто хвостомъ ударять можетъ, а я не умѣю.

— Экой же ты, паря, какой! Причемъ тутъ языкъ, али хвостъ? Я вижу только, что ты малый посурьезнѣй и посмышленѣй другихъ, вотъ и хотѣлъ... А то вѣдь подумай самъ: каждое утро мнѣ экую высь залѣзать для того только, чтобъ вамъ урокъ задать. А ужъ если я ходить буду, значить, и провѣрять буду строже: сколько вершковъ вчера выбили, полный ли урокъ сдали?.. На вѣру-то и вамъ бы оно способнѣе было. Къ тому жъ, я бы поощреніе охлопоталъ вамъ...

— Вотъ это бы хорошо, Петръ Петровичъ, ей-богу хорошо! — заговорилъ Ракитинъ: — почтеніе-то всего бы лучше. А то, знаете, сухая ложка роиъ деретъ. Ухъ! Какъ развернусь я... Какъ

*) «Сясть», «сялъ» — сибирское произношеніе вмѣсто «сѣсть», «сѣлъ».

заговорить во мнѣ ретивое!.. Честной красотой моей клянусь вамъ, десять вершковъ отхватаю сегодня же! И золъ же я на этотъ камень, у! какъ золъ! Гдѣ прикажите садиться, Петръ Петровичъ?

— Вотъ въ этомъ, пожалуй, углу садись, паря.—Петръ Петровичъ постукалъ молоточкомъ по граниту.—Тутъ, кажись, не шибко твердо. Вотъ такъ задайся, на откосъ. Вдѣво немного отнеси буръ, чтобы вотъ эту кочку сорвало. А ты, Семеновъ, въ правомъ углу садись. Тоже на откосъ держи буръ, вотъ этакъ, даже пониже чуть опусти. Немного неловко бить будетъ, ну, да какъ-нибудь пристроишься. За то сорветъ здорово.

Такимъ же точно образомъ указалъ Петръ Петровичъ мѣста для буренія и еще тремъ арестантамъ.

— А вы буруносомъ будете?—обратился онъ ко мнѣ, въ первый разъ за все время говоря мнѣ *ты*. Очевидно, пропаганда Ракитина объ моей учености и проч. возымѣла свое дѣйствіе... Я отвѣчалъ отрицательно, объяснивъ, что страдаю одышкой и серцебіеніемъ.

— Ну, такъ забуритесь, пожалуй, вотъ тутъ,—постучалъ онъ въ правую стѣну шахты.—Тутъ и пристроиться удобно можно, и помягче будетъ.

И Петръ Петровичъ направился къ выходу.

— Такъ, значитъ,—крикнулъ онъ съ лѣстницы,—съ шестерыхъ сегодня тридцать вершковъ я долженъ получить. Одинъ за буруноса считается.

Арестанты закурили передъ работой трубки.

— Охъ, и подрадѣлъ же онъ мнѣ камушекъ,—пригорюнясь, заговорилъ Ракитинъ:—ужъ вижу, что подрадѣлъ! Тверже стали!

— Захныкала баба. Вѣдь самъ же ты сейчасъ похвалялся, честной красотой своей клялся, что живой рукой десять верховъ отмахаетъ?

— А что же, Петя, и впрямь? Чего намъ унывать съ тобой, этакимъ молодцамъ, кудряшамъ удалымъ?! Эхъ! пропадай моя телѣга, всѣ четыре колеса! Ну-съ, благословясь, за дѣло Божіе при-
мемся.

— За чортово, скажи лучше.

Всѣ взялись за молотки и буръ. Я подошелъ къ Семенову посмотрѣть, что и какъ онъ будетъ дѣлать. Онъ взялъ самый короткий изъ буровъ, съ широкимъ остріемъ.

— Это забурникъ называется,—объяснилъ онъ мнѣ.—Длиннымъ буромъ нельзя забуриваться, потому въ рукѣ держать неспособно,—

вихляться будетъ изъ стороны въ сторону. А главное, у среднихъ и длинныхъ буровъ перья дѣлаются уже. Сдѣлаешь сначала узкую дырку—широкіе буры въ нее ужъ и не полѣзутъ. Живо засадить можно буръ. Въ буренкѣ самое важное—за перомъ слѣдить: перво-на-перво самыми короткими бурами забуриваться; съ трехъ-четырехъ вершковъ глубины—среднихъ размѣровъ буры брать, и только ужъ подъ самый конецъ, съ восьми вершковъ, за самые длинные приниматься.

Сказавъ это, Семеновъ ударилъ молоткомъ по головкѣ бура. Разъ, и другой, и третій... Лѣвой рукой онъ придерживалъ буръ, стараясь все время слегка поворачивать его то въ ту, то въ другую сторону. Черезъ какихъ-нибудь двѣ минуты я увидѣлъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ держалъ буръ, въ камнѣ образовалось небольшое трехугольное углубленіе.

— Уже забурились?—вскричалъ я съ невольной радостью.

Семеновъ поглядѣлъ на „перо“ своего бура и съ сердцемъ бросилъ его на середину шахты.

— Вотъ сволочь!—сказалъ онъ:—ужъ успѣлъ сѣсть. Полсотни ударовъ не выдержалъ.—И онъ взялъ новый забурникъ. Я съ любопытствомъ поднялъ и осмотрѣлъ брошенный имъ буръ: стальное лезвіе совсѣмъ превратилось въ лепешку...

— Однако и вамъ, Иванъ Николаевичъ, забуриваться надо,—обратился ко мнѣ Семеновъ:—позвольте-ка, я покажу вамъ.

— Нѣтъ, сидите, Семеновъ, я самъ хочу научиться.

— Безъ учителя не учатся.

И, не обращая на меня вниманія, онъ засвѣтилъ новую свѣчку, прилѣпилъ ее къ стѣнѣ около назначеннаго мнѣ нарядчикомъ мѣста, усѣлся на голомъ камнѣ и, не болѣе какъ въ пять минутъ, забурился довольно глубоко. Молотокъ его такъ и щелкалъ по буру, лѣвая рука не уставала крутить—и отъ всей фигуры Семенова вѣяло силой, мужествомъ и энергіей.

— Довольно, довольно!—кричалъ я:—вы этакъ мнѣ ничего не оставите.

Семеновъ ухмыльнулся, взялъ желѣзную палочку, которую называли чисткой, и опустилъ ее въ сдѣланное круглое углубленіе. Вынувъ обратно, онъ поднесъ ее къ моимъ глазамъ, и я увидалъ на лопаткѣ цѣлую кучу мелкаго бѣлаго порошку.

— Вотъ муки-то сколько набилось,—сказалъ онъ, сбрасывая

порошокъ на землю:—да это не все еще. Смотрите, еще сколько выволоку.

И Семеновъ еще нѣсколько разъ погрузилъ чистку въ шпуръ и каждый разъ вынималъ обратно полную бѣлой муки. Потомъ онъ перевернулъ ее и опустилъ въ шпуръ другимъ концомъ. Вынувъ назадъ, онъ пристально посмотрѣлъ и объявилъ мнѣ, что уже больше полоторыхъ вершковъ готово: оказалось, что на чисткѣ сдѣланы были зубиломъ насѣчки, обозначающія вершки. Семеновъ всталъ и, подавая мнѣ буръ и молотокъ, проговорилъ:

— У васъ мягко... Тутъ я въ одинъ часъ беру съ двѣнадцать вершковъ выбить. Вы только буръ правильнѣе держите, къ правому боку немного прижимайте. Снимите шубу, положите ее на этотъ камень и садитесь.

— Безъ шубы, пожалуй, простудиться можно...

— Во время работы-то? Что вы! Я вонъ вспотѣлъ ажъ, скоро и бушлатъ снимать придется. Въ шубѣ ужъ не работа!

Я послушался совѣта и, скинувъ шубу, подложилъ ее подъ сидѣнье. Между тѣмъ, молотки щелкали уже по всей шахтѣ гулко и дружно, въ тактъ одинъ другому. Выходила довольно гармоничная музыка. Ударилъ и я... Ударилъ—и остановился, такъ какъ показалось неудобнымъ сидѣть и понадобилось поправить подъ собой шубу. Долго не кленлась у меня работа. Я все усиливался, подражая Семенову, крутить буръ лѣвой рукой въ то самое время, когда правая ударяла молоткомъ, и никакъ не могъ согласовать вмѣстѣ оба движенія. Въ то время, какъ правая била, лѣвая оставалась праздною и въ разсѣянности слѣдила, казалось, за своею товаркой; когда же лѣвая начинала крутить, молотокъ съ высоты замаха, точно, любовался ею и никакъ не хотѣлъ опуститься. Семеновъ замѣтилъ мое затрудненіе.

— Да вы не старайтесь такъ ужъ точка въ точку,—утѣшилъ онъ меня,—сперва хоть какъ-нибудь. Раза два стукните—и поверните немного буръ... Опять стукните, опять поверните.

Послѣ этого дѣло пошло на ладъ. Тикъ—такъ! тикъ—такъ! постукивалъ мой молотокъ, на подобіе маятника, и мысль о томъ, что и я работаю въ рудникѣ, доставляла мнѣ тайное удовольствіе... Насчитавъ сотню ударовъ, я съ замираніемъ сердца взялъ чистку, погрузилъ чистку въ шпуръ, повертѣлъ тамъ и вынулъ въ надеждѣ, что она окажется, какъ и у Семенова, полною муки. Но каково же было мое огорченіе, когда она вынулась почти пустая!

Въ отчаяніи я сталъ мѣрить, но вышли тѣ же самые полтора вершка, которые были уже до моего буренья, и мнѣ показалось даже, что и до полуторыхъ-то немного не хватаетъ...

— Семеновъ!—закричалъ я жалобно:—что же это такое?

— А что?

— Да вотъ ужъ сто ударовъ я сдѣлалъ, а хотъ бы капелька муки набилась!.. И не прибавилось ничего!

Всѣ засмѣялись.

— Это потому, Иванъ Николаевичъ,—объяснилъ Ракитинъ,—что вы стучаете-то, ровно будто сахаръ колете. А тутъ надо звона какъ гокать, чтобы грудь треш-шала! Я говорилъ вѣдь намъ, что бураносомъ было бы много способіе...

Я чувствовалъ себя пристыженнымъ и, не отвѣтивъ ничего, попробовалъ усилить ударъ и увеличить размахъ молотка. Но почти тотчасъ же вскрикнулъ отъ страшной боли и, вскочивъ съ мѣста, забѣгалъ по шахтѣ, махая лѣвой рукой и корчась: я промахнулся и вмѣсто бура нзо всей силы хватилъ молоткомъ по запястью руки... Я рассчитывалъ услышать слова сочувствія, но всѣ только смѣялись надо мною.

— Что, получилъ крещеніе шелайское?—обратился ко мнѣ молчаливый обыкновенно толстякъ Ногайцевъ, самъ служившій предметомъ постоянныхъ шутокъ арестантовъ и не иначе называемый ими, какъ Топтыгинъ и Михайло Ивановичъ. Это взорвало меня окончательно.

— Что тутъ смѣшного, ну, что смѣшного?—ощетинился я:—вѣдь больно...

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!—закатился Ногайцевъ—и въ такое пришелъ восхищеніе, что даже по землѣ началъ кататься, и вся его жирная, водяночная туша такъ и колыхалась отъ смѣха. Одинъ только Ракитинъ и на этотъ разъ посочувствовалъ мнѣ.

— Дуракомъ родился, дуракомъ неотесаннымъ и помрешь!—сказалъ онъ сентенціозно Ногайцеву.

— Да! ты умный... Плакать прикажешь, не то осердишься?

— Бросьте вы, Иванъ Николаевичъ, эту буренку проклятую, ей-богу, бросьте,—продолжалъ Ракитинъ, подходя ко мнѣ:—вылѣзайте-ка лучше наверхъ, да чаекъ намъ согрѣйте. Въ животѣ-то начинаютъ ужъ телѣги ѣздить... Право!.. У меня, вотъ, тоже скверное дѣло выходитъ. Всѣ рученьки оббилъ, а и на вершокъ еще не подался!

Но я рѣшилъ продолжать бурить. Не одинъ разъ ударилъ я себя въ этотъ день по рукѣ (хорошо еще, что рукавица защищала), но всетаки успѣлъ выбурить около двухъ вершковъ сверхъ полуторыхъ, выбуренныхъ Семеновымъ. Раньше всѣхъ отбурился самъ Семеновъ, а вслѣдъ за нимъ Ногайцевъ. Послѣдній подошелъ послѣ этого ко мнѣ и долго, молча, смотрѣлъ на мою работу. Онъ видѣлъ, что у меня ужъ и рука начинаетъ нѣмѣть, и ударъ становится все легковѣснѣе и неправильнѣе.

— Дай-кось, я побурую, — сказалъ онъ, наконецъ, грубовато отстраняя меня прочь, но сказалъ это такъ просто и задушевно, что отказаться отъ предложенной услуги было невозможно. Тутъ только увидалъ я всю разницу между его и своимъ ударомъ: мой былъ слабѣе, по крайней мѣрѣ, вчетверо... Я насчиталъ, что Ногайцевъ безъ передышки, ни на минуту не останавливаясь, опустилъ молотокъ триста разъ, да и тогда остановился потому только, что набилось слишкомъ много муки, и необходимо было чистить. Въ полчаса онъ выбурилъ мнѣ четыре вершка.

— Ну, и мякоть же у тебя, Миколаичъ, — сказалъ онъ, вставая: — кабы ты ушелъ, я бы тутъ съ водицей живой рукой до двѣнадцати верховъ догналъ.

— Какъ съ водицей? Развѣ легче съ водой?

— Куда-жъ сравнить! Тогда грязь-то цѣлыми возами выволакиваешь. Особенно коли горячая вода. Не ко всякой только породѣ она идетъ: въ твердой — что съ водой, что безъ воды — одинаково бурится.

— А гдѣ-жъ бы достать воды? Развѣ сверху принести?

— Ужъ мы бы достали, здѣсь бы достали... Тепленькой!

— Ну, достаньте, я погляжу.

— Хо-хо-хо! При тебѣ нельзя...

— Это у насъ секретъ такой арестантскій, — подтвердилъ Ракитинъ, хитро улыбаясь: — ушли бы вы, Иванъ Николаевичъ, а то забрызгаться можете.

Но вдругъ съ той стороны, гдѣ бурилъ рыжій, непривѣтливый арестантъ Кошкинъ, я услыхалъ чавканье воды въ шпурѣ и, обернувшись, почувствовалъ залѣпленнымъ грязью все лицо. Моментально я сообразилъ, откуда взялась эта вода...

— Вотъ мерзость! Вотъ безобразіе! — закричалъ я, обтираясь и поспѣшно бросаясь къ выходу изъ шахты.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—залились вслѣдъ за мною Ногайцевъ и Кошкинъ.

Такъ познакомился я съ тайнами бурильнаго искусства...

За то всю ночь ломило у меня правую руку, и чувствовалось въ ней жженіе. А проснувшись на другой день утромъ, я не могъ ни сжать, ни разжать кулакъ. Арестанты въ утѣшеніе мнѣ говорили, впрочемъ, что всегда такъ бываетъ съ непривычки, но что потомъ рука „разомнется“. Однако, выбуривъ во второй день три вершка, я почувствовалъ, что завтра совсѣмъ уже буду не въ состояніи работать.

— Знаете что, Иванъ Николаевичъ,—шепнулъ мнѣ Ракитинъ,—ударимте-ка мы съ вами сегодня хвостомъ къ фёршалу! Всѣмъ этакъ плѣсомъ ударимъ: такъ и такъ, молъ, господинъ фёршалъ, оставьте насъ отдохнуть на денекъ или на два.

— Ага!—сказалъ Семеновъ:—и у тебя заслабила гайка-то? Два дня побурилъ, да ужъ и хвостомъ бить собираешься?

— Да что же, Петя, подѣлаешь! Сложенія я, самъ видишь, нѣжнаго... На роду мнѣ написано было пѣсенки попѣвать, да развѣ торговымъ дѣломъ займаться... А тутъ вдругъ экая притча приключилася... Да пропадай она и каторга вся! Что я за дуракъ—изъ жилъ тянуться?

— Не дуракъ ты, а богато осиновое: все бѣтаешь, все бѣтаешь по пустому!

Ракитинъ умолкъ и черезъ минуту запѣлъ высокимъ, сладенькимъ теноромъ:

Скажи, моя красавица,
Какъ съ другомъ ты прощалася?
Прощалась я съ имъ весело:
Онъ плакалъ—я смѣялася...
А онъ ко мнѣ, бѣдняжка,
Склонилъ на грудь головушку;
Склонилъ свою головушку
На правую сторонушку,
На правую, на лѣвую,
На грудь мою на бѣлую...
И долго такъ лежалъ, молчалъ,
Смочилъ платокъ горючихъ слезъ...
А я, его невѣрная,
Слезамъ его не вѣрила! *)

*) Кольцовская пѣсня, сильно переиначенная.

Зараженные примѣромъ Ракитина, всѣ вострепнулись и хоромъ запѣли другую присковую пѣсню:

На зарѣ было, на зоренькѣ,
 На зарѣ было на утренней,
 Я коровушекъ, дѣвица, доила,
 Сквозь платочекъ молочко я цѣдила,
 Прощѣдивши, душу-Ваню поила,
 Напоявши, приговаривала:
 Не женися, душа-Ванюшка!
 Если женишься, перемѣнишься,
 Потеряешь свою молодость
 Промежъ дѣвушекъ-сиротушекъ,
 Промежъ вдовушекъ-молодушекъ...
 — Гой, дубрава-мать зеленая моя!
 По тебѣ ли я гуляла, молода;
 Я гуляла, не нагуливалась...

Жутко было слушать эти меланхолическіе напѣвы на днѣ каменнаго гроба. Все большая и большая ненависть къ шахтѣ охватывала съ каждымъ днемъ мою душу... Начинались сильные морозы. Ударить нѣсколько разъ молоткомъ—и чувствуешь, что пальцы совсѣмъ закованѣли отъ холода. Оглянешься кругомъ, чтобъ не замѣтили и не посмѣялись арестанты, и погрѣбешь ихъ надъ свѣчкой... Ноги также ужасно зябли, какъ ни закутывалъ я ихъ шубой. Чѣмъ короче знакомился я съ шахтой и ея тайнами, тѣмъ одушевленнѣе становился для меня этотъ гранитный мѣшокъ. Казалось, онъ съ безсердечной насмѣшливостью глядѣлъ на всѣхъ насъ и, вѣя ледянымъ дыханіемъ, говорилъ: „Ага! попались, голубчики? Ужъ много васъ, такихъ же, похоронилъ я здѣсь“. И, какъ будто слыша этотъ гробовой голосъ, я съ дрожью оглядывался вокругъ. Во мракѣ тускло горѣли сальныя свѣчи; тамъ и сямъ, бросая отъ себя черныя тѣни, сидѣли, скорчившись, арестанты и дули со всего плеча молотками. Нѣкоторые издавали при этомъ звуки, подобные стонамъ или тяжелымъ вздохамъ, другіе—рычанью дикаго звѣря.

— Ахъ! Ахъ!—выкрикивалъ толстякъ Ногайцевъ при каждомъ ударѣ.

— Гу! Гу!—гнѣвно выговаривалъ Семеновъ.

Въ тускломъ освѣщеніи я плохо различалъ ихъ лица и фигуры, и мнѣ чудилось порой, что то не живые люди, а какіе-то подземные гномы работаютъ здѣсь, рядомъ со мною. Я взглядывалъ вверхъ, въ надеждѣ уловить тамъ хоть одинъ солнечный лучъ,

который сказалъ бы мнѣ слово утѣшенія, увѣрилъ бы, что я не совсѣмъ еще мертвый человѣкъ, что придетъ время—и я опять буду живъ, и воленъ, и счастливъ. Но безжалостный колпакъ закрывалъ свѣтлое солнце, и въ отверстіе шахты проходилъ лишь тусклый, скупой отблескъ зимняго дня. Я видѣлъ тамъ только два конца каната, спускавшіеся съ вала, и двѣ болтавшіяся надъ нашими головами бадьи, чернѣвшія въ вышинѣ подобно двумъ висѣльникамъ. Неприглядно, темно, холодно... И больно, и сиротливо на сердцѣ, и такъ самого себя жалко...

— Чего задумались, ребята?!—вдругъ вскрикивалъ неистово-радостно Ракитинъ, выходя изъ своей меланхоліи и пускаясь по шахтѣ въ плясъ.

Вилы, грабли, двѣ метелки и косачъ!

Вилы, грабли, двѣ метелки и косачъ!

И приговаривалъ басомъ:

Что ты! Что ты! Что ты! Что ты!

Горькія думы улетали, и я невольно смѣялся вмѣстѣ съ другими.

VI.

Подъемъ.

Черезъ недѣлю работы вся шахта была заполнена готовыми шнурами. Къ намъ явился Петръ Петровичъ, неся въ рукахъ цѣлую охапку динамитныхъ патроновъ съ длинными черными и бѣлыми фтилями и корытце съ жидко разведенной глиной. Я попросилъ Петра Петровича объяснить мнѣ устройство снарядовъ.

— Собственно, это не динамитъ,—сказалъ онъ, подавая мнѣ одинъ изъ нихъ въ руки,—а гремучій студень.

Я развернулъ бумажку, въ которую былъ спрятанъ патронъ, и увидалъ столбикъ желтоватаго студенистаго вещества, похожаго на обыкновенный воскъ.

— Устройство простое,—продолжалъ Петръ Петровичъ:—къ ружейному патрону съ капсюлемъ приделанъ пороховой фитиль. Затолкаешь его на самое дно шнура и снаружи хорошенько глиной обмажешь, чтобъ взрывъ былъ сильнѣе. Потомъ поджигаешь

фитиль и лататы задаешь... Ну, кто же со мной полѣзетъ сегоднѣ? Одному тамъ не управиться, пожалуй. Ты, что-ли, Ракитинъ?

— Я, Петръ Петровичъ, не умѣю... Я...

— Ага! заслабило?

— Нѣтъ, Петръ Петровичъ, не то чтобы заслабило, а какъ я въ младенчествѣ руку сломанную имѣлъ и, къ тому же, напужанъ былъ сильно... Разъ, кони... Лѣтомъ было дѣло...

— Ну, ладно, ладно... Не до басенъ теперь. Ты, Семеновъ, пойдешь?

— Пойдемте.

Они пошли внизъ, а мы, остальные, легли на срубѣ шахты и съ любопытствомъ свѣсили внизъ головы. Долго тамъ ничего не было видно, кромѣ мелькавшей взадъ и впередъ свѣчки. Наконецъ, послышался голосъ нарядчика:

— Теперь уходи, Семеновъ!

Тогда арестанты, и прежде всѣхъ Ракитинъ, повскакали на ноги и побѣжали вонъ изъ шахты. Но, увидавъ, что я продолжаю лежать и сообразивъ, что Петръ Петровичъ съ Семеновымъ еще внизу, всѣ опять насмѣлялись и прилегли.

— Бойтесь?—спросилъ я Ракитина.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! Вѣдь у меня, знаете, жена и мальчоночко есть!.. Для нихъ больше оберегаешься.

Вдругъ внизу что-то зашипѣло и вспыхнуло... Въ одномъ, въ другомъ, въ третьемъ мѣстѣ.. Всѣ вздрогнули и съ крикомъ: „зажигаетъ!“ кинулись прочь. На этотъ разъ побѣжалъ и я... Скоро вылѣзъ изъ западни и Семеновъ. Петръ Петровичъ еще передъ спускомъ въ шахту приказалъ намъ стоять во время „па-ленки“ не ближе двадцати шаговъ отъ колпака. Прошло минуты полторы томительнаго ожиданія, а Петръ Петровичъ все еще не показывался, и мы рѣшили, что онъ предпочелъ ожидать выстрѣловъ на одной изъ лѣстницъ. Но вдругъ его плотная фигура съ краснымъ задыхающимся лицомъ появилась въ дверяхъ колпака, и почти одновременно, одинъ за другимъ, грянули два выстрѣла. Первый изъ нихъ ударилъ сравнительно глухо, съ какимъ-то тяжелымъ и какъ бы сердитымъ, отрывистымъ стукомъ; за то второй былъ оглушительно громокъ. Мнѣ показалось, что весь колпакъ дрогнулъ и зашатался... Сидѣвшіе на немъ два голубка, какъ сумасшедшіе, пригнулись къ крышѣ и, глупо вытянувъ шеи, въ первую минуту не знали, что дѣлать, но потомъ встрепенулись,

шумно захлопали крыльями и, высоко взвившись, начали кружиться въ воздухѣ. Еще четыре зажженныхъ Петромъ Петровичемъ патрона ударили нѣсколько позже, и притомъ два изъ нихъ до того одновременно, что я сомнѣвался даже, точно ли это было два выстрѣла. Последняго, седьмого по счету, ждали такъ долго, что Петръ Петровичъ сталъ уже беспокоиться.

— Надо быть, сфальшилъ, проклятый!—проворчалъ онъ. И вслѣдъ затѣмъ послышался такой оглушительный громъ, что передъ нимъ и второй ударъ показался слабымъ.

— Вотъ ловко, должно быть, сорвало!—замѣтилъ Ракитинъ.

— Напротивъ того,—отвѣчалъ Петръ Петровичъ:—этотъ хуже всѣхъ взялъ, на воздухъ вылетѣлъ. Лучше берутъ тѣ, которые глухо ударяютъ.

Оставалось выпалить еще пятнадцать шпуровъ, но зажигать ихъ тотчасъ же оказалось невозможнымъ, потому что вся шахта была наполнена сѣрнымъ удушливымъ дымомъ, очень медленно поднимавшимся вверхъ. Чтобы ускорить его выходъ, мы стали опускать и поднимать вверхъ канатъ съ кибелями, но всетаки ждать пришлось довольно долго, пока нарядчикъ, ворча и ежеминутно отплеываясь, могъ, наконецъ, вторично отправиться на дно шахты. Въ этотъ второй разъ онъ успѣлъ зажечь восемь шпуровъ: для остальныхъ пяти пришлось въ третій разъ спускаться. По окончаніи паленки онъ былъ утомленъ, блѣденъ, страшно кашлялъ и выплевывалъ изо рта черную, какъ сажа, слюну. Къ счастью, ни одинъ изъ двадцати патроновъ не сфальшивилъ, и на другой день мы могли безъ страха приниматься за обивку и подъемъ взорваннаго камня *). Съ любопытствомъ спустился я утромъ слѣдующаго дня въ шахту посмотреть на результаты взрыва. Прежде всего меня удивило, что, не смотря на семнадцать протекшихъ часовъ, на днѣ шахты все еще слышался непріятный запахъ

*) Инструкція горнаго вѣдомства строго предписываютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда патронъ почему либо не взорветъ, «обуривать» его, т. е. дѣлать рядомъ другой шпуръ; этотъ способъ считается самымъ надежнымъ. Нельзя, однако, не сознаться, что онъ довольно-таки страшенъ, и арестанты очень часто наотрѣзъ отказываются отъ обуриванья. Тогда употребляютъ другое средство: по возможности выколунываютъ (если нельзя совсѣмъ вынуть) сфальшивившій патронъ и въ ту же дырку вставляютъ новый. Впрочемъ, нерѣдки въ рудникахъ и трагическіе случаи гибели арестантовъ и нарядчиковъ.

Прим. авт.

сѣры. Но больше всего я былъ пораженъ незначительными размѣрами произведенныхъ разрушеній. Я ожидалъ, что отъ такихъ громоносныхъ выстрѣловъ вся шахта потрескается и подастся въ глубину чуть не на цѣлую сажень, а на дѣлѣ только кой-гдѣ виднѣлись кучки наваленныхъ каменьевъ и замѣчались трещины. Любопытнѣе всего было мнѣ, разумѣется, посмотрѣть на то мѣсто, гдѣ находились два выбуренные мною шпура. Одинъ изъ нихъ—увы!—остался точь въ точь такимъ же, какимъ былъ и до паленья...

— Не осилилъ, на воздухъ выпалилъ,—объяснилъ мнѣ Семеновъ:—оно и лучше! У васъ, значить, готовая дырка есть.

За то отъ другого моего шпура осталась только длинная царапина на камнѣ; отъ большинства другихъ остались „стаканы“—остатки въ нѣсколько вершковъ глубиной.

— Очень хорошо взрвало!—рѣшилъ Семеновъ.

— Это хорошо называется?!

— А вы какъ бы думали? Знаете, сколько тутъ обивки будетъ? Дня на два по крайней мѣрѣ. Смотрите: и здѣсь бутъ, и здѣсь, вездѣ трещины.

И онъ началъ ударять слегка балдой по разнымъ мѣстамъ шахты: послѣдняя глухо отзывалась на удары („бутѣла“). Я очень мало понималъ во всѣхъ этихъ техническихъ терминахъ и потому рѣшилъ держаться наблюдательной политики.

— Эй, черти, чего тамъ разбѣгались?—закричалъ Семеновъ товарищамъ, оставшимся еще на верху:—Влѣзайте всѣ, да за дѣло примемся!

Тотчасъ же нѣсколько человѣкъ сошло внизъ. Проворный Ракитинъ и увалень Ногайцевъ, которому тяжело было тащить по лѣстницамъ свое грузное тѣло, спустились по канату. Мнѣ поручили держать свѣчку и свѣтить. Семеновъ отгребъ въ одномъ углу наваленные мелкіе каменья, насмотрѣлъ трещину и, наставивъ на нее кирку, велѣлъ Ракитину бить балдою.

— Вотъ я тебя запрягу! Поменьше языкъ-то чесать станешь.

Ракитинъ покорно взялъ полупудовую балду, занесъ ее высоко надъ головой, зажмурился—и... со всего размаху хватилъ ею по деревянной ручкѣ кирки: кирка полетѣла въ одинъ конецъ шахты: сломанная ручка въ другой, а Семеновъ едва успѣлъ отдернуть руку, въ которой держалъ ее.

— Ахъ ты, сволочь паршивая!—закричалъ онъ:—развѣ такъ бьютъ? По мордѣ захотѣлъ, что-ли? У тебя гдѣ глаза-то?

Ракитинъ стоялъ съ виноватымъ видомъ и уныло смотрѣлъ въ сторону.

-- Какой я, въ самъ-дѣлѣ, работникъ, Иванъ Николаевичъ?—зашепталъ онъ мнѣ, жалуюсь:—выросъ я въ сиротствѣ... Къ торговому потомъ дѣлу пріобыкъ... Натура у меня къ понятію всякому склонная... Вотъ ежели бы грамотѣ меня обучали, такъ я, думаю, далеко бы пошелъ! Потомуглазъ у меня наэтотъ счетъ самый пронырливый!

— Да! сразу-бъ въ попы тебя поставили!—злобно сказалъ Семеновъ,—ступай-ка лучше наверхъ, покажѣсть цѣль, да ручку новую къ киркѣ вытеша. Топоръ тамъ лежитъ.

И Ракитинъ послушно поплелся наверхъ. Черезъ двѣ минуты мы уже слышали, какъ онъ распѣвалъ тамъ пѣсни и чѣмъ-то потѣшалъ казаковъ. Въмѣсто Ракитина, бить сталъ самъ Семеновъ, а кирку держать Ногайцевъ. Все лицо и фигура Семенова мгновенно преобразились. И въ обычное время онъ поражалъ меня своимъ здоровьемъ и силой, теперь же казался прямо какимъ-то мнѣнческимъ титаномъ, явившимся изъ невѣдомаго міра. Не смотря на порядочный морозъ, онъ сбросилъ бушлатъ и работалъ въ одной рубашкѣ, безъ шапки. Богатырская грудь его и стальные мускулы отчетливо обрисовывались и поражали своей упругостью. Онъ поднималъ и опускалъ полупудовую балду казалось, играючи, безъ замѣтнаго напряженія, и каждое движеніе выходило отъ этого красивымъ, почти граціознымъ. А между тѣмъ, отъ этихъ красивыхъ ударовъ вся гора тряслась подъ нашими ногами... Онъ отваливалъ и, обхвативъ руками, съ легкостью относилъ въ сторону такіе куски гранита, изъ которыхъ многіе я не могъ бы, пожалуй, и съ мѣста сдвинуть... Только на лицо его жутко было глядѣть во время этой работы: что-то жесткое, непріятное скользило по немъ... Да, этотъ человекъ ни передъ чѣмъ не остановится, на все рѣшится, если найдетъ нужнымъ,—невольно думалось мнѣ про Семенова... Я попросилъ его дать мнѣ попробовать ударить. Онъ, молча, передалъ балду.

-- Ну, только я держать не буду!—заявилъ Ногайцевъ:—бей такъ по камню. Я ударилъ раза четыре; но удары мои были такъ младенчески-слабы и неуклюжи, что я самъ устыдился своей попытки и, слыша общій смѣхъ надъ собой, бросилъ балду на землю.

Тѣмъ не менѣе, послѣ этихъ четырехъ ударовъ я уже съ трудомъ переводилъ дыханіе и шатался на ногахъ. За мною сталъ бить Ногайцевъ. Я ожидалъ чего-нибудь до крайности неуклюжаго и емѣннаго отъ этой неповоротливой медвѣжьей фигуры, но, къ удивленію своему, и имъ также принужденъ былъ залюбоваться. Въ работѣ его также видѣлась могучая стихійная сила, чуялся тоже богатырь сказочныхъ временъ... Залюбовавшись этими „дѣтьми природы“, я чуть не потерялъ глаза! Одинъ изъ отскочившихъ камешковъ попалъ мнѣ внезапно въ бровь и разсѣкъ ее до крови... Арестанты тогда предупредили меня, что во время обивки подобныя вещи случаются очень часто, и что надо быть осторожнымъ. Напуганный этимъ случаемъ, я сталъ съ тѣхъ поръ, во время обивокъ, закрывать оба глаза рукавицей лѣвой руки (что, конечно, мало увеличивало мою работоспособность)...

Обивка, наконецъ, кончилась, и всѣ снова полѣзли наверхъ пить чай. За чаемъ разговорились и разоткровенничались. Болталъ больше всѣхъ, по обыкновенію, Ракитинъ, но вниманіе мое направлялось уже не къ нему. Между прочимъ, арестанты стали „подзуживать“ добродушнаго, но вмѣстѣ и крайне обидчиваго „Михаила Ивановича“, и совокупными усиліями намъ удалось выжать изъ него любопытную и страшную исторію, приведшую его въ каторгу.

— Вѣдь вотъ попадется же экое брюхо въ каторгу, — завелъ одинъ арестантъ, — и за что попасть могъ?

Ногайцевъ молчитъ, только пьетъ чай, сердито сопя въ свою грязную китайскую чашку.

— Онъ телушечникъ, — сказалъ Ракитинъ, — ей-Богу, телушечникъ, по всему видно *). Я любого изъ нихъ за три версты узнаю.

— Да, телушечникъ! — огрызнулся Ногайцевъ: — ты поймалъ меня?

— А коли нѣтъ, за что-жъ ты попалъ?

— Нужно сказать тебѣ. Безпремѣнно. Не то сердчать станешь.

— За бабу ты придти не могъ, потому какая-жъ баба тебя любить бы стала?

— А вотъ любела.

— Это, то-исъ, жена-то родная? Это, братъ, не въ счетъ.

*) Намекъ на одинъ гнусный противуестественный порокъ.

— Зачѣмъ родная... И окромя жены...

— Что то чудно, братъ, не вѣрится...

— А ты повѣрь.

— Ну, Расскажи, тогда и повѣрю. Чужая тебя баба любила? Да развѣ кривая какая? Аль безносая?

— Еще какая дѣвка-то! И дѣвка, и мать ейная, обѣ.

— Что ты говоришь?!

— Ну. Я въ работникахъ у богатаго купца томскаго жилъ. Вотъ жена-то его, купца этого самаго, Матрена и связалась со мной... А за ней и дочь ейная, Парасковья... Ты думаешь что? На волѣ то я такой же былъ? Вѣдь это отъ тюрьмы, братъ, жиръ этотъ и одышка взялись, а прежде я не хуже тебя молодецъ былъ.

— Ну, допустимъ. И что-жъ, долго не зналъ ничего мужъ-то, купецъ-то?

— Да онъ и по сей день ничего не знаетъ. Шито-крыто, братъ, дѣло дѣлалось. Ты думаешь, я какъ? Не дурнѣй тебя былъ. А только изъ-за бабъ этихъ, изъ-за проклятыхъ, я и въ каторгу пошелъ!

— Это вѣрно онъ говоритъ, братцы! Сколько изъ-за этихъ шкуръ нашего брата погибаетъ!

— Еще какъ погибаютъ-то! Будь-бы моя, братцы, воля, я бы всѣхъ бабъ на свѣтѣ на цѣпѣ держалъ, а чуть какая непокорность бы оказала—камень ей на шею и въ воду! Какъ же ты, дуракъ, попустился имъ? Брюхо мякинное!

— Такъ. Хозяинъ продалъ въ Барнаулѣ товаръ и велѣлъ хозяйкѣ съ сыномъ и дочерью домой въ Томскъ ѣхать. А я пожелалъ къ женѣ на побывку съѣздить, въ Тару. Онъ далъ мнѣ, что слѣдовало по расчету, и, не дожидаясь отправки семейства, поскакалъ самъ въ Бійскъ, по торговому дѣлу. Только онъ уѣхалъ, Матрена съ Парасковьей и ну ко мнѣ приставать: „поѣдемъ, да поѣдемъ съ нами, Оедча“.

— Да ты какъ же жилъ-то съ имѣньемъ съ обѣими? Неужто онѣ не таились другъ отъ дружки?

— Ну, вотъ еще! Знамо, таились... Развѣ, можетъ, подозрѣнье имѣли... Я, на грѣхъ, возьми и согласись. Собрались, поѣхали вмѣстѣ. Съ нами еще братъ, Матренинъ-то сынъ, значить, парень лѣтъ двадцати, да работникъ-мальчишка. Вотъ ѣдемъ. Хорошо такъ ѣдемъ. Время о лѣтнюю пору. Пришлось разъ ночевать на краю болота. Страшная такая трясина, ельнякъ кругомъ... Развели

костеръ, закусили, выпили. Мы съ Антипомъ-то, братомъ Парасковьинымъ, и здорово-таки хватили. Ночь-то, не помню ужъ, какъ и прошла, а утромъ солнышко чуть взошло, Антипъ и застанъ меня съ сестрой... И у нея, конечно, выпито было лишнее: вотъ мы и заснули въ кибиткѣ, обнявшись. Отерылъ Антипъ рогожу и увидалъ насъ въ такомъ видѣ... Схватываетъ сейчасъ пруть—и давай поливать меня! Я насилу разбудился,—ужъ Парасковья растолкала... Выскакиваю изъ кибитки, на убѣгъ хочу. А онъ за мной, да все стегаетъ, все стегаетъ. Загорѣлось тутъ у меня внутрѣ: что, думаю, ты за господинъ мнѣ? Оглядываюсь: стяжокъ хорошій лежитъ березовый... Хватаю его. Отстань, говорю, не вводи въ грѣхъ! Не слушаетъ. Ровно очумѣлъ паренъ—знай, хлещетъ. Ну, я какъ развернусь, какъ хвачу его по башкѣ... Такъ половина черепа и отлетѣла! Тутъ ужъ въ глазахъ у меня красный туманъ пошелъ... Кровь, значить, ударила... Теперь, думаю, все равно погибать! Кидаюсь къ телѣгѣ, въ которой старуха спада—хвать и ее по головѣ. Вдребезги голова. Мальчишка-работникъ смотритъ на меня во всѣ глаза, самъ ни живъ, ни мертвъ. Мальчишкѣ пятнадцать лѣтъ. Смиранный такой паренъ, славный, и жили мы съ имъ душа въ душу. Не поднялась у меня рука на малаго, бросилъ я стягъ. Потомъ вспомнилъ, что вѣдь еще Парасковья осталась. Лечу къ кибиткѣ—она простоволосая сидитъ, бѣлая вся, какъ полотно, и языка и ума рѣшилась со страху... Хватаю ее за ноги, какъ чурку, размахиваюсь—бацъ головой объ колесо! Только мозги во всѣ стороны полетѣли. Тогда подхожу опять къ Васекѣ. „Вотъ что, говорю, Вася. Жили мы съ тобой, какъ братья родные, и зла я тебѣ не хочу дѣлать. Помни же: ты ничего не видалъ, это все во снѣ было. Самъ я вчера еще ничего въ умѣ не держалъ, ничего-бъ и не было, кабы сами они не довели меня до этого“. Подхожу затѣмъ къ Антипу, нахожу у него въ бумажникѣ 2,000 рублей, у Матрены нахожу—въ юпкѣ зашиты—тоже 2,000 рублей; у Парасковьи подъ лѣвой титькой полторы тысячи заложено... Отобралъ деньги и стащилъ всѣхъ разомъ въ болото; одного на спину, тѣхъ двухъ сволочей подъ мышки... Въ такую трясику опустилъ, что они-бъ тамъ и до скончанія вѣка оставались... Еще и каменье съверху наворочалъ... Слѣды всѣ унистожилъ, ни одного пятнышка крови не оставилъ... Всю траву кругомъ пожегъ... Телѣги и коней цыганамъ продалъ... Васекѣ далъ пятьсотъ рублей и простился. Уѣхалъ я въ Томскъ и сталъ тамъ гулять. Думаю, ни-

какихъ уликъ противъ меня теперь не можетъ быть, потому хозинъ, уѣзжая, думалъ, что я въ Тару ѣду.

— Значить, Васька тебя продалъ? Надо было и его, гаденыша, пристукать.

— Вотъ то-то и есть. Доброта-то меня и погубила. Объ Васькѣ я и думать забылъ. А онъ тоже, какъ и я, гулять зачалъ. Стали люди дивиться, откуда у него столько денегъ взялось. А какъ узналъ купецъ, что у него вся семья куда-то пропала, за Ваську и принялись. Арестовали его, молодчика, онъ и укажи на меня.

— Вотъ тѣ и братъ родной!

— Да. Только я раньше прослышалъ, что меня арестуютъ, и денегъ у меня копѣйки не нашли.

— Куда-жъ ты дѣлъ ихъ?

— Двѣ тысячи я ужъ прогулять успѣлъ; тысячу дѣдушкѣ своему подарилъ—очень любелъ меня дѣдушка; пятьсотъ крестнику отдалъ: думаю, вырастетъ—будетъ у Бога грѣхи мои отмаливать. А остальные полтыры тысячи спряталъ.

— Куда-жъ ты спряталъ?

— А тебѣ на что?

— А вотъ, можетъ, сорвался бы я, пошелъ бы и взялъ...

— Нѣтъ, ужъ ты не бери. Тѣ бумажки все равно теперь негожи, новыя въ оборотѣ ходятъ.

— Зачѣмъ же ты, дьяволъ, пряталъ ихъ? Лучше бы далъ попользоваться кому.

— Дурака нашелъ. Нѣтъ, лучше пушай такъ пропадутъ, истлѣютъ. Каждый пушай самъ объ себѣ заботится.

— А скажите, Ногайцевъ,—задалъ и я вопросъ:—за что вы Парасковью убили?

Ногайцевъ смѣется:

— А что тебѣ? Жалко?

— Ну, да всетаки... Теперь вѣдь дѣло прошлое: вы любили ее?

— Любелъ. Ну, что изъ того?

— Любили—и убили? Какъ же это? за что?

— А за то—все равно одна змѣиная порода! Зачѣмъ ей на свѣтѣ жить?

— А вы зачѣмъ на свѣтѣ живете?

— Я мужикъ... Что-жъ, по твоему, мнѣ надо было оставить ее живой? Чтобъ она разблаговѣстила, меня погубила?

— Молодецъ Михайло Ивановичъ!—одобрили его слушатели:— Хорошо расправился! Еще и каменьевъ сверху наворочалъ.

— Какъ онъ ее, братцы, объ колесо-то звѣдонулъ! Ха-ха-ха! Знай нашихъ сибиряковъ!

— Да и Антипку славно тоже употчевалъ, на томъ свѣтѣ помнитъ будетъ!

— Вы сознались, Ногайцевъ, когда васъ арестовали?—задалъ я еще вопросъ.

— Нѣтъ, ото всего отперся. За несознанье-то мнѣ и двадцать лѣтъ дали, а то за что-жъ бы?

— Какъ за что!.. Да развѣ это много за три души-то?

— Вѣстимо, много... Они развѣ мучаются теперь? Имъ хорошо... А я тутъ страдаю за нихъ! Не изъ корысти-жъ я и убилъ-то, а за свою-жъ обиду. Зачѣмъ онъ меня стегалъ?

— Какъ безъ корысти? Вѣдь вы же взяли деньги?

— Вотъ еще чудное дѣло! Что же, и деньги было въ трясину бросить? Тутъ всякій бы на моемъ мѣстѣ взялъ...

Я не сталъ спорить, видя, что мы говоримъ на совершенно разныхъ языкахъ, и что намъ никогда не понять другъ друга. Тяжелое, удручающее впечатлѣніе произвели на меня и этотъ рассказъ, и это бездушное отношеніе къ нему слушателей. Меня охватило чувство невольнаго ужаса и отвращенія къ этому мягкому, повидимому, и простодушному парню, въ душѣ котораго почудилось мнѣ присутствіе какой-то недоброй, темной, больной, быть можетъ, ему самому невѣдомой силы... И не мало времени прошло, пока я смогъ осилить себя и начать относиться къ нему по старому. Это случилось тогда только, когда ужасная исторія, услышанная мной въ этотъ день, поблѣднѣла передъ другими, въ десять разъ болѣе страшными своимъ безсердечнымъ цинизмомъ и сознательной развращенностью, когда, ближе познакомившись съ Ногайцевымъ, я узналъ, что онъ Богородицу смѣшиваетъ съ Пресвятой Троицей, Христа съ Николаемъ Угодникомъ и проч., узналъ, что душа его была въ сущности то же, что трава, растущая въ полѣ, облако, плывущее въ небѣ и повинующееся дуновенію перваго вѣтра. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ онъ былъ виноватъ, если, предоставленный на жертву соблазнамъ жизни, городской культуры и собственнымъ плотскимъ вождѣлѣніямъ, ни отъ кого и никогда не получилъ той священной искры Прометея, которою гордимся мы, образованная часть человѣчества, и которая можетъ хоть сколько-нибудь сдер-

жизнью въ насъ дикіе животные порывы? Кто рѣшился бы предать его вѣчной анаемѣ?..

— Однако, ребята, пора за подъемъ приниматься,—сказалъ вдругъ Семеновъ, почти не принимавшій участія въ разговорѣ:— а то болтовни нашей и вѣкъ не переслушаешь. Полѣзай въ шахту, Ногайцевъ, каменья накладывать.

— Тебѣ, Мишенька, привычное дѣло каменья-то ворочать,—прибавилъ, Ракитинъ:—будешь тамъ поваркивать себя! мм! мм! мм!

Трое арестантовъ, въ томъ числѣ и я, взялись крутить валъ, Семеновъ съ Ракитинымъ,—принимать кибель и относить каменья въ носилкахъ на отваль. Втроемъ мы едва выкручивали теперь кибель: камень былъ потяжелѣе воды и, тѣмъ болѣе, льда. Однажды, когда мы уже выкрутили кибель, Ракитинъ, неловко принимая его, упустилъ изъ рукъ гранитную глыбу, вѣсомъ не меньше двухъ пудовъ, и съ страшнымъ шумомъ и свистомъ она полетѣла на дно шахты.

— Берегись!—успѣлъ крикнуть Семеновъ, и крикъ этотъ спасъ Ногайцева отъ неминуемой смерти: едва успѣлъ онъ отскочить подъ лѣстницу, какъ камень грохнулся на то самое мѣсто, гдѣ онъ стоялъ.

— У, чучело соломенное, мякинное брюхо!—накинулись на него же Семеновъ съ Ракитинымъ:—ты каждый разъ долженъ подъ варшафтомъ *) стоять, когда поднимаютъ кибель... А то и мокренько отъ тебя не останется!

— Вотъ Ироды оглашенные!—кричалъ, въ свою очередь, Ногайцевъ изъ глубины колодца, очевидно, до полусмерти перепуганный:—вы, пожалуй, скорѣе начальства на тотъ свѣтъ отправите... Жизнь мнѣ, что-ль, надоѣла, съ вами работать? Черти!

— Ну! Ну!—прикрикнули на него:—самъ же виновать, плохо укладываетъ, да еще и ругается... Толстопузый боровъ!

И работа пошла попрежнему, хотя долго еще не могъ я оправиться отъ пережитого волненія. А не унывающій Ракитинъ уже острилъ:

— А что-бъ за бѣда, ежели-бъ и убило одного такого дьявола? Новаго-бъ пригнали, еще жирнѣе. Нашего брата у матушки-казны много!

*) Такъ выговариваютъ арестанты слово форшахта, т. е. передняя часть шахты, заваятая лѣстницами.

— А бываютъ случаи, что убиваетъ на смерть?—~~полюбопыт-~~ствовалъ я.

— Сколько еще бываетъ-то,—отвѣчали арестанты.—Здѣсь хорошо вотъ—восемь сажень глубины, а вѣдь есть шахты въ двадцать и сорокъ сажень. Тамъ бросьте этакій вотъ маленькій камушекъ, въ зернышко величиной, и то, пожалуй, голову до крови прошибетъ. Прошлой зимой въ Зерентуѣ сорвалась съ каната пустая бадья и упала на татарина. Такъ ему весь черепъ разнесло и руку изъ плеча вырвало, на аршинъ въ сторону отбросило... А иной разъ такъ счастливо обойдется, что просто диву дашься. Разъ, этакъ же, въ Алгачахъ съ четырехъ сажень сорвался кибель и прямо на плечи Ванькѣ Миевину... Положимъ, здоровенный дѣтина, богатырь прямо... Такъ онъ всего только недѣлю въ больницѣ пролежалъ, да и то такъ больше, для предлогу... Теленокъ, разъ тоже, упалъ на Покровскомъ въ шахту—и хотъ бы что у него повредилось! Мычить тамъ, сердечный, насилу выволокли.

— Одиножды я тоже напужался, братцы. Сижу это въ шахтѣ, бурю себѣ, ни объ чемъ, то-ись, не думаю. А рядомъ Андрюшка на кибель примостился бурить. Не примѣтилъ того, что другой-то кибель снять, конецъ каната пустой болтается на валѣ; ну, и ерзаетъ себѣ, на кибелѣ-то сидя. Вдругъ какъ зашуршитъ!.. Какъ почнетъ валокъ крутиться, какъ побѣжитъ канатъ... Я-то бурю себѣ и вниманія никакого не беру, а Андрюшка вытарашилъ со страху шары, глядитъ вверхъ и ждетъ, какъ дуракъ. Валокъ все скорѣй, все скорѣй крутится... Вотъ онъ какъ побѣжитъ подъ варшафтъ, да заголоситъ: „Бере-гись“! Только, только успѣлъ я къ стѣнкѣ прижаться—весь канатъ грохъ! Въ двухъ верхкахъ отъ меня на то самое мѣсто, гдѣ я сидѣлъ. Кабы не отскочилъ вовремя, пожалуй, крышка была бы.

— А сколько случается тоже, буруносъ изъ рукъ буръ выпустить. Тоже страху натерпѣшься. Ругани тогда бываетъ, ругани!

— Никому помирать зря неохота.

Мы подняли въ этотъ день восемьдесятъ кибелей камня, и, уходя въ свѣтличку, я чувствовалъ себя всего разбитымъ и измученнымъ.

VII.

Тюремные будни.

Жизнь въ тюрьмѣ шла, между тѣмъ, своимъ чередомъ по однажды заведенному порядку. Въ свое время повѣрка, въ свое время обѣдъ, окончаніе работъ, сонъ. Все, рѣшительно все направлено было къ тому, чтобы превратить людей въ машинообразныя существа, иначе не живущія, какъ по командѣ и „согласно инструкціи“. Последняя, повидимому, не предполагала даже, чтобы на днѣ всячески регламентированной жизни арестанта всетаки могъ оставаться уголокъ, куда она, инструкція, не въ силахъ проникнуть, чтобы въ душѣ и самыхъ развращенныхъ людей было святая святыхъ, куда они никого чужого не пускаютъ. Такимъ святая святыхъ для арестанта являлись воспоминанія о прошломъ, стремленіе къ волѣ, инстинктивная ненависть ко всякаго рода „дѣхамъ“, т. е. солдатамъ, надзирателямъ, вообще къ начальству. Правда, чистая и неиспорченная душа могла бы, пожалуй, содрогнуться, заглянувъ въ это страшное святилище; но что изъ того? Для отверженца человѣческаго общества оно всетаки является таковымъ; душа его чувствуетъ себя довольной и счастливой только въ этомъ мірѣ, а не въ какомъ-либо другомъ, лучшемъ и высшемъ на нашъ взглядъ. Даже въ Шелайской тюрьмѣ, гдѣ жизнь была до смѣшного опутана всевозможными установленіями и формализмами, никакія инструкціи не могли отнять у арестантовъ свободы мыслить и чувствовать сообразно ихъ понятію и умѣнью; и такъ какъ установленія эти касались только чисто внѣшняго облика и поведенія человѣка, того, чтобы въ камерахъ и корридорахъ было чисто, чтобы одежда была въ исправности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка съ головы снималась во время, то въ результатѣ не было, конечно, ни одного случая перевоспитанія души человѣческой. Понятія о цѣли и смыслѣ жизни, всѣ взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, и арестантъ, выходя въ вольную команду или на поселеніе, начиналъ новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жилъ, съ тою только разницею, что теперь старался вести дѣло „чище“, осторожнѣе, не оставляя по возможности слѣдовъ и уликъ. Однимъ словомъ, я вынесъ такое впечатлѣніе, что терроризирующій режимъ каторги вліяетъ

въ желательномъ для закона смыслѣ лишь на очень небольшую группу людей, здоровыхъ отъ природы и не развращенныхъ воспитаніемъ, попавшихъ въ тюрьму вслѣдствіе внезапной вспышки темперамента, минутнаго соблазна или судебной ошибки; но вѣдь такихъ незначѣмъ и устрашать: они все равно не попадутъ во второй разъ въ каторгу, а если и попадутъ, то не скорѣе всякаго другого средняго человѣка, живущаго на волѣ. За то испорченнаго до мозга костей человѣка внѣшній страхъ только окончательно развращаетъ, заставляя быть хитрымъ и лицемернымъ. Онъ не уничтожаетъ въ его душѣ зловѣчныхъ бациллъ, производящихъ болѣзни преступленій, а загоняетъ ихъ, такъ сказать, въ глубь, въ невидимые для посторонняго глаза сердечные тайники, гдѣ присутствіе ихъ, однако же, не менѣе опасно для общественнаго организма... Бравому штабсъ-капитану Лучезарову, который основывался на чисто-внѣшнихъ данныхъ, на томъ, что во ввѣренной ему тюрьмѣ все обстоитъ „благополучно“, нѣтъ ни карточныхъ игръ, ни промота казенныхъ вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно естественно могло казаться, что тюремное дѣло въ его рукахъ кипитъ и процвѣтаетъ, что онъ идетъ впереди своего вѣка, или, по крайней мѣрѣ, ни на шагъ не отстаетъ отъ выводовъ самоновѣйшей криминальной науки; но мнѣ, передъ которымъ открывались порой сокровеннѣйшія глубины преступной души, дѣло было видное, и я съ болью въ сердцѣ видѣлъ, что ничего существеннаго, ничего хорошаго этимъ страшнымъ режимомъ не достигалось... Я видѣлъ, что всѣ эти грозныя команды, строи, маршировки, всѣ эти крики о сниманіи и надѣваніи во время шапокъ—черезъ нѣсколько же дней обращались для арестанта въ привычку, которой онъ слѣдовалъ такъ же машинально, какъ машинально подносилъ ложку ко рту, а не къ носу, когда хотѣлъ ѣсть, что даже ни малѣйшаго страха и страданія эти вещи ему не доставляли. По собственному увѣренію арестантовъ, они цѣлый день готовы бы были снимать и надѣвать шапку, лишь бы не допекали ихъ другими, болѣе существенными способами... Да и чего же иного стали бы вы ожидать отъ людей, у которыхъ совершенно атрофировано понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, о правѣ, объ униженіи? Больше того: у людей, у которыхъ до сей поры вы же, представители и защитники культуры (въ лицѣ властей и чиновниковъ), старались по возможности подавить, а не

развить это понятіе? Страдать подобнымъ страданіемъ способенъ только интеллигентный человѣкъ, и, дѣйствительно, я съ положительностью могу утверждать, что за годы моего прозябанія въ Шелайской тюрьмѣ изъ сотенъ перебивавшихъ въ ней арестантовъ *эта сторона* тюремной жизни дѣйствовала угнетающимъ образомъ не больше, какъ на 2—3 интеллигентовъ, имѣвшихъ несчастье, подобно мнѣ, попасть въ каторгу. Въ самомъ дѣлѣ, мнѣ лично она доставляла наибольшее, по истинѣ, невыразимое мученіе, и сознаніе того, что мученій этихъ не раздѣляетъ со мною никто изъ невольныхъ сотоварищей, особенно удручало и дѣлало меня несчастнымъ. Какъ ни старался я убаюкивать себя мыслью, что это не больше, какъ неизбежная формальность, которая не можетъ принизить мое человѣческое достоинство, что-то въ глубинѣ души болѣло и протестовало. Я готовъ былъ сквозь землю провалиться всякій разъ, какъ при появленіи Шестиглазаго надзиратель командовалъ снимать шапки, а бравый штабсъ-капитанъ не торопился дозволеніемъ накрыть ихъ, и намъ приходилось стоять передъ нимъ иногда по нѣскольку минутъ, смиренно держа въ рукахъ шапки. Чувство это заставляло меня прибѣгать къ смѣшной, на первый взглядъ, уловкѣ. Я снималъ шапку добровольно, еще задолго до появленія начальства, и такимъ образомъ, не слушаясь команды, не шелъ въ то же время и противъ нея. Я хорошо сознавалъ, что это не болѣе, какъ жалкій компромиссъ, сдѣлка съ собственной совѣстью, и тѣмъ не менѣе чувствовалъ ее нѣсколько успокоенной и удовлетворенной... Что же касается арестантской массы, то, мнѣ казалось, ей доставляло даже какое-то наслажденіе снять лишній разъ шапку передъ начальствомъ.

Въ ненастную погоду вечерняя повѣрка производилась обыкновенно въ корридорѣ, гдѣ можно было стоять совсѣмъ безъ шапокъ. По моей просьбѣ, артельный староста Юхоревъ и предложилъ кобылкѣ такъ дѣлать.

— И въ самъ-дѣлѣ, ребята, — кричалъ онъ: на кой онѣ чортъ? Лишній разъ только слушать эту команду. Да провались вмѣстѣ съ ней и самъ Шестиглазый!

Онъ доложилъ надзирателю, что арестанты будутъ стоять въ корридорѣ безъ шапокъ, и что потому команды „шапки долой“ не нужно. Надзиратель согласился и при появленіи Лучезарова прокричалъ только „смирно“.

Но въ слѣдующій же разъ, недѣли черезъ двѣ, когда повѣрка опять случилась въ корридорѣ, арестанты вышли рѣшительно всё въ шапкахъ и на мое напоминаніе объ условіи отвѣчали, смѣясь:

— А что, лѣнь намъ снять-то будетъ, что-ли? Крикнуть „сымай!“—мы и сымемъ.

Да и самъ староста, такъ горячо принявшій прошлый разъ къ сердцу мою просьбу, уже забылъ о ней и стоялъ тоже въ шапкѣ, ухарски заломивъ ее набекрень. Я махнулъ рукой на этотъ вопросъ.

Несравненно страшнѣе была, разумѣется, мысль о тѣлесныхъ наказаніяхъ. Мнѣ казалось, что еслибы когда-нибудь самого меня подвергли этому ужасному надругательству, то вся моя духовная личность была бы навѣки раздавлена, уничтожена, и я больше не могъ бы жить и глядѣть на свѣтъ Божій. Чѣмъ-то неизгладимопозорнымъ и варварскимъ, худшимъ изъ всѣхъ остатковъ средне-вѣковой пытки представлялось мнѣ употребленіе плетей и розогъ наканунѣ XX вѣка... Между тѣмъ, сожителямъ моимъ и этотъ взглядъ былъ вполнѣ чуждъ и ненонятенъ. Въ тѣлесномъ наказаніи пугалъ ихъ одинъ только элементъ—физической боли. Когда я увидѣлъ въ первый разъ длинную, толстую плеть, свитую изъ бичевокъ на подобіе женской косы, когда ее принесли въ тюрьму для наказанія приговоренныхъ по суду къ плетямъ, и въ маленький карцерный дворикъ, кромѣ палача, вошли—самъ Лучезаровъ, докторъ, фельдшеръ и нѣсколько надзирателей, я весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и долго не могъ успокоиться даже послѣ того, какъ наказанные вернулись въ камеры и рассказывали, смѣясь, что одна „проформа“ была.

— Микитѣ такъ только заглянули... А меня чуть-чуть по штаттамъ погладили... Шестиглазый прямо отрѣзалъ: „Я этихъ наказаніевъ по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вотъ если у меня въ чемъ проштрафитесь, ну, тогда не помилю“.

Арестанты всё, въ одинъ голосъ, одобрили за это Шестиглазаго и, вообще, остались очень довольны его поведеніемъ. Репутація его послѣ этого случая значительно поднялась въ глазахъ кобылки. Я засталъ еще то время, когда практиковалось даже сѣченіе женщинъ *); но и оно никого не возмущало съ точки зрѣнія позора...

*) Тѣлесное наказаніе женщинъ отмѣнено окончательно весною 1893 г.

Прим. авт.

Лишеніе воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на всѣхъ заключенныхъ. Но, говоря правду, я думаю, что образованный человѣкъ легче выноситъ это лишеніе. У него обширнѣе внутренній міръ, богаче тѣ сокровища, которыхъ никто и ничто не можетъ отнять у человѣка. У темнаго человѣка внутреннее „я“ бѣднѣе, и потому онъ болѣе нуждается въ чисто-внѣшнихъ впечатлѣніяхъ, которыя заполняли бы его душевную пустоту и отвлекали отъ горькихъ думъ. По той же причинѣ его сильнѣе тянутъ на волю и чисто-физическіе инстинкты и потребности. Я нерѣдко удивлялся и не могъ понять, зачѣмъ такъ рвались арестанты въ вольную команду, откуда такъ часто приводили ихъ обратно въ тюрьму съ лишеніемъ скидокъ или даже съ набавкой срока каторги за какую-нибудь кражу или буйство въ пьяномъ видѣ. Многіе изъ нихъ и сами признавались мнѣ, что для нихъ лучше было бы до конца срока просидѣть въ тюрьмѣ, не выходя въ команду, гдѣ такъ легко новую каторгу заработать; и тѣмъ не менѣе, каждый изъ говорившихъ это печально бродилъ по двору вдоль тюремныхъ стѣнъ, завистливо поглядывая на высившіяся за ними сопки, вздыхалъ и высчитывалъ, сколько мѣсяцевъ и дней остается ему до вольной команды... И пускай бы еще вздыхали тѣ, которые мечтали о побѣгѣ съ воли, тѣ, которые имѣли 20 и 30 лѣтъ каторги на плечахъ: такихъ я понималъ-бы... Но рвались въ команду и тѣ, кому до поселенія оставалось всего какихъ-нибудь два-три мѣсяца... Подчиненность была, правда, въ вольной командѣ слабѣе; „духа“ соштыкомъ не замѣчалось за спиной; но работа была не менѣе тяжела. Та же жизнь въ казармѣ, только гораздо худшей, болѣе тѣсной, грязной и шумной (благодаря бѣльшей свободѣ); пища хуже тюремной, потому что за вольнокомандцами начальство слѣдило не такъ зорко и строго. Что же, въ такомъ случаѣ, влекло туда этихъ людей? Конечно воля, выражавшаяся, главнымъ образомъ, въ свободной игрѣ въ карты, питьѣ водки и ухаживаньи за каторжными дульцинеями...

Въ чисто физическомъ смыслѣ Шелайская тюрьма давала арестантамъ дѣйствительно огромную массу страданій. Самымъ главнымъ изъ нихъ было запрещеніе частныхъ улучшеній пищи и необходимость, даже имѣя свои деньги, питаться одной казенной баландой. Среди арестантовъ попадались довольно состоятельные люди, но дойти до такого—первобытнаго въ сущности—альтруизма, чтобы согласиться улучшать на свой счетъ общій ко-

тель (что разрѣшалось начальствомъ), никто изъ нихъ никогда не могъ.

— Съ какой стати на собственныя свои деньги стану я всю тюрьму кормить? Меня же дуракомъ назовутъ, — рассуждалъ каждый и предпочиталъ лучше издохнуть съ голоду.

Правда, какъ ни строго былъ Шестиглазый, какъ ни грозны были его рѣчи и сулимые въ нихъ кары, вскорѣ и въ Шелайской образцовой тюрьмѣ образовались разныя маленькія лазейки и бреши. Больничный поваръ сталъ потихоньку продавать „лишнее“ молоко, сами больные—свои порціи мяса и пр. Долгое время я не понималъ, какъ и на какія деньги производится эта конспиративная торговля, тотому что на рукахъ арестантамъ не полагалось имѣть ни одной копѣйки, пронести же въ тюрьму хоть одинъ рубль при томъ изысканномъ обыскѣ, которымъ мы были встрѣчены при приѣмѣ, представлялось мнѣ немыслимымъ. На выраженное мной однажды недоумѣніе въ этомъ родѣ старикъ Гончаровъ, съ которымъ мы были одни въ номерѣ, засмѣялся.

— Да хоша бы онъ и того пуще обыскивалъ, деньги у арестанта всегда будутъ! Вы что думаете? И въ карты здѣсь не играютъ?—шепотомъ спросилъ онъ у меня.

— Въ карты? Откуда же ихъ взять? Карты еще труднѣе пронести.

Гончаровъ, не отвѣчая ни слова, вышелъ въ отхожее мѣсто и, возвратясь оттуда черезъ нѣсколько минутъ, таинственно показалъ мнѣ, хитро улыбаясь, двѣ колоды старыхъ замасленныхъ картъ.

— Какъ! развѣ и вы играете?

— Нѣтъ, я-то самъ отъ роду не игрывалъ, и нѣкогда даже смотрѣть на игру меня не тянетъ. Мы съ Петькой такъ только... держимъ. Онъ-то, положимъ, игрокъ, первой руки шулеръ. Онъ, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вмѣстѣ) ни одного разу въ проигрышѣ не былъ. Всѣ эти подходы и выверты картежные онъ до тонкости знаетъ.

— И здѣсь играетъ Семеновъ?

— Какая здѣсь можетъ быть игра! Стоить-ли ему тутъ маражаться? Во всей-то тюрьмѣ здѣсь колесомъ ходить много, много—двадцать какихъ рублей.

— Такъ зачѣмъ же держите вы карты?

— Какъ зачѣмъ? Вотъ кто захочетъ поиграть—и идетъ къ намъ. Мы получаемъ проценты.

— А, вотъ что...

Послѣ того мнѣ и самому случилось нѣсколько разъ быть свидѣтелемъ картежной игры. Происходила она обыкновенно на нарахъ въ углу камеры или въ кухнѣ за печкой. У дверной форточки обязательно стоялъ стремщикъ, который при приближеніи надзирателя обыкновенно провозглашалъ: „Двадцать шесть!“—обычный условный сигналъ тюремныхъ жуликовъ. Стремщикомъ большею частью былъ Яшка Тарбаганъ, большой любитель и знатокъ своего дѣла. Къ счастью картежниковъ, дежурный надзиратель всегда былъ обвѣшанъ, точно бубенчиками, связками ключей, которые гремѣли при каждомъ его движеніи и тѣмъ предупреждали виновныхъ. Помню, въ какомъ волненіи была вся тюрьма, когда однажды игроки „засыпались“ въ кухнѣ: стремщикъ прозѣвалъ, и надзиратель прямо изъ ихъ рукъ взялъ и карты, и деньги. Ожидали, что Шестиглазый строго расправится съ виновными, но, къ общему удивленію, онъ ограничился тѣмъ, что продержалъ ихъ нѣсколько дней въ карцерѣ и не произвелъ даже обыска въ тюрьмѣ. Въ другой разъ надзиратель подглядѣлъ, что въ камерѣ происходитъ игра. Неслышно отомкнулъ онъ замокъ, быстрымъ толчкомъ отворилъ дверь и кинулся схватить карты, но онѣ исчезли.

— Гдѣ карты? Гдѣ карты?—кричалъ опѣшившій блюстителъ порядка.

— Какія карты? Господь съ вами, Проконій Филиппычъ... Мы просто такъ сидѣли, разговаривали.

— Врете, врете, собачьи дѣти! Я самъ собственными глазами сейчасъ видѣлъ, какъ Петинъ сдавалъ. У тебя, Петинъ? Признавайся?

— Да нѣтъ у меня.

— Разувайся, я обышу. Голову на отсѣченье даю, у тебя. Заморю въ карцерѣ!

— Воля ваша, ищите.

Все, до послѣдней ниточки, обшарилъ надзиратель на Петинѣ, дѣтинѣ саженнаго роста, покорно разставлявшемъ, по его требованію, руки и ноги, снимавшемъ сапоги, штаны и бушлатъ. Карты, будто, сквозь землю провалились.

— Ну, ладно, батькѣ твоему нехорошо будь! Ничего не подѣлаешь... Ну, да я все-жъ подкараулю тебя.

Надзиратель ушелъ, и арестанты начали смѣяться.

— Куда вы ухитрились спрятать ихъ, Петинъ?—полюбопытствовалъ я.

Онъ весело оскалилъ свои бѣлые зубы.

— На головѣ все время были... Какъ только вбѣжалъ онъ, я живой рукой, будто шапку поправилъ, и сунулъ ихъ подъ шапку... Глаза-то у него разбѣжались—онъ и не видалъ. Всего обыскалъ, подъ шапку только не догадался заглянуть.

Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. Еще нѣчто подобное продѣлалъ Яшка Тарбаганъ. Другой надзиратель, заподозривъ въ предбанникѣ игру, тоже опрометью вбѣжалъ туда и началъ всѣхъ обыскивать. Главное подозрѣніе его падало на Тарбагана, но найти при немъ карты ему все-таки не удалось. Оказалось потомъ, что Яшка во все время обыска держалъ колоду картъ на ладони лѣвой руки, искусно прижавъ ее мизинцемъ и большимъ пальцемъ... Впрочемъ, не смотря на подобные случаи, я не могу сказать, чтобы въ общемъ арестанты отличались умѣньемъ конспиривать и прятать запрещенныя вещи. Все ихъ прославленное умѣнье и ловкость заключаются въ дерзости, въ нахальной находчивости. Обычныя качества русской натуры, легкомысліе и халатность, въ высшей степени свойственны имъ.

Однако, самый фактъ появленія въ тюрьмѣ картъ и денегъ показывалъ, что одной воли Шестиглазаго и нагоняемаго имъ страха недостаточно для того, чтобы образцовая Шелайская тюрьма стояла всегда на одномъ и томъ же уровнѣ строгости и образцовости. Я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, что у арестантовъ были постоянныя сношенія и съ волей, съ тѣми немногими вольнокомандцами, которые еще до нашего прихода жили въ услуженіи у самого начальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время отъ времени лишнія рукавицы и рубахи, которыя относились въ гору и сдавались сторожу-старiku, или оставлялись въ заранѣ условленныхъ мѣстахъ. Лазейки понемногу расширялись. Шагъ за шагомъ дѣлались завоеванія и въ болѣе существенныхъ пунктахъ. Такъ, самимъ надзирателямъ не нравилось производить утреннюю повѣрку на дворѣ, мерзнуть на 40° морозѣ, стоя съ обнаженной головой во время молитвы, и вотъ начали вскорѣ производить ее въ корридорѣ. Лучезаровъ вставалъ поздно, и не

было опасности, что онъ явится когда-нибудь самъ. Арестанты пошли дальше и, послѣ долгихъ пререканій съ надзирателями, ввели обычай не пѣть, а только читать утреннія молитвы. Молитва по утрамъ вообще была скорѣе богохуленіемъ, нежели благочестивымъ дѣломъ. Голодные, продрогшіе, заспанные, еще невымытые арестанты выстраивались въ корридорѣ и стояли на сквозномъ вѣтрѣ вѣрныхъ 10—15 минутъ, пока надзиратели ухитрились сосчитать ихъ. Ариѣметику шелайскіе надзиратели знали вообще очень плохо—и въ то же время вмѣсто того, чтобы считать всѣхъ подъ-рядъ, считали почему-то каждую изъ девяти камеръ отдѣльно, прибавляя потомъ одну къ другой.

— Шестнадцать да восемнадцать—тридцать три.

— Тридцать четыре, Прокопій Филиппычъ,—поправлялъ кто-нибудь изъ арестантовъ, выходя изъ терпѣнія.

— Охъ, сбиль ты меня, паря! Надо снова пересчитать.

И бѣжать уже въ третій разъ PROVĖRYATЬ все сначала. Наконецъ, раздается команда:

— На молитву! Шапки до-лой!

Всѣ молчатъ.

— Чего же молчите? Пойте.

— Некому пѣть, Прокопій Филиппычъ.

— Какъ некому? Вечеромъ поете же?

— То вечеромъ, другое дѣло... А теперь, со сна, глотка у каждого сухая, осипшая.

— Ну, такъ читайте хоть кто-нибудь.

Всѣ молчатъ.

— Ну, ты, Пѣнкинъ, читай.

— Я словъ не знаю, Прокопій Филиппычъ.

— Какъ не знаешь? Ты пѣвчій. Въ карецъ захотѣлъ, что-ли? Это что за безобразіе! Я начальнику доложу.

— Ей-богу, словъ не знаю, Прокопій Филиппычъ! На слухъ-то могу пѣть, а прочесть не умѣю.

— Читай ты, Булановъ.

— Голосу нѣтъ, Прокопій Филиппычъ.

— Что за вздоръ! Говорить, а у самого голоса нѣтъ. Читай.

— Я мордвинъ, Прокопій Филиппычъ,—пищитъ Булановъ,—какой можетъ быть читатель мордвинъ? Ну, да я прочитаю, если хотите. „Очи наши рижесѣ на небеси. Да свѣтитсѣ имя твое, придетъ царство твое, будетъ воля твоя на небеси, какъ и на земли.“

Хлѣбъ нашъ насущный дай намъ ѣсть. Не остави намъ долги наши, якоже и мы не оставляемъ должникамъ нашимъ. Не введи насъ въ искушеніе, не избавь насъ отъ лукаваго. Аминь“.

— По камерамъ шагомъ маршъ!..

Съ шумомъ и смѣхомъ расходится кобылка по камерамъ.

— Ай да мордвинъ! Не умѣю, говоритъ, а самъ какъ отхваталъ, хоть бы и попу—такъ въ пору!

Съ тѣхъ поръ каждое утро слышали мы это „очи наши рожеси на небеси...“

Послабленія пошли и еще дальше. Въ началѣ было строго предписано надзирателямъ на одинъ только часъ въ день отворять камеры настѣжь для очищенія воздуха и для прогулки слабыхъ, освобожденныхъ фельдшеромъ отъ работъ. Выпускались старосты въ кухню за обѣдомъ—камеры мгновенно захлопывались за ними и замыкались; возвращались они съ обѣдомъ—надзирателю опять приходилось по очереди впускать ихъ. Такимъ образомъ въ теченіе дня, отъ утренней до вечерней повѣрки, ему приходилось разъ пятьдесятъ отворить каждую камеру и столько же разъ запереть. А камеръ было девять. Само собою разумѣется, что даже самые исполнительные изъ надзирателей чувствовали себя несчастнѣйшими въ мірѣ людьми въ дни своего дежурства, находясь въ непрерывномъ волненіи, бѣготнѣ и поту; а такъ какъ на всю тюрьму полагался одинъ только внутренній дежурный (другой былъ за воротами), то естественно, что онъ почти не имѣлъ времени слѣдить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за мастерской, гдѣ производилась починка бѣлья и обуви. Въ виду этого Лучезаровъ разрѣшилъ вскорѣ держать камеры отпертыми по праздникамъ въ теченіе всего дня, въ будни же отъ утренняго звонка на работу до возвращенія горныхъ рабочихъ. Послѣ этого попушенія со стороны высшаго начальства и надзиратели сдѣлались смѣлѣе. Арестанты, съ своей стороны, не уставали ихъ „подзуживать“.

— Эхъ, Прокопій Филипповичъ, все-то вы боитесь, всего-то пужаетесь.

— Я, братъ, по инструкціи... Мнѣ какъ велѣно.

— Велѣно-то оно велѣно, спору нѣтъ. Только человѣку понятіе тоже дано вѣдь. Почему же вотъ ни Иванъ Павловичъ, ни Василий Андреевичъ никогда камеръ на запорѣ не держатъ? Ну, конечно, ежели предполагають, что начальство сейчасъ явится,

тогда поспѣшаютъ. Такъ на то звонокъ вѣдь есть; старшій дежурный предупредить обязанъ.

— Не можетъ этого быть. Не повѣрю, чтобъ Иванъ Павловичъ, али Василій Андреевичъ камеръ не запирали. Чего мелешь непутевое, собачій сынъ?

— Ей-богу-съ, правду говорю, не запираютъ. Конечно, болтать только объ этомъ зря не велятъ. Потому они люди тонкаго пониманія...

— Сомнительно что-то,—отходилъ прочь Прокофій Филипповичъ, покачивая головой, но тѣмъ не менѣе впадая въ нѣкоторое раздумье.

А на Василя Андреевича и Ивана Павловича арестанты старались, между тѣмъ, воздѣйствовать мнимой снисходительностью къ нимъ Прокофія Филипповича. Преувеличенныя похвалы соперникамъ нерѣдко оказывали-таки свое вліяніе, и кто-нибудь изъ надзирателей становился вскорѣ дѣйствительнымъ любимцемъ публики.

— Это не Иванъ Павловичъ, а просто объяденье!—говорили они межъ собой, не зная, какъ похвалить его.

Но какъ ни важны, какъ ни значительны были всѣ послабленія и уступки, отвоеванныя съ теченіемъ времени арестантами, для меня жизнь въ Шелайскомъ рудникѣ по-прежнему была невыразимо тяжела. Тошнотворная и мало питательная пища; работа въ сырыхъ и холодныхъ шахтахъ; казарменно-унизительный строй жизни, попирающій въ грязь всѣ заветнѣйшія чувства и стремленія; лишеніе свободы и общенія съ образованнымъ міромъ; тѣсное сожительство съ людьми, съ которыми такъ мало имѣлось общаго и родного; горькіе дни и черныя ночи съ мучительной безсонницей или кошмарными снами,—ахъ! и теперь еще, по прошествіи столькихъ лѣтъ, я вздрагиваю каждый разъ, какъ вспомню обо всемъ этомъ... Сердце опять трепещетъ, опять полно ранъ и скорби... Тихе, тихе, непокорное! Побѣди свой порывъ! Превратимся опять въ безпристрастныхъ лѣтописцевъ хоть и ужаснаго, но все же пережитого прошлаго. Будемъ рассказывать по порядку, что въ немъ было наиболѣе важнаго и любопытнаго: авось кому-нибудь пригодится!

VIII.

Начало моей школы.

Съ наступленіемъ зимы и удлинненіемъ ночей, насъ запирали на замокъ все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила, наконецъ, вечерняя повѣрка со всѣми ея страхами, окриками, громомъ и блескомъ, когда щелкалъ замокъ за удалявшеюся свитой Лучезарова, только тогда вздыхалъ я полною грудью и чувствовалъ, что до слѣдующаго утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется въ мою душу, что на цѣлыя полсутки я застрахованъ отъ всякой новой обиды и поруганія. Много было отвратительныхъ сторонъ въ этомъ долговременномъ пребываніи подъ замкомъ, но для меня существовали болѣе страшныя вещи, чѣмъ спертый, душливый воздухъ и близкое общеніе съ отбросами человѣчества. Впрочемъ, постараюсь дать читателю нѣкоторое представленіе и о той атмосферѣ, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному разсчету, была устроена на шестнадцать человѣкъ (число это значилось и на досочкѣ, прибитой къ дверямъ); но, какъ я говорилъ уже, партія пришла большая, и въ каждой камерѣ было по 20 и даже по 22 человѣка. Пятерымъ въ нашемъ номерѣ не хватило мѣста на нарахъ, и они принуждены были спать на полу (на полъ сгоняли обыкновенно татаръ и сартовъ). Оконная форточка въ камерѣ имѣлась, но такъ какъ русскому человѣку принадлежитъ знаменитое въ наукѣ открытіе, что паръ костей не ломить, то открывали ее чрезвычайно рѣдко и неохотно. Ее, навѣрное, и никогда бы не открывали, если бы не я и не моя настойчивость; однако, и я стѣснялся слишкомъ злоупотреблять своимъ вліяніемъ, встрѣчая порой косые и прямо враждебные взгляды старичковъ, вроде Гандорина. Этотъ достопочтенный и благочестивый старецъ, съ своей стороны, мало стѣснялся: ровно черезъ двѣ минуты онъ, какъ котъ, осторожно подкрадывался къ отворенной мною форточкѣ и съ постыннымъ, умиленнымъ выраженіемъ лица, на правахъ старосты, потихоньку захлопывалъ ее; а чтобъ не обидѣть, съ другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетвореніе, пріотворялъ ненадолго по-сторонку и, держа въ зубахъ трубку, шамкалъ въ мою сторону: „Она тоже выносить... Еще способнѣе“.

Этотъ Гандоринъ былъ истиннымъ мучителемъ моимъ. Съ лицомъ святаго, съ сѣденъкой бородкой клинышкомъ и изможденнымъ лицомъ, онъ былъ обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовѣстно сѣдая до послѣдней крошки собственную порцію балабды, какую бы мерзость она ни представляла, онъ въ качествѣ старосты еще сливалъ къ себѣ же остатки отъ всѣхъ другихъ порцій и тоже обязательно сѣдалъ. Сѣдалъ и весь хлѣбъ—свой и остатки чужого. Допивалъ весь оставшійся чай... Умъ отказывался понимать, куда все это лѣзло въ тщедушнаго старичонку! Но за то онъ сторицей же отдавалъ и обратно то, что воспринималъ въ себя: вѣчно страдая разстройствомъ желудка, онъ поминутно принужденъ былъ выбѣгать куда нужно, да когда и назадъ возвращался, сосѣдямъ его не приходилось благодарить судьбу... Къ несчастію, онъ спалъ всего черезъ два человѣка отъ меня: Чирокъ, Тарбаганъ и онъ... Мое мѣсто было у самой стѣны. Впрочемъ, не одинъ Гандоринъ страдалъ катарромъ желудка, который и не удивителенъ былъ при томъ ужасномъ пищевомъ режимѣ, который ввелъ въ Шелайской тюрьмѣ бравый штабсъ-капитанъ; поэтому атмосфера небольшой камеры, гдѣ скучивалось слишкомъ двадцать взрослыхъ человѣкъ, почти прикасавшихся тѣлами одинъ къ другому, была по вечерамъ въ высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которыя арестанты тутъ же, около печки, развѣшивали для просушки. Онучи эти у нѣкоторыхъ не мылись по цѣлому году, и отъ нихъ пахло такой омерзительной прѣлью, что непривычнаго человѣка могло бы стошнить... У многихъ арестантовъ ужасно воняли и самыя ноги отъ постоянно струившагося по нимъ пота (болѣзнь, очень распространенная среди рабочаго люда).

И всетаки еще разъ повторяю: я всегда чувствовалъ радость, когда проходила повѣрка, и насъ запирали на замокъ.

Подборомъ своихъ сожителей, за малыми исключеніями, я былъ вполне доволенъ. Бѣльшаго эти люди не могли мнѣ дать, и смѣшно было бы на нихъ сѣтовать за это. Отношенія между нами съ самаго начала установились дружескія. Въ первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающихъ грамотѣ. Едва я высказалъ однажды—полушутя, полусерьезно—это желаніе, какъ экспансивный Никифоръ Буренковъ сорвался съ нарѣ и, подбѣгая ко мнѣ, закричалъ:

— Вотъ хорошо-то будетъ! Я, знаешь, Миколанчъ, давно ужъ просить тебя хочу, да все не смѣю... А ты самъ надумалъ... Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьяволъ ее побери! Приду домой—диву всѣ дадутся: неужто это Микишка? Тотъ вѣдь ни аза въ глаза не зналъ, а этотъ... И знаешь что, Миколанчъ? Ты выучи меня и рихметикѣ также... Счетъ мнѣ знать хочется... Я тамъ у нихъ писаремъ буду—вотъ окучу-то всѣхъ!

Я отвѣчалъ Буренкову, что учиться надо не для окучиванья людей, а напротивъ того, для выкручиванья ихъ изъ сѣтей темноты и всяческой неправды. Никифоръ сконфузился и поспѣшилъ увѣрить меня, что это онъ такъ только пошутилъ.

Этотъ человѣкъ былъ настоящее „дитя природы“: такого не умѣнья затанцъ хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встрѣчалъ въ другомъ человѣкѣ. Лицо его было лучшимъ зеркаломъ его души. Высокій, костлявый, онъ весь былъ—страсть и огонь; порывистыя движенія, постоянно веселый нравъ, остроуміе, незлопамятность, легкомысліе дѣлали его всеобщимъ любимцемъ. Въ большихъ сѣрыхъ глазахъ его и тонкихъ губахъ, отѣненнхъ длинными, мягкими усами и желтой козлиной бородкой, свѣтилось, правда, и нѣкоторое лукавство. Онъ самъ иначе не говорилъ про себя, какъ „мы, мошенники“... Но стоило немного при-смотрѣться къ Никифору, чтобы убѣдиться, что онъ не только хорошій товарищъ во всякаго рода „фартовыхъ“ предпріятіяхъ, но также и рубаха паренъ. Онъ былъ изъ „семейскихъ“ Верхнеудинскаго округа, старовѣровъ безпоповскаго толка; но раннее знакомство съ пріисками и природная склонность къ товариществу и молодечеству превратили его въ одного изъ героевъ большихъ дорогъ, специальность которыхъ—срѣзывать чай въ обозахъ. За это и пошелъ онъ съ двоюроднымъ своимъ братомъ Михайлой въ ка-торгу на четыре года.

Вся камера живѣйшимъ образомъ заинтересовалась мыслью объ устройствѣ школы. Старики поталкивали болѣе молодыхъ, побуждая учиться. Процентъ грамотныхъ былъ ничтоженъ въ тюрьмѣ. Въ нашей камерѣ грамотныхъ оказалось всего трое: Семеновъ, Парамонъ Малаховъ и нѣкто Владиміровъ. Но были и такія камеры, гдѣ царила поголовная безграмотность. Я спросилъ, кто еще станетъ учиться. На нѣкоторыхъ лицахъ читалось страстное желаніе объявиться, но всѣ молчали.

— Ты, Пестровъ, чего же?—кричали на одного совсѣмъ молодого паренька, вялаго, молчаливаго и конфузливаго.

— У меня, братцы, память плохая.

— Вотъ сказалъ! У насъ, что-ль, лучше, у стариковъ? Кому и учиться, какъ не тебѣ? Парню девятнадцать лѣтъ, въ самомъ что ни есть соку.

— Такъ будете учиться, Пестровъ?

— Хотѣлось бы... Только память, ей-богу, ничего не стоитъ.

— Ничего, посмотримъ.

— А какъ же мы учиться-то станемъ?—вскрикнулъ вдругъ Никифоръ:—вѣдь ни карандашей, ни чернилъ, ни гумаги у насъ нѣтъ! Ахъ ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нѣтъ!..

И отъ бурной радости онъ вдругъ перешелъ къ самому мрачному отчаянію. Я и самъ призадумался. Книжка, положимъ, была—евангеліе; бумага тоже была: экономя продавалъ арестантамъ для куренья махорки сѣрую писчую бумагу, причемъ, слѣдуя инструкціи, запрещавшей въ тюрьмѣ письменныя принадлежности, разрывалъ ее на уродливо-неправильныя полосы. Труднѣе было придумать, гдѣ и какъ достать карандашъ. Парамонъ Малаховъ, необыкновенно важно сосавшій на нарахъ свою трубку и о чемъ-то долго размышлявшій, вдругъ ударилъ себя кулакомъ по лбу и закричалъ:

— Не будь я Парамонъ Малаховъ, коли не достану!..

— Чего?

— И карандашъ, и... азбучку. Пускай у Шестиглазаго шесть глазъ, пускай даже больше будетъ, достану. Надѣйся, Никишка, на Парамона!

Однако, долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Онъ ходилъ бондарничать въ столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякій разъ, какъ возвращался съ работы, Буренковъ и Пестровъ приставали къ нему съ разспросами. Красавецъ-бондарь разводилъ только руками и пожималъ плечами.

— Ну, да ужъ все-таки достану. Придетъ такая точка. Не бывало еще, чтобъ Парамона хлопнушей звали!

Между тѣмъ, мнѣ пришло въ голову воспользоваться углемъ. Никифоръ досталъ прекрасный длинный уголь; я заострилъ его и начертилъ на махорочной бумагѣ нѣсколько первыхъ печатныхъ

буквъ. Восторгамъ учениковъ конца не было. Вечеромъ, только что прошла проверка и заперли камеру, всѣ гурьбой бросились къ столу и обступили меня съ Никифоромъ и Пестровымъ. Лицо перваго изъ нихъ сіяло, какъ хорошо вычищенный мѣдный тазъ; и съ него, и съ Пестрова уже градомъ лилъ потъ, хотя ученіе еще и не начиналось: оба страшно трусили...

— Ну, Микишка, поддаржись, не ударь въ грязь лицомъ!— ободряли Буренкова Чирокъ и Гончаровъ.

Къ великому моему удивленію и огорченію всей камеры, ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, мало способными. Долго успокаивалъ я себя мыслью, что они просто робѣютъ и смущаются, но черезъ недѣлю съ положительностью долженъ былъ убѣдиться относительно Пестрова, что онъ абсолютно тупой и безпамятный паренъ. Я не показывалъ, конечно, и виду, что пришелъ къ подобному заключенію, и не уставалъ каждый вечеръ одно и то же вдалбливать ему въ голову; но камера самостоятельно пришла вскорѣ къ тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова: казалось, будто у каждого задѣта была собственная его амбиція...

— Ну, и долбешка жъ ты, Ромашка!—говорилъ Чирокъ:—я вѣдь ужъ кто такой? Всѣ меня пермякомъ называютъ, изъ чурки вытесаннымъ... Въ лѣсу я выросъ, въ тюрьмѣ состарился... А и то вѣдь ужъ нѣсколько гуковокъ затвердилъ, на тебя глядя. А ты молодой, ты—расейскій!

— Брошу же я совсѣмъ!—вспыхнувъ, какъ порохъ, объявлялъ Ромашка, и большого труда стоило мнѣ каждый разъ уговорить его продолжать опытъ ученія.

За то Никифора камера хвалила и обнадеживала:

— Попомъ будешь, Микишка, у семейскихъ!

Похвалы эти были, впрочемъ, сильно преувеличены. Никифоръ не былъ, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему такъ же и въ ученіи, какъ въ жизни. Не взглянувъ хорошенько въ букву, онъ моментально выкрикивалъ ея названіе, большею частью невпопадъ. Кромѣ того, онъ не любилъ сознаваться тотчасъ же въ самыхъ явныхъ ошибкахъ и, обладая богатой фантазіей, оправдывался сходствомъ между такими буквами, которыя, казалось, ничего общаго не имѣли: такъ, по его словамъ, *м*, какъ двѣ капли воды, походило на *ф*, а на *з*... Нечего и говорить, что вслѣдствіе торопливости онъ постоя...

созвучныя буквы: ж, ш—с, з—д, т (я училъ по звуковому методу).

— Ну, и терпѣніе жъ андельское у Ивана Николаевича,—говорили про меня въ камерѣ. .

Одинъ только Малаховъ держался наэтотъ счетъ особаго мнѣнія.

— Это не ученіе, а баловство одно,—ворчалъ онъ:—развѣ такъ въ старину насъ учили? Первое: азъ, буки, вѣди, глаголь, добро... У каждой буквы свое названіе было, каждая какъ живая была... А нынче что? Шипять, свистать... Ничего не поймешь! Жжжж! Ссс! Просто хотъ уши затыкай.

Я старался объяснить Малахову выгодныя стороны звукового метода, но напрасно: онъ былъ слѣпымъ поклонникомъ старины и къ тому же, если упирался на чемъ-нибудь, то былъ упрямъ, какъ быкъ*).

— Второе,—говорилъ онъ назидательнымъ тономъ,—безъ колотушекъ учителю обойтись невозможно.

— И вѣрно, Миколаичъ,—вскрикивалъ Никифоръ:—ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай, и какъ хочешь... Ни слова не скажу, лишь бы за дѣло.

— Нѣтъ, братъ, и безъ дѣла не мѣшаетъ—поправлялъ Парамонъ:—просто такъ, для науки, для страха. Насъ, ты думаешь, какъ били? Меня дьячокъ нашъ сельскій училъ. Бывало, какъ ни придемъ мы къ нему, ребятишки, всегда пьянехонекъ. И первымъ дѣломъ, сейчасъ же послѣ молитвы, всѣмъ безъ разбора, волосянку давалъ... Треплетъ, треплетъ, устанетъ... Ну, теперъ, давайте, говорить учиться, ребята! А ужъ за дѣло коли билъ, тогда надо было отнимать отъ него: до смерти заколотить! Я разъ во время волосянки руку ему укусилъ, такъ онъ объ меня всю палку въ щепки расхлесталъ.

— Здоровая-жъ, Парамонъ, и тогда у тебя спина была,—смѣялись арестанты.

— Ну, а что-жъ хорошаго было въ такомъ ученіи?—спрашивалъ я Парамона.

— Какъ что? Грамотѣ выучивались, баловства было меньше.

— Насчетъ баловства не знаю, а грамотѣ вотъ не выучились же вы хорошо, какъ ни билъ васъ дьячекъ? До сихъ поръ чуть не по складамъ читаете.

— Это я теперъ забылъ,—отвѣчалъ самолюбивый бондарь, ви-

*) Спѣшу, впрочемъ, оговориться, что учебная практика заставила впоследствии и меня пойти на нѣкоторыя уступки старинѣ. Всѣ буквы носили

димо начинавшій уже раздражаться и съ сердцемъ выколачивавшій о нары свою трубку.—А для своего обихода я и теперь еще ладно читаю. Гдѣ же намъ, дуракамъ, многоучеными быть.

Впрочемъ, пропаганда битья, кромѣ самихъ учениковъ, не нашла себѣ въ камерѣ сочувствующихъ, и Малаховъ остался въ этомъ отношеніи одинокимъ. Особенно ополчился противъ кулачной расправы съ дѣтьми старикъ Гончаровъ.

— Да чтобъ я своего дитю далъ бить?—съ искреннимъ негодованіемъ говорилъ онъ, рассказывая по камерѣ:—Ни за что! Разъ, такъ же, вѣду я верхомъ на меринѣ, у себя дома. Слышу робячій крикъ. Гляжу: у самого плетня учитель деретъ за уши Кожевниковаго мальчишку. Робенку лѣтъ семь, а онъ, знай, уши ему выворачиваетъ, да волосяжкой потчуетъ. Вотъ, подѣзжаю я, привязываю мерина къ плетню и прямо къ учителю. За что?—спрашиваю.—„А тебѣ какое дѣло? Я учитель.“—А! ты учитель? Такъ вотъ поучись-ка прежде у меня!—Какъ подмялъ его подъ себя, да зачалъ угощать, такъ и до сего часу, пожалуй, бока болятъ...

Я поглядѣлъ на огромную медвѣжью фигуру Гончарова, съ широкимъ лицомъ, изрытымъ оспой, толстымъ носомъ, рыжевато-сѣдыми бакенбардами и свѣтлыми большими глазами, надъ которыми угрюмо свѣшивались рыжія брови, и подумалъ, что дѣйствительно плохо, должно быть, пришлось учителю...

— И послѣ, бывало, помни,—продолжалъ Гончаровъ:—завидишь гдѣ его издали, манишь къ себѣ: эй, Трофимъ Евстигнѣичъ, иди-ка сюды, поговоримъ съ руки на руку... Онъ сейчасъ и лыжи прочь наострить! Я смѣюсь, кнутомъ ему вслѣдъ грожу!

IX.

Малаховъ и Гончаровъ.

Гончаровъ и Малаховъ, видимо, не долюбливали другъ-друга, хотя явно и не показывали этого, чуя одинъ въ другомъ почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположныя во всѣхъ смыслахъ, и мнѣ кажется—именно тою противоположностью, въ какой вообще находятся Сибирь и ея метрополія.

у моихъ учениковъ-арестантовъ имена хорошо знакомыхъ имъ предметовъ (б называлось бродней, в—волкомъ, т—трусомъ), и это обстоятельство много помогало успѣшности занятій.

Прим. авт.

Малаховъ былъ псковичъ, живавшій въ самомъ Питерѣ, въ кучерахъ, и получившій тамъ нѣкоторый виѣшній лоскъ. Съ людьми, къ которымъ онъ чувствовалъ уваженіе или расположеніе, онъ умѣлъ обходиться съ утонченной вѣжливостью, не похожей, впрочемъ, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшіе барскія ухватки и словечки. Гончаровъ былъ въ этомъ отношеніи грубоватѣе, неотесаннѣе. За то чисто-виѣшнимъ лоскомъ и ограничивались слѣды цивилизаціи, наложенные на Парамона. Въ душѣ онъ оставался настоящимъ типомъ вандейца, закоренѣлаго въ традиціонныхъ взглядахъ и предразсудкахъ. На бѣду свою онъ отличался большимъ самолюбіемъ, считалъ себя очень умнымъ человекомъ и думалъ, что имѣетъ твердыя, опредѣленные воззрѣнія на вещи, хотя на самомъ дѣлѣ былъ весьма недалекъ и даже, быть можетъ, тупъ. Вотъ почему, когда рѣчь заходила о какихъ-нибудь жгучихъ, задѣвавшихъ его убѣжденія вопросахъ, онъ становился желченъ и забывалъ всякую деликатность и вѣжливость. Всякую „многоученость“ онъ съ презрѣніемъ отвергалъ, и потому, противъ моей воли и желанія, мы нерѣдко вступали въ бурныя пререканія. Противъ экспериментальныхъ наукъ и всякихъ въ глаза бьющихся открытій и изобрѣтеній онъ еще ничего не имѣлъ; но чуть отъ практики дѣло переходило къ общимъ выводамъ и положеніямъ, покушавшимся, какъ ему казалось, на вѣковыя святыни человечества, онъ выходилъ изъ себя и лѣзъ на стѣну, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы изъ-за астрономическихъ вопросовъ, изъ-за того, что земля имѣетъ шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоитъ, относительно, на одномъ мѣстѣ и пр. Парамонъ обыкновенно долго и молча выслушивалъ мои рассказы кому-нибудь изъ арестантовъ про чудеса природы, разоблаченныя современной наукой. Наконецъ, не выдерживалъ и говорилъ:

— А кто же изъ господъ ученыхъ лазилъ на небо, что такъ хорошо все это узналъ?

Я начиналъ сызнова свои разъясненія, стараясь выражаться возможно толковѣе и еще понятнѣе, чѣмъ прежде. Онъ опять терпѣливо слушалъ и потомъ рѣшалъ властнымъ и внушительнымъ тономъ:

— Вздоръ все это, чепуха! Что солнце ходитъ—это я вижу, собственными глазами вижу. Ну, а что земля ходитъ, этого никто никогда не видалъ и никогда не увидитъ! Буду я цѣлый день

стоять на одномъ мѣстѣ и смотрѣть вонъ на ту сопку—и ни на одинъ шагъ она не подвинется въ сторону.

Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точкѣ; напрасно приводилъ обычный примѣръ, что когда ѣдешь на машинѣ, то представляется, будто стоишь на одномъ мѣстѣ, а земля отъ тебя убѣгаетъ. Чѣмъ яснѣе, казалось мнѣ, доказывалъ я свои положенія, тѣмъ больше Парамонъ волновался и сердился... Въ рѣшительную минуту онъ опирался на Библию... Однажды, думая поразить его, я съ своей стороны указалъ ему одно мѣсто въ книгѣ Іова, гдѣ говорится, что Богъ *ни на чемъ* утвердилъ землю, повѣсивъ ее въ воздухѣ; въ отвѣтъ на это, онъ отыскалъ другія мѣста, говорящія о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звѣздъ. Никакихъ иносказательныхъ толкованій онъ принимать не хотѣлъ и разражался, въ концѣ-концовъ, страстной филиппикой противъ науки.

— Вся эта высокоученость гроша мѣднаго не стоитъ! Нынѣшняя наука дошла до того, что и Бога нѣтъ!

— Вы пустяки говорите, Парамонъ,—отвѣчалъ я: — нѣтъ такой науки, которая бы доказывала, что нѣтъ Бога, не было и не будетъ; наука не занимается такими вопросами.

— Какъ! Я самъ встрѣчалъ ученыхъ, которые говорили это!

— А развѣ и изъ совсѣмъ неученыхъ людей,—изъ арестантовъ, напр., — нѣтъ такихъ, что въ Бога не вѣрятъ?

— Ну, ужъ я больше на собственные свои уши полагаюсь. Повѣрите-ли, братцы,—обращался вдругъ мой оппонентъ ко всей камерѣ за сочувствіемъ:—одинъ ученый доказывалъ мнѣ въ Питерѣ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны... Да дуракъ онъ! Подумалъ бы онъ о томъ хоть, что обезьяну надо бѣ, по-крайней мѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ брить, чтобъ она походила на человѣка!

Всѣ разражались единодушнымъ хохотомъ, и Малаховъ глядѣлъ побѣдителемъ. Два-три человѣка изъ молодежи были, правда, на моей сторонѣ, но и они боялись слишкомъ явно высказываться въ пользу науки; старички же поголовно сочувствовали взглядамъ Парамона и за-одно съ нимъ возмущались внутренно моимъ вольнодумствомъ. Одинъ только Гончаровъ посмѣивался и уклончиво говорилъ:

— Ну, а я всему вѣрю... всему готовъ вѣрить... Потому знаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни тасжные—ничего больше! И въ головахъ у насъ есдоръ *) одинъ!

Гончаровъ былъ умъ чисто практическій, мало интересовавшійся отвлеченными умозрѣніями, но за то другимъ дававшій въ этомъ отношеніи полную свободу. Парамонъ, напротивъ, былъ идеалистъ. Не смотря на солидность манеръ и всей фигуры (ему было подъ сорокъ), онъ былъ въ высшей степени страстный и увлекающійся человѣкъ, ни въ чемъ не знавшій мѣры. Говорилъ онъ обыкновенно съ пафосомъ, приподнятымъ нѣсколько слогомъ, воодушевляясь и искренно волнуясь, и краснорѣчіемъ своимъ умѣлъ иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда ему приходилось говорить уже совсѣмъ несуразныя вещи. Такъ однажды онъ разсказалъ намъ слѣдующую исторію.

Возвращался онъ съ товарищемъ домой изъ Питера. Заходятъ въ какую-то деревню и въ одной хатѣ видятъ больную женщину, не встававшую уже нѣсколько лѣтъ съ постели. Родня больной обращается къ прохожимъ съ вопросомъ, не знаютъ ли они какого средства отъ этой болѣзни. Парамонъ и его товарищъ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.

— Вотъ я и отвѣчаю: какъ не знать! Сдѣлайте только все такъ, какъ я вамъ скажу. Испеките мнѣ изъ пшеничнаго тѣста куклу. Тѣ, конечно, съ полнымъ удовольствіемъ того же дня изготовили мнѣ громаднѣйшаго статую. Удалилъ я тогда всѣхъ изъ горницы, положилъ на больную эту куклу и помолился передъ образомъ... Нужно же было что-нибудь для виду сдѣлать! Призываю потомъ снова всю родню и говорю, что куклу эту я съ собой возьму, а что больная вскорѣ-де будетъ здорова. Надавали мнѣ тогда на дорогу всякихъ яствъ, даже денегъ сколько-то дали, и мы отправились съ товарищемъ дальше. Посмѣиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Рѣшили и куклу отвѣдать. Вотъ, отламываю я отъ нея руку... и что же, братцы, думаете? Вижу—кровь!.. Отламываю другую руку—живая человѣчечкая кровь!.. Вотъ, ей-богу, правда!.. Испугались мы тутъ, побросали и куклу, и всѣ припасы и убѣжали. Но что же случилось между тѣмъ? Въ самый тотъ часъ, какъ мы куклу ломали, женщина та,

*) Есдоръ—мусоръ.

больная-то, съ постели совсѣмъ здоровой встала,—ну, вотъ, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснять это, а? Пускай попробуютъ!

Разсказъ этотъ произвелъ на слушателей огромное впечатлѣніе; но меня лично заинтересовалъ онъ въ другомъ смыслѣ. Я чувствовалъ, что въ немъ не все обстоитъ благополучно, что тутъ скрывается одинъ изъ тѣхъ секретовъ, помощью которыхъ создаются обыкновенно всякія легенды и народныя суевѣрія. Часто приставалъ я послѣ этого къ Парамону, прося еще разъ разсказать исторію о куклѣ; онъ каждый разъ отговаривался, лукаво подсмѣиваясь надъ моимъ любопытствомъ. Но однажды, уже полгода спустя, въ минуту счастливаго настроенія и расположенности ко мнѣ, онъ прямо мнѣ признался, что насчетъ крови-то тогда привралъ.

— Все правильно обсказалъ, какъ было. Только вотъ насчетъ крови прибавилъ—пошутить,—объяснилъ онъ, нѣсколько конфузясь, хотя я отлично помнилъ, что *тогда* онъ не думалъ шутить.

Одно обстоятельство заставляло меня прощать Малахову всѣ его недостатки и нелѣпости: это его несомнѣнная неспорченность, сравнительно съ остальной арестантской массой. Я зналъ, что въ каторгѣ онъ за убійство; но ужъ одинъ тотъ фактъ, что сибирскій судъ приговорилъ его (и раньше бывшаго поселенцемъ) всего къ шести годамъ каторги, говорилъ нѣсколько въ его пользу. Общее мнѣніе арестантовъ о Малаховѣ было, что онъ человѣкъ честный и самостоятельный. Самъ Парамонъ любилъ похвалиться, что мошенничествомъ никогда не занимался, что и въ будущемъ твердо надѣется на свои руки. Въ общемъ нравъ у него былъ далеко не мрачный; подъ внѣшней серьезностью таилось много юмора и подчасъ чисто ребяческаго легкомыслія. Поострить на чужой счетъ, „потереть волынку“, какъ говорятъ арестанты, повоюя съ Чиркомъ, раззудить его, заставить вступить съ собой въ перебранку и даже полѣзать въ драку—было любимымъ занятіемъ Парамона.

— Ты чего не на свое мѣсто онучи положилъ?—якобы грозно спрашивалъ онъ Чирка.

— А ты что за баринъ такой выискался?—отвѣчалъ тотъ.

— Убери, говорю тебѣ, сейчасъ убери, не то рожу твою сопливую оботру ими. Ты знаешь, кто я такой?

— А кто?

— Я Парамонъ Малаховъ! Я—родословный! А ты кто? Бродя-га-га?

— Какой я бродяга? Перекрестись пойдѣ, да выспись.

— Ты на житѣе былъ въ Ишимѣ сосланъ и оттуда подкопомъ въ Ялуторовскую тюрьму бѣжалъ, чтобъ майданъ снять!

Въ камерѣ общій хохотъ.

— Онъ собаку съѣлъ, ты не знаешь, Парамонъ?—вступается Яшка Тарбаганъ.

— Молчи, гадъ!—кричитъ на него Чирокъ:—туда же творенье паршивое ротъ розвѣваетъ.

Нужно сказать, что Чирокъ былъ вѣчнымъ предметомъ насмѣшекъ со стороны товарищей за свой побѣгъ изъ вольной Алгачинской команды. Уморительно рассказывали арестанты исторію этого знаменитаго побѣга. Только что выпущенный изъ тюрьмы, подвыпилъ онъ на послѣдніе деньги и, взявъ въ товарищи татарина Малайку, пустился немедленно въ дорогу. Днемъ бѣглецы лежали въ кустахъ, ночью шли вдоль телеграфной линіи.

— Мы еграфомъ, еграфомъ пойдѣмъ, Малайша!

На вторую ночь оба сильно проголодались, подошли къ одной деревнѣ и увидали впереди что-то бѣлое.

— Малайша, Малайша,—шепчетъ Чирокъ,—вѣдь это баранша... Вотъ Богъ послалъ намъ!

Подкрадываются, хотятъ схватить предполагаемаго барана—и вдругъ на нихъ кидается съ лаемъ огромная бѣлая собака... Насилу Чирокъ съ Малайкой ноги унесли. На третій день ихъ арестовали, вернули въ Алгачи, „дали по пятидесяти“ и посадили до конца срока въ тюрьму. Съ тѣхъ поръ арестанты не давали Чирку покоя: лаяли на него собакой, блеяли бараномъ, куковали кукушкой, называли его, шутя, бродягой (у каторжныхъ издавна существуетъ вражда къ бродягамъ по призванію). Шутники рассказывали даже, что онъ съѣлъ таки собаку, но на мѣстѣ преступленія оставилъ хвостъ, по которому и былъ уличенъ; что за ужинъ изъ собачины онъ отлученъ попомъ отъ святыхъ тайнъ, и что собачій хвостъ припечатанъ къ его статейному списку...

Чирокъ относился довольно хладнокровно ко всѣмъ подобнымъ рассказамъ и насмѣшкамъ и въ шутку только показывалъ иногда видъ, что сердится; одинъ Малаховъ умѣлъ раззудить его и довести, что называется, до бѣлаго каленія.

— Хм!—не унимался онъ:—другіе по крайности сухарями или

майданомъ прельщаются, бродяжить идутъ, а онъ собачины отвѣдать захотѣлъ. Оголодалъ на алгачинской баландѣ!

Чирокъ молчитъ.

— Ловятъ вотъ этакого чорта, приводятъ въ тюрьму. „Откуда ты?“ Я, говоритъ, братцы, много горя видѣлъ... Я, говоритъ, съ Соколиного Острова бѣжалъ, въ желѣзныхъ бродняхъ море переплылъ, сорокъ верстъ подкопомъ шелъ... Дайте мнѣ, говоритъ, братцы, майданъ поддержать, поправиться... Я—генералъ Кукушкинъ!.. У, бродяжнй проклятая!

Чирокъ опять упорно молчитъ и, лежа на своемъ мѣстѣ, сосетъ цыгарку и поминутно сплевываетъ на полъ. Парамонъ сидитъ съ нимъ рядомъ и продолжаетъ повѣствовать о продѣлкахъ бродягъ, обращаясь ко всей камерѣ и изрѣдка только къ самому Чирку.

— А въ тюрьмѣ онъ живетъ: надѣнетъ красную рубаху, подбоchenится и идетъ такимъ дьяволомъ... Мы-ста—не мы-ста!.. У, черти окаянныя! Пермь—солёныя уши!

Въ отвѣтъ еще разъ молчаніе; только слушатели заливаются смѣхомъ.

— Въ дорогѣ того хуже: захватить себѣ одинъ полсажени наръ.—Подвинься, говорятъ ему, братецъ.—„Ты развѣ не знаешь, отвѣчаетъ, къ кому обращаешься? Ты кто такой? Ты родословный? А я—Иванъ, родства не помнящій! Понимай это! Здѣсь одна моя нога, а тамъ другая лежитъ. Полѣзай подъ нары!“—Вотъ и приходится страдать нашему брату, родословному, изъ-за нихъ, изъ-за этихъ вотъ чертей... Вотъ изъ-за этихъ... вотъ какъ этотъ... во-вотъ, что лежитъ тутъ!

Парамонъ протягиваетъ палецъ по направленію къ Чирку и съ лицомъ комически-мрачнымъ и серьезнымъ долго держать его въ такомъ положеніи, повторяя:

— Вотъ изъ-за нихъ самыхъ... этихъ вотъ... изъ за летучекъ тобольскихъ, хвосторѣзовъ коровьихъ, костогрызовъ безсовѣстныхъ, тварюгъ!..

— Самъ тварюга!—вскакиваетъ вдругъ Чирокъ, выведенный изъ себя не обличеніями и даже не ругательствами Парамона, а главнымъ образомъ, его пальцемъ, который такъ долго виситъ въ воздухѣ и всѣмъ указываетъ на него. Этого движенія пальцемъ Чирокъ почему-то никогда не выдерживаетъ, и въ крайнемъ случаѣ, когда ничто не дѣйствуетъ, Парамонъ всегда къ нему прибѣгаетъ.

— Гадъ паршивый! Дьяволъ чернопазый! — кричитъ нараспѣвъ, по-пермяцки, окончательно озлившійся Чирокъ и иногда, вскочивъ, принимается даже тузить своего мучителя. А чернопазому дьяволу того только и нужно было: довольный своимъ успѣхомъ, онъ покорно принимаетъ здоровеннѣйшіе тумаки въ спину и заливается веселымъ смѣхомъ.

Совершенно другой типъ представлялъ собою уроженецъ Енисейской губерніи, старикъ Гончаровъ.

Надъ „челдонами“, „желторотыми челдонами“, т. е. сибиряками *), арестанты очень любятъ поострить и посмѣяться. Чѣмъ-то черствымъ, бездушно-трезвымъ и эгоистичнымъ вѣтъ отъ того сибирскаго типа, который рисуется въ разсказахъ арестантовъ (причемъ, подражая сибирскому говору, они всегда почему-то гнусавятъ). Не могу позабыть одного характернаго разсказа бродяги Дорожкина о томъ, какъ однажды его арестовали челдоны въ какомъ-то селеніи Западной Сибири. Привели его въ баню и, крѣпко-на крѣпко скрутивъ веревками руки, оставили тамъ, а сами пошли въ предбанникъ пить водку.

— Вотъ затекли у меня, братцы, руки, окрѣпли... Пересталъ я даже и слышать, что на мнѣ веревки. Думаю—надо быть, ослабили немного. Оглядываюсь кругомъ—окно. Вотъ я какъ раз-бѣгусь—да головой въ раму! Какъ набѣгутъ въ баню челдоны... Какъ зачали меня поливать!.. Повалили на землю: я сижу, ни живъ, ни мертвъ, наклонивъ голову. Они мнѣ въ загорбокъ, знай, накладываютъ. Добрыхъ полчаса лупили, ажно въ глазахъ у меня смеркълось. Двое устанутъ, другіе двое подходятъ.—Пожалѣйте, говорю, старички, хоть не меня, а руки свои. Чѣмъ землю пахать будете? — „А чаво, паря, и въ самъ-дѣлѣ..... Руки-то свои вѣдь... дороже его башки“.—Ударили еще по разу и опять пошли въ предбанникъ водку пить. Я сижу на полу. Вотъ входитъ старикъ, сѣдой, какъ лунь, сгорбленный весь. Смотритъ на меня.—Дѣдушка, говорю ему (жалостно таково): дѣдушка! — „Чаво, спрашиваетъ, родимый?“—Дай водицы испить... Запеклось все въ

*) Впрочемъ, нужно замѣтить, что только въ Западной Сибири общепотребительно слово «челдонъ» въ приложеніи къ крестьянину (такъ же, какъ «варнакъ» — къ каторжному); въ Забайкальи же каждый крестьянинъ страшно обидится, если его такъ назовутъ, и самъ обзываетъ челдонами арестантовъ. Но послѣдніе, понятно, не признаютъ за собой этой клички.

Прим. авт.

глоткѣ... Вишь, какъ избили.—„Ахъ, они, говорятъ, варвары! Да за что они тебя, дитятко? Имъ-то какое дѣло, хоша бы ты и мать свою родную убилъ? Передъ Господомъ на томъ свѣтѣ отвѣтишь. Всѣ отвѣтимъ“.—Беретъ черпакъ банный и подаетъ мнѣ старикъ воды напиться. Чистымъ медомъ вода эта мнѣ показалась, всю до дна выпилъ.—„Пей, говоритъ старикъ, пей еще, родной!“—Да вдругъ, какъ выпилъ я всю воду-то, какъ размахнется черпакомъ, да какъ хватить меня со всей силы по башкѣ—такъ черпакъ въ дребезги и разлетѣлся!.. Послѣ опять входятъ ко мнѣ всей гурьбой челдоны, и волостной старшина съ ними. Я къ нему съ жалобой:—Прикажите, говорю, ваше степенство, помазать мнѣ чѣмъ-нибудь руки. Посмотрите, кровь изъ-подъ веревокъ брызнула.—Посмотрѣлъ: „О! говоритъ, царя, они и впрямь черезчуръ ужъ. Поослабьте немного, да помажьте ему руки чистымъ дегтемъ“.—Схватываетъ одинъ челдонъ мазилку дегтярную (тутъ же и кубышка съ дегтемъ стояла), да какъ сунетъ мнѣ въ рыло... Мазь, мазь! Всего, какъ чорта, вымазалъ. Привязали меня потомъ къ телѣгѣ и повезли въ Ачинскъ. Мухи меня всего дорогой облѣпили. Бѣгу за телѣгой, ровно дьяволъ, изъ самаго пекла достатый... Ребятишки по деревнямъ увидятъ—къ матерямъ домой бѣгутъ...

Таковы рассказы о безсердечной, доходящей до сладострастія, жестокости сибиряковъ. Возможно, что въ нихъ есть извѣстная доля правды. Практичность и трезвость взглядовъ сибиряка, полное отсутствіе поэзіи въ его душѣ, хитрость и умѣнье сдерживаться сразу бросаются въ глазу руссiйскому человѣку. Но онъ обладаетъ за то чертами и качествами, которыми безконечно превосходитъ послѣдняго и которыя ближе ставятъ его къ западно-европейскому типу. Умъ его менѣе засоренъ отжившими традиціями и предрасудками, болѣе способенъ къ развитію и воспріятію новыхъ идей и понятій, отличается болѣею независимостью и свободолюбіемъ. Да оно и понятно: сибирякъ не зналъ крѣпостного права, онъ и теперь не знаетъ, что такое малоземелье и связанныя съ нимъ для мужика нищета и безправіе; въ немъ не видно той заботы, того раболѣпія передъ властями, какими такъ непріятно поражаетъ коренная Русь.

Много разъ приходилось мнѣ мнѣять свое мнѣніе о томъ или другомъ арестантѣ, въ томъ числѣ и о старикѣ Гончаровѣ, ~~на~~ единственное, чего никогда не приходило мнѣ въ голову

цать въ немъ, это—ясный, чисто сибиряцкій умъ, умѣвшій всегда быстро ориентироваться въ каждомъ житейскомъ вопросѣ и положеніи, схватить, что называется, быка за рога. Благодаря этому качеству и острому, какъ бритва, языку, который никогда не лѣзъ за словомъ въ карманъ, онъ разыгрывалъ въ камерѣ роль отца-командира: молодыхъ поучалъ уму-разуму и охотно посвящалъ въ свои прошедшія похождения и приключенія, имъ же числа не было, а болѣе арѣлыхъ лѣтами или равныхъ себѣ по значенію выслушивалъ съ снисходительностью старшаго брата, никогда, впрочемъ, не упуская случая и тутъ вставить какое-нибудь свое наставительное замѣчаніе. За это самоиѣніе арестанты его не любили. Гончаровъ былъ очень тактичный человекъ и рѣзкости позволялъ себѣ только относительно вполнѣ безобидныхъ людей, поэтому съ нимъ рѣдко схватывались лицомъ къ лицу и лишь за глаза честили на всѣ корки. Дружилъ онъ съ однимъ только Семеновымъ, своимъ землякомъ: все, что имѣли, они дѣлили пополамъ, ѣли и пили вмѣстѣ. Угрюмый и молчаливый Семеновъ, видимо, раздражавшійся внутреннею болтливостью старика, находилъ почему-то нужнымъ щадить его и терпѣливо выносилъ его неутомимое краснобайство и резонерство.

— Чистѣйшей степени лицемѣръ!—говорилъ про него Малаховъ, похвалявшійся тѣмъ, что онъ любому человеку въ глаза матку-правду отрѣжетъ:—лисица сибирская! Подумаешь, настоящій монахъ былъ, трудами рукъ своихъ жилъ, хозяйство большое имѣлъ; а самъ—сказать срамно!—вѣдь здѣсь многіе его на волѣ-то знали: всѣ въ одинъ голосъ сказываютъ, что нашимъ братомъ-поселенцемъ кормился... Сколько онъ ихъ перебилъ, такъ дай мнѣ Богъ столько лѣтъ на свѣтѣ прожить! Первый злодѣй былъ.. А теперь какимъ прикидывается химикомъ! *).

— Не тѣ времена.. Въ другой тюрьмѣ показали-бъ ему, что за это арестанты съ ихнимъ братомъ дѣлаютъ,—отзывался Яшка Тарбаганъ.

— Нѣтъ, ребята,—говорилъ Чирокъ:—я за что не люблю Гончарова? За то, что онъ другихъ все осуждаетъ, всѣхъ осуждаетъ, да все знаетъ... Я, да я!—только и слышишь. А другой при ѣмъ и рта не смѣй розгвѣать.

Во время одной ссоры Чирокъ таки бросилъ Гончарову въ

*) «Химикъ» на арестантскомъ жаргонѣ—тихоня, лицемѣръ, подлипало.
Прим. авт.

лицо попрекъ насчетъ поселенцевъ; бросилъ, да тутъ же и языкъ прикусилъ. Гончаровъ живо сбиль его съ позиціи.

— Чего бѣтаешь?—закричалъ онъ раздраженно:— и бѣтаешь зря! Тутъ вѣдь много нашихъ, въ тюрьмѣ. Вонъ Петька меня хорошо знаетъ, Ракитинъ въ шестомъ номерѣ знаетъ, Васильевъ, Григорьевъ... Спроси, рты у нихъ не замазаны. Эхъ, дуракъ, дуракъ! Поселенцевъ бить... Да что съ его возьмешь, съ такого, какъ ты? Стану я руки марать. Дожилъ до сѣдыхъ волосъ и лучше бы пути не нашелъ, какъ копѣйку добыть? Вонъ Петька знаетъ, какъ я жилъ. Другой баринъ такъ не живетъ! Когда въ кабацѣ цѣловальникомъ стоялъ, меня вся округа знала, и всѣ уважали. И всегда ко мнѣ шли, потому я умѣлъ и зналъ, кого какъ принять и угостить. Фартовые люди тоже ко мнѣ липли. Укрыться ли человѣку нужно—опять ко мнѣ. Спроси вотъ Петьку, онъ не дастъ солгать: три раза онъ изъ Канской тюрьмы бѣгалъ, и каждый разъ я же пряталъ!

— Да я что-жъ!—оправдывался Чирокъ.—Я вѣдь то, что люди... Сказываютъ: много народу побилъ...

— Много народу? Это что-же? Они считаются хотять, кто больше побилъ? И кто менѣ, тому медаль хотять выдать за честность, али прямо въ рай отправить? Вотъ чтò значить—просвѣтились въ Шелайской тюрьмѣ. Честности стали набираться... Нѣтъ, берите ужъ себѣ эту честность, такъ и такъ ее надо, а мы и безъ честности вѣкъ доживемъ. Мы въ каторгу за то пришли, что мошенниками и подлецами были; намъ съ вами, значить, одиѣхъ щей не хлебать! Народу, вишь, много побилъ я? Зависть ихъ ваяла. Я развѣ таюсъ? Я, вотъ, поляка одного убилъ и подъ кочку въ болотѣ закопалъ. Такъ двадцать лѣтъ прошло—никто не узналъ. Одинъ Богъ видѣлъ. Потому обиды я не стерплю, за обиду всегда отомщу; развѣ живъ не буду—забуду. Но за то я и добро вѣкъ помню!

И долго еще, разсуждая, ходилъ Гончаровъ по камерѣ, грузно поворачивая свою огромную тушу, въ которой было до семи пудовъ вѣсу, и напоминая собой разъяреннаго медвѣдя, ставшаго на заднія лапы... Онъ бывалъ страшенъ въ минуты гнѣва. Онъ самъ разсказывалъ, какъ десять лѣтъ назадъ во время шуточной борьбы съ такимъ же, какъ самъ, енисейскимъ медвѣдемъ—собственнымъ зятемъ, съ такой силой ударилъ его о землю, что у несчастнаго разлетѣлся на двѣ части черепъ, за что Гончаровъ

присужденъ былъ всего къ семп мѣсяцамъ высылки и церковному покаянію. Если подобныя вещи дѣлались въ шутку, въ трезвомъ состояніи, то чего же слѣдовало ждать отъ вспышекъ бѣшенства или пьянаго самозабвенія?

Малаховъ не проронилъ ни слова во время стычки съ Чиркомъ, хотя мнѣнія своего о Гончаровѣ не перемѣнилъ. Впослѣдствіи, я не разъ слышалъ и отъ многихъ другихъ недоброжелателей Гончарова, что недобрая слава его десятки лѣтъ гремѣла въ Енисейской губерніи, пока, наконецъ, правительству удалось поймать и уличить опытнаго таежнаго волка. Спрашивалъ я о прошломъ Гончарова и у земляковъ его, но даже болтливый и легкомысленный Ракитинъ отозвался уклончиво:

— Мало ли, Иванъ Николаичъ, о чемъ бѣтають зря... А настоящее обсказать трудно.

Однажды, когда, къ разговору, я спросилъ самого Гончарова о томъ случаѣ, который привелъ его въ каторгу, онъ сталъ влястаться и божиться, что въ этотъ разъ попалъ ни за что.

— Вотъ что скажу я вамъ, Иванъ Миколанчъ. Мошенничалъ я, можно сказать, всю жизнь, грабилъ и даже убивалъ—не таюся. Ну, а на этотъ разъ пришлось за чужой грѣхъ пострадать. Вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ говорю вамъ! Цѣловальникомъ я былъ. Разъ вечеромъ,—въ кабацѣ никого не было,—заходитъ товарищъ мой, Вируковъ. „Я, говоритъ, съ Пахомовымъ въ городъ ѣду. Пьянъ, какъ стелька, въ телѣгѣ лежитъ, и деньги при ѣмъ, хоть всего обернѣ“. Послѣялись мы. Выпилъ онъ немного, вышелъ изъ кабака и дальше поѣхалъ. Я тоже спать ушелъ. А на другой день слышу, нашли телѣгу и лошадь безъ хозяина, а въ телѣгѣ Пахомовъ лежитъ убитый. Вируковъ, какъ въ воду, канулъ. Начались розыски. И покажи тутъ одна женщина—сосѣдка... Чтобъ ей, стервѣ, въ пятомъ колѣнѣ анаемой быть! Покажи, будто видѣла, какъ Пахомовъ на этой самой телѣгѣ подѣзжалъ къ моему кабаку, долго у меня сидѣлъ, а потомъ, будто, мы вдвоемъ вышли и сѣли въ телѣгу.

— Зачѣмъ же она показала то, чего не было?

— Вотъ подите, спросите у подлюхи. Я такъ полагаю, что когда Вируковъ сталъ опять въ телѣгу садиться, Пахомовъ-то, хоть и сильно пьянъ былъ, приподнялся немного: она и прими его за меня. Потому росту онъ былъ почти такого же, и въ плечахъ такой же широкій и обличьемъ сильно схожъ.

— А Вирукова такъ и не нашли?

— То-то, что не нашли. Бѣжалъ, надо думать.

— Коли спустилъ въ Енисей, такъ гдѣ ужъ тутъ найдешь!— замѣтилъ Малаховъ, не то шутя, не то въ серьезъ.

— Кто спустилъ?

— Да ты.

Гончаровъ ничего не отвѣтилъ, только пыхнулъ своей трубкой и презрительно сплюнулъ на полъ.

— Вотъ что мнѣ и бѣдно-то, Ивапъ Миколаичъ,—продолжалъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія, — что и досадно-то! Тридцать лѣтъ мошеничалъ, и все съ рукъ сходило, всегда правымъ оставался, а тутъ изъ-за какой-нибудь шкуры, пзъ-за сволочи, прости Господи, на пятнадцать лѣтъ пошелъ!

Въ другой разъ, когда мы оставались одни къ камерѣ, оба по болѣзни освобожденные отъ работъ, старикъ снова заговорилъ со мною о своемъ дѣлѣ; снова, почти дословно, рассказалъ то же, что и при всѣхъ рассказывалъ, и такъ же горько жаловался на несправедливость судьбы. Одинъ только небольшой штрихъ прорвался въ новомъ его рассказѣ,—штрихъ, котораго въ тотъ разъ не было, и который заставилъ меня подозрительно наостроиться.

— Заходить товарищъ мой Вируковъ. „Я, говорить, съ Пахомовымъ въ городъ ѣду. Пьянъ, какъ стелька, въ телѣгѣ лежить, и деньги при ѣмъ. Тысячи съ двѣ, пожалуй, есть. Что, говоритъ, дѣлать?“ — Я смѣюсь. Выпилъ онъ немного, вышелъ изъ кабака и дальше поѣхалъ.

— А вы что же ему отвѣчали на вопросъ, что дѣлать?

— Да ровно ничего... Такъ посмѣялся только: „Оглаушь его, говорю, стяжкомъ хорошенько, да и спусти въ оврагъ“. Въ шутку, вѣстимо, сказалъ. А оно съ шутки-то и сталося.

Однако довольно о Гончаровѣ. Много ли, мало ли перебилъ онъ на своемъ вѣку народа; виновенъ или чистъ былъ, какъ голубь, въ томъ дѣлѣ, за которое попалъ въ каторгу,—крови во всякомъ случаѣ было достаточно на его рукахъ, и онъ самъ не думалъ скрывать этого. Онъ былъ, конечно, звѣрь; но и звѣрь оставляетъ порой о себѣ добрую память! Такой именно добрый слѣдъ оставилъ въ моей душѣ и этотъ звѣрь-человѣкъ. Если намъ суждено когда-нибудь еще разъ встрѣтиться въ жизни, я увѣренъ, что мы встрѣтимся по-пріятельски... Одна чисто-

человѣческая, и довольно рѣдкая въ арестантахъ, черта особенно привлекала меня въ Гончаровѣ, — это отеческая нѣжность, съ которою любилъ онъ маленькихъ дѣтей. Любовь эта сквозила во всѣхъ его разсказахъ о нихъ. Разъ, когда я писалъ, по его просьбѣ, письмо къ женѣ и внучкѣ, которую онъ оставилъ на волѣ дѣвочкой трехъ лѣтъ, и когда дошелъ до обычнаго въ письмахъ простолюдиновъ выраженія: „Любезной внучкѣ моей Дашѣ посылаю родительское благословеніе, навѣки нерушимое“, изъ-подъ этихъ свирѣпыхъ бровей градомъ хлынули слезы... Любилъ также старикъ кормить подъ окнами тюрьмы голубей и другихъ мелкихъ пташекъ... О дальнѣйшей судьбѣ Гончарова скажу въ своемъ мѣстѣ *).

X.

Мои ученики Буренковы.

Ученики продолжали учиться. Буренкова и Пестрова иначе и не называли въ камерѣ, какъ учениками; впрочемъ, многіе путали значеніе словъ „ученикъ“ и „учитель“ и нерѣдко меня самого звали „ученикомъ“... Пестровъ, какъ застылъ на складахъ, такъ и не двигался дальше; а между тѣмъ, каждую свободную минуту онъ посвящалъ ученью: сидѣлъ на своихъ нарахъ съ листкомъ написанной мной азбучки въ рукахъ и шепталъ надъ нею, точно колдунъ свои заклинанія. Отдѣльные слоги онъ складывалъ довольно хорошо, но при соединеніи ихъ въ слова память каждый разъ ему измѣняла, и выходило у него чортъ знаетъ что.

— С...ѣ...сѣ! н...о...но!

И Пестровъ задумывался.

*) Въ настоящихъ очеркахъ несоразмѣрно часто фигурируютъ уроженцы Сибири и Пермской губерніи, и обстоятельство это можетъ быть истолковано читателемъ не къ выгодѣ этихъ послѣднихъ. Сибиряки или, по крайней мѣрѣ, осужденные сибирскимъ судомъ, дѣйствительно, составляютъ огромный процентъ среди обитателей нерчинской каторги, но объясняется это, я думаю, главнымъ образомъ тѣмъ, что большая часть здоровыхъ каторжанъ изъ российскихъ губерній идетъ кругоморскимъ трактомъ на Сахалинъ, въ Сибирь же приходятъ почти исключительно слабосильные и малосрочные, при чемъ послѣдніе очень скоро выпускаются въ вольную команду. Нужно, впрочемъ, оставить кое-что и на долю безгласнаго сибирскаго суда.

— Что же вмѣстѣ будетъ, Пестровъ?

— Перо!—отвѣчалъ онъ послѣ долгаго размышленія, приводя меня въ отчаяніе.

Въ одинъ прекрасный день Малаховъ, сіяя и торжествуя, принесъ-таки въ рукавицѣ карандашъ и какую-то старую, истрепанную азбучку. Никифоръ ликовалъ чуть-ли не больше его самого. Даже вялый и обезкураженный своими неуспѣхами Ромашка нѣсколько оживился. Но тутъ же я подмѣтилъ и недобрую тѣнь, пробѣжавшую между учениками. Никифоръ съ жадностью схватилъ и карандашъ, и азбучку, считая ихъ какъ-бы своей неотъемлемой собственностью.

— Ты вѣдь мнѣ обѣщалъ, Парамонъ?.. Я заплачу.

Пестровъ молчалъ, но съ очевидной завистью смотрѣлъ на Никифора. Я замѣтилъ послѣднему, что онъ долженъ подѣлиться съ товарищемъ карандашомъ.

— Да ему зачѣмъ, Миколанчъ? Онъ вѣдь складовъ не знаетъ еще? Онъ... А я писать учиться хочу.

— Вы тоже не Богъ знаетъ какъ складываете.

— А не ты же-ль самъ говорилъ, что можно въ одно время и читать, и гуквы писать учиться? Гумаги не жаль.

— Во-первыхъ, не *гуквы* и не *гумага*, я ужъ говорилъ вамъ. А во-вторыхъ, не хорошо жадничать. Азбучку и совсѣмъ можете Роману отдать: вамъ она не нужна больше.

— А повторять-то? Безъ азбучки забудешь... Какъ безъ азбучки учиться? Мы вмѣстѣ съ имъ глядѣть будемъ.

Впрочемъ, черезъ нѣсколько же минутъ порывъ жадности смѣнился порывомъ великодушія, и я слышалъ, какъ Никифоръ самъ уговаривалъ Пестрова взять у него и часть карандаша, и азбучку. Но тотъ чувствовалъ себя сильно обиженнымъ и долго капризничалъ.

— Не надо мнѣ... Я брошу учиться... Памяти нѣтъ...

Такъ что вся камера принялась, наконецъ, ругать его.

— Ишь вѣдь какой ты вредный человѣкъ, Пестровъ! Сколько зла въ тебѣ сидитъ. Микишка—простецкій парень, у того все отъ сердца идетъ, а ты—нѣтъ.

Пестровъ взялъ азбучку, но отъ карандаша отказался.

Между тѣмъ, совершенно для всѣхъ неожиданно, объявился еще третій ученикъ, такой, на кого и подумать бы никто не могъ. Двоюродный братъ Никифора—Михайла, по фамиліи тоже Бурен-

ковъ, въ одинъ изъ нашихъ вечернихъ уроковъ долго стоявшій у стола, скрестивъ на груди руки, вдругъ выпалилъ:

— Туесъ ты простоквашный, погляжу я, Микишка! Этакихъ пустяковъ въ башку взять не можешь. Бросай учиться, не сра-мись и учителя не мучь по-пустому!

Никифоръ вскипѣлъ.

— Ты что за ученый выискался? Ты бы, небось, въ башку лучше взялъ?

— Вѣстимо-бы, лучше. Я и такъ лучше тебя складъ знаю.

Меня заинтересовала эта похвальба, такъ какъ я зналъ, что Михайла безграмотный, и въ шутку сказалъ ему:

— А ну-ка, прочтите вотъ это слово.

И къ великому моему изумленію, подумавъ немного, Михайла правильно произнесъ указанное слово, спутавшись немного лишь въ окончаніи (слово было длинное). Никифоръ тоже былъ пораженъ. Придя нѣсколько въ себя, онъ хотѣлъ было уличить брата въ ошибку, но самъ сдѣлалъ еще большую и окончательно взбѣсился. Я сталъ, между тѣмъ, экзаменовать Михайлу и узналъ, что, при-слушиваясь изъ своего угла къ нашимъ урокамъ и искоса при-глядываясь къ буквамъ, онъ успѣлъ научиться гораздо бѣльшему, чѣмъ сами „ученики“. Послѣ этого я началъ уговаривать Михайлу приступить къ правильнымъ занятіямъ. Камера подняла его на смѣхъ. Всѣмъ казалось чрезвычайно удивительнымъ и смѣшнымъ, что сорокалѣтній человѣкъ хочетъ обучаться грамотѣ! Нужно сказать, что Михайла далеко не пользовался симпатіями арестан-товъ, и я давно уже подмѣчалъ, что и съ братомъ живетъ онъ неладно. Михайла былъ лѣтъ на пятнадцать старше Никифора и характеръ имѣлъ во всемъ ему противоположный. Какъ тотъ былъ говорливъ и экспансивенъ, такъ этотъ молчаливъ, постоянно серьезенъ и скрытенъ. Никифоръ любилъ щеголять своимъ това-риществомъ и вѣрностью арестантскимъ порядкамъ и обычаямъ; Михайла презиралъ общественное мнѣніе, съ которымъ самъ не былъ согласенъ, и не боялся открыто высказывать взгляды на вещи, шедшіе прямо вразрѣзъ съ мнѣніемъ камеры и даже всей тюрьмы. Гордости, „зла“, какъ выражались арестанты, въ немъ была бездна... Онъ помнилъ малѣйшую, когда-либо нанесен-ную ему, обиду и никогда не прощалъ. Это было до мозга костей индивидуалистъ. Я уже рассказывалъ какъ-то раньше, что въ современныхъ тюрьмахъ замѣчается быстрое и ничѣмъ не удержи-

мое умираніе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и понятій, съ трудомъ уживающихся съ новыми порядками и условіями жизни Мертваго Дома; и, тѣмъ не менѣе, если не надѣлѣ, то на словахъ чувство арестантской чести и товарищества до сихъ поръ еще живо и устойчиво. Такъ, напримѣръ, свято чтится и сохраняется обычай помогать всѣми возможными средствами посаженнымъ въ карцеръ товарищамъ, не справляясь о причинахъ ареста. Имъ арестанты отдаютъ послѣдній табачнишко, послѣдній кусокъ сахара, вырѣзаютъ изъ обѣденнаго мяса лучшія порціи и проч. Само-собой разумѣется, что передавать все это приходится тайкомъ отъ начальства, но въ тюрьмѣ всегда находится нѣсколько рыцарей безъ страха и упрека, которые, рискуя собственной шкурой и свободой, пекутся о заключенныхъ въ „секретныхъ“, стоять на стрѣмѣ и отыскиваютъ ту или другую лазейку для сношеній съ ними. Вотъ насчетъ этой-то помощи сидящимъ въ карцерахъ Михайла и высказывался не разъ въ самомъ враждебномъ смыслѣ. Однажды, когда ему показалась слишкомъ малой порція мяса за обѣдомъ, онъ не преминулъ опять ополчиться противъ благотворителей. Тогда вся камера, какъ одинъ человекъ, накинулась на него, ругая асMODEEMъ, аспидомъ и припоминая такіе случаи изъ прежняго его поведенія, о которыхъ онъ и самъ позабылъ уже. Но Михайла не струсилъ и продолжалъ отстаивать свой взглядъ горячо и вмѣстѣ методически-спокойно.

— Попался въ карецъ—ну, и сиди. Твое дѣло. Я попалусь—и мнѣ не подавай. За что попадаютъ въ карецъ? За карты, за грубость, за лѣность—за что больше? Эко нашли страдальцевъ! Въ каторгу шли, не боялись, а тутъ заслабило? Въ каторгу пришли, а хотятъ жить, какъ на волѣ, съ надзирателями лаяться, въ карты играть.

— Смотрите, братцы: честный межъ насъ выискался!.. Попъ пришелъ. Зачѣмъ же ты самъ мошенничалъ?

— Вѣстимо, мошенничалъ; развѣ я скрываюсь? Только я не плачу, какъ вы, что въ тюрьмѣ сижу.

— Да, ты честно ведешь себя. На работѣ, небось, не лодорничаешь? Да ты первый лодыр! Гдѣ только можно, ты вездѣ воровнишь увильнуть и на другого свалить. На поторжной работѣ *)

*) Поторжной зовется артельная работа, въ которой нѣтъ личныхъ уроковъ.

съ тобой горе робить, потому ты для виду только тянешь веревку, али что!

— А для чего я буду изъ жилъ тянуться? Я и вамъ лодорничать не запрещаю; только съ умомъ дѣлайте, понимайте, когда можно, и когда не можно.

— Ахъ ты, лисица семейская! Смерть я не люблю, братцы, вотъ этакихъ химиковъ, тихонь, въ которыхъ зла столько заключается! — кричалъ Малаховъ: — объѣли, вишь, его, въ карцерахъ сидя... Оголодалъ!

— Да и оголодалъ. Почему въ послѣднее время порціи меньше стали? Вѣдь я не слѣпой. Больно часто на карцера что-то ссылаются зачали... Такъ лучше ужъ совсѣмъ туда не давать. За что намъ вольную команду кормить? Онъ тамъ пьянъ напьется, набуянить, а я корми его? Онъ тамъ водку тянетъ, а я послѣднія крохи ему подавай? Нашелъ дурака!

— Да ты-то, братъ, не дуракъ, никто этого не скажетъ.

Михайла разсуждалъ логически и, казалось, исполнѣ правильно, а сердце всетаки почему-то не лежало къ этой его безжалостно-логической послѣдовательности, и нѣжной симпатіи внушить онъ къ себѣ не умѣлъ. Но меня привлекалъ онъ несомнѣнной своей даровитостью и недюжинностью, независимостью характера, энергичнаго, гордаго, оригинальностью всего своего духовнаго облика. Я сказалъ уже, что камера подняла на смѣхъ его желаніе учиться въ сорокъ два года грамотѣ, но онъ и тутъ пренебрегъ общественнымъ мнѣніемъ и, отшучиваясь и отмалчиваясь отъ обидныхъ уоловъ, въ какихъ-нибудь три мѣсяца, при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ для ученія, сталъ сносно читать, писать и усвоилъ четыре правила ариметики. А къ концу этого срока началъ учиться еще и церковно-славянскому языку; онъ былъ, какъ и Никифоръ, семейскій, только богомольнѣе его. Никифоръ курилъ табакъ, а Михайла считалъ его проклятымъ на семи соборахъ.

Съ двоюроднымъ братомъ шла у него, повидимому, старинная глухая вражда. По прибытіи въ Шелайскую тюрьму, вражда эта на время прекратилась; подъ вліяніемъ внѣшняго гнета сердца размягчились, и Никифоръ просилъ даже Шестиглазаго о помѣщеніи его въ одной камерѣ съ братомъ: Михайлу тогда и перевели въ нашъ номеръ. Но учебныя занятія все перевернули вверхъ дномъ, и, какъ ни старался я внести въ сердца соперни-

ковъ миръ и согласіе, какъ ни пускалъ въ ходъ свой авторитетъ учителя, вражда снова всплыла наверхъ и достигла самыхъ крупныхъ размѣровъ. Вражда эта была каплей горечи, отравлявшей радость, которую во время успѣшныхъ занятій испытывали и сами ученики, и я, и вся камера. Между Никифоромъ и Михайлой пылали постоянная ревность и злоба. Недоброжелательство ихъ другъ къ другу переносилось порой и на меня самого. Причиной этого прежде всего были условія тюремной жизни, при которыхъ приходилось учиться. Свободнымъ для ученія временемъ были только два-три часа отъ вечерней повѣрки до барабана, звавшаго ко сну. За это время мнѣ нужно было успѣть и съ учениками заняться, съ каждымъ порознь (такъ какъ уровень ихъ способностей и успѣховъ былъ неодинаковъ), и самому хотѣлось иной разъ о чемъ-нибудь подумать, кое-что припомнить изъ бывшихъ знаній. Поэтому тѣ изъ учениковъ, съ которыми мнѣ случалось не заниматься нѣсколько вечеровъ подъ-рядъ, обязательно на меня дулись: каждому казалось, что другому я посвящаю больше времени и вниманія, чѣмъ ему... Михайла былъ умнѣе и тактичнѣе другихъ, но Никифоръ и Пестровъ часто вламывались въ амбицію. Отъ ихъ подозрительности не ускользнуло то, что съ Михайлой мнѣ дѣйствительно было пріятнѣе заниматься, чѣмъ съ ними, и что я выказываю ему больше знаковъ расположенія. Въ послѣднемъ я, точно, бывалъ виноватъ: восхитишься иногда быстрыми успѣхами любимаго ученика, не удержишься и выскажешь громкую похвалу, а въ сердца остальныхъ она вопьется, между тѣмъ, какъ отравленная стрѣла! Это были, по-истинѣ, взрослые дѣти, совершенныя дѣти, въ умахъ и душахъ которыхъ, какъ на дѣвственной почвѣ, легко могло взойти и худое, и доброе сѣмя... Къ сожалѣнію, условія нашихъ занятій были такъ неблагоприятны, что хорошее сѣмя трудно было взростить. Сколько происходило глухой борьбы изъ-за азбучки, изъ-за евангелія, изъ-за карандашей, доставать которые было такъ трудно! Карандаши при каждомъ тюремномъ обыскѣ безжалостно отбирались, и ихъ нужно было тщательно прятать. Шла также борьба изъ-за мѣста за столомъ. Единственнымъ освѣщеніемъ для камеры служила маленькая жестяная лампа, немилосердно коптившая и бросавшая вокругъ себя довольно тусклый красноватый свѣтъ. Столъ былъ огромный, но скамейки спеціально для него не было: днемъ придвигались къ столу тѣ скамьи, которые сто-

яли подъ поднятыми нарами, но по вечерамъ, когда большинство арестантовъ тотчасъ же валилось на боковую, ихъ нельзя было выдвигать, и ученики могли пользоваться лишь тѣмъ мѣстомъ въ углу камеры, гдѣ скамейкой служили сами нары: его хватало лишь для двоихъ читающихъ, или для одного пишущаго. На этомъ мѣстѣ, у стѣны, спалъ Михайла Буренковъ, и пока онъ не учился грамотѣ, Никифоръ безпрепятственно могъ имъ пользоваться; но когда и Михайла началъ заниматься, онъ по праву хозяина завладѣлъ и мѣстомъ у стола. О, сколько происходило тогда ссоръ и всякихъ исторій изъ-за этого мѣста, сколько ненависти волновало порой всю камеру, принимавшую живѣйшее участіе въ дѣлахъ моей школы! Пестровъ вскорѣ совсѣмъ бросилъ ученіе, и я больше не уговаривалъ его. Никифоръ же долгое время безмолвно дулся на меня и на брата. Онъ вставалъ по ночамъ, когда всѣ уже спали, и мѣсто было свободно, и одинъ занимался письмомъ или чтеніемъ, чутко прислушиваясь къ шагамъ надзирателя и при каждомъ его приближеніи ныряя въ постель. Такъ просиживалъ онъ иногда до свѣта, безъ малѣйшей пользы для успѣховъ въ ученіи. Я долго не понималъ, чего дуется Никифоръ, почему онъ бросилъ со мной заниматься, но однажды между нимъ и Михайлой произошло бурное объясненіе, во время котораго они вынесли наружу всю свою прошлую грязь, начиная съ домашнихъ дразгъ на волѣ и кончая дѣломъ, за которое пошли въ каторгу, и общей жизнью въ Покровскомъ рудникѣ.

— Изъ-за тебя вѣдь попалъ я на каторгу!—съ сердцемъ говорилъ Никифоръ, рассказывая большими шагами по камерѣ. Большіе голубые глаза его горѣли огнемъ, а въ голосѣ слышались грусть и глубокое убѣжденіе.—Изъ-за тебя... Ты старше былъ, ты больше понималъ... Ты-бъ остеречь меня долженъ, а ты замѣсто того вплотную меня затянулъ въ мошеницкія дѣла.

Камера, обыкновенно державшая сторону Никифора, на этотъ разъ стала смѣяться надъ нимъ.

— Такъ ты, Никишка, тоже жалѣешь, что въ монахи не постригся?

— Онъ, ребята, честный былъ,—ядовито отвѣчалъ Михайла:—потому чортъ его чесалъ и чесалку объ него сломалъ. Онъ что до тѣхъ поръ дѣлалъ, какъ я его смутилъ? У отца разъ деньги слямзилъ, восемьдесятъ рублей, и съ дѣвками прогулялъ; къ китайцамъ въ магазинъ разъ ночью забрался, тысячи на двѣ товару

тяпнулъ; случилось, и чай въ обозахъ срѣзалъ, не брезговалъ... Ну, да это все не въ счетъ, онъ честный былъ...

— Не отопрусь я, ни отъ чего не отопрусь,—съ той же грустью и серьезностью въ голосъ продолжалъ Никифоръ:—все это было. Только умъ то у меня еще не вовсе порченный былъ, на правильную дорогу я могъ бы еще стать. Въ трезвомъ видѣ я боялся еще мошенничать... Развѣ забылъ ты, зачѣмъ я дружить-то съ тобой зачалъ, не посмотрѣлъ на то, что въ семьѣ у насъ тебя не любили? Тебя никто вѣдь не любилъ, потому ты—гордецъ. Развѣ я подлецомъ тебя считалъ? Ты вѣдь какимъ химикомъ ко мнѣ подѣхалъ? Ты вѣдь за богомола, святошу слылъ. Почему-жъ я и отъ товарищевъ прочихъ хотѣлъ отстать, къ тебѣ приклониться? А ты куда меня приклонилъ?

— Такъ, такъ. Я же и виновать вышелъ. Память то у тебя, жаль, коротка. Не былъ я—это точно—такимъ боталомъ пустымъ, какъ ты, не трезвонилъ на всѣхъ перекресткахъ о своихъ мошенничествахъ; ну, а все же ты врешь, врешь, Микишка, будто за святого меня почиталъ. Зналъ ты про мою жизнь, все доподлинно зналъ. А что прочихъ товарищевъ ты на меня промѣнялъ, такъ причина тутъ другая была.

— Какая причина?

— Такая, что меня ты умнѣе другихъ считалъ, надѣялся, что со мной не такъ скоро въ капканъ попадешься.

— Да съ тобой-то я скорѣй еще попался! Десять мѣсяцевъ всего мошенничалъ я съ тобой, да за то ужъ вплотную—и въ пьяномъ, и въ трезвомъ видѣ не бывалъ честнымъ.

— Я виновать, ты во всемъ, братъ, невиненъ!

— Вѣстимо, ты больше виновать. Ты-то бѣжалъ вѣдь, когда застрѣмили насъ, а меня одного бросилъ кашу расхлебывать?

— А ты, небось, выгородилъ меня, всю вину на себя принялъ? Ты же меня опуталъ кругомъ, твои-жъ родные и арестовали меня.

— Стойте вы, черти! Расскажите толкомъ, какъ все дѣло было,—остановилъ кто-то спорщиковъ, и одинъ изъ нихъ началъ рассказывать, перебиваемый ежеминутно поправками и ядовитыми укусами другого. Въ короткихъ чертахъ, я узналъ слѣдующее. Разъ ночью, отрѣзавъ въ обозѣ на большой дорогѣ два мѣста чаю и взваливъ на стоявшую по близости телѣгу, Буренковы помчались по направленію къ Троицкосавску. Хозяева обоза гнались

за ними, но догнать не могли. На разсвѣтѣ уже, похитители прибыли на постоянный дворъ къ знакомому фартовцу. Между тѣмъ, преслѣдователи дали знать полиціи, и послѣдняя прежде всего нагрянула на этотъ постоянный дворъ, давню уже пользовавшійся темной репутаціей. Увидавъ полицейскихъ, Буренковы кинулись къ своей телѣтѣ, растворили ворота и стали выѣзжать вонъ. Полицейскіе пытались этому воспротивиться, но были отброшены прочь; нѣсколько сдѣланныхъ въ упоръ выстрѣловъ изъ револьвера также не устрасили кяхтинскихъ удалцовъ; выѣхавъ со двора, они, что было мочи, погнали лошадей вонъ изъ города... Пока снаряжалась конная погоня за ними, они были уже далеко и скрылись бы скоро въ лѣсу, если бы дорога не пошла въ гору по сыпучему песку. Изморившіеся кони стали. Полиція приблизилась и опять стала стрѣлять. Осторожный Михайла, сообразивъ, что спасти похищенный чай невозможно, бросилъ телѣгу на произволъ судьбы и скрылся въ кустахъ; но разгорячившійся Никифоровъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ догнать лошадей до лѣсу. Чтобъ остановить преслѣдованіе, онъ сдѣлалъ даже одинъ выстрѣлъ изъ имѣвшагося у него дробовика... Полиція, дѣйствительно, остановилась, но часть ея, спѣшившись, пошла обходомъ въ лѣсъ. Только замѣтивъ это движеніе (и то уже поздно), Никифоровъ подумалъ о спасеніи. Но едва успѣлъ онъ добратъся до опушки лѣса и забросить въ густую траву дробовикъ, какъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ и схваченъ. На счастье его, полицейскіе позабыли въ суматохѣ о дробовикѣ, и когда потомъ вспомнили, то слѣдователь уже не принялъ къ свѣдѣнію ихъ запоздалаго и голословнаго обвиненія. Не брось Никифоровъ ружья, онъ пошелъ бы, конечно, вмѣсто четырехъ, на двадцать лѣтъ каторги... Михайла, между тѣмъ, бѣжалъ и скрывался цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ: Никифоровъ въ своихъ показаніяхъ все сваливалъ на него. Отъ этого онъ не отпирался и самъ.

— Я думалъ, тебя никогда не поймаютъ,—наивно оправдывался онъ. За то всѣми силами открещивался онъ отъ другого обвиненія Михайлы, будто бы онъ уговаривалъ своихъ родныхъ отыскать его и арестовать. По словамъ Никифора, родня его по собственному почину заманила Михайлу къ себѣ въ гости и предала въ руки полиціи. Михайла былъ страшно озлобленъ этимъ предательствомъ и самъ сознавался, что въ отместку, въ свою очередь, свалилъ все на Никифора и, кромѣ того, замѣшалъ въ дѣло кучу его родственниковъ...

— Пушай, думаю, черти, посидятъ въ тюрьмѣ, отвѣдаютъ казеннаго хлѣбача!

Въ концѣ-концовъ, оба Буренковы приговорены были къ четыремъ годамъ каторги и попали сначала въ Покровский, а затѣмъ въ Шелайскій рудникъ. Въ дорогѣ они примирились, да и въ Покровскомъ жили безъ особенныхъ ссоръ; но теперь я имѣлъ несчастіе стать невольной причиной новыхъ раздоровъ между ними. Вся грязь прошлыхъ отношеній и поступковъ выволакивалась на свѣтъ Божій и отдавалась на всеобщее обсужденіе и осужденіе. Камера, какъ я говорилъ уже, держала большею частью сторону Никифора, но обоимъ хотѣлось, видимо, знать мое мнѣніе, заручиться моимъ сочувствіемъ. Положеніе мое было крайне щекотливое, и я старался по возможности прекратить разговоры о прошломъ.

— Я парень простой,—говорилъ о себѣ Никифоръ,—у меня все отъ сердца, а не отъ ума идетъ... А ты хитрый, двуликій!

— Не хитрый я, а съ башкой,—возражалъ Михайла, стараясь казаться спокойнымъ, хотя такъ же былъ красенъ, какъ и Никифоръ.—Любишь ты хвалить себя, Микишка: простой, молъ, ты да безхитрошный... А что въ этой твоей простотѣ, когда товарищу отъ нея тошнѣе подчасъ, чѣмъ отъ хитрости бываетъ?

— Это какъ такъ?

— А такъ. Я хитрый, да я твоей доли никогда не заѣдалъ, а изъ-за твоей хваленной простоты мнѣ дорогой голодомъ приходилось сидѣть. „Общее, говорить, все у насъ будетъ, Михайла! Какъ братья родные, жить станемъ, всѣмъ дѣлиться другъ съ дружкой“. Я отвѣчаю: ладно, попробуемъ... Мѣшаю въ одну кучу и деньги, и все. А онъ въ карты играть! Еще кабы съ умомъ въ башкѣ, а то самъ же сейчасъ говорилъ, что ума-то у него нѣтъ... А туда же стоссъ заложить нужно! Ну, и проиграется въ пухъ и прахъ, свое и мое спустить,—и идемъ оба нѣсколько дней голодомъ.

— Да часто-ль было-то это? Безстыжіе твои шары! Раза два за всю дорогу.

— А все-жъ было.

— Ну, да и ты ужъ тоже, Михайла,—выѣшивался вдругъ Парамонъ Малаховъ:—и ты хорошъ. Что ты на Покровскомъ продѣлывалъ?

— Что?

— Да ужъ знаю я что... Видалъ. Ты-то, можетъ, думалъ, ни-

кто не видитъ, а люди-то видѣли. Накупить, бывало, пироговъ, крадчись отъ Микишки, и уплетаетъ за обѣ щеки одинъ, ходя поза тюрмой, озирается, какъ волкъ!

— А что же,—съ имъ, скажешь, дѣлиться было? Онъ въ карты играть, а я кормить его?

— Ну, и сказалъ бы такъ въ глаза ему! А то прятаться... Охъ вы, богомолы-фарисеи, праведники! Высокоумные!

И Парамонъ, плюнувъ съ сердцемъ, ложится на нары и замолкаетъ. Спорщики тоже, наконецъ, укладываютъ, хотя долго еще, волнуясь, ходятъ, какъ звѣри, взадъ и впередъ по камерѣ—одинъ въ одну, другой въ другую сторону.

Привязавшись къ ученикамъ и одного полюбивъ за ребячески-незлобивый нравъ, а другого за способности и твердость характера, я, во что бы ни стало, стремился примирить ихъ. Михайлу мнѣ, дѣйствительно, удалось склонить къ миру, польстивъ его умственному превосходству, и онъ согласился уступить Никифору свое мѣсто за столомъ для вечернихъ занятій, но Никифоръ капризничалъ, какъ малое дитя, и не хотѣлъ возобновлять занятій. Однажды мнѣ пришлось даже выслушать отъ него кучу самыхъ оскорбительныхъ вещей.

— За что вы сердитесь на меня, Никифоръ?—спрашивалъ я:—развѣ я сдѣлалъ вамъ какое зло?

— Кто мнѣ какое зло можетъ сдѣлать,—отвѣчалъ онъ, не глядя мнѣ въ глаза:—всѣ мы тутъ равны. Всѣ мошенники, каторжные, по одному дѣлу...

— Какъ такъ по одному? За разные вѣдь дѣла приходятъ въ каторгу...

— А я почему знаю, что и ты не былъ такимъ же мошенникомъ, какъ я, не укралъ, аль не убилъ кого? Все же и тебѣ кто-нибудь помогъ давалъ?

И при этомъ Никифоръ взглянулъ на меня такими наглыми и злыми глазами, что я по неволѣ замолчалъ и отошелъ прочь. Но другіе арестанты возмущались за меня противъ Никифора.

— Вотъ стоитъ ихъ, этакихъ чертей, учить, мучиться изъ-за ихъ,—закричалъ Чирокъ, искренно негодуя:—благодарность отъ ихъ получишь, жди!

— Ахъ, дуракъ ты, дуракъ, Микишка!—переконфуженный, качалъ головой Гончаровъ:—тебѣ самому вѣдь завтра стыдно будетъ того, что языкъ твой дурной сбѣталъ.

— Какое это ученье?—негодовалъ по своему и Парамонъ:— чтобъ учитель да упрашивалъ ученика учить? Да гдѣ это видано? Въ наши годы палкой хорошей по спинѣ отвозить—вотъ и ученымъ бы сталъ!

Михайла также чувствовалъ себя пристыженнымъ за брата и, расхаживая по камерѣ, говорилъ:

— Тунсъ ты колыванскій... Съ твоими-ль простокришными мозгами въ науку лѣзть?

Никифоръ, молча, сидѣлъ за евангеліемъ. Я легъ спать и, хотя мнѣ долго не спалось, сдѣлалъ видъ, что тотчасъ же уснулъ. Когда вся камера давно уже храпѣла, я видѣлъ, какъ Никифоръ нѣсколько разъ подходилъ къ моему мѣсту и долго въ меня всматривался, до я не открылъ глазъ. На слѣдующій день онъ въ рудникѣ просилъ у меня прощенія, съ чрезвычайной наивно-стью умоляя нѣсколько разъ ударить его по щекѣ... Предложенія этого я, конечно, не принялъ, но помириться охотно согласился, такъ какъ въ сущности и не сердился нисколько. Въ тотъ же вечеръ наши учебныя занятія возобновились. Никифоръ былъ веселъ, оживленъ и отличался необычной понятливостью. Михайлу онъ также старался замаслить, какъ провинившійся въ чемъ-нибудь мальчикъ замасливаетъ отца. Михайло велъ себя сдержанно и солидно. Камера тоже не поминала вчерашняго.

Никифоръ употреблялъ всѣ усилія нагнать брата въ писаньи, но это никакъ ему не удавалось. Его порывистыя, грубыя руки ломали карандаши, прорывали бумагу, прыгали и выводили такія никому невѣдомыя фигуры, что учитель чистописанія пришелъ бы въ ужасъ. А между тѣмъ, научиться письму было всегда завѣтнѣйшею мечтою всѣхъ шелайскихъ учениковъ: въ умѣнны писать простолюдинъ видить квинтэссенцію всякаго знанія, идеалъ учености. Боже, съ какой страстью и прилежаніемъ марали они по цѣлымъ днямъ и вечерамъ бумагу, едва только научившись выводить съ грѣхомъ пополамъ буквы! Уловивъ иногда ядовитую, какъ ему казалось, усмѣшку на губахъ Михайлы, Никифоръ вспыхивалъ, бросалъ бумагу и карандашъ и начиналъ жаловаться:

— Какое тутъ можетъ быть ученье, въ тюрьмѣ? И какой тутъ можетъ быть смѣхъ? Тебѣ хорошо молотобойцемъ быть, мѣхъ раздувать, на скамеечкѣ сидя, а попробовалъ бы, какъ я, десять верховъ въ день выбурить! Небось, тоже запрыгала-бъ рука-то!

— А я развѣ не буривалъ?—возражалъ Михайла:—давно-ль

я-то пересталъ бурить? Нѣтъ, ужъ лучше на туисъ свой, на башку пустую жалуйся.

— Брошу же я писать!—рѣшалъ тогда Никифоръ:—должно быть, и въ самъ-дѣлѣ дару на писанье нѣтъ. Займусь лучше читать хорошенько.

И, переходя внезапно къ полному отчаянію, вскрикивалъ:

— Да на что намъ, мошенникамъ, и вся эта грамота? На что?

— Давно-бъ такъ!—насмѣшливо поддакивалъ Чирокъ, сосавшій на своемъ мѣстѣ цыгарку.

— Миколаичъ! На что намъ грамота? На что?

Я старался, отвѣчая на этотъ вопросъ, выяснить пользу грамотности, говоря, что она дѣлаетъ человѣка умнымъ, а, слѣдовательно, и честнымъ; но, утверждая это, я и самъ порой сомнѣвался: на что она имъ, арестантамъ, вся эта грамота?.. Сколько разъ имѣлъ я впоследствии случай убѣдиться, что многіе изъ лучшихъ моихъ учениковъ, наѣдившіеся и читать, и писать порядочно, по выходѣ въ вольную команду очень скоро забывали и то, и другое, и горькая досада шевелилась тогда въ душѣ, досада на то, что столько потрачено даромъ труда и времени. Не разъ мнѣ приходилось также слышать отъ самихъ арестантовъ, что грамотность даже вредна имъ, что мошенникъ сумѣетъ съ нею быть еще болѣе крупнымъ мошенникомъ, а честный человѣкъ, благодаря ей, развратится, начавъ мечтать о легкомъ трудѣ писаря и получивъ отвращеніе къ физическому труду. Я хорошо понималъ, конечно, всю поверхностность и злобредность такихъ обобщеній на основаніи отдѣльных, исключительныхъ фактовъ, но, признаюсь, нерѣдко овладѣвали мной сомнѣнія всякаго рода, и тогда я подолгу забрасывалъ свою школу. Надоѣдало бороться также съ препятствіями, которыя ставило на каждомъ шагѣ начальство нашимъ занятіямъ: оно то смотрѣло сквозь пальцы на существованіе въ тюрьмѣ карандашей и писанныхъ тетрадокъ, то вдругъ все отбирало и опять подвергало строжайшему запрету. Но проходило нѣкоторое время, и я съ любовью возвращался къ своей „педагогической“ дѣятельности. Среди всякихъ терній и шиповъ, которыми она была усыяна, среди всякаго рода горечи и отравы, которую она проливала порой въ душу, было въ ней все-таки что-то доброе, свѣтлое, теплое, что озаряло и согрѣвало не только меня и моихъ учениковъ, но, казалось, и всю камеру. Арестанты какъ-то невольно приучались съ уваженіемъ относиться къ бумагѣ и книжкѣ;

мысли ихъ настраивались на высшій тонъ и ладъ. Въ другихъ номерахъ съ завистью посматривали на Буренковыхъ, слыша преувеличенные рассказы объ ихъ успѣхахъ и о моихъ учительскихъ способностяхъ, и множество людей мечтало перейти въ нашу камеру и также стать „учениками“ *).

Не могу забыть того дня, когда Буренковы рѣшились въ первый разъ послать своимъ женамъ собственноручно написанныя письма и стали готовиться къ этому торжеству. Не мало черняковъ было сочинено и переписано, прежде чѣмъ я выразилъ, наконецъ, свое одобреніе. Письмо Никифора было, впрочемъ, сочинено цѣликомъ мною, потому что изъ его безсвязныхъ черняковъ съ сотнями невозможныхъ ошибокъ и недописокъ удалось сохранить весьма небольшое, и съ его стороны было только пріятнымъ самообольщеніемъ считать это письмо своимъ произведеніемъ. За то письмо Михайлы было, дѣйствительно, собственнымъ его дѣтищемъ, и написано оно было настолько толково и складно, что я не могъ удержаться отъ выраженія самаго искренняго восхищенія. Одинъ только недостатокъ я нашелъ въ немъ: обращеніе къ женѣ показалось мнѣ чрезчуръ сухимъ и холоднымъ... Нужно сказать, что въ августѣ этого же года (письма писались въ январѣ) обоимъ Буренковымъ кончался срокъ каторги, и они должны были идти на поселеніе, но куда—неизвѣстно: уроженцевъ Забайкальской области отправляли и на Сахалинъ, и въ Якутскую область и оставляли здѣсь же, въ Забайкальи. Последнее, конечно, было мечтою Буренковыхъ; Сахалина же оба страшно боялись... Но слѣдовало, разумѣется, готовиться къ худшему, слѣдовало заранѣе выяснить, чтѣ намѣрены предпринять жены, всюду ли готовы онѣ послѣдовать за мужьями. Отъ письма Никифора къ женѣ, сочиненнаго съ моей помощью, вѣяло волненіемъ и жаромъ; но письмо

*) Что касается способностей арестантовъ къ усвоенію грамоты, то читатели не должны думать на основаніи приведенныхъ въ настоящихъ очеркахъ чисто-случайныхъ примѣровъ, что въ большинствѣ случаевъ она дается имъ туго. Въ моемъ личномъ опытѣ способные ученики относились къ тупымъ, вѣроятно, какъ половина къ половинѣ. Принимая въ расчетъ возрастъ арестантовъ, несомнѣнно отличающійся и меньшей воспримчивостью, и болѣе слабой памятью, чѣмъ школьный дѣтскій возрастъ, я даже думаю, что арестанты скорѣе должны поражать насъ своими способностями. Не говорю уже о прямо изумительныхъ въ подобной средѣ и въ такіе годы охотѣ къ ученю и прилежанію.

Прим. авт.

Михайлы, какъ я сказалъ уже, дышало холодомъ: это было простое извѣщеніе жены о предстоящей переменѣ въ его судьбѣ, даже безъ вопроса о томъ, какъ она съ своей стороны думаетъ устроиться.

— Напишите хоть чуточку потеплѣе,— совѣтовалъ я Михайлѣ и предложилъ, между прочимъ, къ слову „жена“ прибавить эпитетъ вродѣ „дорогая“ или „милая“. Михайла засмѣялся:

— Такъ не годится.

— Почему?

— Жену неидетъ такъ величать. „Дорогая“—что это такое? Лошадь можетъ быть дорогая, изба... „Милая“—это тоже у насъ не водится; „любезная“—еще туда-сюда.

— Ну, такъ прибавьте, что скучаете по ней, ждете поры, когда опять свидитесь и станете жить вмѣстѣ.

— Нѣтъ, и этого не нужно,—отвѣчалъ Михайла серьезно, и на другой день я замѣтилъ въ его черновой только одну короткую вставку: „Теперь, жена, молись Богу“.

Я считалъ неловкимъ (по своимъ понятіямъ) разспрашивать самого Михайлу объ его отношеніяхъ съ женою; но Никифоръ вскорѣ разболталъ мнѣ, въ чемъ дѣло. Михайла, отправляясь въ каторгу, хотѣлъ, чтобы жена съ семьей послѣдовала за нимъ; но она не проявила особеннаго желанія сдѣлать это, выставляя на видъ, что срокъ небольшой, и не стоитъ-де ей подыматься съ маленькими дѣтьми на новую, быть можетъ, очень тяжелую жизнь для того только, чтобы вскорѣ переменить ее опять на другую. Жена Никифора, напротивъ, рвалась ѣхать за мужемъ, но онъ самъ уговорилъ ее отложить пріѣздъ до поселенія.

Съ боязнью и тревогой вступили мы всѣ трое въ ближайшій воскресный день въ дежурную комнату, гдѣ нужно было писать письма. Писать чернилами совсѣмъ не то, что писать карандашомъ, и я сильно опасался за своихъ учениковъ. Не даромъ пророчилъ Парамонъ, кладя свою голову на отсѣченье, что, съ роду не державъ пера въ рукахъ, они осрамятся, и совѣтовалъ поэтому украсть чернила у надзирателя и сдѣлать нѣсколько предварительныхъ опытовъ. Послѣдняя идея ужасно нравилась скоропалительному, всегда восторженному Никифору, и мнѣ стоило большого труда удержать его отъ приведенія ея въ исполненіе... Съ первой же строки письма Никифоръ насадилъ такихъ кляксъ и изобразилъ такіе египетскіе гіероглифы, что пришелъ въ отчаяніе,

и я долженъ былъ переписать за него черновую; онъ только подписался. Фамилію свою онъ выводилъ добрыхъ десять минутъ (при чемъ также украсилъ ее двумя кляксами, размазанными языкомъ), и разобрать ее всетаки стоило немалого труда. Окончивъ и положивъ перо, онъ буквально обливался потомъ.

— Десять верховъ легче выбурить,—заявилъ онъ, глубоко вздохнувъ. Не смотря на неудачу, онъ всетаки глядѣлъ побѣдителемъ и весь сіялъ. За то Михайла, просидѣвъ почти весь день въ дежурной комнатѣ, самъ написалъ все письмо. Я слѣдилъ за каждымъ движеніемъ его руки и подавалъ совѣты. Сначала буквы прыгали у него по бумагѣ, какъ пьяныя, но потомъ сдѣлались тверже и увѣреннѣе. Вернувшись въ камеру, онъ съ торжествомъ потребовалъ головы Парамона.

— Только, такъ ужъ и быть,—смягчился онъ:—дарю назадъ, потому большая она, да дурная!

Послѣ того Михайла сочинилъ и написалъ еще нѣсколько писемъ домой; Никифоръ же вскорѣ совсѣмъ бросилъ писанье, отчаявшись когда-нибудь научиться столь мудреному искусству.

XI.

Семеновъ.

Учебныя занятія послужили, между прочимъ, поводомъ къ одной тяжелой сценѣ, оставившей послѣ себя самыя мрачныя воспоминанія, но за то ближе познакомившей меня съ внутреннимъ міромъ чловека, личность котораго уже давно возбуждала во мнѣ живѣйшее любопытство. Я говорю о Семеновѣ, одномъ изъ самыхъ неразговорчивыхъ и угрюмыхъ обитателей нашей камеры. Онъ никогда почти не вмѣшивался въ общіе разговоры, изрѣдка только вставляя какое-нибудь ѣдкое замѣчаніе, гдѣ обнаруживался его озлобленный умъ и презрѣніе ко всему обыденному, прѣсному, ко всякаго рода трусости, лицемерію, „хвостобойству“, ко всякой честной посредственности. Со мной установились у него добрыя отношенія, но не короткія, не такія, которыя допускали бы съ моей стороны возможность разспросовъ объ его прошлой жизни. Мнѣ было извѣстно только, что у Семенова бѣшенный нравъ, и что въ пьяномъ видѣ онъ бываетъ положительно опасенъ, хватается за ножъ и кидается на перваго, чье лицо ему не понравится. Въ Покровскомъ, гдѣ арестанты безъ труда могли доставать

Семенова старались въ такихъ случаяхъ тотчасъ же связать, и пріятель его Гончаровъ, терявшій тогда всякую власть надъ нимъ, первый заготовлялъ веревку или полотенце.

Однажды передъ утренней повѣркой, проснувшись, я услышалъ перебранку между Никифоромъ и Гандоринымъ.

— Ты куда, старый чортъ, дѣлъ мою тетрадку?—сердито допрашивалъ Никифоръ.

— Никуды я ее не дѣвалъ, кетрадки твоей,—дребезжалъ Гандоринъ:—вы же, ученики, куда-нибудь засунули. Да вонъ, такъ и есть! Вонъ она у Семенова въ евангеліи лежитъ.

— Ну, братъ, Петька, и тебя ужъ въ ученики записали! — пошутилъ Гончаровъ.

Семеновъ нервно подошелъ къ полкѣ, вырвалъ изъ рукъ Никифора свое евангеліе, швырнулъ на столъ его тетрадку и закричалъ:

— Не смѣйте въ мою книгу класть! Чтобъ не было этого больше! Ученики!.. Чтобъ васъ стягомъ хорошимъ учило... Въ попы норовятъ!

— Да чего ты, братъ, куражишься? Чего лаешься? — ошетиился Никифоръ, придя въ себя отъ неожиданности: — Самъ ты развѣ не учился?

— Я когда учился-то? Въ тюрьмѣ я развѣ учился?—еще возвышая голосъ, заговорилъ Семеновъ, и ноздри его раздулись и гнѣвно задрожали.

— Ты и теперь учишься, — смѣло продолжалъ Никифоръ: — тоже все равно ученикъ.

— Я ученикъ?! — не спросилъ, а прорычалъ Семеновъ, точно получивъ кровное оскорбленіе.

— Вѣстимо. Тоже читаешь постоянно евангеліе, тоже въ попы мѣтишь...

(Я долженъ пояснить здѣсь, что евангеліе это, за чтеніемъ котораго я, дѣйствительно, не разъ видалъ Семенова, было, по словамъ Гончарова, материнскимъ благословеніемъ.)

Едва успѣлъ Никифоръ произнести послѣднее слово, какъ послышался трескъ разрываемой бумаги, и листы священной книги, какъ пухъ, полетѣли по всей камерѣ. Тарбаганъ, Чирокъ и Желѣзный Котъ, видя такую богатую добычу для цыгарокъ, кинулись со всѣхъ ногъ ловить и подбирать ихъ. Между тѣмъ, Семеновъ, весь дрожа съ головы до ногъ, блѣдный, судорожно сжимая кулаки, гремѣлъ на всю камеру:

— Вотъ какъ я читаю!.. Какъ въ попы мѣчу!.. Вотъ какъ я поповъ вашихъ всѣхъ (дальше циничное слово, звучащее въ устахъ Семенова, какъ ударъ ножомъ)... И писаніе ваше священное, и законъ, и вѣру!..

Даже искушеннымъ въ ругани обитателямъ каторги жутко стало отъ страшныхъ богохуленій; въ камерѣ всѣ проснулись давно, но было тихо, какъ въ гробу.

— Петя, Петя! — умоляющимъ голосомъ шепталъ Гончаровъ: — надзиратель услышитъ...

— А мнѣ что надзиратель? — продолжалъ гремѣть Семеновъ. — Когда я тайлся отъ надзирателей? Не сидѣлъ я два года въ секретной въ кандалахъ и наручникахъ? Я Шестиглазаго испугаюсь? Да я всѣхъ ихъ...

И опять ужасное ругательство, заставившее меня вздрогнуть.

Къ счастью Семенова, надзирателя не было въ корридорѣ, и все прошло благополучно. Семенова удалось, наконецъ, успокоить. О евангеліи никогда съ тѣхъ поръ и помину не было, и мнѣ осталось неизвѣстнымъ, раскаялся ли онъ когда-нибудь въ томъ, что надругался надъ материнскимъ благословеніемъ. Къ старухѣ-матери онъ, безъ сомнѣнія, былъ сильно привязанъ. Онъ посылалъ ей весьма аккуратно письма, при чемъ никогда не просилъ въ нихъ денегъ, подобно большинству арестантовъ, а, напротивъ, сдѣлалъ однажды даже выговоръ за присланные два рубля. Замѣчательно также, что послѣ каждого изъ трехъ своихъ тюремныхъ побѣговъ онъ прежде всего шелъ навѣстить мать, страшно рискуя попасть изъ-за этого въ руки властей и глубоко ненавидѣвшихъ его односельчанъ.

Въ тотъ же день, какъ случилась исторія съ евангеліемъ, я имѣлъ съ Гончаровымъ разговоръ въ рудникѣ объ его пріятелѣ и узналъ много любопытнаго. Старикъ благоговѣлъ передъ Семеновымъ и, передавая даже самые несимпатичные, на мой взглядъ, факты и черты, какъ-бы не замѣчалъ ихъ. Онъ все, рѣшительно все находилъ въ своемъ „Петькѣ“ прекраснымъ и достойнымъ удивленія.

— Я вѣдь вотъ такимъ махонькимъ еще зналъ его, на колѣнкахъ держалъ... И отца зналъ, и мать, и брата. Они расейскіе. Отецъ за убійство на поселеніе въ нашу губернію пришелъ. Горькій пьяница былъ. И такой варваръ: жену и ребятишекъ, помни, такъ стязалъ, такъ стязалъ, что инда вчужѣ глядѣть было жалко.

Они всё и спасенія только имѣли, что въ моемъ домѣ. А потомъ отецъ померъ—опять же я приглядѣ за дѣтьми имѣлъ. Ну, только тутъ они разбаловались. Стали пьянствовать, буйнить, съ двѣнадцати лѣтъ съ тюрьмой ознакомились. А тюрьма, вѣстимо, ужъ до добра не доведетъ; тюрьма святого — и того съ пути праведнаго собьетъ. Старшему Стѣпшѣ восемнадцать было лѣтъ, какъ угодилъ въ каторгу на четыре года. Съ дороги бѣжалъ и прямо къ Петькѣ. Тутъ они такую кашу заварили у насъ въ волости, что вся округа поднялась. Облаву устроили и поймали сонныхъ въ лѣсу. Связали по рукамъ, по ногамъ и зачали поливать! Такъ употчевали, что Петька послѣ того три недѣли при смерти былъ. Дѣло его, однако, втѣпоры безъ послѣдствій осталось. Стѣпшѣ только десять лѣтъ каторги за побѣгъ набавили. Онъ съ дороги-то еще разъ бѣжалъ, часового убилъ. Опять поймали и на вѣчное ужъ въ Тобольскій централъ законопатили. Онъ и теперь тамъ. А Петька еще года два крутился на волѣ. Шайку устроилъ... Все такихъ лихихъ робягъ подобралъ себѣ, что и по сей бы день не поймали ихъ, кабы не водка... Она-то и погубила его. У Петьки ужъ такой нравъ дурной: выпить четыре бутылки можетъ, все на ногахъ держится; ну, а ужъ какъ разберетъ его, тогда всякій разсудокъ теряетъ. Среди бѣла дня, въ городѣ, идетъ лавку ломать. Ну, и попался, конечно. Въ Канской тюрьмѣ очъ шесть лѣтъ просидѣлъ, никакъ дѣло его вырѣшиться не могло: только-только надумаютъ рѣшить, а онъ, глядь, и сорвался! Въ секретной, въ кандалахъ и наручникахъ, держали — и оттуда убѣгать ухитрялся: то рѣшетку распилить, то стѣну разломаетъ, то подкопъ сдѣлаетъ. Прыгъ прямо на часового: „Семеновъ я, туды-сюды тебя!“ Тотъ съ одного этого слова и ружье бросить, и на убѣгъ. А Петька ко мнѣ сейчасъ. Я ужъ знаю, гдѣ спрятать. Только и тутъ водка его каждый разъ губила. Черезъ два-три дня напьется и, ничего не одумавши путно, на кражу идетъ. А его, между тѣмъ, ищутъ, облава кругомъ... Поймаютъ опять, избьютъ до полусмерти — и въ замокъ. Въ замокъ его всё боялись. Смотритель передъ имъ на цыпочкахъ ходилъ, книжки ему присылалъ читать. Вотъ, какъ евангелье сегодня, такъ онъ въ глаза все начальство, бывало, ругалъ. Кабы вы статейный его видѣли, Иванъ Миколанчъ, такъ диву-бъ просто дались, сколько дѣловъ тамъ записано, изъ чего двѣнадцать лѣтъ его каторги составились: побѣги, покушенія на грабежъ, сопротивленія вла-

стямъ, тюремныя буйства, скандалы всякаго рода... За то и избивали-жъ его, какъ послѣдній разъ брали... Такъ избивали, живого мѣста не оставили, всѣ суставы повывернули! Вы не глядите, что онъ такой здоровый и бравый съ виду, да все молчитъ, да никогда ни на что не пожалуется. Я старикъ, а я, пожалуй, еще здоровше его, потому я не битый... А его—чуть мало-мало погода—его, ужъ я знаю, и ломаетъ всего. И помни: такъ боялся его по сей день уринскіе мужики (онъ изъ Ури вѣдь, Петька-то), такъ боялся... Каждое лѣто ждутъ, что воротится! Да онъ и то все одну думку въ головѣ держать. Онъ ужъ покажетъ имъ, старичкамъ благословѣннымъ, онъ благословитъ ихъ!

И Гончаровъ прибавилъ шопотомъ:

— Жаль, тюрьма здѣсь не такая, сорваться трудно... Петьку-то, положимъ, и она бы не испугала; и Шелайскія-бъ стѣны не удержали его, да я все отговариваю: „Подожди, говорю, Петька, тебѣ вольная команда скоро. Годъ-то одинъ протерпѣть можно“. Одного я боюсь, Иванъ Миколанчъ: характера его боюсь. Кабы не сегодняшнее утро, вы-бъ, пожалуй, его самымъ тихимъ арестантомъ считали, а кабы знали вы, чего ему стоитъ эта смиренность! Гавканье надзирателей слушать, всему покоряться, все это видѣть—и молчать! А съ своего-то брата иной разъ еще скорѣе стошнить. Въ другомъ бы мѣстѣ онъ давно ужъ одного, а не то и двоихъ пришилъ. А здѣсь терпѣть надо, потому недолго и скидокъ, и вольной команды рѣшиться...

Дѣйствительно, начавъ съ этихъ поръ присматриваться къ Семенову, я замѣтилъ, что ему страшныхъ усилій воли стоило сдерживать порывы своей дикой натуры. Однажды захворалъ у насъ парашникъ Тарбаганъ, и одинъ изъ самыхъ ненавистныхъ арестантамъ надзирателей, не долго думая, крикнулъ Семенову:

— Ты будешь сегодня парашникомъ!

Обыкновенно должность эту исполняютъ въ тюрьмахъ добровольцы, чувствующіе склонность къ подобнаго рода занятіямъ, или находящіе въ нихъ какую-либо выгоду; иванъ же, къ числу которыхъ, несомнѣнно, принадлежалъ и Семеновъ, считаютъ для себя зазорнымъ идти въ парашники. Я видѣлъ, какъ Семеновъ вдругъ поблѣднѣлъ и судорожно стиснулъ кулаки. Но онъ и тутъ сдержался и промолчалъ. Съ парашками дѣло обошлось какъ-то и безъ него.

Вскорѣ послѣ того мнѣ случилось около двухъ недѣль бряду

работать съ Семеновымъ въ штольнѣ. Штольня представляла узкій каменный корридоръ, въ которомъ могли бурить не больше какъ два человѣка. Эта физическая близость и ежедневное пребываніе вдвоемъ подъ землею въ теченіе многихъ часовъ, естественно, вызвали и нѣкоторое духовное сближеніе между нами. Семеновъ сталъ, незамѣтно для самого себя, разговорчивѣе и откровеннѣе, и самъ рассказалъ мнѣ многое изъ того, что я уже зналъ отъ Гончарова. Оказалось, къ большому моему удивленію, что онъ знакомъ былъ со многими изъ классическихъ произведеній русской и даже иностранной беллетристики: читалъ Гоголя, Пушкина, Некрасова, „93 годъ“ Виктора Гюго и отлично помнилъ содержаніе читаннаго; но, конечно, еще больше читалъ онъ разной бульварной дребедени, всяческихъ издѣлій французскихъ борзописцевъ въ русскомъ переводѣ, и багажъ его литературныхъ знаній состоялъ изъ невозможнѣйшихъ романическихъ приключеній, любовныхъ и кровавыхъ исторій, которыми онъ слѣпо вѣрилъ и которыя, безъ сомнѣнія, оказали нѣкоторое вліяніе на его умственный складъ и обликъ. Обликъ этотъ былъ дикъ, странный и поразилъ меня своей безсердечной эгоистичностью и какой то убѣжденной, если можно такъ выразиться, развращенностью. Сбить Семенова съ позиціи въ спорахъ было невозможно, такъ какъ ничего, кромѣ грубой, матеріалистически-последовательной логики, онъ не признавалъ. Одна красная полоса проходила черезъ всѣ его чувства, думы и вожделѣнія: непримиримая ненависть ко всѣмъ существующимъ традиціямъ и порядкамъ, начиная съ экономическихъ и кончая религіозно-нравственными, ко всему, что клало хоть малѣйшую узду на его непокорную волю и неудержимую жажду наслажденій... „Наплюй на законъ, на вѣру, на мнѣніе общества, рѣжь, грабь и живи во всю“—таковъ былъ девизъ этого Стеньки Разина нашихъ временъ...

Сначала это міровоззрѣніе изумило меня, и долгое время я старался отыскать его корни въ какой-нибудь прочитанной и ложно понятой книжкѣ; но въ концѣ-концовъ принужденъ былъ убѣдиться, что сама жизнь создаетъ Семеновыхъ, наполняя ихъ душу одной безграничной злобой и лишая всякихъ руководящихъ принциповъ и идеаловъ.

— Если всѣ станутъ разсуждать такъ же, какъ вы, — говорилъ я Семенову:—то что же выйдетъ? Жизнь станетъ сплошнымъ

убійствомъ и насиліемъ, люди стануть еще несчастнѣе, чѣмъ до сихъ поръ были.

— А мнѣ какое дѣло, — отвѣчалъ онъ: — зачѣмъ я объ другихъ стану заботиться, когда обо мнѣ никто не заботился, меня никто никогда не жалѣлъ? Они соблюдаютъ законы, наказываютъ голоднаго, который кусокъ хлѣба украдетъ, а сами тысячи воруютъ и святыми слывутъ! Долговолосые о Богѣ намъ говорятъ, а сами Бога-то... Нѣтъ, пускай ужъ это честные дѣлаютъ, а я на честность плевать хочу!

— Но вѣдь не все же вы однихъ виновныхъ и подлыхъ убиваете? Вы ищете только, чтобъ деньги были. А онъ... можетъ быть, трудами рукъ своихъ, въ потѣ лица нажилъ деньги? Чѣмъ онъ виноватъ?

— Нѣтъ, ужъ коли богатымъ сталъ, значить, такимъ же змѣемъ, какъ всѣ, сталъ. А коли и нѣтъ, такъ Богъ на томъ свѣтѣ его наградить, попы ладономъ обжурятъ, святымъ сдѣлаютъ!

— А совѣсть, Семеновъ?—робко спросилъ я, не рѣшаясь уже говорить о Богѣ, въ котораго онъ, очевидно, не вѣрилъ:—чѣмъ вы объясняете, что у каждаго человѣка, даже у самого злого, испорченнаго, на днѣ души всетаки есть стыдъ? Если ничего святого нѣтъ на свѣтѣ, если человѣкъ есть то же животное, и душа его такой же паръ, какъ вы говорите, тогда откуда же этотъ стыдъ берется? Припомните: случилось вамъ когда-нибудь несправедливо обидѣть человѣка, который вамъ дѣлалъ только добро? Послѣ этого вамъ вѣдь непріятно бывало? Это что же такое? Какъ вы объясните?

Семенъ ничего не успѣлъ отвѣтить, такъ какъ въ эту минуту намъ помѣшали; но мнѣ показалось, что не поэтому только онъ не отвѣтилъ, а вообще былъ застигнутъ моимъ вопросомъ врасплохъ. Семеновъ задумался—этого, размышлялъ я, вполне достаточно для перваго раза; остальное сдѣлаютъ время и дальнѣйшія бесѣды со мной. Однако, торжество мое продолжалось недолго и оказалось преждевременнымъ. Не позже, какъ дня черезъ три, онъ подошелъ ко мнѣ во дворѣ тюрьмы и сказалъ:

— А знаете, что я хочу сказать вамъ, Иванъ Николаевичъ? Это насчетъ совѣсти-то, о которой вы мнѣ говорили. Я вспомнилъ, что она вѣдь и у собаки тоже есть.

— Какъ такъ у собаки?

— Да такъ.—И онъ разсказалъ мнѣ одинъ случай, говорившій, повидимому, за то, что и собака можетъ стыдиться своего дурного поступка.

— Сначала я приучилъ ее бояться меня, а потомъ она и стыдиться начала. То же, думаю, и съ человѣкомъ. Ребятишки тоже вѣдь никакого стыда не имѣютъ, а розги одной боятся; ну, а какъ выростутъ...

Я пожалъ плечами и отошелъ прочь. Въ другой разъ я задалъ ему такой вопросъ:

— Но чего же впереди вамъ ждать, Семеновъ? Вѣдь это ужасъ, ужасъ одинъ—ваша жизнь! Вамъ еще и тридцати нѣтъ, а вы почти уже восемь лѣтъ, съ маленькими перерывами, въ тюрьмѣ сидите. Да и раньше, съ двѣнадцати лѣтъ, были знакомы съ нею... Братъ вашъ тоже вѣчный тюремный житель... А тѣ немногіе годы, которые провели вы на волѣ, какую радость и они вамъ дали? Пьяный разгулъ—неужели онъ такъ дорого стоитъ, оплачиваетъ такіа страшныя муки? Вѣдь вотъ вы навѣрное опять убѣжите, не изъ тюрьмы, такъ изъ вольной команды... Ну, и васъ опять, конечно, поймаютъ, еще прибавятъ десять лѣтъ каторги... Нѣтъ, Семеновъ, право, это ужасно... Не лучше ли было бы... честно жить? Хотя вы и ненавидите честность, но простой вѣдь расчетъ заставляетъ предпочитать ее.

— Это землю, то есть, пахать? Зернышко въ землю положить, полтора вынуть? Нѣтъ, ужъ спасибо. Пускай честные этимъ занимаются!

— Значить, тюрьма лучше?

— Да, лучше. А сорвусь—ну, тогда... хоть часъ, да мой!..

„Хоть часъ, да мой“—такова квинтэссенція всѣхъ житейскихъ идеаловъ такихъ людей, какъ Семеновъ. Но, кромѣ того, у него была еще одна „думка“, по выраженію Гончарова: думка — отмстить односельчанамъ, избившимъ его во время послѣдняго ареста. Каждый разъ, какъ онъ заговаривалъ объ этомъ предметѣ, глаза его загорались мрачнымъ огнемъ, кулаки гнѣвно сжимались, онъ скрипѣлъ зубами и рычалъ, какъ звѣрь, у котораго отняли лакомую добычу, но который все же не теряетъ надежды снова забрать ее въ свои лапы. Гончаровъ зналъ эту думку своего ученика и друга, всей душой сочувствовалъ ей и, какъ котъ, у котораго чешутъ за ухомъ, сладострастно зажимуривалъ глаза въ эти минуты мстительныхъ вожелѣній. Онъ, какъ родное дѣтище,

лелѣялъ мечту о побѣгѣ Семенова съ каторги. Возможно, что у него были свои счеты съ уринскими мужиками, и что сочувствіе его было не чисто платоническое... У Семенова эта мечта была не пустой лишь мечтою, не плѣнной мысли раздраженіемъ: я не сомнѣваюсь, что она сидѣла у него въ крови и была однимъ изъ главныхъ демоновъ, владѣвшихъ его душою... Другое дѣло — прочіе арестанты. Если вѣрить ихъ словамъ, то мечь является почти у каждого изъ нихъ главнымъ стимуломъ, подстрекающимъ къ дальнѣйшему существованію и заставляющимъ мечтать о волѣ и побѣгѣ. „Отомщу, а тамъ хоть и подохну — не бѣда!“ — говорили мнѣ десятки подобныхъ мечтателей. О мести мечталъ Гончаровъ, о мести говорили Ракитинъ, Чирокъ, Ногайцевъ, Малаховъ и все разнообразное и разноликое множество тюремныхъ обитателей, съ которыми мнѣ удалось познакомиться. Даже какой-нибудь Яшка Тарбаганъ, эта тюремная „травка“ безъ названія, самый послѣдній человѣкъ въ артели, и тотъ, наслушавшись мстительныхъ рѣчей Семенова или другого такого же поводиры, говорилъ иногда съ комической важностью:

— Я тоже, коли Богъ дастъ, отбуду срокъ и побываю въ своемъ мѣстѣ, тоже найду кой-кому за добро заплатить.

Принимая за чистую монету всю эту кошмарно-кровавую атмосферу злости и мести, которою дышала почти поголовно вся арестантская масса, можно было бы ужаснуться за русскій народъ, столько прославленный своею кротостью и христіанскимъ всепрощеніемъ и, однако, порождающій изъ своихъ нѣдръ подобныхъ чудовищъ зла и ненависти! Къ счастью, я думаю, не каждому слову арестантовъ слѣдуетъ придавать серьезность и значеніе.

Тѣмъ не менѣе, я часто задавался вопросомъ о томъ, что должно дѣлать общество съ такими несомнѣнно вредными членами, какъ Семеновъ? Конечно, прежде всего, оно должно бы не производить и не создавать такихъ членовъ... Но, разъ они уже есть, что съ ними дѣлать? Имѣй я власть, что я сдѣлалъ бы съ ними? Признаюсь, я и до сихъ поръ затрудняюсь категорически отвѣтить на этотъ страшный вопросъ... Казнить и бичевать ихъ тѣми безсердечными скорпионами, какими являются современныя тюрьмы и каторга, я, конечно, не сталъ бы; но рѣшился ли бы я, съ другой стороны, отпустить ихъ на волю? Сами арестанты иногда задавались при мнѣ такимъ же вопросомъ... Нужно сказать, что они

почти всѣ безъ исключенія глядѣли на себя, какъ на невинныхъ страдальцевъ... Вѣдь убитые, по ихъ словамъ, не мучаются? Богатые оттого, что ихъ пощипали немного не обѣднѣли? За что же ихъ-то томятъ такъ долго? Десять, двадцать лѣтъ, вѣчно... За что и по окончаніи даже каторги не позволяютъ вернуться на родину, клеймя вѣчнымъ клеймомъ отверженія и тѣмъ какъ бы толкая человѣка на новыя убійства и преступленія? И большинство рѣшало, что, будь они на мѣстѣ правительства, они немедленно выпустили бы всѣхъ заключенныхъ на волю...

— А я,—вскочилъ и закричалъ разъ Семеновъ, прослушавъ всѣ мнѣнія:—я собралъ бы всѣхъ насъ въ одну тюрьму, со всего свѣта собралъ бы и запалилъ бы со всѣхъ концовъ! Изъ порченнаго человѣка не выйдетъ честнаго, и волкамъ съ овцами не жить, какъ братьямъ!

Слова эти прозвучали глубокой, какой-то даже безстыдной искренностью, и много горькой правды почувствовалъ я въ нихъ въ ту минуту. Почувствовалъ—и самъ ужаснулся... Ужаснулся потому, что у меня, конечно, не поднялась бы рука поступить по рецепту Семенова, потому что и этихъ страшныхъ людей я научился понимать и любить, научился находить въ нихъ тѣ же человѣческія черты, какія были во мнѣ самомъ, такое же умѣнье страдать и чувствовать страданіе. При данныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ они являлись въ моихъ глазахъ настолько же жертвами, насколько и палачами... И я нерѣдко ловилъ себя на тайномъ сочувствіи мечтамъ Семенова о побѣгѣ, на желаніи ему полной удачи, даже на легкомысленной готовности самому помочь ему вырваться туда, въ этотъ зеленѣющій лѣсъ, на эти привольныя сопки, на дикую волю, дальше отъ душной ограды Шелайской тюрьмы, гдѣ гасло безъ слѣда столько силъ и молодыхъ жизней... При видѣ страданія, живого страданія, роднишься и сближаешься даже съ заклятымъ врагомъ, сочувствуешь даже звѣрю, томящемуся въ желѣзной клѣткѣ и безсильному изъ нея вырваться!..

XII.

Чтеніе Библіи.—Яшка Тарбаганъ.—Поэтъ-каторжникъ.

— Все ученикамъ да ученикамъ, а намъ, камерѣ, ничего нѣтъ. Давайте, ребята, взбунтуемся!—сказалъ однажды Парамонъ,

въ особенно благодушномъ настроеніи покуривая свою трубку на нарахъ.—Надо заставить Николаича что-нибудь почитать намъ.

— И то вѣрно: почитать! — хоромъ подтвердили остальные.

— Да что же мы станемъ читать,—спросилъ я,—когда книгъ нѣтъ? Одна библия у меня да евангеліе.

— А чего же еще лучше надо? — отвѣчалъ Парамонъ:— Библию и начать. А то эти гандоринскія сказки мнѣ ужъ тошнѣе рѣдьки стали. „Жилъ да былъ Иванъ-царевичъ да сѣрый волкъ, Прасковья-царевна да жаръ-птица“... Лежитъ тутъ возлѣ, знай—брюзжитъ Яшкѣ—волей-неволей слушать надо. И хоть бы хорошо сказывалъ, вотъ какъ Прелестниковъ, напримѣръ, въ Покровскомъ: тотъ—башка былъ, связать умѣлъ!

— Да я вѣдь старикъ, что съ меня и взять-то?—пѣлъ въ свое оправданіе Гандоринъ:—я, какъ въ старые годы слышалъ, такъ и сказываю.

— Старикъ ты? Охъ, врешь ты, старичокъ благочестивый! Не такъ, какъ въ старые годы... Глазъ-то у тебя не туда, братъ, глядитъ. Слышу я! По сказкамъ твоимъ вижу, за что ты и въ каторгу попалъ.

Всѣ разразились хохотомъ, такъ какъ хорошо знали, что Гандоринъ пришелъ на двѣнадцать лѣтъ за изнасилованіе маленькой дѣвочки.

Сказки Гандорина, которыя онъ аккуратно каждый вечеръ рассказывалъ на сонъ грядущій Тарбагану и Чирку, нерѣдко и меня возмущали до глубины души. Всѣ онѣ были, повидимому, собственнаго его изобрѣтенія; въ одну кучу сваливалъ онъ всѣ когда-нибудь слышанныя имъ исторіи, побасенки и даже житія святыхъ и все покрывалъ общимъ флеромъ какого-то беззубо-старческаго цинизма и сладострастія. Даже самую обыкновенную, помѣщаемую въ дѣтскихъ хрестоматіяхъ, сказку онъ умѣлъ пропитать своимъ специфическимъ гандоринскимъ духомъ. Аре-станты, вообще, большіе любители циничныхъ бесѣдъ и рассказовъ; но сказки Гандорина отличались такимъ полнымъ отсутствіемъ таланта и даже простой умѣлости, что никто, кромѣ непритязательнаго Чирка и Тарбагана, никогда не дослушивалъ ихъ до конца.

— Вотъ хорошо, — начиналъ Гандоринъ своимъ обычнымъ манеромъ продолженіе вчерашней безконечной сказки, и ужъ отъ одного этого начала всѣхъ начинало клонить ко сну, и, дѣйстви-

тельно, камера вскорѣ подозрительно затихала подъ ритмическое журчаніе этихъ часто повторяющихся пѣвучихъ „вотъ хорошо“.

Мысль о чтеніи вслухъ давно уже меня интриговала, и я думалъ: какъ отнеслись бы мои сожителѣ къ тому или другому истинно-художественному произведенію, доставляющему столько высокихъ наслажденій образованному человѣчеству. Какое впечатлѣніе произвели бы на нихъ Шекспиръ, Диккенсъ, Гоголь? Хорошо зная, что тюремныя инструкціи запрещаютъ арестантамъ всякое другое чтеніе, кромѣ религіозно-нравственнаго и строго-научнаго, но зная въ то же время, что на практикѣ въ большинствѣ тюремъ правило это не примѣняется слишкомъ строго, я еще съ дороги послалъ домой небольшой списокъ беллетристическихъ книгъ, которыя просилъ мнѣ выслать. Я съ нетерпѣніемъ поджидалъ теперь этой посылки, питая тайную надежду, что бравый штабсъ-капитанъ, какъ это нерѣдко бываетъ, окажется меньшимъ формалистомъ относительно духовной пищи своихъ подчиненныхъ, нежели относительно тѣлесной. Пока же приходилось ограничиться библіей. Всѣ затаили, казалось, дыханіе, когда я въ первый разъ приступилъ къ чтенію. Однако, не дальше, какъ черезъ часъ времени, я замѣтилъ, что многіе не выдержали этого напряженія и уже исправно храпѣли. Раньше другихъ заснули Гончаровъ и Тарбаганъ; за ними послѣдовали „ученики“. Никифоръ даже и впослѣдствіи, при самомъ захватывающемъ чтеніи, когда остальная публика волновалась, хохотала до упаду, или скрипѣла зубами отъ ярости, не умѣлъ долго слушать и сосредоточивать вниманіе на одномъ предметѣ. За то самымъ ревностнымъ слушателемъ послѣ Парамона оказался, къ моему удивленію, Гандоринъ. Онъ какъ-то удивительно умѣлъ соединять въ одно—отвратительнѣйшее сладострастіе съ самымъ искреннимъ и умиленнымъ святошествомъ. Слезы стояли у него на глазахъ, когда я читалъ исторію о прекрасномъ Іосифѣ, проданномъ братьями въ рабство, и онъ поминутно вытиралъ ихъ кулакомъ. Впрочемъ, исторія эта произвела на всѣхъ одинаково сильное впечатлѣніе. Одного не выносили мои слушатели: что я читалъ не по столько въ одинъ пріемъ, сколько бы имъ хотѣлось. Имъ все казалось мало. Малаховъ, Чирокъ и Гандоринъ готовы были цѣлую ночь слушать, и всякій разъ, какъ я закрывалъ книгу, говоря, что на сегодня довольно, они поднимали крикъ и начинали со мной торговаться. Къ сожалѣнію, я при-

нужденъ былъ вскорѣ убѣдиться, что слушателей моихъ гораздо больше завлекала внѣшняя фабула разсказа, чѣмъ внутренній его смыслъ и содержаніе: по крайней мѣрѣ, по окончаніи чтенія, мнѣ ни разу не приходилось слышать никакихъ благочестивыхъ бесѣдъ по поводу прочитаннаго. Послушали—и ладно. Каждый возвращался послѣ этого къ своему дѣлу: одинъ немедленно засыпалъ, другой начиналъ прерванную вчера сказку. А если чтеніе и вызывало иногда разговоры, то это была или какая-нибудь мелочь, относящаяся къ специальности того или другого арестанта, или же такой пунктъ, обсужденіе котораго было мало полезно и желательно. Такъ, Яшка Тарбаганъ очень много смѣялся по поводу жителей Содомы, оскорбившихъ ангеловъ, и видимо отъ души жалѣлъ, что его самого тамъ не было... Уже большая часть камеры спала, а онъ все еще толкалъ подъ бокъ сосѣда и говорилъ, захлебываясь отъ смѣха:

— Какъ они, братъ, анделовъ-то, анделовъ-то... того!

А Гончаровъ, большею частью дремавшій подъ чтеніе чуткимъ стариковскимъ сномъ, просыпаясь, говаривалъ послѣ того, какъ я закрывалъ книгу:

— Какъ слушаешь да поразмыслишь, такъ всегда-то и вездѣ одно и то же на свѣтѣ было. Драки, убивства, насильства... И вѣчно, помни, вѣчно такъ оно и идти будетъ до скончанія вѣка!

Въ концѣ концовъ, я вполнѣ увѣрился, что до пониманія библии, этой книги, полной такой высокой поэзіи и величавой простоты, слушатели мои не доросли еще; мнѣ стало тогда понятнымъ и то, почему именно чтеніе библии вызываетъ такъ часто разныя умственные расстройства въ простыхъ и набожныхъ людяхъ. Они приступаютъ къ ней съ глубокою, чисто-дѣтскою вѣрою въ то, что каждая строка этой святой книги должна быть чиста, благочестива и назидательна, и когда находятъ вмѣсто того правдивую, неприкрашенную хронику первобытныхъ нравовъ и жизненныхъ коллизій всякаго рода со всѣми ихъ темными и порой грязными деталями, то положительно становятся втупикъ и, не въ силахъ будучи уловить общую одухотворяющую все идею, не знаютъ, что думать. Простолудия такъ же точно относится къ святому, какъ и къ красивому. Красота, напр., женщины только тогда бываетъ ему близка и понятна, когда бьетъ въ глаза рѣзкими, выпуклыми, банальными

въ своей красотѣ формами и красками, когда все въ ней ярко и ослѣпительно, нѣтъ ни одной черточки, показывающей, что имѣешь дѣло съ живымъ, имѣющимъ душу существомъ, а не съ маріонеткой или намалеваннымъ дешевымъ иконописцемъ ангеломъ. Святое точно также должно быть безукоризненно свято. А это что же за святые люди, когда нѣкоторые дѣянія ихъ въ настоящее время были бы подведены подъ кодексъ уложенія о наказаніяхъ и могли бы повести въ каторгу?..

Пробовалъ я читать также евангеліе. Крестныя страданія произвели огромное впечатлѣніе, и по поводу ихъ въ камерѣ происходили разговоры, напомнившіе мнѣ слова дикаря Хлодвига, короля франковъ: „Ахъ, зачѣмъ я не былъ тамъ съ моими франками!“ Что касается остальныхъ частей евангелія, то онѣ вызывали мало интереса. Самое сильное и прекрасное, на нашъ взглядъ, мѣсто—нагорная проповѣдь прошла совсѣмъ безслѣдно. Даже самъ Парамонъ, главный ревнитель вѣры въ нашей камерѣ, заявилъ:

— Нѣтъ, библию я больше одобряю... Не для нонѣшняго народа это писано... Око за око, зубъ за зубъ—это вотъ по нашему!

— А по моему, два ока за одно и всѣ зубы за одинъ,—добавилъ Чирокъ, смѣясь.

Въ отчаяніе, прямо въ ужасъ приводила меня непроглядная темнота, царившая въ большинствѣ этихъ первобытныхъ умовъ, и часто я себя спрашивалъ: неужели тамъ, „во глубинѣ Россіи“, еще больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди—тѣ же русскіе люди, только затронутые уже лоскомъ городской культуры, просвѣщенные и развращенные ею?

Кстати, я познакомлю читателя еще съ нѣсколькими обитателями моей камеры, чтобы для него стала окончательно ясной та умственная и нравственная атмосфера, въ которой мнѣ приходилось жить и дѣйствовать.

Вотъ „тюремная трава безъ названія“, Яшка Первановъ, Тарбаганъ по прозвищу, парашникъ, о которомъ я упоминалъ уже не одинъ разъ.

Въ своемъ родѣ это прелюбопытный экземпляръ. Казалось, онъ и на свѣтѣ родился для того только, чтобы жить въ тюрьмѣ, исправляя именно должность парашника. Маленькій, жирненькій, съ обрюзглымъ, краснымъ лицомъ и отвисшимъ брюхомъ, съ короткими ножками, ступавшими какъ-то тяжело и неловко, семеня мелкими шажками, онъ живо напоминалъ своей фигурой того си-

бирскаго звѣрька, названіе котораго носилъ. Въ довершеніе сходства, цвѣтъ его небольшой бородки и волосъ на головѣ былъ желтый. Ничто въ мірѣ въ такой степени не занимало и не волновало его, какъ чисто-тюремные вопросы и интересы, карты, стрѣла, промотъ вещей, расплата за нихъ собственной шкурой и т. п., и трудно было даже представить себѣ, чтобы Яшка Тарбаганъ жилъ когда нибудь на волѣ и занимался какимъ-нибудь инымъ трудомъ, кромѣ ношенія парашекъ. А между тѣмъ, и онъ когда-то жилъ, когда-то былъ человѣкомъ, имѣлъ жену и дѣтей.. Онъ былъ родомъ съ Кубани. Четырнадцать лѣтъ уже высидѣлъ цѣлый годъ въ мѣстной тюрьмѣ по подозрѣнію въ конокрадствѣ и тамъ, по собственнымъ его словамъ, впервые испортился. Забритый въ солдаты, онъ былъ отправленъ на службу въ Ригу, гдѣ скоро попалъ въ штрафные и былъ тѣлесно наказанъ. Но извѣдавъ еще ребенкомъ, чтó такое тюрьма и арестантская жизнь, онъ никакихъ наказаній не страшился и быстро опускался по наклонной плоскости пьянства и кражъ. Одно только обстоятельство чуть было не отрезвило его. Его поймали разъ на кражѣ коня, связали и, забивъ семь большихъ иголокъ въ пятку, отпустили на всѣ четыре стороны. Долго послѣ того болѣла у Яшки нога, и еще мнѣ показывалъ онъ знаки отъ вышедшихъ у него изъ икры иголокъ... Но вскорѣ онъ попался въ такомъ дѣлѣ, за которое сразу угодили въ Сибирь. Нѣсколько пьяныхъ солдатъ избили до полусмерти въ какомъ-то грязномъ притонѣ нелюбимаго ими фельдфебеля и за это отданы были подъ судъ; вмѣстѣ съ ними приговоренъ былъ и Первановъ къ лишенію всѣхъ правъ и поселенію въ Енисейской губерніи. На поселеніи онъ пробылъ не больше года, ничего не дѣлая и существуя „мантулами“ и „саватейками“, т. е. побираanjemъ подъ окнами. Наконецъ, въ обществѣ съ другимъ такимъ же рыцаремъ, онъ убилъ мужика за мѣшокъ пшеничной муки и этимъ заработалъ себѣ десять лѣтъ каторги. Я не сомнѣваюсь, что и вся его дальнѣйшая жизнь пойдетъ точъ въ точъ такимъ же путемъ. Работать онъ не умѣетъ и не хочетъ, и если „мантулами“ прожить окажется трудно, пойдетъ съ поселенія бродяжить, дорогою будетъ пойманъ съ какимъ-нибудь „качествомъ“ *) и опять попадетъ въ каторгу. Въ заключеніе всего угодить—на Сахалинъ. Чрезвычайно характерна для

*) Качество—на арестантскомъ языкѣ преступленіе.

нравственной оцѣнки Тарбагана исторія его отношеній къ роднѣ. По его словамъ, цѣлыхъ семь лѣтъ не имѣлъ онъ никакихъ извѣстій изъ дому и самъ рѣшилъ никогда не писать, чтобъ не огорчать матери своей каторгой.

— Пускай лучше думаетъ, что я померъ.

И вотъ, однажды онъ обратился ко мнѣ съ неожиданной просьбой написать ему домой письмо. Удивленный, я спросилъ, почему онъ вдругъ передумалъ. Тарбаганъ, нѣсколько сконфузившись, осклабился и сказалъ:

— Да что-жъ! Авось деньжонокъ сколько-нибудь выплутъ.

Уже написавъ письмо, я узналъ, что Тарбаганъ передъ тѣмъ въ пухъ и прахъ проигрался... Отвѣтъ пришелъ, когда онъ находился уже въ вольной командѣ. Встрѣтивъ меня разъ за тюрьмою, онъ началъ радостно махать мнѣ издали шапкой и кричать:

— Я письмо получилъ!

— Что же вамъ пишутъ?—полюбопытствовалъ я изъ вѣжливости.

— Рупь денегъ прислали... Жена — вотъ ужъ шесть лѣтъ — безъ вѣсти пропала... Мать жива и здорова.

За одинъ рубль, который онъ тотчасъ же проигралъ въ карты, этотъ человѣкъ не затруднился продать спокойствіе матери!

Странно, однако, что и въ этой вѣчно заспанной, ожирѣвшей и какъ бы созданной для тюрьмы головѣ постоянно бродила мечта о волѣ. Часто, когда я возвращался изъ рудника, онъ подходилъ ко мнѣ и, широко улыбаясь, таинственно шепталъ:

— Говорятъ, я тоже въ вольную команду скоро... Ужъ представка пошла *).

И я сочувственно кивалъ ему головой и улыбался. А зачѣмъ бы, кажется, воля подобному субъекту? Зачѣмъ воля кроту, сурку, тарбагану, для которыхъ весь свѣтъ заключается въ ихъ норкѣ и вся жизнь въ ѣдѣ и спаньѣ?

Но образъ Тарбагана вышелъ бы далеко не полнымъ, если бы я не сказалъ о немъ еще нѣсколько словъ. Онъ, безъ сомнѣнія, воплощалъ въ себѣ не только самыя дурныя, но и самыя хоро-

*) Находя возможнымъ выпустить того или другого арестанта въ вольную команду, смотрителя тюремъ обязаны сдѣлать предварительное донесеніе объ этомъ («представку» на арестантскомъ языкѣ) въ управленіе Нерчинской каторги. Оттуда приходитъ отказъ или разрѣшеніе. *Прим. авт.*

шія стороны арестантскаго міра. Развращенъ онъ былъ, правда, до мозга костей; самыя отвратительныя тюремныя привычки и извращенные вкусы были усвоены имъ въ совершенствѣ. Режимъ Шелайской тюрьмы не позволялъ арестантамъ развернуться во всю: народу въ ней было сравнительно немного, все на виду, и донесись что нибудь до слуха Шестиглазаго, онъ быстро и по своему расправился бы съ виновными. Приходилось поэтому ограничиваться словесными вождедѣніями, и вотъ въ этомъ-то отношеніи Тарбаганъ могъ перещеголять всѣхъ. Говорилъ онъ хоть и мало, но рѣчь сводилъ всегда къ любимому своему предмету. Даже на самихъ женщинъ онъ глядѣлъ съ своеобразной, чисто-тарбаганьей точки зрѣнія: естественными своими прелестями онѣ его мало привлекали... Но я сказалъ уже, что въ Тарбаганѣ были также и свои хорошія стороны. Какъ вѣчная тюремная крыса, онъ считалъ чѣмъ-то вродѣ своего долга — строго блюсти арестантскіе традиціи и завѣты, высоко держать знамя тюремной чести и товарищества. Правда, на сходкахъ его голоса никогда не было слышно, и сами арестанты называли его „травой безъ названья“, но безъ такой травы внутренняя тюремная жизнь тотчасъ же потеряла бы свою фізіономію, и арестантскій міръ подвергся бы безъ этихъ безымянныхъ героевъ окончательному разложенію. Такъ напр., подавать заключеннымъ въ карцерѣ табакъ, мясо и пр. было дѣломъ исключительно Тарбагана, обязанностью и правомъ, которыхъ у него никто не оспаривалъ. Впрочемъ, я вообще замѣчалъ, что тюремные поводыри, „иваны“ и „глоты“ ограничиваются въ большинствѣ случаевъ тѣмъ только, что вносятъ матеріальныя пожертвованія и стоятъ на стрѣмѣ, карауля надзирателей, въ огонь же опасности лѣзутъ всегда люди, играющіе въ тюрьмѣ самую незначительную роль и даже служащіе предметомъ общихъ насмѣшекъ. Никто смѣлѣе Тарбагана не „лаялся“ также съ надзирателями. Его тарбаганье тявканье было, правда, очень комично и часто только смѣшило тѣхъ, на кого направлялось, но подъ флагомъ этого комизма онъ бросалъ иногда въ глаза рѣзкую правду, на которую и не всякій бы изъ ивановъ рѣшился... Таковъ былъ Яшка Тарбаганъ.

Кстати, сообщу одно курьезное наблюденіе, сдѣланное мною вообще относительно парашниковъ Шелайской тюрьмы. Они всѣ были точно на подборъ, всѣ точно самой природой созданные для своего ремесла: сонные, неуклюжіе, неумытые, нечистоплот-

ные, оборванные... Такъ, другимъ послѣ Тарбагана достойнымъ представителемъ почтенной корпораціи былъ одинъ молдаванинъ, по фамиліи Абабій, по прозванью Тараканье Осердіе. Мѣткія клички умѣютъ давать другъ-другу арестанты. Я никогда въ жизни не видалъ тараканьяго осердія; въ невѣжествѣ своемъ не знаю даже, существуетъ ли оно у таракана, и если существуетъ, то какую форму имѣетъ; но стоило только взглянуть на эту маленькую, беззубую, вѣчно что-то шамкающую фигурку съ длинными шевелящимися усами, чтобы тотчасъ же признать въ ней изумительное сходство именно съ тараканьимъ осердіемъ... Только въ позднѣйшія времена, когда начальство Шелайской тюрьмы уничтожило на практикѣ выборное начало и стало само назначать арестантовъ на всѣ тюремныя должности, корпорація эта утратила свой общій, рѣзко бросающійся въ глаза обликъ.

Былъ въ нашей камерѣ еще одинъ курьезный субъектъ, котораго я также назвалъ бы, пожалуй, травкою, если бы его прошедшее, а съ нимъ и весь его нравственный образъ до сихъ поръ не оставались для меня окруженными нѣкоторымъ ореоломъ таинственности. Это былъ нѣкто Владиміровъ. Нескладно сложенный паренъ, лѣтъ 23, безъ признаковъ растительности на лицѣ, понурый, съ вѣчно опущенной внизъ и словно болтающейся головой (шутники говорили, что она у него на ниткахъ привязана), всегда онъ имѣлъ какой-то заспанный видъ и ходилъ неуклюжей старческой походкой. Выраженіе лица тоже было странно и измѣнчиво: то можно было счесть его дряхлымъ семидесятилѣтнимъ старикомъ, то, напротивъ, совсѣмъ еще мальчикомъ. Широко довольно удачно окрестилъ его Медвѣжьимъ Ушкомъ. Постоянно молчаливый и говорившій тихимъ, убитымъ голосомъ, Владиміромъ иногда точно съ цѣпи срывался, вмѣшивался внезапно въ споръ и, доказывая что-нибудь явно-нелѣпое и ни съ чѣмъ несообразное, оралъ такъ громко и такимъ звѣроподобнымъ басомъ, что всѣ уши затыкали и съ тревогой поглядывали на дверную форточку. Владиміровъ производилъ на меня подчасъ впечатлѣніе настоящаго кретина. А между тѣмъ, онъ прошелъ два класса уѣзднаго училища, писалъ вполне грамотно, и когда въ послѣдствіи у меня завелись книги, самостоятельно изучилъ курсъ ариметики и алгебры. Къ математикѣ онъ вообще чувствовалъ большую склонность: рѣшать годоволонныя задачи было его любимымъ занятіемъ. За то другими

науками онъ совсѣмъ почти не интересовался и тѣмъ утверждалъ во мнѣ невысокое мнѣніе о своихъ умственныхъ способностяхъ. Но вотъ, однажды, онъ поднесъ мнѣ на лоскутѣ бумаги (до сихъ поръ хранящемся у меня) слѣдующее стихотвореніе собственнаго сочиненія:

О, Природа! Природа! Природа!
Ты не имѣешь конца и начала.
Только лишь звѣзды сверкаютъ
Въ безграничномъ пространствѣ твоёмъ.
И блестятъ, и горять, и плывутъ...
Плывутъ туда, гдѣ вѣчный мракъ и холодъ,
Гдѣ нѣтъ живого существа.
— О, я ошибся, я солгалъ!
Тамъ міръ иной, блаженный,
Тамъ есть живыя существа!

Это стихотвореніе, признаюсь, поразило меня.. Я поспѣшилъ объяснить Владимірову технику стихосложенія и посоветовалъ больше читать. Къ чтенію онъ по прежнему не пріохотился, а на прочитанное высказывалъ самые странные и порой дикіе взгляды, но стихи продолжалъ писать. Вскорѣ онъ представилъ мнѣ еще два произведенія своей музы, гдѣ метрическія требованія были удовлетворены нѣсколько лучше.

Я слышу голосъ, голосъ и привѣтъ:
«Пора, пора на вольный Божій свѣтъ!»
Свободнѣй стало, грудь вздохнула,
И вотъ когда слеза блеснула
Въ моихъ очахъ... Чѣмъ эта доля,
Милѣй мнѣ воля, воля, воля!
Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на повѣркѣ проповѣдь
Караютъ человека вѣдь (sic!)...
Проходятъ дни и годы —
Дождусь ли я свободы?!

Когда жена меня больная
И мать подъ кровомъ пріютить?
Когда страна, страна родная
Мнѣ утѣшенье возвратить?

Другое стихотвореніе, изъ котораго помню только первый куплетъ:

Лѣсъ шумить и зеленѣеть,
И шуршитъ ковыль;
Въ полѣ вѣтеръ дуетъ, вѣетъ,
Подымаетъ пыль,—

не представляло ничего оригинальнаго, отзываясь подражаніемъ Кольцову, Шевченку и другимъ народнымъ поэтамъ. Конечно, я не видѣлъ въ стихахъ Владимірова чего-нибудь подающаго крупныя надежды и вскорѣ даже совсѣмъ пересталъ поощрять его къ дальнѣйшимъ опытамъ, но повторяю—открытіе это меня пріятно удивило. Оказывалось, что въ этомъ неуклюжемъ, вѣчно заспанномъ увальнѣ, жившемъ столько времени бокъ-о-бокъ со мною и казавшемся мнѣ такимъ смѣшнымъ и недалекимъ, происходилъ довольно сложный процессъ мысли и чувства, въ сущности очень близкій и родственныи тому, который самъ я переживалъ и чувствовалъ.

Физическая слабость,
И умственная вялость,
И на повѣркѣ проповѣдь...

Ахъ! да не то же ли самое и меня терзало и мучило?

Я слышу голосъ, голосъ и привѣтъ:
«Пора, пора на вольный Божій свѣтъ!»

Не мой ли это вопль и не моя ли завѣтная дума подслушана и такъ поэтически выражена—и кѣмъ же? Медвѣжьимъ Ушкомъ!..

Вскорѣ Владиміровъ бросилъ поэзію и опять вернулся къ своей обычной физической и умственной спячкѣ. Внутренній міръ его снова для меня закрылся и сталъ непроницаемымъ. Другого такого замкнутаго человѣка я никогда не встрѣчалъ. Никакія насмѣшки и уколы товарищей не могли вывести его изъ себя и заставить разсказать, кто онъ такой, откуда родомъ и за что попалъ въ каторгу. Знали только, что онъ арестованъ былъ, какъ бродяга, въ Иркутскѣ и, какъ бродяга же, осужденъ на шесть лѣтъ временно-заводскихъ работъ безъ права вольной команды. Слышалъ я еще отъ Гончарова, будто Владиміровъ тоболякъ, купеческій сынъ и скрылъ родословіе, не желая огорчать родителей и надѣясь, по окончаніи каторги, вернуться домой „чистымъ“ человѣкомъ; но точно ли это вѣрно, и если вѣрно, то что именно занесло его въ Иркутскъ, и за что онъ былъ арестованъ, этого я и до сихъ поръ не знаю. Самъ Владиміровъ, въ одну изъ минутъ откровенности, сказалъ мнѣ только, что домой по окончаніи

каторги ни за что не воротится, такъ какъ ничего хорошаго не рассчитываетъ тамъ найти, а постарается устроиться на поселеніи. Но возможно и то, что онъ обманулъ меня, показавъ лишь видъ, что откровенничаетъ, на самомъ же дѣлѣ хотѣлъ зачѣмъ-то отвести мнѣ глаза отъ настоящаго слѣда къ своему прошлому—Богъ его знаетъ.

Владиміровъ имѣлъ одно несомнѣнное достоинство, которое рѣзко отличало его отъ остальной шпанки: послѣдняя вся поголовно была увѣрена (и только относительно его одного), что у своего брата-арестанта, у артели, Медвѣжье Ушко ни за что крошки не украдетъ; однажды даже выбрали его въ тюремные старосты. Но на этой должности онъ оказался такимъ розиней; витая въ своемъ внутреннемъ, никому невѣдомомъ мірѣ, сидя за рѣшеніемъ алгебраическихъ задачъ или сочиненіемъ стиховъ, такъ мало обращалъ вниманія на дѣйствительность, что мяса въ котлѣ у него оказывалось нерѣдко значительно меньше, чѣмъ у завзятаго вора-старосты; его обкрадывали повара, обвѣшивалъ экономъ, и вскорѣ Медвѣжье Ушко, подъ предлогомъ болѣзни, принужденъ былъ бѣжать въ больницу, чтобъ избавиться отъ общихъ нареканій. Вообще, староство далось ему сокомъ; чрезвычайно дорожа общественнымъ мнѣніемъ о своей неподкупной честности, онъ волновался изъ-за каждаго пустяка, въ которомъ видѣлъ или подозревалъ недовольство арестантовъ собою, и бывалъ въ высшей степени смѣшонъ въ этомъ волненіи. Религіозный и искренно богомольный, въ одну изъ такихъ горькихъ, а для посторонняго наблюдателя комичныхъ минутъ своей жизни, онъ дошелъ до того, что громко высказалъ сомнѣніе въ существованіи Бога!..

XIII.

Ч и р о к ъ.

Мнѣ живо помнится одинъ вечеръ. Въ камерѣ шелъ обычнѣйшій разговоръ о томъ, что „у насъ-де дурное правительство,—не выпускаетъ арестантовъ на волю, а держитъ ихъ до срока въ тюрьмѣ и всячески стязаетъ“. Кто-то спросилъ меня: что я объ этомъ думаю? Признаюсь, я затруднился отвѣтомъ на заданный такъ прямо вопросъ.

— Ну, кого-бъ вы изъ насъ выпустили?—смѣясь, спросилъ Г чаровъ:—вотъ сейчасъ кого бы на волю выпустили?

Я оглянулся кругомъ и назвалъ своего сосѣда Кузьму Чирка, предметъ общихъ шутокъ и насмѣшекъ, человѣка, казалось мнѣ, вполне безобиднаго, попавшаго въ каторгу по какой-нибудь судебной ошибкѣ. Всѣ разразились оглушительнымъ хохотомъ при моемъ отвѣтѣ.

— Вотъ нашли чорта! Да знаете-ль вы, сколько онъ народу побилъ? Онъ не сказывалъ вамъ? Вы не смотрите, что онъ тихонькій да ласковый, какъ теленокъ. Въ этой пермяцкой головѣ много хитрости заложено!

— Не вѣрь, не вѣрь, Миколаичъ!—закричалъ Чирокъ, лукаво ухмыляясь:—правду ты истинную молвилъ, святую правду. Давно-бъ такого старичонку, какъ я, выпустить на волю пора!

— Да! чтобъ ты еще пятерыхъ спать навѣки укладъ?

— А развѣ вы пятерыхъ, Чирокъ, уложили?—спросилъ я.

— Слухай ты ихъ, Миколаичъ, они тебѣ насажутъ. Я со-
всѣмъ безвинно страдаю.

— За что же?

— За брата. Онъ любовницу убилъ, а я подсобилъ ему въ мужинѣ погребъ ее спустать.

— Да, живую спустить подсобилъ.

— О, дьяволъ чернопазый! Чего врешь? Живую... И не ды-
хала даже, удушена была! За что-жъ бы меня на одиннадцать
всего лѣтъ засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрыватель-
ство только одно и пришелъ я въ каторгу.

— Ну, а Расскажи, братъ, какъ ты черемиса-то задавилъ.

— Какого тамъ еще черемиса?

— Да такого, за возъ-то сѣна...

— Молчи, дьяволъ, молчи! Вѣдь онъ запишетъ, Миколаичъ-то...

— Нѣтъ, не запишу, Чирокъ, расскажите.

— Не омманешь?

— Не обману. За что вы его задавили?

— За шею, вѣстимо... Какъ же не задавить было проклятаго? Поѣхали мы съ Егоршей да съ другимъ еще братишкой, Васькой, по-сѣно... то-ись по чужое. Вотъ, наворотили два огромныхъ воза и ѣдемъ домой. А на встрѣчу черемисъ этотъ самый. Какъ тутъ быть? Что тутъ дѣлать? Оставить такъ—донесетъ вѣдь шельма, въ тюрьму придется идти... Ну, взяли мы и накинули на шею ему удавку.

— А расскажи еще, какъ мужика-то ты за голову сахару уколошилъ?

— Это еще чего поминать. Робячьимъ еще дѣломъ было, какое это преступленье?

— Всетаки расскажите.

— Пріѣхалъ къ тяткѣ знакомый мужикъ въ гости, пьяный-распьянный. Покамѣстъ онъ съ тяткой сидѣлъ да водеу пилъ, мы, ребятишки, нашли у него въ саняхъ кулекъ съ разными сластями. Голова тамъ цѣлая сахару была, пряники... Только хотѣли было уволочь кулекъ, глядь—онъ выходитъ, хозяинъ-то то-ись. Еле ноги передвигаетъ, тятка подъ руки его ведетъ. Сѣлъ кое-какъ въ сани.—Прокати, говоримъ, дянька!—Усѣлись мы съ имъ и поѣхали. Лошаденка сама дорогу знаетъ, бѣжитъ, куда надо. Вотъ я взялъ возжи-то да и накинулъ ему, сонному, на шею. Онъ и захрапѣлъ. Мы сейчасъ лошадь остановили, кулекъ сцапали—и на убѣгъ. А лошадь домой. Такъ мертваго его и привезла. Ну, тятка-то, надо быть, сдогадался, призвалъ насъ и пригрозилъ кнутомъ: „молчите, сучьи дѣти!“ Такъ и не узналъ никто. Задавился самъ, пьяный, да и все тутъ.

— А сколько вамъ лѣтъ было тогда, Чирокъ?

— Я по одиннадцатому былъ году, а Егорша по восьмому.

— Ты, значить, удавочкой все больше орудовалъ? Молодецъ, Кузьма!

— Онъ и топорикомъ, братцы, умѣлъ дѣйствовать,—поправилъ Тарбаганъ:—расскажи-ка, Кузьма, какъ другого-то мужика топоромъ ты въ боковину двинулъ.

— О, гаденышъ проклятый! Творенье паршивое!

— Нѣтъ, ужъ рассказывай, братъ, рассказывай, коли началъ,—гадѣла вся камера:—а нѣтъ, такъ вѣдь живо подкуемъ. Эй, Желѣзный Котъ! Подковать его надо!

„Подковать“—это значило щекотать пятки, чего Чирокъ смертельно боялся. Онъ моментально вспрыгивалъ на ноги и начиналъ бѣгать по нарамъ, грозя всѣмъ наступающимъ своими дюжими кулаками.

— Пад-сту-пись-ка только!—кричалъ онъ нараспѣвъ:—я покажу! Даромъ, что старичонко...

Но враги приближались со всѣхъ сторонъ: Никифоръ, Семеновъ, Желѣзный Котъ заходили съ боковъ; Парамонъ надвигался прямо, грозный и рѣшительный... Чирокъ, прижатый въ уголъ,

готовился къ жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаганъ кидался ему подъ ноги, всё на него налетали, валили послѣ долгаго и упорнаго сопротивленія на нары и „прибивали подковки“. При этомъ Чирокъ оралъ такъ немилосердно, что должны были затыкать ему ротъ изъ опасенія, что услышитъ надзиратель. Наконецъ, Чирокъ проситъ-таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается на свое мѣсто рассказывать, какъ онъ мужика топорикомъ двинулъ.

— Чего тутъ рассказывать-то? Изъ-за межи споръ вышелъ. Онъ на меня со стягомъ кинулся... Мнѣ што-жъ, зѣвать, что-ль, было? Я и махнулъ въ него топоромъ и угодилъ прямо въ боковину. Тутъ же изъ подледа и духъ вышелъ. Меня втапору и судъ оправдалъ, потому свидѣтели были.

— Записывайте, Николанчъ: это ужъ которая душа то?

— У него еще есть. Вчера ночью мнѣ сказывалъ. Разъ...— заводилъ было Парамонъ, но Чирокъ принимался такъ усердно тузить его, и между ними начиналась опять такая возня, что къ форточкѣ подходилъ надзиратель и прикрикивалъ на буйновъ. Возня затихала, бесѣда прекращалась, и большинство мало-по-малу засыпало. Только Чирокъ, Парамонъ и Желѣзный Котъ, сойдясь въ кучку на противоположныхъ нарахъ, гдѣ было мѣсто кузнеца, долго еще, иногда до поздней ночи, сидѣли, сложивъ по-турецки ноги и посасывая цыгарки и трубки, и бесѣдовали между собой таинственнымъ полупшепотомъ. Это Чирокъ рассказывалъ о своей молодости... До меня доносились отрывки этихъ рассказовъ, и часто я вздрагивалъ отъ невольно охватывавшаго меня ужаса, а иногда, напротивъ, готовъ былъ смѣяться самымъ искреннимъ и добродушнымъ смѣхомъ.

Личность Чирка, вообще, представляла какую-то причудливую смѣсь серьезнаго съ шутивнымъ, комизма съ трагизмомъ, чистодѣтской наивности и простодушія съ самой хитрой плутоватостью и лукавствомъ. Природный умъ и лукавство свѣтились въ этихъ сѣрыхъ, всегда съ любопытствомъ смотрѣвшихъ глазахъ, глядѣли изъ складокъ морщинистаго лба и угловъ большого неуклюжаго рта, отгнѣннаго жесткими, рыжеватыми усами; но въ то же время отъ этого блѣднаго, худощаваго лица съ длиннымъ, какъ у лошади, черепомъ, отъ всей мѣшковатой, переваливающейся съ ноги на ногу и прочно скроенной фигуры вѣяло чѣмъ-то такимъ простымъ и хорошимъ, что рѣдко кто не любилъ Чирка. Служа

предметомъ вѣчныхъ и всеобщихъ насмѣшекъ и отругиваясь порой, какъ самый послѣдній извозчикъ, Кузьма даже въ минуты яростнаго гнѣва бывалъ въ сущности безобиденъ, и самыя ужасныя его ругательства вызывали одинъ хохотъ. Въ бранныхъ словахъ онъ былъ большой знатокъ и мастеръ; они почти не сходили у него съ языка и, однако, не имѣли въ его устахъ того страшнаго характера, какъ, напр., у Семенова, или циничнаго, какъ у Тарбагана. За нѣсколько лѣтъ общей жизни въ Шелайской тюрьмѣ я сильно привязался къ Чирку, и среди многихъ тревоженій и испытаній всякаго рода, о которыхъ будетъ рѣчь впереди, и которыя не разъ заставляли меня перемѣнять мнѣнiе о другихъ арестантахъ, Чирокъ всегда оставался въ моихъ глазахъ все тѣмъ же незлобивымъ и добродушнымъ Чиркомъ, тѣмъ же вѣрнымъ и надежнымъ прiателемъ, никогда не сующимся ни въ какія арестантскія дразги. А между тѣмъ, на волѣэтотъ же самый путь-Чирокъ отправилъ на тотъ свѣтъ съ десятокъ душъ и теперь не чувствовалъ въ томъ ни малѣйшаго раскаянiя...

Долгое время я не понималъ, почему его дразнятъ, между прочимъ, Сахалиномъ, говоря, что скоро и его туда повезутъ къ сестрѣ. Я думалъ, что это не больше, какъ шутка; но, прислушиваясь разъ къ таинственному ночному шепоту, узналъ изъ устъ самого Чирка слѣдующее объясненiе этимъ насмѣшкамъ.

— Изъ-за Лукейки-то я и пропалъ больше. Еще экосенькой вотъ дѣвчонкой она чистый разбойникъ была. Шары большiе, такъ и горятъ, глядѣтъ страшно... Лѣтъ семнадцати связалась съ бродягой Сенькой Пелевинымъ и зачала съ имъ дѣла крутить. Я въ ихъ кругъ не мѣшался, потому я больше на тихой манеръ норовилъ: въ клѣтъ, али въ анбаръ чужой залѣзть, чужихъ барановъ, али гусей пошарить... Гдѣ сѣно, гдѣ дрова... Ну, и пшеницей, и чебаками тоже не брезговалъ.

Среди слушателей тихiй смѣхъ.

— А чтобъ убивать, такъ ужъ развѣ неминуемое дѣло. Такъ я и тогда удавочку больше въ ходъ пушалъ, али сулему.

Смѣхъ еще дружнее.

— Подозрѣвали меня, конечно, во многихъ дѣлахъ подозрѣвали, а только настояще услѣдить не могли. Разъ съ обыскомъ заявились. Я у сосѣда трехъ барановъ укралъ, мясо посолилъ, шкуры продалъ... И своего одного барана тутъ же закололъ. „А, говорятъ, вотъ оно, мясо-то!“ Я говорю:—Это мой баранъ, вонъ

и кожурина Тимошкина висить... Тимошкой барана моего звали. „Да развѣ, говорятъ, у одного барана восемь почекъ бываетъ?“— Ей-Богу, говорю, такой жирный да матерой баранъ былъ... Съ тѣмъ и отступились, ничего не взяли.

— Ну, а зятекъ-то богоданный съ сестрицей не такими дѣлами орудовали?

— Нѣтъ. Тѣ надумали старуху одну убить и ограбить. Версть за семьдесятъ отъ насъ богатая старуха, ровно монашка, жила съ дѣвочкой-пріемышемъ. Вотъ они къ имъ и заявилися, убили обѣихъ, обобрали, уѣхали и стали, какъ водится, гулять. Взяли ихъ въ подозрѣнье, арестовали и осудили: Лукейку на двадцать лѣтъ, а Пелевина на вѣчно. На Сахалинъ обоихъ угнали. Только кончили съ имъ, тутъ и Егоркино дѣло подоспѣло. Не будь Лукейкина убивства, меня-бъ и не засудили, пожалуй. А то прокуроръ черезчуръ ужъ основывался: такъ и такъ, молъ, коли ужъ сестра разбойникъ такой, братья тѣмъ больше должны быть разбойники. Изъ-за нея, шельмы, изъ-за змѣи подколодной, я на одиннадцать лѣтъ угодилъ!

— А что это у тебя за знакъ на головѣ? Должно полагать, не такъ все съ рукъ сходило, какъ сказываешь?

Чирокъ ухмыляется и начинаетъ скрести себѣ голову рукой въ прошибленномъ мѣстѣ.

— Это точно, робята: оплошалъ я таки снова, пришлось стяжка отвѣдать. По крупчатку мы съ Егоршей ночью поѣхали. Его я на стремѣ съ конями поставилъ, а самъ ношу да ношу, знай, мѣшки изъ анбара. Только Егорка-то видитъ, что тихо все, никого нѣтъ, и розинулъ ротъ: стоитъ себѣ да ковыряетъ въ носу... Потому молодой еще былъ, глупый! Вотъ несу я куль на спинѣ... Вдругъ кто-то какъ оглоушить меня стягомъ по башкѣ!.. У меня ажъ разные огоньки въ глазахъ забѣгали, и синіе, и зеленые, и красные. Будто изъ ружья кто выпалилъ—гулы кругомъ пошли... Уронилъ я кулекъ, прислонился къ дереву (дерево, спасибо, по близу стояло) и стою-гляжу... И онъ тоже стоитъ, глядитъ на меня. Должно быть, тоже шибко испужался.

— Испужаешься, небось,этого дьявола, что и стягъ не беретъ!

— Опамятовался я потомъ—и на убѣгъ скорѣй! Кликнулъ Егоршу, сѣли въ телѣгу—и айда домой! Голова у меня здорово проломлена была... Крови чтó вышло! Только я отговорился, когда пошли розыски: конь, молъ, лягнулъ.

И долго еще на нарахъ у Желѣзнаго Кота продолжается въ томъ же родѣ шепотъ, прерываемый изрѣдка сдержаннымъ смѣхомъ и отдѣльными замѣчаніями слушателей. Страшные образы и дикія, кровавыя сцены проходятъ передо мною, сплетаясь въ одну мрачную фантасмагорію. Лукейка съ огненными шарами вмѣсто глазъ, убивающая старуху съ маленькой дѣвочкой и идущая на Сахалинъ съ своимъ любовникомъ-бродягой; десятилѣтнія дѣти, накидывающія мертвую петлю на пьянаго мужика; Чирокъ, ворующій сѣно и убивающій при этомъ свидѣтеля - черемиса... Удавка, возжи, топорикъ, сулема... Удары стяжка по головѣ, подобные ружейнымъ выстрѣламъ... Крупчатка, чебаки, дрова, Тимошкина кожурина и его восемь почекъ... Кровь, острогъ, каторга... И плутоватое лицо рассказчика, и сочувственный хохотъ слушателей... Наконецъ, я засыпаю; но и во снѣ продолжаютъ тѣ же видѣнія, душатъ тѣ же кровавыя кошмары. Я стараюсь спастись отъ нихъ, бѣгу, задыхаясь... Счастливо миную часового со штыкомъ, бѣгу мимо свѣтлички съ выглядывающимъ изъ нея старикомъ-сторожемъ, подозрительно воззрившимся въ меня, бѣгу по болоту, по сопкамъ... И вдругъ падаю, оступившись, на дно мрачной, холодной шахты! Воздухъ, разсѣкаемый моимъ трепещущимъ тѣломъ, свиститъ, и страшное, ненавистное чудовище шепчетъ: „Ага! попался, голубчикъ!..“ Вотъ, вотъ ударюсь я объ одинъ изъ его гранитныхъ выступовъ, и черепъ мой разлетится въ мелкія дребезги...

— Ахъ!..

И я просыпаюсь, весь обливаясь холоднымъ потомъ, охваченный смертельнымъ ужасомъ. Въ корридорѣ слышится свистокъ надзирателя и крикъ: „Вылазь на повѣрку!“ Въ окнахъ еще темно, но уже наступаетъ тяжелый каторжный день, и сожители мои, позѣвывая и потягиваясь, начинаютъ лѣниво подниматься.

XIV.

Л у ч е з а р о в ъ.

Въ одно декабрьское воскресное утро въ камеру вбѣжалъ запыхавшійся Тарбаганъ съ извѣстіемъ, что меня къ воротамъ зовутъ. Подъ воротами я узналъ отъ дежурнаго, что начальникъ требуетъ меня на квартиру.

— Можетъ быть, въ контору?—переспросилъ я.

— Нѣтъ, на квартиру велѣно.

Мнѣ дали выводного казака, и я отправился съ нимъ къ бравому штабсъ-капитану.

— Съ чернаго крыльца пойдешь?—спросилъ казакъ, останавливаясь въ нѣкоторомъ недоумѣніи.

Но я рѣшилъ войти черезъ парадное крыльцо и дернулъ за колокольчикъ. Звонить пришлось, однако, долго. Наконецъ появилась какая-то женщина и, при видѣ арестанта, съ сердцемъ захлопнула дверь, крикнувъ:

— Чего съ параднаго хода шлетеесь? Баринъ сердчаеть.

Сконфуженный, я долженъ былъ отправиться на черное крыльцо и вошелъ въ кухню. Тамъ переругивалось нѣсколько женскихъ фигуръ. При моемъ входѣ онѣ замолчали.

— Чего надо?—грубо спросила одна, съ пожилымъ лицомъ и высоко засученными рукавами, очевидно, кухарка. Я сказалъ. Отправились докладывать.

— Баринъ велѣлъ въ кабинетъ идти, — удивленно объявила горничная, передъ тѣмъ выпроводившая меня съ параднаго крыльца. Мы съ казакомъ пошли вслѣдъ за нею черезъ длинный и темный корридоръ, по бокамъ котораго видѣлись въ растворенныя двери комнаты съ кадками и горшками цвѣтовъ на окнахъ и по всѣмъ угламъ и съ яркими масляными картинами на стѣнахъ, сюжетовъ которыхъ я не успѣлъ разглядѣть.

— Сюда,—указала горничная, и я робко вступилъ въ небольшую комнату, устланную коврами и занятую шкафами книгъ и всевозможныхъ бумагъ. Въ большомъ креслѣ за письменнымъ столомъ возсѣдалъ самъ Лучезаровъ. Услыхавъ шорохъ, онъ поднялся съ мѣста и быстрыми шагами подошелъ почти вплотъ ко мнѣ.

— А!—протянулъ онъ, пытливо уставивъ въ меня свои круглые глаза, и лицо его, румяное, пышущее здоровьемъ, подернулось довольной улыбкой.

— А я,—долженъ сознаться,—надняхъ только узналъ... совершенно случайно... что въ моей тюрьмѣ находится арестантъ съ высшимъ образованіемъ.

Признаюсь, меня удивила эта безцѣльная ложь со стороны браваго штабсъ-капитана: изъ одной уже моей переписки съ родственниками, не говоря о статейномъ спискѣ, онъ съ самаго начала долженъ былъ знать о моемъ общественномъ положеніи до суда.

— Я цѣню образованіе, — продолжалъ онъ развязно, — но полагаю только, что для русскаго человѣка не оно самое главное. Гораздо важнѣе дисциплина ума и характера. Я, право, отказываюсь понять, какъ можетъ попасть въ каторгу человѣкъ, получившій высшее образованіе?

Мнѣ былъ тяжелъ подобный оборотъ разговора, и я уклончиво отвѣчалъ, что въ моихъ бумагахъ, конечно, подробно указано, за что я осужденъ.

— О, да, разумѣется, — сказалъ Лучезаровъ: — я знаю, я читалъ... Но, тѣмъ не менѣе, могла вѣдь быть судебная ошибка, могли быть смягчающія обстоятельства, какъ-нибудь ускользнувшія отъ вниманія...

— Нѣтъ, — сухо возразилъ я, — насколько мнѣ извѣстны русскіе законы, я осужденъ по нимъ вполне правильно.

— Да?... Лучезаровъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ пытливо глядѣлъ на меня, все по прежнему иронически улыбаясь. Потомъ вдругъ лицо его сразу сдѣлалось серьезнымъ и оффиціальнымъ. Онъ быстро повернулся на каблучкахъ къ столу и сказалъ:

— Тутъ получилась посылка... Собственно, за этимъ я и вызвалъ васъ.

До сихъ поръ, въ обращеніи ко мнѣ, онъ не употребилъ ни одного личнаго мѣстоименія, ни „ты“, ни „вы“, видимо, колеблясь между ними и какъ бы развѣдывая почву; но теперь вдругъ бросилъ колебанія и заговорилъ рѣшительно вѣжливо.

— Пришли книги на ваше имя... Отъ вашей матушки. Судя по письмамъ, она, должно быть, прекраснѣйшій человѣкъ. Я, знаете ли, не люблю этихъ слаонервныхъ дамъ, вѣчно хныкающихъ, съ сантиментами. А она не то, совсѣмъ не то. Бодростью этакой, даже веселостью вѣетъ отъ ея писемъ... Совсѣмъ мужской характеръ. Да, такъ вотъ она вамъ книги прислала. Когда-то я самъ любилъ читать, но теперь, конечно, постылъ отъ вѣка. Дѣлами заваленъ по горло, бездѣльничать некогда. Выборъ книгъ, могу сказать, не дурной; есть общезавѣстныя имена. Матушка ваша сама пишетъ, что классиковъ старалась выбрать.

— Значитъ, я могу получить ихъ? — забѣжалъ я впередъ.

— Ну, это, положимъ, еще не значитъ, — отвѣчалъ Лучезаровъ, и лобъ его вдругъ нахмурился.

— Какъ такъ?

— Видите-ли: относительно чтенія арестантами книгъ я не

имѣю, къ сожалѣнію, вполне ясныхъ и опредѣленныхъ инструкцій. Я во всемъ люблю точность. Я солдатъ; я люблю, чтобъ каждый мой шагъ былъ правиленъ и послѣдователенъ. Если ступилъ лѣвой ногой, то знай, что дальше слѣдуетъ поднимать правую, а не прыгать на той же лѣвой. Вотъ, напримѣръ, я имѣю самыя обстоятельныя и несомнѣнныя указанія относительно того какъ должна происходить повѣрка, работа. каковы должны быть отношенія арестантовъ къ начальству, ихъ пища и проч.

— Однако,—не утерпѣлъ я,—въ вывѣшенной въ тюрьмѣ инструкціи не сказано, напримѣръ, чтобъ запрещалось покупать пищу на свои деньги, а вы же запрещаете?

— Да, пожалуй... Если хотите, вы правы: въ инструкціи и этотъ пунктъ недостаточно ясно обоснованъ. Что будете дѣлать! Знаете, каковъ умственный уровень большинства исполнителей высшихъ начертаній? Вы правы: упущеній много. Но запрещеніе частной пищи логически вытекаетъ изъ всего каторжнаго режима. Въ инструкціи отчетливо и до мелочей подробно указано, что именно полагается арестанту отъ казны: столько-то мяса, столько-то хлѣба. Очевидно, законъ признаетъ это количество пищи вполне достаточнымъ.

— Онъ, можетъ быть, вовсе не признаетъ достаточнымъ, но казна не настолько богата, чтобы давать больше.

— Ну, не думаю этого... Наконецъ, это вѣдется и съ моими личными убѣжденіями: каторжный режимъ долженъ быть также и пищевымъ режимомъ. На солдатъ—замѣтьте: на солдаты!—отпускается казною немногимъ больше. Это ненормально. Да, да! Я буду ходатайствовать, я стану настаивать передъ губернаторомъ, чтобы этотъ пунктъ инструкціи былъ опредѣленъ точнѣе и именно въ томъ смыслѣ, какой я указываю. Въ каторгу приходятъ не ѣсть и спать, а страдать и нести возмездіе. Нѣтъ, нѣтъ, вы не знаете еще этихъ артистовъ: дай имъ вдоволь хлѣба и пищи—они валомъ повалятся въ тюрьму! Необходима узда, необходимы строгія рамки во всемъ, между прочимъ, и въ пищѣ. Повторяю: это мое глубокое убѣжденіе...

Я поглядѣлъ на дышавшее здоровьемъ и румянцемъ лицо Лучезарова, на его круглый животъ и съ достоинствомъ выпяченную грудь и понялъ, что таково, дѣйствительно, было его искреннее и глубокое убѣжденіе... Но внутри меня что-то клокотало, что-то подталкивало сдѣлать еще одно-два возраженія.

— Но вѣдь это... негуманно, — сказалъ я: — жить на подобной пищѣ въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ, исполняя тяжелыя работы, не имѣя свободы, невысказанно! Народъ неизбежно ослабѣетъ и начнетъ болѣть. Развѣ можно сравнивать арестантовъ съ солдатами? Солдаты—лучшій цвѣтъ народа, самая здоровая часть молодежи, тогда какъ арестанты — люди всѣхъ возрастовъ и всевозможныхъ родовъ здоровья. Солдаты не истомлены, какъ они, долгимъ предварительнымъ сидѣніемъ по тюрьмамъ, и получаютъ они всетаки большой паекъ. Наконецъ, имъ не запрещается тратить свои деньги. Мнѣ кажется, вашъ „пищевой режимъ“ равняется для насъ медленной смертной казни, которую врядъ-ли имѣетъ въ виду законъ!

Лучезаровъ, казалось, очень внимательно слушалъ мою рѣчь, нахмутивъ лобъ и даже сочувственно кивая головой.

— Все это, можетъ быть, и такъ, — отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами,—но... отсюда одинъ выходъ: не попадать въ каторгу.

Онъ понизилъ при этомъ нѣсколько голосъ и пріятно улыбнулся. Я пересталъ спорить.

— Что же хотѣли вы сказать относительно книгъ?

— Да, книгъ!—радостно встрепенулся Лучезаровъ. — Я хочу сказать, что нахожусь въ большомъ затрудненіи. Я, видите ли, человекъ въ сущности не жестокий и надѣюсь, что при дальнѣйшемъ знакомствѣ со мною, вы въ этомъ убѣдитесь. Мнѣ даже пріятно было бы доставить вамъ нѣкоторое удовольствіе: я вижу, что вамъ очень хочется получить эти книги. Но... опять-таки долженъ сказать, что по рукамъ и ногамъ связанъ инструкціей. А составители Шелаевской инструкціи, очевидно, не предполагали даже, что найдутся такіе арестанты, какъ вы. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ и когда арестантъ интересуется чтеніемъ? Помилуйте, да развѣ книжка нужна этимъ артистамъ! И вотъ, въ инструкціи я читаю только: „разрѣшаются книги религіознаго и нравственнаго содержанія.“ Даже не такъ: союза „и“ нѣтъ! Сказано: „религіозно-нравственнаго содержанія“; но такъ какъ книгъ религіозно-безднравственныхъ не можетъ быть, то я считаю это за простую опіску и самовольно ставлю союзъ „и“.

Не будучи увѣренъ въ справедливости догадки браваго штабсъ-капитана, я покривилъ душой и поспѣшилъ подтвердить, что догадка эта вполне уместна и основательна.

— О, да! я много объ этомъ думалъ... Вчера и сегодня ду-

малѣ... И полагаю, что я правъ. Итакъ, кромѣ чисто-религіозныхъ книгъ, законъ разрѣшаетъ еще книги нравственнаго содержанія. Но вотъ тутъ-то и загвоздка! Откровенно сознаюсь вамъ, что быть судьей того, нравственны или безнравственны присланные вамъ книги, я отказываюсь. Конечно, я тоже читалъ и знавалъ когда то всѣхъ этихъ Гоголей и Шекспировъ; но это было такъ давно... Очень многое я уже позабылъ. Да, по моему, не стоитъ и помнить всякую дребедень. Перечитывать же теперь все это заново—прошу покорно! У меня нѣтъ для этого времени. Это разъ. А второе и самое главное: то, что можетъ назваться нравственнымъ для чтенія на волѣ, совсѣмъ другое вліяніе можетъ оказать на людей, сидящихъ въ тюрьмѣ! Подите, узнайте, что вынесутъ они — ну, хоть изъ этого Гоголя? Вотъ, напримѣръ, „Мертвыя Души“... Я, право, не помню... Не отыщутъ ли они тутъ какой-нибудь аллегоріи? Да вотъ, и дозволенія цензуры, къ тому же, не указано...

Я горячо вступился за Гоголя, началъ доказывать, что это одинъ изъ самыхъ нравственныхъ русскихъ писателей, классикъ, допущенный рѣшительно во всѣ школы, среднія и низшія; объяснилъ также и существованіе въ Россіи съ 1865 года закона, по которому большинство книгъ печатается безъ предварительной цензуры.

— Все это такъ, все это, можетъ быть, и такъ,—кивалъ головой Лучезаровъ:—но скажите, пожалуйста, зачѣмъ вамъ нужны эти книги? Вы, повидимому, и такъ все чуть не наизусть знаете. Вѣрно, вы хотите читать ихъ арестантамъ?

Я отвѣчалъ, что, дѣйствительно, имѣю въ виду эту цѣль, и началъ пространно развивать свой взглядъ на воспитательную роль художественной литературы, говоря, что чтеніемъ хорошихъ книгъ и развитіемъ въ арестантахъ высшихъ умственныхъ интересовъ можно скорѣе и вѣрнѣе исправить ихъ, чѣмъ всѣми командами, строями и проч.

Лучезарова удивила эта идея, и между нами завязался оживленный споръ.

— Конечно,—сказалъ онъ,—исправить арестантовъ вещь хорошая. Я и самъ задаюсь этою цѣлью; но въ первый разъ слышу, чтобы на этотъ народъ могло что-нибудь другое дѣйствовать, кромѣ страха. Собственно, я далеко не поклонникъ, напримѣръ, тѣлесныхъ наказаній; это я не разъ уже высказывалъ и самимъ

арестантамъ. Если хотите, я даже принципиальный противникъ плетей и розогъ: къ чему онѣ? Что онѣ значать для такихъ артистовъ? Арсеналъ карательныхъ мѣръ, находящійся въ моихъ рукахъ, и безъ того достаточный... Повторяю, я по натурѣ вовсе не жестокий человѣкъ. Я держусь только во всемъ строгой законности, буквы закона. И потому я не вижу иныхъ средствъ исправленія, кромѣ тѣхъ, какія указаны мнѣ инструкціей. Современные тюремные дѣятели признаютъ одно только средство — страхъ, и я вполне съ ними согласенъ. Это все прочее, что вы указываете, это еще гаданія только одни... Нѣтъ! книжечками этими вы подобный народецъ не проберете. Я уже десять лѣтъ въ Сибири живу и лучше васъ его знаю. До мозга костей испорченные каналы! Впрочемъ, попытайтесь. Впредь до разясненія этого вопроса высшимъ начальствомъ, я, пожалуй, выдамъ вамъ нѣкоторые изъ книгъ. Пользы онѣ, конечно, не принесутъ, но и вреда, думаю, особеннаго тоже не будетъ...

— Какихъ же изъ присланныхъ мнѣ книгъ вы всетаки не выдадите?

— Нѣкоторыхъ. Ну, вотъ эти можно: Гоголя два тома, Пушкина, Лермонтова... Хотя стихи, по моему мнѣнію, совсѣмъ бы не годились для тюрьмы... Ну, да ужъ такъ, на время... „Отелло“, „Король Лиръ“—не помню, что это такое, но, вѣроятно, можно; Костомаровъ, Мордовцевъ... историческое... Ну, пожалуй. А вотъ этихъ иностранныхъ писателей не могу выдать: Гюго, Диккенсъ... Ихъ я, признаюсь, совсѣмъ не знаю. Нѣтъ, нѣтъ, не могу! И не просите!

— А Фламмаріона почему же нельзя?

— Это что-то о небѣ, о звѣздахъ?... Нѣтъ, и этого невозможно выдать, никакимъ образомъ. Небо, знаете-ли, вещь щекотливая... Роль духовнаго цензора я никакъ не могу на себя взять... И знаете-ли что: напишите вашей матушкѣ, чтобы она не присылала больше книгъ. Къ чему? Довольно и этихъ.

Я раскланялся и съ ворохомъ книгъ въ рукахъ поспѣшилъ къ выходу. Лучезаровъ любезно проводилъ меня самъ на парадное крыльцо. Я летѣлъ къ тюрьмѣ, не чуя подъ собой ногъ отъ радости, ежесекундно боясь, что вотъ-вотъ бравый штабсъ-капитанъ раскается и велитъ мнѣ вернуться. Но онъ уже заинтересованъ былъ другимъ, и я слышалъ, какъ раздался его зычный окрикъ на кого-то:

— Это что за беспорядокъ? Что за соръ на дворѣ? Развѣ не знаете, что я не люблю этого? Чтобъ сейчасъ было подметено и прибрано. Въ карцеръ, что-ль, захотѣли?

Во дворѣ тюрьмы меня обступила цѣлая толпа арестантовъ.

— Николаичъ, книги?! Братцы мои, книги!!..

— Намъ, намъ, Миколанчъ, во второй номеръ... Хошь одну, самую махонькую!

— Эвона книжища-то... Вотъ тутъ, ребята, должно быть, ума-то! И не лѣнь было писать ему?

— Намъ! Намъ!

— Разорвать тебя придется теперь, Миколанчъ. У насъ во всемъ номеру Гришка одинъ по складамъ мало-мало знаетъ.

— Ужъ вы мнѣ одну книжечку пожалуйста, Иванъ Николаичъ, мнѣ-то ужъ Бога ради!

— А ты чѣмъ святой противу другихъ?

— Постойте, постойте, господа, всѣхъ удовлетворю. По справедливости раздѣлимъ. Пойдемте въ мою камеру.

Съ шумомъ, гамомъ и топотомъ вломилась почти вся тюрьма въ мой номеръ и обступила меня и книги.

— Да не суйтесь вы, ребята, къ книгамъ! Дайте покой Ивану Николаевичу, смотрите, онъ и такъ потомъ обливается... Успѣете еще!—говорилъ общій староста Юхоревъ, атлетъ-мужчина, съ представительной и энергической фیزیономіей, усаживаясь самъ около меня и отстраняя прочь навоиливо лѣзшую шпанку.

— Вы сейчасъ же прочтите намъ что-нибудь, Николаичъ,—прибавилъ онъ.

— Сейчасъ! Сейчасъ!—загудѣли всѣ хоромъ. Я взялъ одинъ изъ томиковъ Пушкина и раскрылъ „Братьевъ-разбойниковъ“. Все немедленно стихло. Я началъ:

Не стая вороновъ слеталась
На груды тлѣющихъ костей,—
За Волгой ночью, вокругъ огня,
Удалыхъ шайка собиралась.
Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племень, нарѣчій, состояній!

— Это про насъ!—закричало сразу нѣсколько голосовъ. Всѣ лица оживились и приняли разудалое выраженіе.

Зимой, бывало, въ ночь глухую
Заложимъ тройку удалую,

Поемъ и свещемъ, и стрѣлой
Летимъ надъ свѣжной глубиной.

При этихъ словахъ нѣкоторые изъ арестантовъ попытались пуститься въ плясъ. Юхоревъ прикрикнулъ на нихъ; но когда я сталъ читать дальше:

Кто не боялся нашей встрѣчи?
Завидѣли въ харчевнѣ свѣчи—
Туда, къ воротамъ, и стучимъ!
Хозяйку громко вызываемъ.
Вошли—все даромъ! Пьемъ, ѣдимъ
И красныхъ дѣвушекъ ласкаемъ! —

онъ вдругъ самъ привскочилъ съ мѣста, подбоченился, притопнулъ ногой и, въ порывѣ восторга, загнулъ такое слово, что я невольно остановился въ смущеніи.

— Это какъ я же, значить, на Олѣксѣ съ Маровымъ дѣйствовалъ!—закричалъ онъ:—знай нашихъ!

Такого сюрприза я, признаюсь, .положительно не ожидалъ. Мнѣ стало совѣстно и за себя, и за Пушкина... Больше всего за себя, конечно, за то, что я выбралъ для перваго дебюта такую неудачную вещь, не сообразивъ, съ какой аудиторіей имѣю дѣло. Я хотѣлъ было остановиться и прочесть что-нибудь другое, но поднялся такой гвалтъ, что я принужденъ былъ окончить „Братьевъ-разбойниковъ“. На шумъ явился, однако, надзиратель.

— Что за сборище?—закричалъ онъ:—По камерамъ! На замокъ опять захотѣли?

Юхоревъ съ другими имѣвшими вѣсь арестантами бросился уговаривать и умасливать его.

— Вы послушайте сами, какова тутъ у насъ лекція происходитъ. Читаетъ-то какъ Николаичъ, просто вѣдь любо-дорого! Вы не сомнѣвайтесь: вѣдь эти книги самъ начальникъ прислалъ.

Надзиратель замолчалъ и тоже съ любопытствомъ подошелъ къ столу. Я продолжалъ „Братьевъ-разбойниковъ“. Въ концѣ поэмы было мало, конечно, веселья; облако грусти и задумчивости отуманило на минуту лица даже и моихъ безшабашныхъ слушателей.

Но это длилось именно минуту только. Тотчасъ же всѣ опять развеселились и принялись восхищаться началомъ разсказа. Надзиратель велѣлъ затѣмъ разойтись по камерамъ. Отовсюду

протягивались ко мнѣ руки, просившія книгъ. Очень многіе требовали „Братьевъ-разбойниковъ“.

— Я наизусть ихъ выучу, Иванъ Николаевичъ!—восторженно кричалъ Ракитинъ, только что передъ тѣмъ начавшій азбуку.

Я роздалъ всѣ книги, оставивъ для своей камеры Пушкина.

XV.

Великіе поэты передъ судомъ каторги.

Въ этотъ первый вечеръ почти по всѣмъ номерамъ чтеніе продолжалось до двѣнадцати часовъ ночи, такъ что надзиратель нѣсколько разъ подходилъ къ дверямъ и приглашалъ публику ложиться спать. Я серьезно опасался, что это обстоятельство дойдетъ до Лучезарова, и онъ отниметъ книги. Къ счастью, періодъ былъ либеральный; надзиратели давно уже не отличались первоначальной неукоснительной пунктуальностью, и доноса не послѣдовало. Весь вечеръ читалъ я своимъ сожителямъ Пушкина, до того, что охрипъ. Изъ всей камеры уснулъ вскорѣ одинъ только Гончаровъ, практическій умъ котораго страдалъ полной неспособностью вниманія. Значительно позже уснули Никифоръ и Тарбаганъ. Всѣ остальные слушали съ поглощающимъ интересомъ и готовы были въ конецъ замучить меня. Чирокъ волновался и былъ необыкновенно комиченъ въ своемъ любопытствѣ. Весь вечеръ сидѣлъ онъ подлѣ меня, сосредоточенно-внимательный, съ чрезвычайно лукавымъ выраженіемъ сѣрыхъ глазъ и съ глубокомысленно-наморщеннымъ лбомъ. Отъ избытка чувствъ онъ то-и-дѣло ерзалъ на нарахъ и чесалъ себѣ брюхо... Малаховъ слушалъ важно и солидно, но тоже не могъ скрыть восторга, хлопалъ себя рукой по бедру, заливался дѣтскимъ душевнымъ смѣхомъ и чаще другихъ вставлялъ замѣчанія. Внимательно, но молчаливо слушали: Гандоринъ, Семеновъ, Владиміровъ и Михайла Буренковъ. Заспанный Тарбаганъ глядѣлъ во всѣ глаза и то-и-дѣло подавалъ свою обычную реплику: „Такъ и лучше!“—нерѣдко совсѣмъ не впадѣ. Ученики слушали въ этотъ первый разъ внимательно, но впослѣдствіи между ними и камерой завязалась вражда: ученики эгоистично предпочитали учиться, камера же слушать чтеніе. Много происходило изъ-за этого смѣшныхъ, а подчасъ и тяжелыхъ эпизодовъ.

Пушкинъ понравился и былъ понятъ почти весь, безъ исклю-

ченія. Наибольшимъ, однако, триумфомъ увѣнчались „Борисъ Годуновъ“, „Капитанская Дочка“ и „Дубровский“. Между прочимъ, извѣстная сцена въ корчмѣ вызвала такое неудержимое веселье и хохотъ, что многіе въ судорогахъ катались по нарамъ. Яшка Тарбаганъ при этомъ чуть не померъ, и Малаховъ принужденъ былъ каждую минуту совать ему въ глотку кулакъ для того, чтобы чтеніе могло продолжаться. Личность Годунова настолько была понята всѣми, что именемъ его прозвали впоследствии одного арестанта, и оно вообще сдѣлалось въ Шелайской тюрьмѣ синонимомъ всякаго лицемѣрія и политиканства. Но на ряду съ хорошими впечатлѣніями отъ чтенія этихъ произведеній Пушкина у меня остались и мрачныя, тяжелыя воспоминанія. Страшная сцена убійства Θεодора и Ксеніи въ „Борисъ Годуновъ“ въ нѣкоторыхъ изъ слушателей вызвала сочувствіе и радость.

— А, гады, закричали!.. — сказалъ Чирокъ и былъ поддержанъ Тарбаганомъ, который сталъ хохотать неизвѣстно надъ чѣмъ. Такихъ случаевъ я помню множество, когда какое-нибудь трагическое, захватывающее духъ мѣсто вызывало въ арестантахъ внезапный взрывъ веселости и цинизма... Это обстоятельство въ началѣ приводило меня въ отчаяніе, и я вспоминалъ насмѣшливую улыбку Лучезарова, отдававшего мнѣ книги:

— Книжечками этими вы ихъ не проймете!

По прочтеніи „Капитанской Дочки“, „Дубровскаго“ и даже того же „Бориса Годунова“, нѣкоторые говорили съ искреннимъ сожалѣніемъ:

— Вотъ времячко-то было!.. Вотъ, кабы при насъ такая каша заварилась... Мы-бъ тоже, Чирокъ, руки съ тобой погрѣли.

— Долговолосымъ-то, долговолосымъ надо-бъ гривы порасчесать! — подтверждалъ Чирокъ тономъ глубокаго убѣжденія.

Вообще, въ подобныхъ разговорахъ особенно ярко проявлялась ненависть арестантовъ къ духовенству. Последнее пользовалось почему-то одинаковой непопулярностью среди всѣхъ, поголовно всѣхъ обитателей каторги, и причинъ этой преимущественной ненависти я никогда не могъ хорошенько прослѣдить. Однажды я прочелъ моимъ сожителямъ наизусть, что помнилъ, изъ той главы „Кому на Руси жить хорошо?“, которая посвящена защитѣ священника. Большинство камеры, казалось, согласилось съ мыслью поэта; но прошло нѣкоторое

время—и возобновились прежніе разговоры и прежніе нелестные отзѣвы о духовенствѣ... Одинъ изъ бывалыхъ арестантовъ (тотъ самый, который носилъ прозвище Годунова) высказывалъ особенную злобу и ожесточеніе противъ поповъ, а между тѣмъ, при подробнѣйшемъ ознакомленіи съ его личнымъ прошлымъ, я не нашелъ ни одного случая какого-либо столкновенія его съ этимъ сословіемъ. Это какая-то традиціонная, передающаяся отъ одной генераціи арестантовъ къ другой, вражда, въ параллель которой можно поставить развѣ еще непріязнь къ фельдшерамъ и врачамъ.

Но да не подумаетъ кто-нибудь изъ читателей, что лучшія произведенія Пушкина производили на всѣхъ арестантовъ деморализующее вліяніе. Я разумѣю только нѣкоторыя личности; да и про тѣхъ нужно сказать, что отдѣльными, вырывавшіяся у нихъ при чтеніи, циничныя замѣчанія были скорѣе дѣломъ привычки и легкомыслія: не потому, такъ по другому поводу, при чтеніи и безъ чтенія, замѣчанія эти все равно были бы высказаны, какъ результатъ привычной несдержанности на языкъ. Въ сущности, они ровно ничего не показывали. Тотъ же самый Чирокъ въ другіе вечера говорилъ совершенно противоположное, выражалъ негодованіе противъ убійцъ Θεодора и Ксеніи и, вообще, даже чаще другихъ являлся защитникомъ строгой нравственности и гуманности. И что бы онъ ни утверждалъ, все у него, какъ у ребенка, было въ высшей степени искренно. Что касается неумѣстнаго смѣха или шутокъ во время самыхъ патетическихъ мѣстъ чтенія, шутокъ, которыя естественно возмущали и коробили меня, то онѣ показывали одно только—неразвитость художественнаго вкуса; дѣлать на основаніи ихъ какіе-либо общіе неблагопріятные выводы о плодотворности чтенія было бы несправедливо. Встрѣчались, правда, отдѣльные, безнадежно-испорченные субъекты, вездѣ и всюду ухитрявшіеся найти то, чѣмъ сами были переполнены, жестокость, грязь и цинизмъ; такіе слушатели портили часто впечатлѣніе самыхъ безукоризненныхъ произведеній и примѣромъ своимъ заражали неиспорченную часть аудиторіи; но большинство—я прямо утверждаю это—отдавалось всегда именно тому настроенію, которое преслѣдовалъ авторъ, и получало тѣ же впечатлѣнія, какія получаютъ всѣ нормальные читатели и слушатели.

Не мало помню и такихъ случаевъ, когда безнадежные циники

и негоди заражались, въ свою очередь, благодушнымъ настроеніемъ большинства и рассуждали вполне здраво и человѣчно. Не могу позабыть того сердечнаго трепета, съ какимъ приступилъ я къ чтенію „Короля Лира“ и „Отелло“, единственныхъ произведеній Шекспира, которыя у меня были. Мнѣ думалось, что великанъ-поэтъ долженъ будетъ потерпѣть въ этой средѣ полное пораженіе, что если онъ и не покажется смертельно-скучнымъ, то единственно благодаря нѣкоторому мелодраматизму фабулы, а отнюдь не глубинѣ психологическаго анализа и всему тому, чѣмъ плѣняетъ Шекспиръ образованное человѣчество. Но каково же было мое удивленіе, когда обѣ трагедіи произвели небывалый, невиданный мною фуроръ и поняты были приблизительно такъ, какъ ихъ и слѣдуетъ понимать! При чтеніи двухъ первыхъ дѣйствій „Отелло“ настроеніе публики было, правда, сдержанное, даже холодное; въ душу мою начинало уже закрадываться отчаяніе; кое гдѣ слышались посторонніе разговоры, и, противъ обыкновенія, большинство не пыталось ихъ останавливать. Одинъ только Семеновъ поразилъ меня удивительно тонкимъ замѣчаніемъ относительно Яго, котораго онъ раскусилъ послѣ первой же сцены:

— Ну, этотъ ихъ всѣхъ окрутить!

Но съ начала 3-го дѣйствія настроеніе внезапно перемѣнилось; точно электрическій токъ пробѣжалъ по камерѣ.

— Начало разбирать,—сказалъ Чирокъ, подбирая подъ себя ноги.

И вскорѣ многіе повскакали съ нарѣ и съ горящими глазами обступили меня кругомъ. Впечатлѣніе отъ драмы вышло потрясающее. По окончаніи чтенія всѣ сразу зашумѣли и заговорили... Жалѣли Дездемону (имя которой, къ сожалѣнію, никакъ не могли выговорить правильно), жалѣли и Отелло; „Ягу“ ругали единогласно и строили догадки, какую пытку выдумаетъ для него Кассіо. Однимъ словомъ, при чтеніи Шекспира съ наибольшей яркостью обнаружили себя сила и мощь истинно великихъ произведеній искусства. „Король Лиръ“ произвелъ почти одинаково сильное впечатлѣніе, и съ тѣхъ поръ эти двѣ драмы чаще всего остального имѣли спросъ на чтеніе.

Одно только обстоятельство каждый разъ до глубины души меня огорчало. Проходило какихъ-нибудь полчаса (и это еще много) послѣ чтенія—и впечатлѣніе, въ большинствѣ случаевъ,

совершенно улетучивалось, и разговоръ переходилъ къ чему-нибудь постороннему, мелко-житейскому, чему прочитанное служило иногда чисто выѣшнымъ, ничтожнымъ поводомъ. Черезъ полчаса, случалось, говорили уже совершенно противное тому, что вырывалось въ первомъ порывѣ впечатлѣнія. Такъ, почти всѣ пожалѣли (я хорошо помню это) Дездемону, говоря, что Отелло безъ вины задушилъ ее, а черезъ часъ уже ругали женщинъ вообще и женъ въ частности, утверждая, что даже и безъ всякой вины ихъ слѣдуетъ душить, какъ собакъ. Послѣ поповъ и докторовъ арестанты больше всего ругали женщинъ, и если бы принимать на вѣру каждое ихъ слово, то можно-бы было подумать, что міръ не создавалъ болѣе страстныхъ женоненавистниковъ! Особенно возмущался ими Парамонъ Малаховъ, который всю жизнь свою, по собственнымъ его словамъ, погубилъ за женщинъ. По поводу Отелло, помню, узналъ я и исторію его двойного убійства, за которое онъ пришелъ въ каторгу *).

Въ теченіе трехъ лѣтъ жилъ онъ съ лишеніемъ правъ въ Иркутской губерніи, занимаясь, какъ и теперь, бондарнымъ ремесломъ. Тамъ онъ слюбился съ одной дѣвушкой, пріемышемъ мѣстнаго крестьянина. Ходили темные слухи, будто крестьянинъ живетъ съ своей пріемной дочерью, но Парамонъ пренебрегъ этими слухами и взялъ только съ невѣсты слово, что если и было что въ прошломъ между нею и отцомъ, то впредь ничего этого не будетъ, и она будетъ ему вѣрной женою. Свадьба обошлась Парамону, по его словамъ, въ 75 рублей, и обстоятельству этому онъ придавалъ огромное значеніе. Первые три мѣсяца молодые

*) Перваго дѣла Малахова, за которое онъ попалъ въ Сибирь, на поселеніе, я не помню въ подробностяхъ. Знаю только, что онъ обвинялся въ изнасилованіи какой-то женщины-сосѣдки; но Парамонъ клялся и божился (и рассказъ его внушалъ мнѣ довѣріе), что былъ оклеветанъ тогда невинно, по злобѣ за то, что не уступалъ мужу этой женщины спорнаго клочка земли, который, по осужденіи его, Парамона, перешелъ въ ихъ руки. Зная его самолюбивый нравъ и страсть всюду возстановлять поправную правду, я допускаю, что легко могли найтись противъ него лжесвидѣтели. Съ большой любовью вспоминалъ Малаховъ о своей первой женѣ, которую, не смотря на готовность идти въ Сибирь, онъ, будто бы, не взялъ съ собою изъ жалости. Переписки съ ней онъ не велъ и не зналъ даже, жива она или нѣтъ, но нерѣдко, помню, проснувшись въ мрачномъ настроеніи, рассказывалъ вслухъ, что видалъ жену ночью во снѣ, и съ большой грустью начиналъ вспоминать о былой жизни въ Россіи.

Прим. авт.

супруги жили дружно и любовно, но потомъ опять стали ходить слухи объ отношеніяхъ Катерины съ отцомъ. Парамонъ побилъ ее разъ, побилъ и другой, уговаривая не дурить. И вотъ, въ одинъ непрекрасный день она совсѣмъ убѣжала къ отцу... Сосѣди начали смѣяться надъ Парамономъ. Къ чувству обиды примѣшивалось сожалѣніе и о потраченныхъ напрасно деньгахъ.

— Въ первое-жъ воскресенье,—разсказывалъ Парамонъ,—одѣлся я въ праздничную одежду и пошелъ къ тестю окончательно переговорить о своемъ дѣлѣ. Что-нибудь одно хотѣлось узнать: или, что Катерина одумается и броситъ свое распутство, или совсѣмъ отъ меня откажется, и тогда они должны были вернуть мнѣ мои деньги. Что касается убивства, то это я еще на-двое держалъ въ умѣ и такъ только, про случай, заложилъ за голяшку ножъ. Обоихъ ихъ я на улицѣ встрѣтилъ, передъ самымъ домомъ: изъ церкви отъ обѣдни шли. Я подхожу. Такъ и такъ, молъ, говорю, потолковать съ тобой, Степанъ, пришелъ. „Знаю, говоритъ, о чемъ ты толковать хочешь. Только мое тутъ дѣло—сторона. Если не хочетъ она жить съ тобой—что я могу подѣлать?“—Поди-ка, говорю, сюда, Катерина, мнѣ сказать тебѣ нужно. Говорю это тихо такъ и спокойно, къ сторонкѣ ее маню. Вотъ ей-богу, не вру, никакой, то-ись, дурной мысли въ головѣ еще не держу! А она, стерва... она хватается за руку своего любовника и тащить домой. „Нѣтъ, говоритъ, не хочу, не объ чемъ намъ говорить“. Тутъ разыграло во мнѣ сердце, горячей кровью облилось. Я тоже хватаю ее за руку и тяну къ себѣ. Такъ и стоимъ мы середь улицы,—ну, вотъ честное слово, правда!—я за одну ее руку держу, онъ за другую. Поворачивается она тогда лицомъ ко мнѣ и говоритъ: „Уйди, подлецъ, не то закричу, въ рожу плевать стану“.

— А! такъ я подлецъ?!—Нагибаюсь, выхватываю изъ-за голенища ножъ и—разъ! разъ! — въ грудь ей по самый черешокъ два раза ножъ запустилъ. Онъ, любовникъ ея, хотѣлъ было кинуться на меня... Я размахнулся—и его ножомъ въ животъ. Онъ тутъ же и скovyрнулся на землю—и духъ вонъ. А Катерина... Та, шкура, настолько живуща была, что еще до дверей избы добѣжать успѣла. Тутъ я догналъ ее и еще разъ въ спину полыснулъ: не живи, змѣя подколотная!..

Слушатели, всѣ безъ исключенія, были въ полнѣмъ восторгѣ отъ такого поступка Парамона и высказывали е

бреніе: такъ ей и надо, сука. Не умѣла жить честно — ѣшь землю. Лежи съ своимъ любовникомъ, цѣлуйся съ имъ!

Никому и въ голову не приходило задаться вопросомъ о томъ, какая внутренняя драма могла происходить въ душѣ Катерины, какія причины толкнули ее на разрывъ съ законнымъ мужемъ. Ни у кого не являлось и тѣни сомнѣнія въ томъ, что бракъ ея съ Пармономъ имѣлъ одну цѣль—отводъ глазъ, что она все время его обманывала—и тѣ полгода, которые онъ былъ женихомъ, и тѣ пять мѣсяцевъ, которые былъ мужемъ.

— Она на другой день поутру померла,—продолжалъ свой рассказъ Малаховъ:—вся деревня, всядо одного человѣка каменья стояла, арестовать даже не хотѣли. „Ты и такъ, говорятъ, не убѣдишь, не такой человѣкъ“. Я ужъ самъ настоялъ, чтобъ арестовали. Катерина, оказалось, на сносяхъ была, ужъ не знаю отъ кого—отъ его или отъ меня, и я за тройное убійство судился: за нее, за любовника и за младенца. На судѣ я все обсказалъ правильно, все, какъ было, ничего не утаилъ, и даже судьи сожалѣніе мнѣ выражали... И хоть приговорили меня къ шести годамъ, но я это за то же оправданіе считаю. Шесть лѣтъ за три души—это оправданіе! Потому что я праведно поступилъ—за свою обиду, за свой позоръ и за свои деньги убилъ! Я честно поступилъ!

Пытался я вставить нѣсколько словъ въ осужденіе убійства вообще, но этимъ только окончательно озлилъ Пармона, и онъ, не желая меня слѣшать, восклицалъ патетически:

— Я правильно поступилъ! И всякій долженъ сказать: молодецъ Пармонъ! Артистъ Пармонъ! Герой Пармонъ!

— Возможно, что и такъ,—отвѣчалъ я:—я вѣдь не думаю винить васъ. Я говорю только, что все-таки лучше-бъ было не убивать.

— Нѣтъ, надо было убивать!—кричалъ весь раскраснѣвшійся Пармонъ, энергично потрясая своей огромной черной бородой и ударяя себя кулакомъ въ грудь:—надо было убивать, и весь міръ скажетъ: хорошо сдѣлалъ Пармонъ! Орелъ Пармонъ! *Отелло* Пармонъ!..

Я пересталъ спорить, и Малаховъ сіялъ полнымъ блескомъ торжества и побѣды. Арестанты рѣшительно всѣ были на его сторонѣ. Гончаровъ не преминулъ по этому поводу разсказать какое-то событіе изъ собственной жизни, тоже свидѣтельствовавшее о необыкновенной глупости и подлости женщинъ. Кто-то другой,

вызвавъ въ камерѣ общій смѣхъ и веселость, разсказалъ затѣмъ, какъ по-звѣрски расправился онъ однажды съ своей любовницей.

— Я ее въ боковину, подъ ребра, подъ мякитки, въ брюхо, опять въ боковину...

Чтобы не слушать, я заткнулъ уши. Черезъ нѣкоторое время я задалъ, однако, вопросъ Семенову, какъ, по его мнѣнію, долженъ относиться мужъ къ женѣ и что дѣлать въ случаѣ ея невѣрности?

Семеновъ удивился.

— А неужели-жъ прощать ей? Чтобы она, подлюха, смѣялась надо мной? Да лучше-жъ я сейчасъ отрублю ей, шкурѣ, голову, какъ только подозрѣніе явится.

— А вы, Владиміровъ, какъ думаете?—обратился я къ нашему поэту, который все время молча и, казалось, сонливо лежалъ на нарахъ, Богъ знаетъ о чемъ думая и гдѣ витая. Медвѣжье Ушко, по обыкновенію, долго отмалчивался и отпѣкивался, говоря, что ничего не знаетъ и не думаетъ, но потомъ вдругъ поднялся съ мѣста, замоталъ головою и забасилъ такъ, что у меня явилось опасеніе за свою барабанную перепонку:

— А конечно, убить ее надо!.. Жена повиноваться должна.. Не мужу-жъ бояться жены!

Разговоръ окончился вполне комическимъ образомъ, когда услышали внезапно заявленіе Тарбагана, что и онъ, когда воротится домой, тоже „безпремѣнно“ убьетъ свою жену, если она окажется ему невѣрной.

При одномъ взглядѣ на грязную, опухшую отъ сна и жира фигуру этого животнаго, которое тоже мечтало разыграть изъ себя Отелло, всѣ разразились смѣхомъ и принялись острить на его счетъ.

— Да была-ль у тебя жена-то? Не во снѣ-ль приснилась?

— Ты не на той ли колодѣ женатъ-то былъ, что у нашего кабака лежала?

— Нѣтъ, братцы, онъ на пестренькой сучкѣ женатъ, что поза тюрьмой бѣгаетъ. Она за имъ и въ каторгу пришла.

Тарбаганъ сердился и, какъ могъ, отгрызался. Онъ не умѣлъ парировать шутки шутками.

До сихъ поръ остается для меня непонятнымъ тотъ фактъ, что Лермонтовъ пользовался въ Шелаевской тюрьмѣ несомнѣнно бѣльшей популярностью, нежели Пушкинъ. Если бы меня спросили раньше собственныхъ моихъ наблюденій, котораго изъ этихъ г

поэтовъ арестанты способны больше оцѣнить и полюбить, я, конечно, не колеблясь, назвалъ бы Пушкина. Къ удивленію моему, Лермонтовъ не только никого не заставлялъ скучать, но нравился даже и мелкими своими лирическими стихотвореніями, чего нельзя сказать про Пушкина. Разумѣется, другой совершенно вопросъ, насколько вѣрно ихъ понимали, но фактъ тотъ, что Лермонтова перечитывали чаще Пушкина и охотнѣе о немъ говорили. „Демона“ въ первый разъ прослушали, правда, очень холодно, очевидно, ровно ничего не понявъ; но спустя нѣсколько дней произошло что-то совсѣмъ для меня непонятное: „Демономъ“ почему-то вдругъ страшно увлеклись, такъ что готовы были хоть каждый вечеръ его слушать... Особенно одинъ полуобрусѣвшій татаринъ Равиловъ восхищался этой поэмой; отдѣльныя мѣста ея заучивались имъ и многими другими наизусть. Очаровательная ли музыка лермонтовскаго стиха, или титаническій образъ героя поэмы оказали такое вліяніе — не могу сказать. „Бояринъ Орша“ и „Мцыри“ пользовались почему-то меньшей любовью; за то „Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ“ смѣло могла соперничать съ „Демономъ“. Нѣкоторые арестанты, по выходѣ на поселеніе, собирались выписывать книги, и когда, справляясь у меня о цѣнахъ, узнавали, что Лермонтовъ и Пушкинъ стоятъ приблизительно въ одной цѣнѣ, вскрикивали съ восторгомъ, что въ первую же голову купятъ Лермонтова... Возможно, что слова эти въ дѣйствительности никогда не приводились въ исполненіе (до Лермонтова-ль и Пушкина на волю!), но важенъ самый фактъ отношенія къ обоимъ поэтамъ. Пушкина тоже любили, понимали его, несомнѣнно, даже больше, а предпочитали всетаки Лермонтова. Большимъ успѣхомъ пользовалась, между прочимъ, юношеская его мелодрама „Испанцы“, — потому, быть можетъ, что она отвѣчала общей непріязни арестантовъ къ духовенству, о которой я уже рассказывалъ. Какъ извѣстно, у драмы этой нѣтъ окончанія, такъ какъ заключительный листокъ лермонтовской рукописи былъ утерянъ ея владѣльцемъ. Слушатели мои никакъ не могли взять въ толкъ смысла этой „утери“ и не разъ приставали ко мнѣ съ просьбой „поискать хорошенько“ конца „Испанцевъ“... Больше всего удивляло меня, что популярность создали Лермонтову въ Шелайской тюрьмѣ именно его стихи, а не проза. Къ „Герою нашего времени“ относились какъ-то равнодушно, несравненно больше увлекаясь „Дубров-

скитъ“ и „Капитанской Дочкой“. Что касается поэта Владимірова, то онъ совсѣмъ низко цѣнилъ Пушкина.

— Что въ немъ такого?—басилъ онъ, идіотски смѣясь:—ничего въ немъ такого нѣтъ, ничего особеннаго...

И по цѣлымъ днямъ и ночамъ читалъ и перечитывалъ Лермонтова.

Но кто былъ несомнѣннымъ кумиромъ Шелайскихъ каторжныхъ, писателемъ, пользовавшимся наибольшей любовью и успѣхомъ, такъ это Гоголь. Къ сожалѣнію, у насъ имѣлись не всѣ его сочиненія. Было слѣдующее: „Мертвыя Души“, „Тарасъ Бульба“, „Вечера на хуторѣ“, „Невскій проспектъ“, „Записки сумасшедшаго“, „Старосвѣтскіе помѣщики“ и „Шинель“. Изъ нихъ одна только „Шинель“ принята была совсѣмъ холодно и никогда впослѣдствіи не перечитывалась; все же остальное чуть не наизусть заучивалось. Герои Гоголя стали въ нашей тюрьмѣ нарицательными именами—лучшій признакъ огромныхъ размѣровъ успѣха. „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“ слушались всегда съ напряженнѣйшимъ вниманіемъ и то и дѣло сопровождались самымъ искреннимъ хохотомъ. Кто-то назвалъ однажды Кузьму Чирка—Черевикомъ (изъ „Сорочинской ярмарки“), и надолго съ тѣхъ поръ укоренилось за нимъ это прозвище. Чортъ, Вѣдьма, кузнецъ Вакула и Чубъ, зашипѣвшій отъ боли, когда ему закручивали въ мѣшкѣ волосы, стали всеобщими любимцами; хорошо запомнился даже пьяный Каленикъ, мимолетно лишь появляющійся въ „Майской ночи“. Но наибольшій фуроръ произвели, конечно, „Мертвыя Души“ и „Тарасъ Бульба“. Впечатлѣніе отъ того и другого произведенія было различное, но почти одинаково громадное. Одинъ только Владиміровъ высказывалъ, по обыкновенію, оригинальное мнѣніе относительно „Тараса Бульбы“:

— Эго что такое? Чепуха, прямая чепуха. Ничего тутъ особеннаго нѣтъ... Такъ просто сплетено.

Общій староста Юхоревъ до того восхитился личностью Ноздрева при первомъ же его появленіи на сцену, что не удержался отъ восклицанія:

— Да это я!.. Ей-богу, я, братцы!..

И только позже, когда личность Ноздрева лучше выяснилась, онъ хотѣлъ было отказаться отъ этого тождества, но уже было поздно. Съ тѣхъ поръ тюремные шутники не давали ему проходить и постоянно дразнили Ноздревымъ, а также

помѣщикомъ“. Шелайскій Ноздревъ-геркулесъ, забывая всю свою представительность и званіе старосты, съ яростью гонялся по тюремному двору за обидчиками, и тому, кого онъ ловилъ въ свои желѣзныя лапы, приходилось плохо. Онъ безъ пощады мять носы, рвалъ усы и бороды, коверкалъ ноги и руки. Но Раки-тинъ, Никифоръ, Тарбаганъ и имъ подобные не унимались и послѣ этой науки. Слухъ дошелъ, наконецъ, до самого Шести-глазаго, и онъ, благодушно смѣясь, освѣдомлялся у Юхорева, за что прозвали его Ноздревымъ...

Коробочка, Плюшкинъ, Маниловъ, Собакевичъ, Пѣтухъ, генералъ Бетрищевъ и самъ Чичиковъ также были для всѣхъ живыми лицами, общими знакомцами и любимцами. Замѣчательно, что даже юмористическія отступленія Гоголя не оставлялись безъ вниманія. То мѣсто, гдѣ Гоголь говоритъ о чиновникѣ, который передъ начальникомъ отдѣленія являлся куропаткой, а передъ своими подчиненными Прометеемъ, чрезвычайно нравилось. Запомнилось почему-то даже непонятное слово Прометей, и долгое время послѣ того называли этимъ именемъ самого Лучезарова.

— Прометей, настоящій Прометей!—говорили про него, когда онъ показывался на вечернихъ повѣркахъ въ сопровожденіи цѣлой свиты надзирателей.

Курьезно, съ другой стороны, то, что Собакевичъ былъ принятъ не за отрицательный, а за положительный типъ, и Малаховъ ужасно неистовствовалъ по этому поводу.

— Вотъ это я понимаю! Это настоящій господинъ, а не пустая какая-нибудь мельница. Это... Парамонъ Малаховъ! Да! Собакевичъ—это я самъ.

Къ сожалѣнію, въ числѣ слушателей всегда были и до мозга костей испорченные люди, задававшіе обыкновенно тонъ остальнымъ, представлявшіе нерѣдко самый даровитый и остроумный элементъ каторги. Эти люди давали иногда весьма нежелательное освѣщеніе прочитанному. Такъ, бродяга Дорожкинъ изъ всѣхъ силъ старался возвести въ перлъ созданія главнаго героя „Мертвыхъ Душъ“, Чичикова; онъ восторгался его ловкой затѣей, превозносилъ до небесъ его мошенническіе таланты и кричалъ:

— Такъ имъ и надо, тусамъ простокишнымъ! Чтобъ губъ не разѣвали... Эхъ, кабы меня теперь на волю пустили, я-бъ не такую еще пудю отмочилъ, я-бъ такого имъ Чичикова разыгралъ,

что не только губернаторъ—самъ бы генераль-губернаторъ за меня дочку отдалъ!

Конечно, это было пустое хвастовство, и Гоголь настолько мало научилъ Дорожекина искусству мошенничать, что, выпущенный вскорѣ въ вольную команду, онъ почти на другой же день возвращенъ былъ въ тюрьму, уличенный въ кражѣ шали у жены одного надзирателя, тѣмъ не менѣе, подобному толкованію „Мертвыхъ Душъ“ мнѣ приходилось противопоставлять свою пропаганду и дѣлать необходимыя разъясненія. Впрочемъ, думаю, что въ концѣ-концовъ поэма эта и безъ моей помощи была бы понята должнымъ образомъ, и что большинство, даже соглашаясь на словахъ съ Дорожиннымъ, въ глубинѣ души не считало Чичикова положительнымъ типомъ, достойнымъ подражанія, а хорошо понимало, что это—сатира. Я всегда страшно жалѣлъ, что у насъ не было ни „Ревизора“, ни „Женитьбы“, ни „Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, ни „Носа“, ни „Вія“, ни „Портрета“; какихъ бы размѣровъ тогда достигла популярность Гоголя? Во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что это истинно народный поэтъ, единственный изъ всѣхъ русскихъ писателей, который теперь же можетъ быть понятъ и оцѣненъ массою народа, и, слѣдовательно, отъ души слѣдуетъ пожелать, чтобъ скорѣе настало время, когда сочиненія Гоголя появятся въ дешевомъ народномъ изданіи. *)

Съ сочиненіями другихъ русскихъ классиковъ, Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Островскаго, Некрасова, мнѣ не пришлось познакомить своихъ сожителей, и я могу лишь гадательно судить о томъ, какое впечатлѣніе произвелъ бы на нихъ тотъ или иной изъ этихъ писателей, то или другое изъ ихъ сочиненій. Между прочимъ, особенное любопытство возбуждалъ во мнѣ вопросъ, что сказали бы они о „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго, и я былъ ужасно обрадованъ, когда въ старой хрестоматіи Филонова отыскалъ нѣсколько главъ изъ этого произведенія, посвященныхъ острожному театру. Я рассчитывалъ, что столь близкій и родственный сюжетъ вызоветъ въ моей публикѣ взрывъ восторговъ и возбудитъ живѣйшій интересъ, и былъ сильно удивленъ, когда она отнеслась къ прочитанному отрывку довольно—таки равнодушно, чуть не холодно. Неудача эта огорчила и, призна-

*) Писано лѣтомъ 1893 г.

юсь, почти раздражила меня; я сталъ объяснять Чирку, Малахову и другимъ, что не то было бы, еслибъ я прочелъ имъ „Записки изъ Мертваго Дома“ въ цѣломъ видѣ.

— А что тамъ описывается?—спросилъ старикъ Гончаровъ.

— Описывается, какъ жили арестанты въ острогѣ сорокъ лѣтъ назадъ,—отвѣчалъ я:—какъ работали, страдали, какъ начальство ихъ притѣсняло,—словомъ, всѣ тюремные порядки.

— Да вѣдь мы и такъ ихъ знаемъ, Иванъ Миколаевичъ! Чего-жъ тутъ читать еще?.. Вотъ кабы тамъ разбои разные да похождения описывались,—напримѣръ, вотъ объ атаманѣ Рощинѣ и его есаулѣ Бурѣ, ну, тогда бы другое дѣло.

— Задавить бы его надо, а не читать!—сказалъ вдругъ Семеновъ, поднимаясь съ наръ и зажигая свою трубку. Ноздри его гнѣвно расширились, а глаза глядѣли недобрымъ и вмѣстѣ презрительнымъ взглядомъ.

— Кого это?—спросилъ я удивленно.

— Да того, который писалъ эти записки,—Достоевскій, что-ль, его... Я читалъ эту книжку.

— Читали? И говорите, что надо бы задавить?!.. Да вы, должно быть, другое что-нибудь читали?

— Не другое, а то самое. За то его задавить надо, что онъ всѣ арестантскія тайны начальству выдалъ, за то, что, благодаря ему, нашему брату еще хуже жить стало!

Я сталъ горячиться, доказывать, что Достоевскій своимъ сочиненіемъ оказалъ, напротивъ, обитателямъ каторги великую услугу, выяснивъ тому же начальству, что арестанты такіе же, какъ всѣ, люди, и что обращаться съ ними слѣдуетъ по человѣчески; но съ Семеновымъ спорить было невозможно. Высказавъ, точно топоромъ отрубивъ, свое мнѣніе, онъ, съ выраженіемъ все той же ненависти и презрѣнія на лицѣ, улегся опять на свое мѣсто и замолчалъ. А мысль его подхватила уже другіе, Гончаровъ и Малаховъ, и начался галдежъ, въ которомъ мой голосъ затерялся. Въ тюрьмѣ нашлись потомъ и еще арестанты, читавшіе „Записки изъ Мертваго Дома“, и всѣ они единодушно порицали автора за разоблаченіе арестантскихъ секретовъ и разныхъ интимныхъ сторонъ ихъ жизни, утверждая, что, попадись онъ въ свое время кобылкѣ въ руки, ему не сдобровать бы... Дѣло въ томъ, что по наивности большинство арестантовъ думаетъ, будто начальству и до сихъ поръ ничего неизвѣстно объ ихъ способѣ прятать

деньги въ такъ называемыхъ „сусликахъ“, о разныхъ приемахъ и формахъ смѣнки, разбиванія кандаловъ и т. п.

Изъ иностранныхъ произведеній имѣлся у насъ, кромѣ Шекспира, еще „Послѣдній день приговореннаго къ смерти“ Виктора Гюго. Я ожидалъ, что книжка эта также произведетъ на моихъ сожителей потрясающее впечатлѣніе; однако и тутъ, какъ съ Достоевскимъ, ошибся... Массу публики чтеніе скоро утомило, а подъ конецъ и совсѣмъ усыпило: глубокій психологическій анализъ, при отсутствіи внѣшняго дѣйствія и завлекающей фабулы, оказался ей не по силамъ. Что же касается отдѣльныхъ лицъ изъ наиболѣе страстныхъ любителей чтенія, то они, правда, выслушали рассказъ до конца, съ большимъ, повидимому, вниманіемъ, но въ полномъ безмолвіи, какъ бы что-то тая про себя, и я чувствовалъ, что впечатлѣніе, получаемое ими, было тяжелое, до того непріятное, что мнѣ самому стало не по себѣ. Близкій къ ихъ собственной жизни реализмъ сюжета, очевидно, подавлялъ ихъ душу и дѣлалъ ее не столь воспримчивою къ художественной сторонѣ произведенія, какъ въ другихъ случаяхъ. Быть можетъ, слушатели мои чувствовали, что съ каждымъ изъ нихъ могла или можетъ еще въ будущемъ случиться подобная же исторія, а о такихъ вещахъ, какъ висѣлица, арестанты, естественно, не любятъ говорить и думать. Когда въ домѣ недавно былъ или ожидается въ скоромъ времени покойникъ, тогда всякіе разговоры о смерти, а тѣмъ болѣе пространные и картинные, неумѣстны...

Библіотека моя была необширна, а времени, въ теченіе котораго она находилась въ тюрьмѣ, недостаточно было для полного ознакомленія арестантовъ даже и съ нею. Поэтому я уклоняюсь отъ какихъ-либо окончательныхъ и рѣшительныхъ выводовъ на основаніи сдѣланныхъ мною наблюденій. Скажу только, что эти вечера, проведенные за чтеніемъ вслухъ, составляютъ лучшую и благороднѣйшую часть моихъ воспоминаній о Шелайской тюрьмѣ, и, не смотря на всѣ частныя разочарованія, сопровождавшія мои мечты о гуманитарномъ вліяніи художественной беллетристики на обитателей каторги, лично я и до сихъ поръ остаюсь при своемъ мнѣніи. Будучи поставлены на правильную почву, чтенія эти, также какъ и учебныя занятія, могли бы, я думаю, сыграть огромную роль въ дѣлѣ исправленія преступниковъ, lenно и незамѣтно для нихъ самихъ расширяя ихъ умъ

горизонты и пересоздавая нравственные понятія. Если бы даже оказалось на практикѣ, что это химера, поэтическая фантазія—не больше, то и тогда я горячо стоялъ бы не только за разрѣшеніе, но и за устройство самимъ начальствомъ въ каторжныхъ тюрьмахъ библіотечекъ изъ классиковъ иностранной и русской литературы и лучшихъ произведеній второстепенныхъ беллетристовъ. Библіотека могла бы быть небольшая, но хорошо подобранная. Романы кроваво-уголовнаго характера и рискованно-романическаго содержанія, конечно, безусловно слѣдовало бы исключить изъ нея. Мнѣ лично всегда казалось, что изъ писателей всего міра наиболѣе подходящимъ къ подобной библіотекѣ былъ бы Диккенсъ (романовъ котораго у меня самого, къ сожалѣнію, не было) съ его полными нѣжной теплоты и прелести образами и картинами, съ его глубокой любовью къ страдающему человечеству, къ дѣтямъ, бѣднякамъ, ко всѣмъ обездоленнымъ, униженнымъ и обиженнымъ. Романы Диккенса хороши были бы и своимъ большимъ объемомъ. Я вообще замѣчалъ, что наибольшимъ успѣхомъ и наибольшимъ вліяніемъ среди арестантовъ пользовался именно большія по объему вещи, чтеніе которыхъ продолжалось изъ вечера въ вечеръ, затягивая вниманіе слушателей въ самыя сокровенныя и детальныя глубины повседневной жизни и психологіи, не только пробуждая мысль, но и давая ей время прочно настроиться на извѣстный ладъ и тонъ. Небольшія же по размѣрамъ повѣсти и рассказы нерѣдко только раздражали моихъ сожителей: едва успѣвалъ неразвитый умъ напрячь вниманіе и войти въ извѣстное настроеніе, какъ рассказъ уже оканчивался. Слишкомъ мелкіе рассказы и повѣсти, по моему мнѣнію, совсѣмъ непригодны, въ большинствѣ случаевъ, для арестантской библіотеки, такъ какъ арестантамъ нужны прочныя и глубокія, а не мимолетныя впечатлѣнія. Но и они также являются отвѣчающими своей цѣли, когда малограмотные арестанты сами читаютъ ихъ въ теченіе очень долгаго времени: тогда у каждаго изъ такихъ читателей является какой-нибудь свой любимый рассказикъ, съ которымъ онъ носитя, какъ курица съ яйцомъ, и помимо котораго долгое время не желаетъ признавать никакихъ другихъ книгъ. Среди моихъ книгъ громаднымъ успѣхомъ такого рода пользовались: „Сократъ, учитель жизни“, „Христофоръ Колумбъ“, „Александръ Македонскій, называемый Великимъ“.

Кромѣ романовъ Диккенса, для чтенія вслухъ арестантамъ я рекомендовалъ бы также историческіе романы Вальтеръ-Скотта и Купера, а также и лучшія произведенія Майнъ-Рида (вродѣ, напримѣръ, „Охотника за растеніями“). Не говорю уже о такихъ знаменитыхъ дѣтскихъ романахъ, какъ „Робинзонъ Крузо“ и „Хижины дяди Тома“. „Донъ-Кихотъ“ Сервантеса также, я думаю, могъ бы стоять въ числѣ первыхъ книгъ этой избранной библіотеки. Но за то я рѣшительно высказываюсь противъ всякихъ сокращеній и передѣлокъ для дѣтей и юношества.

XVI.

Ш а хъ - Л а м а с ъ.

Шелъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ, а въ вольную команду все никого не выпускали. То говорили, что постройка зимовья не окончена, то—что въ управленіи задержана почему-то „представка“, сдѣланная Шестиглазымъ. Слухи объ этой представкѣ почти уже замолкли, и кандидаты на выходъ въ вольную команду повѣсили носы, какъ вдругъ въ тюрьмѣ началось опять оживленіе и шушуканье. Тюремные „вѣстники“—Гнусъ, Тарбаганъ, сапожникъ Звонаренко и другіе—то-и-дѣло шмыгали изъ камеры въ камеру и передавали, что теперь головой уже готовы поручиться за вѣрность извѣстія: получилась представка на тридцать пять человѣкъ; сообщали объ этомъ по секрету самые надежные люди: одинъ изъ лучшихъ надзирателей, писарь изъ конторы и, наконецъ, Марьюшка, любимая горничная Шестиглазаго... Волненіе было написано на всѣхъ лицахъ. Волновались даже тѣ, кто самъ отнюдь не могъ рассчитывать на освобожденіе изъ тюрьмы, — вѣчники и тридцатилѣтники. Въ этомъ обстоятельствѣ ярче всего сказывался невыносимый гнетъ тюремныхъ стѣнъ и Шелайскаго режима. Одна мысль о томъ, что цѣлыхъ тридцать пять человѣкъ, живущихъ здѣсь же, этою самою жизнью, страдающихъ отъ тѣхъ же причинъ и условій, черезъ какихъ-нибудь нѣскольکو дней станутъ почти вольными людьми, не будутъ видѣть за своей спиной „духа“ со штыкомъ и слышать ежеминутно грозныхъ окликовъ надзирателя, одна эта мысль зажигала сердца всѣхъ радостью, вчуужъ заставляя предвкушать восторги свободы...

А гнетъ, дѣйствительно, былъ не малъ, не смотря на мелкія послабленія, о которыхъ было рассказано выше. Какъ ни чуждо

большинству каторжныхъ сознаніе своего человѣческаго достоинства, но и имъ было несомнѣнно больно, когда на каждомъ шагѣ попиралась ихъ личность, ежесекундно давалось имъ чувствовать, что они въ сущности не люди, а какая то особая порода животныхъ, называемая каторжными. Не безъ горечи рассказывали однажды въ тюрьмѣ взявшійся откуда-то слухъ о томъ, будто Лучезаровъ, ругая провинившагося въ чемъ-то слугу-вольнокомандца, кричалъ.

— Ты — каторжный! Ты — рабъ и ничего больше! Ни божескихъ, ни человѣческихъ правъ у тебя нѣтъ, вонъ какъ у тѣхъ быковъ, что возятъ мнѣ воду! И ты долженъ такъ же безпрекословно повиноваться, какъ они!

Скептически относилось, поэтому, большинство и къ высказанному имъ передъ строемъ взгляду на тѣлесное наказаніе.

— Вотъ помяните мое слово, братцы,—говорилъ, рассказывая по камерѣ, огневолосый, до комизма крошечный старичекъ, Жебрейчикъ по прозванію *), всегда озлобленный противъ всего на свѣтѣ и самого себя, по выраженію арестантовъ, любившій только одинъ разъ въ году:—помяните мое слово, братцы, перваго же, кого онъ выпоретъ, мертваго на рогожѣ вынесутъ! Ужъ онъ напьется нашей крови, любить онъ человѣческую кровь. А что до сихъ поръ не заглядываетъ онъ намъ за рубахи, такъ это потому, что онъ—змѣй шестиголовый и шестиглазый. Посмотрите на его брюхо:—не иначе, какъ передъ самымъ нашимъ приходомъ живого человѣка слопалъ,—вотъ пока и сытъ... И чувствую я, сердечушко мое чувствуетъ, въ ухо такъ вотъ и шопчетъ кто-то, такъ и шопчетъ, что и мнѣ не сдобровать отъ его руки... Или мнѣ отъ него, или ему отъ меня погибнуть. Чему-нибудь да ужъ быть!..

И, глубокомысленно вперивъ глаза куда-то вдаль и смѣхотворно разставивъ маленькія ножки, полусумасшедшій Жебрейчикъ величественно останавливался по-среди́нѣ камеры. Велико же было его злорадство, когда по тюрьмѣ разнесся разъ слухъ, будто бравый штабсъ-капитанъ собственноручно избилъ двухъ каторжанокъ, жившихъ у него въ услуженіи, одной разбивши въ кровь носъ, другой растрепавъ косы. Трудно было, конечно, провѣрить,

*) Жебрей—сорная колючая трава, пристающая къ одеждѣ прохожихъ.

живя подѣ замкомъ, справедливость арестантскихъ сплетенъ, но Жебреекъ и не подумалъ подвергать ихъ сомнѣнію.

— Скоро, скоро теперь и до насъ доберется!—пророчески вѣщалъ онъ, поднимая кверху указательный перстъ и такъ грустно качая головой, точно готовился къ какому-то великому подвигу.

Къ счастью, пророчество, пока что, не исполнялось. Тюремныхъ арестантовъ бравый штабсъ-капитанъ не только не тронулъ никогда пальцемъ, но и не обругалъ нехорошимъ словомъ. Тѣмъ не менѣе, всѣ боялись его, какъ огня. Личность Лучезарова невольно какъ то давила и пригнетала къ землѣ; каждый чувствовалъ себя въ его присутствіи, какъ собака при видѣ поднятаго надъ нею кнута... Полное презрѣніе къ человѣческой личности ощущалось въ каждомъ его взглядѣ, словѣ, поступкѣ. Все было въ немъ какъ-то бездушно-законно и безчеловѣчно-справедливо. Лучезаровъ гордился своей неподкупной честностью, и, дѣйствительно, арестанты всѣ единогласно подтверждали, что нигдѣ не доходило до нихъ такъ своевременно и сполна все, что полагается по закону, какъ въ Шелайскомъ рудникѣ; ни въ какой другой тюрьмѣ не заботились такъ о чистотѣ и гигиенѣ. Но для каждого ясны были, съ другой стороны, и мотивы этой безпристрастной справедливости и заботливости: вытекали онѣ не изъ живой любви къ живымъ людямъ, а изъ жажды славы и отличія передъ высшимъ начальствомъ и, самое большее, изъ любви къ самому принципу законности и справедливости, къ искусству ради искусства. Самихъ арестантовъ Лучезаровъ третировалъ въ глаза и за глаза, какъ животныхъ, не подозревая, конечно, того, что животныя эти ловили каждое его слово и умѣли иногда являться остроумными и беспощадными критиками. Такъ, они никогда не могли забыть его заявленія, сдѣланнаго въ первый же день знакомства, что одному надзирателю онъ повѣритъ больше, чѣмъ семи сотнямъ арестантовъ. Въ другой разъ онъ заявилъ гдѣ-то (и это также передавалось изъ устъ въ уста), что разстояніе между каторжнымъ и надзирателемъ такое же, какъ между нимъ, штабсъ-капитаномъ Лучезаровымъ, и... самимъ Богомъ! Вообще, онъ направлялъ, видимо, всѣ усилія къ тому, чтобы возможно большей pompой обставить свое величіе и авторитетъ исполнителей своей воли. У него было мудрое правило, несомнѣнно руководившее ту же цѣль: никогда не отмѣнять слишкомъ одного

своего распоряженія, хотя бы оказавшагося тотчасъ же явно недѣльнымъ и несправедливымъ. Очевидно, онъ былъ большой политикъ, мечтавшій пойти далеко... Впрочемъ, однажды и самъ Лучезаровъ приведенъ былъ въ смущеніе, когда среди торжественной церемоніальности вечерней повѣрки общій староста Юхоревъ заявилъ неожиданно изъ строя громогласную жалобу, отъ лица всей артели, на одного изъ стоявшихъ тутъ же надзирателей, который позволялъ себѣ толкать арестантовъ въ грудь и обзывать самыми скверными словами. Лучезаровъ на этотъ разъ, казалось, опѣшилъ отъ неожиданности; молча стоялъ онъ нѣкоторое время, откашливаясь и гмыкая, какъ бы не зная, что дѣлать. Но потомъ, кратко пробурчавъ: „Я разберу!“—величественнѣе, чѣмъ когда-либо, приказалъ надзирателямъ разводить арестантовъ по камерамъ. Само собой разумѣется, что такъ никто и не узналъ никогда, въ чемъ состояло общаинное разбирательство... Нелюбимый надзиратель остался по-прежнему надзирателемъ, и хотя пересталъ толкать арестантовъ въ грудь, но сдѣлался еще грубѣе и нахальнѣе. Этотъ надзиратель, Безыменныхъ по фамиліи, былъ правой рукой Лучезарова, и его ненавидѣли за это не только арестанты, но и товарищи по службѣ. Будучи доносчикомъ по призванію, онъ не вступалъ ни въ какія соглашенія съ кобылкой и былъ такъ же формалистиченъ и бездушно-законенъ, какъ и его патронъ; но онъ вносилъ въ это дѣло страсть и огонь, и, быть можетъ, справедливо выражался о немъ Лучезаровъ, говоря, что изъ всѣхъ надзирателей одинъ Безыменныхъ относится къ своей дѣятельности съ „религіозной“ преданностью... Цѣлый день шнырялъ онъ по тюрьмѣ, то подкрадываясь, какъ кошка, и настораживая уши, то налетая, какъ вихрь, и накрывая виновныхъ; цѣлый день кричалъ, бранился, придирался и грозилъ арестомъ и жалобами. Въ его дежурство всегда нѣсколько человѣкъ попадало въ карцеръ. Вся тщедушная фигурка Безыменнаго, съ краснымъ лицомъ, сплошь покрытымъ угрями, внушала даже и мнѣ, съ которыми онъ былъ по своему вѣжливъ, отвращеніе. Онъ требовалъ, чтобы арестанты за малѣйшимъ пустякомъ обращались къ нему не иначе, какъ со словами „господинъ надзиратель“, чтобы при встрѣчахъ съ нимъ, хотя бы сто разъ въ день, неукоснительно снималась шапка, и, дѣлая разъ выговоръ кому-то изъ ослушниковъ, кричалъ на весь коридоръ:

— Начальникъ заставитъ васъ и передъ женами нашими ски-
давать шапку!

Последнее особенно возмутило кобылку.

— Какъ! чтобъ мы передъ бабой, передъ всякой шкурой, стали шапку ломать?—либеральничали повсюду, тутъ же оглядываясь, впрочемъ, на дверь:—да лучше пуцай въ карецъ сажаютъ, заморятъ тамъ!

Не столько строгостью и формализмомъ вооружилъ противъ себя Безымянныхъ тюрьму, сколько именно презрѣнiемъ къ человѣку, который сталъ каторжнымъ, презрѣнiемъ, сквозившимъ въ каждомъ его словѣ и жестѣ, даже въ интонаціи голоса.

Надзиратель этотъ мнилъ себя, между прочимъ, образованнымъ и начитаннымъ человѣкомъ, и, дѣйствительно, никто изъ его товарищей не читалъ охотнѣе и больше его. Въ дни дежурства при немъ постоянно находился какой-нибудь переводный французскій романъ съ раздирательно-кровавымъ заглавiемъ. У него была, кромѣ того, тетрадь, въ которую онъ записывалъ татарскія слова съ переводомъ на русскій языкъ, и, полюбопытствовавъ однажды заглянуть въ нее, я узналъ, что это былъ словарь всевозможныхъ ругательствъ и гадкихъ словъ.

— Затѣмъ это вамъ?—спросилъ я.

— А какъ же,—отвѣчалъ онъ, самодовольно осклабяясь:— другой разъ проходишь мимо этого звѣря и не знаешь, чтѣ они тамъ, за спиной твоей, лопочутъ... Быть можетъ, тебя же ругаютъ! И немая даже въ карцеръ посадить!

Этого, однако, мало. Безыменныхъ былъ также и поэтѣмъ, сочинялъ злыя сатиры на арестантовъ и на товарищей-надзирателей, писалъ доносы въ стихахъ, которые и представлялъ иногда благоволившему къ нему Лучезарову. Однажды у него вышла по этому поводу цѣлая баталія съ надзирателемъ Пѣтушковымъ. Безыменныхъ написалъ на него сатиру, получившую въ Шелайскомъ мірѣ широкую популярность и заключавшую въ себѣ слѣдующій куплетъ:

Какъ шкелеть, сухой, лядашій,
Онъ поетъ, поетъ безъ словъ,
И прозванье подходяще,
Лаконично:—Пѣтушковъ!

Этотъ убійственный куплетъ, и особенно почему-то непонятное слово „лаконино“ показали Пѣтушкову кровнымъ оскорбле-

ніемъ, которое невозможно было стерпѣть. Онъ нарядился въ парадную форму и отправился къ бравому штабсъ-капитану съ ультиматумомъ: или онъ, Пѣтушковъ, или Безыменныхъ, тотъ или другой долженъ выйти въ отставку... Но Лучезаровъ сумѣлъ придать дѣлу шуточный оборотъ и уклониться отъ представленнаго ему ультиматума. Онъ былъ чрезвычайно высокаго мнѣнія о Безыменныхъ.

— Грубовать онъ, это правда,—отвѣчалъ онъ обыкновенно на всѣ обвиненія противъ своего любимца:—но это, въ сущности, не мѣшаетъ. Такой мягкій по натурѣ начальникъ, какъ я, обязательно долженъ имѣть палача-исполнителя!

Вотъ почему всѣ подкобы и подвохи арестантовъ и самихъ надзирателей подъ Безыменныхъ были долгое время напрасны. Онъ держался прочно и погибъ тогда только, когда Богъ лишилъ его разума, и, соблазнившись даромъ стихоплетства, онъ сочинилъ сатиру на самого своего покровителя. Враги воспѣшили представить ее по адресу, и злополучный поэтъ чуть не въ двадцать четыре часа былъ удаленъ отъ должности...

Другой изъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Воронковъ, былъ совсѣмъ еще мальчикъ, съ едва пробивавшимся пушкомъ на губахъ, хорошенькій, какъ красная дѣвушка, но нахальный и развращенный, какъ самый послѣдній изъ каторжныхъ. Власть, видимо, опьяняла его. При обыскахъ у тюремныхъ воротъ, во время ежедневныхъ выходовъ на работу, онъ бывалъ особенно дерзокъ и циниченъ. Остерегаясь много „чирикать“, по арестантскому выраженію, со мною и желая въ то же время и мнѣ доставить непріятность, онъ ограничивалъ свой обыскъ по отношенію ко мнѣ тѣмъ, что, проходя мимо, какъ-то особенно нагло хлопалъ меня ладонью по шапкѣ; сдѣлать это онъ никогда не забывалъ. Впрочемъ, Воронковъ былъ страшный трусъ, и если встрѣчалъ со стороны арестанта сколько-нибудь серьезный отпоръ, то немедленно поджималъ, какъ заяцъ, хвостъ и сносилъ порою такіе рѣзкіе отвѣты и даже прямые ругательства, какія потерпѣлъ бы и не всякій изъ шпанки.

Сознаніе безправности и каторжной безсудности чувствовалось въ Шелайской тюрьмѣ на каждомъ шагѣ, во всѣхъ мелочахъ жизни. Лучезарову не нравилось, напримѣръ, чтобы во ввѣренной его управленію тюрьмѣ числилось черезчуръ много больныхъ, и пьяница - фельдшеръ, приходившій въ тюрьму за тѣмъ только,

чтобы выпить или взять съ собою изъ аптеки бутылку спирта, въ точности исполнялъ его желаніе: у него никогда не было занято въ лазаретѣ болѣе половины коекъ, и если оказывалось невозможнымъ не принять кого-либо изъ вновь захворавшихъ арестантовъ, то изъ старыхъ обязательно одинъ долженъ былъ выписываться, какъ бы ни чувствовалъ себя слабымъ. Кромѣ того, бравому штабсъ-капитану не нравилось, чтобы въ Шелайской тюрьмѣ были „богодуды“, т. е. слабые арестанты, неспособные къ тяжелымъ физическимъ работамъ.

— Моя тюрьма—рабочая тюрьма,—заявлялъ онъ, — а не богадѣльня. Я не виноватъ въ томъ, что ко мнѣ присылаютъ стариковъ, больныхъ и увѣчныхъ. Никакихъ богодудовъ я не желаю поэтому признавать. Всѣ безъ исключенія должны числиться на работѣ, разъ не лежать въ лазаретѣ!

И, дѣйствительно, онъ ухитрился даже разсыпавшимся отъ дряхлости старичкамъ подыскивать какое-нибудь занятіе, избобрѣтать рабочую должность. У него было при этомъ предвзятое и часто совершенно невѣрное мнѣніе, будто работы камерныхъ старостъ, парашниковъ и прочихъ „уборщиковъ“ самыя легкія работы, наиболѣе подходящія для богодудовъ, и потому назначалъ на нихъ стариковъ и слабосильныхъ. Между тѣмъ, должности эти были однѣ изъ самыхъ тяжелыхъ и хлопотливыхъ. Два раза въ недѣлю парашники и старосты обязаны были мыть столы, скамьи, нары и полы, ползая при этомъ съ тряпкой въ рукахъ на колѣнкахъ, такъ какъ швабры почему-то строго запрещались. Камеры должны были блестѣть, какъ стекло. Старосты же обязывались ежедневно чистить въ кухнѣ картошку, а когда въ тюрьмѣ уменьшалось число арестантовъ, возить также дрова и воду. Лѣтомъ ихъ же функція была—садить и поливать капусту на огородахъ. При назначеніи камерныхъ старостъ никогда не наводилось у фельдшера справокъ о здоровьи кандидатовъ на эти должности, и нерѣдко поэтому случалось, что завѣдомые сифилитики и чахоточные мыли намъ посуду, дѣлили наше мясо и хлѣбъ. Въ парашники назначались первоначально добровольцы, но затѣмъ Лучезаровъ пересталъ справляться съ желаніемъ или нежеланіемъ арестантовъ идти на эту должность и отказывавшихся отъ нея началъ сажать въ карцеръ. Вскорѣ онъ пришелъ почему-то къ убѣжденію, что работа эта, будто нарочно, создана для таръ, къ которымъ онъ, подобно кобылѣ, безразлично

слялъ и настоящихъ татаръ, и кавказцевъ и сартовъ. Это-то обстоятельство и послужило поводомъ къ одной исторіи, которая окончилась трагическимъ образомъ для одного изъ арестантовъ и явилась для всей тюрьмы началомъ новой, еще болѣе мрачной эры.

Былъ въ Шелайскомъ рудникѣ одинъ странный лезгинъ, съ сильно серебрившейся уже головой, не разъ бѣгавшій изъ ка-торги и не разъ за это изувѣченный и израненный пулями и штыками, человѣкъ несомнѣнно болѣзненный и слабосильный. Только глаза Шахъ-Ламаса, большіе и черные, гордо глядѣвшіе съ высоты красиваго орлинаго носа, говорили еще о несокрушимой внутренней энергіи и пламенной ненависти къ врагамъ-урусамъ. Къ физической работѣ онъ былъ мало годенъ, и на немъ-то остановился Лучезаровъ, когда, обходя однажды камеры на вечерней повѣркѣ, узналъ, что одинъ изъ прежнихъ парашниковъ захворалъ и помѣщенъ въ лазаретъ.

— Такъ вотъ этого старика назначить,—рѣшилъ онъ, указывая надзирателямъ на Шахъ-Ламаса:—это самая татарская работа.

И съ этими словами величественно выплылъ изъ камеры. Шахъ-Ламасъ, услыхавъ отъ товарищей, въ чемъ дѣло, онѣмѣлъ сначала отъ изумленія и гнѣва, а потомъ громко сталъ кричать:

— Мой — парашникъ? Татарска лабортъ? Моя показалъ бы тебѣ Кавказъ татарска лабортъ! Сичасъ сѣкимъ-башка!

Насилу его успокоили и уговорили, не затѣвая исторіи, ска-заться тоже на утро больнымъ. Этимъ путемъ, дѣйствительно, удалось на время отдѣлаться отъ непріятной работы; но прошелъ день—и надзиратели, помня приказаніе начальника, опять назначили злополучнаго лезгина парашникомъ. Тогда Шахъ-Ламасъ наотрѣзъ отказался повиноваться. Цѣлую недѣлю его продержали за это въ темномъ карцерѣ и, выпустивъ, опять велѣли таскать парашки.

Уходя въ этотъ день въ рудникъ, я былъ увѣренъ, что Шахъ-Ламасъ снова откажется, и, признаюсь, съ нѣкоторымъ любопытствомъ ожидалъ развязки этой борьбы начальства съ упрямымъ кавказцемъ. Возвратившись съ работы, я еще подъ воротами догадался, что въ тюрьмѣ произошло что-то необычайное. Насъ обыскали съ давно забытой уже тщательностью и грубостью; котелки и мѣшки у всѣхъ были немедленно отобраны.

— Изъ чего же мы чай будемъ пить? — жалобно вопрошала кобылка.

— Для казеннаго чаю казенная посуда есть, — отвѣчалъ дежурный надзиратель, — а свой чай запрещенъ.

— Какъ такъ запрещенъ? Когда? За что?

— А вотъ тамъ узнаете.

Какъ горохъ, посыпались арестанты по тюремному двору, торопясь скорѣе въ камеры, чтобы узнать о случившемся. Вбѣжавъ въ корридоръ, мы увидали, какъ и въ самомъ началѣ пребыванія въ Шелайской тюрьмѣ, что всѣ двери опять заперты на замокъ. Въ дверную форточку моего номера выглядывало пухлое лицо Тарбагана, видимо, горѣвшаго нетерпѣніемъ повѣдать вновь пришедшимъ великія новости; за нимъ шевелились рыжіе усы Гнуса. Только что надзиратель впустилъ горныхъ рабочихъ въ камеру, какъ оба они излились въ потокахъ словъ.

— Да стойте вы, черти, толкомъ сказывайте, что случилось!

— Шестиглазаго чуть не убили! — выпалилъ Яшка.

— Не убили, а попотчевали, — поправилъ Гнусъ.

— Ну?!

— А вотъ тѣ и гну!

— Сказывайте путно, не томите. А то тянутъ, тянутъ, ровно мертваго за нось. Сказывай ты, Тарбаганъ!

— Шахъ-Ламасъ опять отъ парашекъ отказался. Доложили Шестиглазому... Вотъ онъ и заявляется самъ въ тюрьму: „Этто, говоритъ, что? Ослушаніе волѣ начальства? А знаешь ли ты, что бываетъ за отказъ отъ работы?“ Тотъ, черкесъ-то, рѣзалъ въ это время хлѣбъ на нарахъ, закусить собирался. „Моя, говоритъ, вотъ что знаетъ!“ Да какъ развернется!.. Ну, только тутъ кобылка путаетъ, потому въ камерѣ-то о ту пору никого больше не было... Одни говорятъ ножомъ хватилъ онъ Шестиглазаго, а другіе — ковригой хлѣба. Ножомъ вѣрнѣе.

— Ковригой!! — прошипѣлъ Гнусъ, прерывая Тарбагана и отъ необычайнаго волненія совсѣмъ теряя голосъ: — ножомъ не успѣлъ, потому надзиратели за руки схватили.

— Вотъ будетъ еще спорить, гнусина проклятая! — разсердился Тарбаганъ: — Звонаренкѣ же лучше знать. Онъ въ мастерской былъ, когда Шестиглазый назадъ уходилъ, и своими глазами видѣлъ, какъ у него пола отрѣзанная отъ шинели болталась...

— Не голова-ль еще, скажете, болталась? Пропадите вы и съ Звонаренкой вмѣстѣ. Мнѣ самъ Прокопій Филиппычъ сказывалъ — кому-жъ лучше знать? Онъ первый и схватилъ черкеса. Озвѣрѣлъ, говорить, вовсе, насилу удержали; ругался тоже шибко и въ глаза плевался. Ну, да за то-жъ и надзиратели намяли ему бока, ужъ такъ намяли—не рыдай, моя мамонька! А самъ Шестиглазый, братцы мои, выхватилъ, говорятъ, левдльвертъ изъ кармана и кричить: „Убью и отвѣчать не буду...“

Обиженный Тарбаганъ отошелъ на время въ сторону, и ареной общаго вниманія всецѣло завладѣлъ Гнусъ.

— И кузнецовъ всѣхъ четверыхъ, братцы мои, посадили, — шипѣлъ онъ.

— Какъ кузнецовъ? Ихъ-то за что?

— А ножикъ-то? Ножъ-то откуда у его взялся? Надзиратели тотчасъ же сказали, что ихней чьей-нибудь работы. Имъ тоже, пожалуй, здѣлово теперь влетитъ.

— Да всѣмъ теперь влетитъ, — мрачно замѣтилъ Никифоръ Буренковъ:—ужъ коли котлы отобрали...

— Вотъ баба!—прикрикнулъ на него Семеновъ:—о томъ бы плакалъ, что Шестиглазому брюха не распорили, а онъ объ котлахъ. Да ты кто? Арестантъ? Ты въ каторгу развѣ чай шелъ пить? Не тотъ ли, что въ обозахъ срѣзалъ? Вотъ они, честные, чортъ ихъ чесаль... Котель отобрали—испугался!..

Это рѣзко выраженное Семеновымъ мнѣніе сразу дало тонъ нашей камерѣ, опредѣлило, какъ слѣдовало глядѣть остальнымъ на поступокъ Шахъ-Ламаса. Всѣ выражали ему на первыхъ порахъ сочувствіе и жалѣли о неудачѣ его попытки. Тарбаганъ, между тѣмъ, снова овладѣлъ общимъ вниманіемъ и началъ повѣствовать о томъ, чему самъ былъ свидѣтелемъ.

— Сейчасъ же, какъ отвели черкеса въ карецъ, камеры всѣ на замокъ заперли. Я на куфнѣ былъ — меня оттуда дежурный въ шею вытолкалъ. Заперли и того-жъ часу съ обыскомъ заявились. Все до ниточки перебрали и перешарили. Котлы, чашки у кого были камфоровыя, все, все забрали. Тряпочка гдѣ лишняя нашла, иголки, нитки, все, какъ метлой, замели. Ножичишекъ нѣсколько штукъ тоже нашли, взяли. Книжки Ивана Николаевича, и Чичикова и Собакевича—всѣхъ уволокли!..

— Какъ! И книги тоже?—вскричалъ я, глубоко опечаленный

тѣмъ, что такъ недолго продолжались наши блаженные вечера, полныя такой поэзіи и оживленія.

— Всѣ до одной. Библію только не тронули. Слышно, еще въ кандалы всю тюрьму заковывать стануть.

— Ну?!

— Нѣтъ, за носъ тяну.

Всѣ невольно повѣсили головы.

— Ахъ ты, распостылый Шелай!—заговорилъ опять Никифоръ:—махонькій карандашечекъ въ щели у меня былъ, и тотъ вытащили. Помѣшалъ, вишь, имъ!

— Боятся, что Шестиглазому глазъ выколешь, — съострилъ кто-то.

— Нѣтъ, что на тотъ свѣтъ родителямъ записку напишешь.

Мы принялись осматривать и разбирать свои подстилки и вещи, беспорядочно сваленныя въ одну кучу, спѣша узнать, что у кого пропало и что уцѣлѣло. Увы! разореніе было полное... Малаховъ, вернувшійся къ вечеру изъ мастерской, принесъ новую неутѣшительную вѣсть: камеры думаютъ разбивать по новому!.. Дѣйствительно, страшно непріятно было, сжившись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не только съ людьми, но даже и нарами, вдругъ очутиться въ новомъ мѣстѣ, рядомъ съ новыми, часто почти незнакомыми сосѣдями, съ которыми надо еще сходиться и свыкаться.

— Ну, да и вольная команда теперь улыбнулась,—подбавилъ Парамонъ масла въ огонь, въ раздумьи выколачивая о нары свою трубку.

Онъ самъ ожидалъ скорого выхода на волю, и въ голосѣ его слышалась нѣкоторая досада. Досаду эту, несомнѣнно, испытывали и многіе другіе арестанты (вольной команды ждали также Гандоринъ, Тарбаганъ и Пестровъ), и, навѣрное, она прорвалась бы наружу, если бы не страхъ передъ Семеновымъ: всѣ хорошо видѣли его горячій, полный насмѣшки и злости взглядъ, устремленный на нихъ съ наръ, и молчали. Только Гандоринъ тяжело вздыхалъ и шепталъ какую-то молитву.

На вечернюю повѣрку вышли въ этотъ день съ невольнымъ содроганіемъ и ознобомъ во всемъ тѣлѣ. Были увѣрены, что прибавятся новыя непріятности. Ожидали самого Лучезарова... И вотъ онъ, дѣйствительно, появился, окруженный обычной помпой и величіемъ. Но торжественнѣе, чѣмъ когда-

либо, развѣвалась на его плечахъ шинель и возвышалась на головѣ бѣлая папахъ. Лицо было багрово-красно, и грозно свѣшивались длинные рыжіе усы. Шапокъ онъ не разрѣшилъ надѣть, и когда послѣ молитвы всѣ затаили дыханіе, и водворилась мертвая тишина, онъ долго стоялъ молча, медлительно осматривая бритый строй арестантскихъ головъ.

— Вотъ что!—обычными вступительными словами началась, наконецъ, рѣчь, и сердца у всѣхъ дрогнули:—однимъ изъ такихъ же артистовъ, какъ вы, сегодня произведено было на меня дерзкое нападеніе. Артистъ этотъ не зналъ, очевидно, что я не изъ трусовъ, что я хожу постоянно вооруженный, готовый застрѣлить всякаго, кто попытается меня оскорбить. Онъ понесетъ, конечно, заслуженную кару; но и вы всѣ... да, всѣ!.. всѣ являетесь въ моихъ глазахъ ответственными за его поступокъ. И прежде всего отвѣтственъ староста той камеры, гдѣ онъ жилъ. Ему не могло не быть извѣстнымъ, что въ камерѣ находится запрещенный закономъ ножъ, а также и то, что этотъ артистъ способенъ отважиться на то... на что онъ отважился. За то же самое отвѣчаетъ и вся камера № 7. Поэтому объявляю эту камеру арестованной на одинъ мѣсяцъ, то есть лишенной на это время табаку, чаю и прогулокъ, а также закованной въ ножные и ручные кандалы; старосту же подвергаю, кромѣ того, заключенію въ темномъ карцерѣ на недѣлю. Это относительно камеры № 7. Но виновна и вся тюрьма. Во время послѣдовавшаго сегодня, по моему приказанію, обыска во всѣхъ камерахъ нашлись не дозволенные мною ножи. Кто ихъ изготовлялъ, тотъ понесетъ особое наказаніе. Но завтра же я прикажу всѣхъ васъ заковать въ кандалы и камеры строго держать отнынѣ на запорѣ. Не умѣли пользоваться моей добротой—побрякайте теперь браслетами. Отбираю также и книжки, которыя... которыя я далъ было вамъ, снисходя къ просьбѣ... образованнаго человѣка, мечтавшаго этими книжками научить васъ уму-разуму. Я слышалъ, что онъ много васъ увеселяли и забавляли, но такіе артисты, какъ вы, не стоятъ никакихъ заботъ о себѣ и никакого снисхожденія. Въ заключеніе еще вотъ что! Многимъ изъ васъ вышли уже сроки выхода въ вольную команду, но знайте: никто не будетъ выпущенъ до тѣхъ поръ, пока я не увижу искренняго раскаянія и полного исправленія. Обязанности камерныхъ старостъ особенно велики и важны: ихъ дѣло не только держать камеры въ чи-

стотъ и порядкѣ, но также слѣдить за благопріемъ живущихъ съ ними товарищей. За всякую новую исторію, подобную сегоднешней, я буду прежде всего съ нихъ взыскивать. Дежурный, читайте нарядъ на работы, за исключеніемъ арестованнаго седьмого номера.

При разводѣ арестантовъ по камерамъ послѣдовало затѣмъ нововведеніе: камеры немедленно были заперты на замокъ, и, при обходѣ ихъ Лучезаровымъ, каждая снова отмыкалась. При этомъ прежде всего кидались въ камеру надзиратели, тѣснымъ кольцомъ окружая робко жавшуюся шпанку. Бравый штабсъ-капитанъ доходилъ до середины помѣщенія, грозно окидывалъ его безмолвнымъ взоромъ и въ томъ же подавляющемъ безмолвіи удалялся.

Этотъ роковой вечеръ всѣ мы провели мрачно и молчаливо. Ученики, угнетенные и озлобленные, тотчасъ же легли спать; Гандоринъ не рассказывалъ Тарбагану своихъ сказокъ и очень долго молился, стоя на колѣняхъ и громко стучаясь лбомъ объ полъ; да и самому Тарбагану было не до сказокъ. Малаховъ пытался, правда, показать, что ему все на свѣтѣ тринь-трава, и запѣлъ было притворно-пьянымъ голосомъ, наклоняясь къ Чирку и задирая его:

Ужъ я сяду подъ оконце,
Погляжу на красное солнце—

но Чирокъ, очевидно, не расположенный къ шуткамъ, ограничился тѣмъ только, что далъ „чернопазому дьяволу“ хорошаго леща въ спину, обручалъ его пьяной рожей и велѣлъ ложиться спать. Даже Гончаровъ не резонировалъ въ этотъ вечеръ и очень скоро заснулъ...

XVII.

Обычная развязка.

Началось мрачное, тяжелое время. Чувствовалось, что населеніе тюрьмы раздѣлилось на двѣ партіи, враждебныя одна другой. Одна изъ нихъ, менѣе, правда, численная, но за то болѣе сильная вліяніемъ, состояла изъ людей, безусловно одобрявшихъ поступокъ Шахъ-Ламаса и выразившихъ сожалѣніе лишь о томъ, что ему не удалось отправить на тотъ свѣтъ Шестиглазаго. Къ этой партіи принадлежали, между прочимъ, и всѣ магометане, хотя они держались, какъ всегда, обособленно отъ русскихъ и,

не высказывая громко сочувствія своему единовѣрцу, ходили, сосредоточенные, печальные и таинственные. Затѣмъ шли „иваны“, тюремные воротилы и бывалые люди, горой стоявшіе за поддержаніе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и порядковъ и съ озлобленіемъ смотрѣвшіе на то, какъ постепенно разлагаются и падаютъ освященные преданіемъ устои, и на развалинахъ славнаго прошлаго воцаряется „новый родъ“ трусовъ, „хвостобоевъ“ (подлипалъ) и „язычниковъ“ (шпіоновъ). Часть этихъ вожakovъ, вроде Семенова и Гончарова, были, несомнѣнно, люди искренніе и убѣжденные; но многіе другіе оправдывали Шахъ-Ламаса вовсе не потому, чтобы вѣрили въ его правоту, или чтобы внутри ихъ, дѣйствительно, горѣлъ огонь непримиримой вражды и ненависти, а потому только, что искали въ толпѣ популярности и первенства. Большинство тюрьмы (центръ) составляла безличная масса, шедшая туда, куда ее влекли и толкали поводыри; изъ страха передъ ними, она первое время таила въ глубинѣ души свои истинные (трусливые) взгляды и симпатіи, высказываясь неопредѣленно, смотря по тому, чей голосъ громче и увѣреннѣе раздавался вокругъ. Но вскорѣ заявила о своемъ существованіи и крайняя правая, состоявшая большей частью изъ благочестивыхъ старичковъ и другихъ, равшихся въ вольную команду; они не долго скрывали свое озлобленіе и негодованіе противъ виновника новыхъ репрессій. Однако, лѣвые, неблагонамѣренные, опираясь на безличную, трусившую передъ ними шпанку, одержали въ началѣ рѣшительную побѣду, и старички принуждены были прикусить языкъ и съежиться. Въ одномъ номерѣ арестанты хотѣли даже побить своего старосту, слишкомъ близко къ сердцу принявшаго наставленія Лучезарова... Не смотря на запертыя двери, вожаки успѣли тотчасъ же обмѣняться паролями и лозунгами предстоявшей кампаніи, и скоро во всей тюрьмѣ господствовало мнѣніе, что „кориться“ Шестиглазому отнюдь не надо, товарища выдавать не слѣдуетъ.

— Что онъ можетъ съ нами сдѣлать?—кричали главари.—Котлы отнялъ, чай? Да душа изъ него вонъ и съ чаемъ его вмѣстѣ! Въ кандалы заковалъ? Такъ на то мы и арестанты, на то и въ каторгу шли. Вольную команду отыметь? А начхать намъ на его вольную команду! Это имъ она нужна, старичкамъ благословленнымъ, тѣмъ, у кого хвостъ да языкъ долги, а мы, коли что задумаемъ, и въ тюрьмѣ можемъ сдѣлать!

— А я такъ полагаю, братцы,—ораторствовалъ кто-то въ другомъ углу,—что еще самъ же Шестиглазый отвѣтитъ. Потому онъ не имѣетъ никакого полнаго права всѣхъ за одного наказывать. Приѣдетъ же какое ни есть начальство слѣдствіе сымать; заявимъ тогда всѣ, какъ одинъ человѣкъ: такъ и такъ, молъ, ваше превосходительство, житья нѣтъ, утѣсненіе большое. И помни: ему нагорить! Всѣ его злодѣйства можно раскрыть и объяснить. Наше дѣло и по закону правое, братцы, чего намъ кориться? Можетъ статься, еще и черкесу ничего не будетъ, потому закона такого нѣтъ вынуждать человѣка парашки таскать.

Но въ арміи крайнихъ была одна брешь, одинъ слабый пунктъ, котораго въ началѣ никто не замѣчалъ: это то, что Шахъ-Ламасъ былъ не свой, а „татаринъ“. Къ татарамъ же, т. е. магометанамъ, русскіе арестанты относятся вообще крайне враждебно. Вражда эта взаимная, и причинъ ея множество (среди нихъ играютъ, быть можетъ, нѣкоторую роль и перешедшія въ инстинкты историческія воспоминанія). Нельзя вполнѣ отрицать, напр., того, что кавказцы, сарты и другіе инородцы, непривычные къ тяжелому физическому труду, всѣми силами стараются отъ него увильнуть и, гдѣ можно, „проѣхаться на спинѣ“ русскихъ; но послѣдніе преувеличиваютъ этотъ ихъ недостатокъ и обвиняютъ нерѣдко въ лѣности и желаніи лодырничать даже самыхъ трудолюбивыхъ изъ магометанъ, на чѣй спинѣ сами ѣздятъ. Незнаніе магометанами русскаго языка и явное нежеланіе учиться говорить на немъ также поддерживаетъ взаимное недоброжелательство. Магометане держатся въ тюрьмахъ обособленными кучками, раздражая русскихъ своимъ гортаннымъ нарѣчіемъ, монотонно-пѣвучимъ, нѣсколько гнусавымъ чтеніемъ корана и обрядами омовенія, которые и мнѣ внушали, помню, брезгливое чувство. Съ своей стороны, и „татары“ мало имѣютъ причинъ любить русскихъ, видя на каждомъ шагѣ высокомерное отношеніе къ себѣ, слыша постоянные окрики: „У, звѣрь! татарская лопатка!“ и пр. Восточная вспыльчивость беретъ иногда свое, и въ ходъ пускаются ножи. Въ дорогѣ довольно нерѣдки кровавыя столкновенія между русскими и черкесами.

Что касается Шахъ-Ламаса, то, не смотря на общее нерасположеніе къ его единовѣрцамъ, онъ лично пользовался въ тюрьмѣ популярностью и уваженіемъ. Всѣ хорошо знали, что онъ человѣкъ, не разъ бѣгавшій съ каторги и, вообще, умѣющій за себя

постоять; что онъ, въ самомъ дѣлѣ, боленъ, а не притворяется только негоднымъ къ работѣ. Старикъ отличался, кромѣ того, веселостью характера, сносно говорилъ по русски и, будучи въ Шелайской тюрьмѣ единственнымъ кавказцемъ, дружилъ больше съ русскими, чѣмъ съ татарами. Въ этомъ отношеніи съ нимъ могъ соперничать развѣ только узбекъ Маразгали, которому я посвящу одну изъ слѣдующихъ главъ. Когда случилась исторія Шахъ-Ламаса, въ первыя минуты никому даже и въ голову не пришло вспомнить о томъ, что онъ „татаринъ“, а не русскій. Но подъ вліяніемъ репрессалій и малодушнаго страха за будущее объ этомъ вскорѣ вспомнили. Послышалось легкое шушуканье по угламъ; начались косые взгляды на татаръ, киргизовъ и сартовъ, и скоро послѣднимъ житья не стало.

— У, звѣрь! Татарская лопатка!—слышалось повсюду по дѣлу и безъ дѣла.

Въ кухнѣ произошло столкновеніе между поварами, кандидатами въ вольную команду, и сартами, приходившими брать кипятокъ. Одинъ изъ сартовъ, въ отвѣтъ на плевокъ повара, брызнулъ въ него горячей водой и былъ за это побитъ кухонниками и другими присутствовавшими въ кухнѣ арестантами. Плевокъ русскаго какъ-то замяли, а о томъ, что сартъ облилъ его кипяткомъ, говорила вся тюрьма, утверждая, что „ихъ всѣхъ за это проучить надо“. Замѣчательно, что даже Семеновъ, который былъ настолько уменъ, что могъ бы, казалось, сообразить, къ чему клонится, въ сущности, вся эта агитація противъ татаръ, и тотъ увлеченъ былъ общимъ движеніемъ и тоже скрипѣлъ зубами при видѣ двухъ комичныхъ киргизовъ, жившихъ въ нашей камерѣ подъ его нарами и раздражавшихъ его своимъ неумолкаемымъ „гыръ-гыръ-гыръ“, какъ называлъ онъ ихъ разговоръ другъ съ другомъ.

И, дѣйствительно, не успѣли очнуться подобные Семенову арестанты, какъ обострившаяся вражда къ татарамъ перенеслась уже на Шахъ-Ламаса и его поступокъ, и бесѣды въ этомъ смыслѣ стали вестись открыто и безбоязненно.

— Подумаешь, какой баринъ!—ворчалъ Яшка Тарбаганъ:—парашекъ не захотѣлъ таскать!

— У нихъ тамъ, на Кавказѣ, всѣ вѣдь бояры да князья,—сочувственно подтверждалъ Гандоринъ.

— И вѣдь всегда такъ эти нехристи, — вмѣшивался Мала-

ховъ:—скажи ты не по ёмъ одно слово, сейчасъ онъ за кинжалъ или за ножъ хватается. Сѣкимъ-башка!

— У, звѣри лѣсные!

— Вредный старичонко этотъ Шахъ-Ламасъ. Я давно замѣчалъ за имъ... Глаза такъ и прыгаютъ, словно стрѣляютъ. Нехорошій тотъ человѣкъ, братцы, у котораго глаза стрѣляютъ!

— А теперь, вотъ, страдай изъ-за него... Котлы даже отняли!—жаловался Никифоръ, особенно близко принимавшій къ сердцу отнятіе котловъ.

Буренковъ былъ страстный любитель чая и могъ выпивать одинъ чуть не цѣлое ведро. Передъ вечерней повѣркой онъ приносилъ изъ кухни свой котелокъ, наполненный горячимъ кирпичнымъ чаемъ, и плотно закутывалъ халатомъ. Какъ только проходила повѣрка, котелокъ вытаскивался на столъ, и начиналось священнодѣйствіе чаепитія, котораго уже не могли потревожить ни звонокъ на работу или на повѣрку, ни окрики надзирателей. Не знаю, какимъ образомъ, но даже и въ это опальное время Никифоръ примудрился достать себѣ какой-то завалищій котелокъ, и однажды съ нимъ произошла по этому поводу прекомичная исторія. Только что выволокъ онъ изъ потайного мѣста свой котелъ и сталъ надъ нимъ священнодѣйствовать, какъ надзиратель Безыменныхъ подошелъ къ дверной форточкѣ и закричалъ:

— Буренковъ! Ты чай пьешь?

— Какой чай! сырую воду!..

— Да развѣ я не вижу—паръ идетъ?

— Это, ей-Богу, отъ холодной воды... съ морозу...

И, въ доказательство, Никифоръ зачерпнулъ изъ водяного бака подъ столомъ чашку холодной воды и выпилъ однимъ духомъ. Надзиратель не отходилъ и наблюдалъ. Никифоръ еще зачерпнулъ чашку и опять всю выпилъ... И такъ выпилъ онъ, по крайней мѣрѣ, пять чашекъ подъ-рядъ, считая почему-то возможнымъ убѣдить этимъ путемъ надзирателя въ своей невинности! Надзиратель, однако, не убѣдился и, отомкнувъ камеру (ключи не были еще отнесены на ночь къ начальнику), при общемъ хохотѣ кобылки, забралъ и унесъ котелъ съ чаемъ, оставивъ обезкураженнаго, „назудившагося“ сырой воды Буренкова съ носомъ...

— Знаете что, братцы,—вдругъ вскрикивалъ теперь Ники-

рофъ, весь вострепнувшись:—я такъ полагаю, что лучше всего намъ покориться... Потому изъ-за чего же похмѣлье въ чужомъ пиру терпѣть? Мы вѣдь совсѣмъ тутъ сторона... То-ли было дѣло, какъ прежде жилось? Миколанчъ читалъ намъ, мы учились... Камеры отворены были... Котлы опять...

— Да душа изъ тебя вонъ и съ котлами вмѣстѣ!—не удержавшись, закричалъ на него Семеновъ:—корись, коли хочешь. Обвѣшайся хоть весь котлами своими, разбей объ нихъ лобъ!

— Ну, и покорюсь. Ты чего? Мнѣ что? Мнѣ вѣдь не въ вольную команду выходить. Я объ себѣ развѣ? Я за правду...

— Праведникъ выискался, честный!.. — злобно захихикалъ Гончаровъ, грузно поднимаясь съ мѣста и поддерживая Семенова.

— Ты не будь честнымъ, тебя вѣдь не приглашаютъ,—огрызнулся противъ него Никифоръ.—По мнѣ хоть въ магометанскую вѣру переходи, хоть замужъ за себя своего Шахъ-Ламаса бери!

Завязалась крупная перебранка, во время которой Гончаровъ съ Семеновымъ кричали:

— Да коритесь, коритесь, кто васъ держитъ! Душа изъ васъ всѣхъ вонъ! И изъ васъ, и изъ татаръ вашихъ вмѣстѣ. Нашли съ кѣмъ въ дружбѣ обличать насъ. Не за татаръ, а за правила арестантскія стоимъ мы. Коритесь, души благочестивыя, бейте хвостами!

Но событія предупредили намѣренія благочестивыхъ душъ. По тюрьмѣ скоро разнесся слухъ, что пріѣхалъ чиновникъ особыхъ порученій, очень важное, чуть не титулованное лицо, снимать съ Шахъ-Ламаса допросъ. Черезъ день или два лицо, дѣйствительно, появилось въ тюрьмѣ. Это былъ совсѣмъ еще молодой и очень любезный человѣкъ, пріятно улыбавшійся и въ каждой камерѣ освѣдомлявшійся, нѣтъ ли у арестантовъ какихъ-либо претензій или жалобъ. Кобылка отзывалась, по обыкновенію, что всѣмъ и вполнѣ довольна. Отыскался одинъ только смѣльчакъ изъ всѣхъ 150 человѣкъ, до тѣхъ поръ неизвѣстный большинству даже по фамиліи, но тутъ вдругъ нарушившій общее молчаніе и принеся жалобу на пищу. У любезнаго молодого чиновника сдвинулись тотчасъ же брови, и голосъ сталъ сухъ и серьезенъ.

— Чѣмъ же плоха пища?—спросилъ онъ холодно, сквозь зубы:—не сполна выдаются продукты, что-ли? Ты, братецъ, подумай хорошенько, прежде чѣмъ приносить такую претензію.

— Пищу часто въ ротъ нельзя брать,—смѣло продолжалъ безвѣстный арестантъ:—одно время совсѣмъ гнилую картошку давали...

— Это дѣло будетъ разслѣдовано,—оборвалъ чиновникъ и поспѣшно вышелъ изъ камеры.

Лучезаровъ чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ. Какъ! онъ, бравый штабсъ-капитанъ, не сполна выдаетъ продукты? Онъ кормить арестантовъ гнилью?.. Вмѣстѣ съ чиновникомъ онъ спустился немедленно въ кухонный подвалъ и освидѣтельствовалъ хранившуюся тамъ картошку (передъ тѣмъ въ кухню прибѣжалъ опрометью запыхавшійся эконокъ и велѣлъ поварамъ сгрудить въ сторону весь подозрительный пищевой матеріалъ). Картошка оказалась превосходнѣйшаго качества. Поданный для пробы начальству арестантскій обѣдъ (словенный сверху котла жирный наваръ) также найденъ и вкуснымъ, и необыкновенно питательнымъ.

— У меня дома не варятъ такихъ славныхъ щей! — торжественно заявилъ молодой чиновникъ, и тутъ же назначилъ поварамъ отъ себя по полтиннику на чай и сахаръ.

На вечерней повѣркѣ того же дня было громогласно объявлено, что арестантъ, предъявившій ложную жалобу на свое начальство, подвергается заключенію въ темномъ карцерѣ на одинъ мѣсяцъ, съ закованіемъ въ ручные кандалы. А на слѣдующее утро сановное лицо вызвало въ канцелярію Юхорева и всѣхъ камерныхъ старостъ и сдѣлало имъ строгое внушеніе относительно лежавшихъ на нихъ обязанностей. Рассказывали послѣ, что многіе старички, въ томъ числѣ и нашъ Гандоринъ, падали въ ноги и тутъ же называли имена разныхъ „неблагонадежныхъ“ товарищей. Послѣ этого лицо уѣхало, отдавъ предварительно приказаніе перевести Шах-Ламаса, до рѣшенія дѣла, въ Зерентуйскій рудникъ. Больной старикъ былъ вынесенъ почти недвижимымъ изъ карцера, брошенъ на подводу и, не смотря на большой морозъ, еле прикрытъ халатомъ. Я слышалъ впослѣдствіи, что, вскорѣ по прибытіи въ Зерентуй, онъ и умеръ, не дождавшись своего осужденія, которое, несомнѣнно, было бы очень строгое.

Кобылка послѣ всѣхъ этихъ событій окончательно перетрусила, и каждый помышлялъ только о спасеніи собственной шкуры. Всякій разъ, какъ Лучезаровъ являлся въ тюрьму, то въ той, то въ другой камерѣ къ нему обращались съ мольбами о выпускѣ въ вольную команду и увѣреніями въ благонамѣренности. Съ надви-

рателями также происходили у многихъ таинственныя бесѣды и шушуканья. Языкѣ приходилось крѣпко держать за зубами...

XVIII.

Въ штольнѣ.

Въ это тяжелое время рудникъ являлся для меня единственнымъ мѣстомъ отдохновенія и сравнительнаго душевнаго покоя. Уйти возможно дальше отъ ненавистныхъ стѣнъ тюрьмы, изъ этого царства гнета и всяческой злобы, уйти на возможно долгое время и погрузиться всѣмъ существомъ, всѣми силами души и тѣла въ физическую работу, бить безъ передышки молоткомъ по буру, мѣрить и считать готовые уже вершки и потомъ снова махать и махать молоткомъ,—опять сдѣлалось для меня на время наслажденіемъ, въ которомъ было что-то болѣзненное, почти мучительное... Петръ Петровичъ давно уже далъ мнѣ другое назначеніе, переведя изъ шахты въ такъ называемую штольню, гдѣ было и теплѣе, и камень значительно мягче. Здѣсь даже я могъ безъ особеннаго утомленія выбуривать 8—10 вершковъ въ день. Трудна была только обивка, и потому въ товарищи мнѣ назначался въ такіе дни кто-нибудь изъ силачей, вроде Семенова, но буривалъ со мной обыкновенно Ракитинъ.

Не мѣшаешь, быть можетъ, объяснить, что такое штольня. Такъ назывался горизонтальный подземный корридоръ, направлявшійся отъ свѣтлички къ шахтамъ. До нашего прибытія въ Шелайскую тюрьму въ немъ было прорыто, тридцать лѣтъ назадъ, около семидесяти сажень. Но работа въ этомъ узкомъ корридорѣ требовала не много рукъ: нужны были только два бурильщика и одинъ откатчикъ, вывозившій въ особо устроенномъ вагончикѣ на отваль взорванную породу. По мѣрѣ углубленія штольни въ гору, требовались еще изрѣдка плотники, ставившіе новыя подпорки (крѣпи) и удлинявшіе мостки, по которымъ откатчикъ возилъ свой вагонъ. Такимъ образомъ, работать мнѣ приходилось большею частью въ полномъ одиночествѣ, такъ какъ товарищи мои по буренью оканчивали свой урокъ значительно раньше и, отработавшись, уходили въ свѣтличку; я же, не торопясь и подолгу отдыхая, стучалъ молоткомъ иногда вплоть до самаго ухода арестантовъ въ тюрьму.

Въ одномъ отношеніи штольня была безъ всякаго сравненія

лучше шахты: зимой въ ней было гораздо теплѣе, чѣмъ на открытомъ воздухѣ, а лѣтомъ не струилась со всѣхъ боковъ, какъ въ шахтахъ, холодная вода, попадавшая за шею и въ сапоги.

Живо и отчетливо рисуются мнѣ эти долгіе-долгіе часы, которые просиживалъ я одинъ-одинехонекъ въ своемъ подземномъ мірѣ. Слабо мерцала сальная свѣча, прилѣпленная къ камню, ежеминутно оплывая и тускнѣя; слѣва и справа, на разстояніи сажени одинъ отъ другого, возвышались гранитные бока корридора; надъ головой висѣлъ неровный каменный потолокъ, который, казалось, вотъ-вотъ долженъ обрушиться... Но онъ держался прочно: мелкіе каменья при обивкѣ отлетали прочь, и оставался сливной камень, имѣвшій слишкомъ много точекъ опоры. Впереди стоялъ тотъ же мрачный гранитъ, въ который приходилось стучаться; а позади свѣтъ моей свѣчки боролся съ тьмою, переходилъ скоро въ бѣглыя тѣни и, наконецъ, совсѣмъ тонулъ среди вѣчно царствовавшихъ тамъ сумерекъ. Въ отдаленіи только, въ самомъ концѣ штольни, виднѣлось небольшое оконце,—выходъ на свѣтъ Божій; съ нимъ приходилось соображаться, чтобы вести штольню всегда по прямому направленію. Иногда, случайно погасивъ свѣчу въ забоѣ, я видѣлъ, какъ этотъ далекій просвѣтъ отражался на передовой каменной стѣнѣ въ видѣ небольшого свѣтлаго пятна, производившаго самую полную иллюзію луннаго свѣта... Въ штольнѣ, не смотря на ея сравнительную теплоту, чувствовалась постоянная сырость, и даже глазами можно было видѣть испаренія, плававшія вдоль стѣнъ. Бывало, задумаешься, глядя на этотъ туманъ, и вотъ онъ принимаетъ постепенно въ воображеніи смутныя, странныя очертанія, говорящія о забытомъ всѣми мірѣ страданій, уже отжившихъ, отошедшихъ въ вѣчность, но, однако, все еще какъ-будто живыхъ и реальныхъ. Неясные сначала образы принимаютъ постепенно рѣзко-опредѣленные формы, и вотъ уже мерещатся блѣдныя лица и костлявыя фигуры людей, когда-то терпѣвшихъ здѣсь дѣйствительно нечеловѣческія муки,—муки, передъ которыми теперешняя каторга—пустая игрушка, проливавшихъ здѣсь не только потъ, но и кровь, полагававшихъ животъ свой.... Во имя чего? Кто были эти люди? Безсознательныя жертвы общественныхъ несовершенствъ, нищеты, невѣжества и дикихъ вожделѣній, или же носители какихъ-либо высокихъ идеаловъ? Я не зналъ; но всѣ, всѣ безъ различія представлялись мнѣ въ эти минуты

одинаково страдавшими, и потому равно казались братьями и товарищами по несчастію. Я видѣлъ глаза, полные слезъ и ужаса, съ недоумѣніемъ вопрошавшіе меня: „За что?“ Видѣлъ поднятые кулаки, стиснутые безсильною злобой и точно искавшие врага, котораго слѣдовало бы растерзать; мнѣ явственно слышались и вздохи отчаянія, вылетавшіе изъ впалой истомленной груди, и хриплый смѣхъ ярости, жаждавшей упиться местию...

— Блѣдныя тѣни, ужасныя тѣни!
Злоба, безумье, любовь...

Даже кандалный звонъ чудился по временамъ... И, вздрогнувъ, я спѣшилъ оторваться отъ страшной галлюцинаціи. Это все прошло вѣдь, этого больше не будетъ. Теперь остается уже блѣдная тѣнь того, что было, и можно надѣяться, что и эта послѣдняя тѣнь исчезнетъ съ первыми лучами солнца... Но тутъ я снова вздрагивалъ, хотя совсѣмъ уже отъ другой—реальной причины: въ глубинѣ горы прокатывался слабый, глухой громъ, явственно доносившійся, однако, до слуха, благодаря царившему кругомъ гробовому безмолвію. Эти голоса горныхъ духовъ первое время пугали меня, потому что казались предвѣстниками землетрясенія; но они повторялись такъ часто, что скоро я пересталъ даже обращать на нихъ вниманіе. При мнѣ въ Шелайскомъ рудникѣ не было ни одного настоящаго землетрясенія, но въ старину они бывали нерѣдки и породили цѣлыя легенды. Одну изъ такихъ легендъ разсказалъ мнѣ свѣтличный старикъ-сторожъ. Подобно кобылкѣ, и онъ утверждалъ, что въ Шелай былъ однажды обвалъ, похоронившій подъ землею нѣсколько десятковъ каторжныхъ; только старикъ относилъ этотъ случай къ еще болѣе давнему времени, котораго самъ не запомнилъ.

— Вотъ, работаютъ разъ ребята въ горѣ,—разсказывалъ онъ,—работаютъ, ни о чемъ не думаютъ. Вдругъ прибѣгаетъ нарядчикъ, кричить: „вонъ выходите скорѣе, гора идетъ!“ Всѣ побросали сейчасъ же инструмента и побѣжали вонъ. Выходятъ—имъ нарядчикъ навстрѣчу: „Куда, мерзавцы, идете? Чего работу бросили?“ Они: „Такъ и такъ, говорятъ, ты самъ сейчасъ приходилъ звать. Гора, молъ, идетъ“.—„Да что вы, говорите, очумѣли, што-ли? Или пьяны напились? Гора и не думаетъ трогаться. Надъ вами кто-нибудь изъ каторги подшутилъ. Я все время въ свѣтличкѣ былъ. Нечего лаять, точить, ступайте работать“. Что-

тутъ дѣлать? Помялись, помялись, да и пошли назадъ въ гору. Тогда вѣдь не тѣ права-то были... Только успѣли въ гору войти, за инструментъ опять взяться, а она и пошла.. и пошла!.. Такъ всѣ и пропали. Шестидесятъ, говорятъ, человекъ пропало.

— Кто-жъ это приходилъ къ нимъ, дѣдушка?

— А Богъ его знаетъ. Стало быть, горный хозяинъ.

— А вы сами видывали его, хозяина-то?

— Я-то не видалъ, а люди видали... Почему же и до сихъ поръ вотъ, гдѣ большія выработки есть, строго-на-строго запрещается рабочимъ пѣть и свистать въ горѣ.

— Это почему же?

— Ну, стало быть, потому. Стало, онъ не любить!

Со старикомъ, который показался мнѣ въ началѣ несимпатичнымъ и плутоватымъ, и котораго арестанты называли „горнымъ духомъ“, съ теченіемъ времени я сблизился и нашелъ въ немъ жалкое, забытое, покинутое всѣми созданіе, невольно внушавшее къ себѣ сожалѣніе. Умственный міръ его былъ очень неширокъ и незамысловатъ: въ прошедшемъ—Разгильдѣевъ, а въ настоящемъ и будущемъ—постоянная тревога за тѣ несчастные десять рублей въ мѣсяцъ, которые платилъ ему уставщикъ Монаховъ за исполненіе обязанностей сторожа. Къ счастью, заведенный въ огнѣ разгильдѣевщины, семидесятилѣтній старикъ былъ еще здоровъ и крѣпокъ, не смотря даже на то, что питался однимъ чернымъ хлѣбомъ и кирпичнымъ чаемъ. Мы долго болтали съ нимъ въ тѣ дни, когда у меня рано оканчивалась работа. Страшныя вещи рассказывалъ старикъ о временахъ разгильдѣевщины, о томъ, какъ тяжела и непосильна была работа на Карѣ, какъ колодники болѣли и мѣрли, точно мухи осенью, и какъ во время холеры ихъ живыми еще таскали сотнями на кладбище... Несправедливости и обиды чинились каторгѣ возмутительныя. Въ время работы даже отдыхать, курить и ѣсть запрещалось; приходилось украдкой, вынимая изъ-за пазухи, кусать ломоть хлѣба. Забытое и запуганное было времячко...

— Неужели же Разгильдѣевъ никогда добрымъ не бывалъ?—спросилъ я однажды, и старикъ оживился. Морщинистое лицо покрылось пріятной улыбкой, и потухшіе, поблѣкшіе глазки за-сверкали.

— Какъ не бывать! И на звѣря, бываетъ, пора находить удачная. Вотъ разъ... Какъ сейчасъ помню... Дождливый, дождли-

вый былъ день. Мы съ товарищемъ вдвоемъ по колѣно весь день въ водѣ простояли на шурфахъ; промокли, прозябли, насилу-насилу урокъ къ вечеру сробили. Вотъ идемъ, и говоритъ товарищъ:—„Давай-ка, братъ, пѣсню съ горя затынемъ“. Взяли и затынули:

За тихимъ бродомъ рѣчки-переправой
 Не ковыль-то трава во полѣ шатается:
 Зашатался я, удалъ добрый молодецъ...
 Загнала-то меня служба царская,
 Служба царская, государская.
 Тяжела-то мнѣ служба царская,
 Та-ли служба съ утра день до вечера,
 Съ вечера до самой до полуночи!
 Со полуночи съ неба звѣзды сыплются...
 Разсыпалася наша сила-армія,
 Сила-армія, Разгильдѣева партія.
 И по падамъ-то, падамъ широкима,
 И по шурфамъ-то, шурфамъ глубокима!

Долгая она пѣсня, не помню далѣ. Вотъ поемъ это мы, вдругъ.. слышимъ: — „Кто тамъ поетъ? Сюда!“ Смотримъ, на крыльцѣ дома человѣкъ стоитъ. Подходимъ, шапки снимаемъ и видимъ—самъ полковникъ. „Пьяные, што-ли?“ спрашиваетъ. — Никакъ нѣтъ, отвѣчаемъ, ваше высокородіе, съ работы въ казарму идемъ. „Съ какой же радости вы поете?“—Какъ съ какой, говоримъ, радости? Вотъ промокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урокъ кончили. Придемъ въ казарму, обогрѣмся, обсушимся. „Ступайте, говоритъ, за мною!“ и ведетъ насъ обоихъ къ себѣ на квартиру. Ну, думаемъ, бѣда! Приводитъ насъ въ большую горницу, показываетъ на столъ: „Садитесь, говоритъ, гостями будете“. Зоветъ потомъ повара и велитъ намъ ужинать дать, тащить все, что только въ домѣ есть. А самъ выносить намъ по большому покалу вина. „Пейте!“ говоритъ. Ослушаться нельзя. Выпили мы. Съ перепугу не знаемъ, что и дѣлаемъ. А онъ, глядя, еще по такому же покалу подаетъ: „Пейте еще“.—Нѣтъ, говоримъ, довольно, ваше высокородіе, не то захмѣлѣемъ, завтра на разрѣзъ не сможемъ выйти.—„Ничего, говоритъ, я въ отвѣтъ. Помните, какъ Разгильдѣевъ свою силу-армію угощалъ“. Пототъ беретъ бумагу, пишетъ какую-то записку и кладетъ мнѣ за пазуху: „Покажи, говоритъ, утромъ дежурному“. Какъ мы домой добрались, я ужъ и не знаю. Пьянехоньки оба, потому много-ль надо ослабѣвшему человѣку? По-

утру ранымъ-рано на работу будятъ. Меня тоже толкаютъ, а я ничего и понять не могу. Языкъ не ворочается, за пазуху только руку сую: тутъ, говорю. Посмотрѣлъ дежурный на записку и ротъ разинулъ: „Да ты, говорить, самимъ Разгильдѣевымъ освобожденъ на сегодня отъ работъ“.

Около этого же времени познакомился я и съ уставщикомъ Монаховымъ. Толстопузый, съ краснымъ опухшимъ лицомъ и благодушнымъ смѣхомъ, выходявшимъ скорѣе изъ упитанной утробы, чѣмъ изъ горла, внѣшнимъ видомъ онъ мало напоминалъ то слово, отъ котораго происходила его фамилія. Казалось, никакія житейскія заботы и никакіе умственные интересы не занимали его, и изъ всѣхъ чувствъ, способныхъ волновать человѣческую душу, ему было доступно одно — чувство всеодуряющей скуки, отъ которой днемъ онъ искалъ спасенія въ свѣтличкѣ, въ болтовнѣ съ арестантами и казаками, а по вечерамъ и ночамъ въ картахъ и выпивкѣ. Въ послѣднемъ отношеніи онъ славился по всему Шелайскому округу: рѣшительно никто, не исключая и браваго штабсъ-капитана, мало уступавшаго ему въ дородствѣ, не могъ его перепить. Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшіе интересы и стремленія, то онъ давно уже позабылъ о нихъ: прочитывалъ случайно подвернувшійся обрывокъ газеты, журнала, статейку, въ которой, по слухамъ, былъ намекъ на извѣстныя ему мѣстныя дѣла и отношенія, и дальше этого не шель. Политическіе взгляды его во всякій данный моментъ опредѣлялись взглядами ближайшаго горнаго начальства, къ которому онъ ѣздилъ время отъ времени представляться и дѣлать доклады о ходѣ работъ въ Шелайскомъ рудникѣ. Монахову, конечно, прекрасно было извѣстно, что какихъ результатовъ и плодовъ отъ этихъ работъ горное вѣдомство не ожидаетъ, и потому онъ не сильно о нихъ заботился, предоставивъ все вѣдать и за все отвѣчать нарядчику; самъ же слѣдилъ только за успѣшностью и продуктивностью работъ столяра, бондаря, слесаря и кузнеца, которые снабжали его мебелью, шкафами, столами, самоварами, оковывали казеннымъ железомъ его сундуки, телѣги и проч. За исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда наканунѣ бывало безшабашное пьянство, Монаховъ не пропускалъ ни одного дня, чтобы съ раннего утра не забраться въ свѣтличку и не болтать тамъ съ конвоемъ и съ арестантами обо всемъ, что взбредетъ въ голову, рассказывать.

анекдоты, подшучивать, острить, однимъ словомъ—употребляя арестантское выраженіе — тереть волынку. Онъ вскорѣ узналъ, конечно, кто я такой, былъ со мной утонченно-вѣжливъ и даже пытался вести разговоры иного рода, но я чувствовалъ, что разговоры эти тяготятъ его, что этому ожирѣвшему мозгу трудно подниматься на давно забытыя вершины, и торопился уйти въ штольню, хотя бы тамъ и не было у меня никакого дѣла. Кончала кобылка свои уроки, выходила изъ свѣтлички выстраиваться—выходилъ вслѣдъ за нею и толстопузый Монаховъ. И долго, долго стоялъ на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ вслѣдъ за нами, словно раздумывая о томъ, идти ли ему домой обѣдать, или закатится куда-либо въ гости. Но кругъ Шелайскаго бомонда былъ невеликъ, и, подумавъ и поколебавшись, Монаховъ началъ карабкаться въ гору, въ свое холостое и непривѣтливое гнѣздо. Но вотъ, по дорогѣ къ тюрьмѣ, намъ попадалась навстрѣчу гремѣвшая бубенцами тройка, въ которой летѣлъ къ нему какой-нибудь гость изъ завода, горный или другой чиновникъ.

— Ну, теперь пропалъ нашъ Монаховъ, говорила промежъ себя кобылка,—съ недѣлю глазъ не будетъ казать.

Неловко чувствовалъ я себя въ тѣ дни, когда въ штольнѣ происходила обивка. Тутъ я видѣлъ полнѣйшую свою безпомощность и бесполезность, видѣлъ, что сижу на плечахъ у другого. Самое большое, что я могъ дѣлать, это держать свѣчку или наставлять кирку; балдой же работалъ Семеновъ или кто другой изъ силачей. Никто изъ нихъ, правда, не ропталъ на меня; но мнѣ самому бывало жалко и противно мое безсиліе, мое дворянское худосочіе. Слушая, какъ стонетъ гора подъ могучими ударами Семенова, и какъ самъ онъ при каждомъ взмахѣ молота рычить, подобно голодному тигру; видя, какъ трясутся и падаютъ подъ его балдою увѣсистыя глыбы гранита, казавшіяся мнѣ несокрушимыми твердынями,—я, сидя гдѣ-нибудь въ сторонкѣ на корточкахъ, со свѣчкой въ рукахъ, съеживался, скорчивался, душевно и физически превращаясь въ настоящаго ребенка, котораго пугала эта стихійная, всесокрушающая сила... Мнѣ казалось, что сила эта можетъ при желаніи раздавить меня, какъ червяка, и что всякое сопротивленіе съ моей стороны будетъ и смѣшно, и бесполезно. И думалось мнѣ въ минуты отчаянія: вотъ правдивый образъ народа и интеллигенціи! Какъ онъ могучъ и какъ

чѣстѣ темень и слѣпъ, этотъ несчастный труженикъ-народъ, и какъ жалка ты, зрячая интеллигенція, пылающая горячей любовью къ нему, мечтающая о вселенскомъ братствѣ и счастья, но имѣющая такіа слабыя руки, такую ничтожную волю для осуществленія высокаго идеала! Кричи, плачь, зывай—твоя вопли безплодно замрутъ въ глухомъ лабиринтѣ дѣйствительности и не будутъ услышаны титаномъ, оглушаемымъ дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, отъ которыхъ вадрагиваетъ мать-земля и съ нею наше безсильное, пугливое сердце... Титанъ ничего не слышитъ, весь обливаемый собственнымъ потомъ и кровью. Онъ только рычитъ, какъ левъ, при каждомъ взмахѣ своей исполинской руки, и горе, горе тебѣ, если ты сумѣешь оторвать его отъ этой работы и первый будешь замѣченъ имъ! Левъ растерзаетъ тебя,—и что же останется отъ твоихъ свѣтлыхъ мечтаній, отъ твоего горячаго, любящаго порыва?.. Одни паразиты останутся, чтобъ продолжать свое гнусное дѣло...

— Будемъ продолжать наше дѣло, Иванъ Николаевичъ!—кричить во все горло Ракитинъ, появленія котораго, занятые работой, мы съ Семеновымъ и не замѣтили. Онъ кончилъ свой урокъ въ шахтѣ и теперь прибѣжалъ посмотрѣть, что я дѣлаю.

— Давай-ка, Петруша, мнѣ балду. Вотъ какъ развернусь я, да ударю, тряхну своей старинушкой дорогой, такъ ажно искры посыплются...

— Изъ глазъ,—говорить Семеновъ, подавая ему балду.

Ракитинъ, дѣйствительно, ударяетъ разъ пять-шесть; но скоро ему надоѣдаетъ это занятіе, и, усѣвшись, онъ принимается болтать, о чемъ попало.

Не безъ удовольствія вспоминаются мнѣ тѣ дни, когда я работалъ въ штольнѣ вдвоемъ съ „осиновымъ боталомъ“. Работа двигалась тогда медлениѣ, но за то было веселѣе. Даже когда Ракитинъ находился въ меланхолическомъ настроеніи и склоненъ бывалъ къ философскимъ и лирическимъ изліяніямъ, и тогда одно какое-нибудь слово его, одна выходка разгоняли во мнѣ сразу всякую меланхолію. Однажды онъ былъ въ истинно трагическомъ положеніи. Выбуривъ уже вершковъ семь, онъ сдѣлалъ вдругъ самое плачевное открытіе.

— Иванъ Николаевичъ! А, Иванъ Николаевичъ,—жалобно позвалъ онъ меня:—вѣдь у меня бѣда.

— Какая бѣда?

— Камень-то, смотрите-ка, шатается!.. Того и гляди, совсѣмъ отпадетъ.

— Ну, такъ что-жъ? Тѣмъ лучше. У Петра Петровича патронъ сохранится. Въ другомъ мѣстѣ забуритесь.

— Въ дру-гомъ?! А эти чтобъ семь верховъ такъ и пропали? Всѣ труды, то-ись, мои? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да *они* развѣ поймутъ? Развѣ они способны? Они мнѣ же еще строжайшій выговоръ сдѣлаютъ, что забурился неладно; еще съ запиской, чего добраго, въ тюрьму пошлютъ.

— Ну, этого до сихъ поръ не случалось. Петръ Петровичъ, кажется, не такой человѣкъ.

— Всѣ они до поры до время хороши! А по-моему, Иванъ Николаевичъ, чтò бѣлая овца, что черная—духъ одинъ. Не заплакалъ бы я, кабы и всѣ они сегодня къ вечеру подошли, а завтра къ утру пропали! Нѣтъ-съ, почтеннѣйшій господинъ мой, на этихъ людей завсегда удобнѣе съ опаской поглядывать. Беречь себя надо, чтобы все, значить, въ исправности было.

— Но вѣдь этотъ камень все равно отвалится? Смотрите, какую ужъ трещину далъ.

— Тс! не шевелите-съ. Эхма! Да посмѣетъ ли онъ у насъ отвалиться, Иванъ Николаевичъ? У Егора-то Ракитина? Чтобъ у Егора Алексѣевича Ракитина отвалился? Чтобъ семь верховъ моихъ пропало, трудовыхъ, кровныхъ семь! Да никогда этого... Ой-ой-ой! валится, Иванъ Николаевичъ, ей-богу валится.. сейчасъ вотъ упадетъ... Придется колѣнкомъ поддарживать. Мнѣ бы до восьми только и достукать-то, еще вершочекъ одинъ. Тутъ и не надо больше, восьми вполне будетъ достаточно.

И съ уморительно-серьезнымъ и печальнымъ видомъ онъ принялся потихоньку бурить, все время поддерживая двухпудовый камень колѣномъ. Я хоталъ до упаду, глядя на эту картину, а Ракитинъ не переставалъ бурить и въ то же время болтать, то жалуясь на свою судьбу и проклиная злополучный день, когда онъ на свѣтъ зародился, то переходя внезапно къ бодрому и разудаловеселому настроенію, для котораго все на свѣтѣ—трынть-трава! Наконецъ, ему удалось-таки добурить до восьми вершковъ, и камень не отвалился. Ракитинъ радовался этому, какъ ребенокъ, плясалъ, визжалъ, даже черезъ голову перекувырнулся. Потомъ сѣлъ, подперся, пригорюнившись, рукой въ щеку и запѣлъ свое любимое:

На серебряныхъ волнахъ,
 На желтомъ песочкѣ
 Долго, долго я страдалъ
 И стерегъ слѣдочки.

Однако, бѣда еще не вся была поправлена: трещина въ камнѣ была настолько велика, что нарядчикъ, придя палить, непременно долженъ былъ замѣтить ее. Потому Ракитинъ отправился въ свѣтличку, конспиративно приготовилъ тамъ глины и, вернувшись въ штольню, тщательно замазалъ всѣ щели около своего шпура. Петръ Петровичъ былъ проведенъ.

— А намъ больше что же и надо?—говорилъ, лукаво посмѣиваясь, Ракитинъ:—чтобъ жолобъ былъ замоченъ, чтобъ дырка готова была; а какая она, это ужъ дѣло Божіе и нарядчиково.

Ракитинъ находился въ числѣ сорока человѣкъ, представленныхъ въ вольную команду, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ выхода на свободу. Но странное дѣло: ни малѣйшей вражды къ Шахъ-Ламасу, поступокъ котораго отдалилъ его освобожденіе, я никогда въ немъ не замѣчалъ. „Не пофартило, значить“,—вотъ единственное объясненіе, которое давалъ онъ своему несчастію, и предпочиталъ не о прошедшемъ тужить, а о будущемъ мечтать. Онъ то и дѣло возвращался къ разговору о вольной командѣ.

— Вотъ хорошо-то было-бъ, Иванъ Николаевичъ! Вѣдь я ужъ три года, почестъ, свѣта бѣлаго не вижу; жену и сыночка въ этакомъ видѣ нечеловѣчецкомъ принимать долженъ на свиданіи: на ногахъ бруслеты, и краса съ головушки бритвой снесена! А какъ выду я на волю, Иванъ Николаевичъ, да въ вольную одежду наряжусь, такъ вы, повстрѣчавъ меня, такъ и ахнете: гдѣ, скажете, красота такая на свѣтъ зарождается? У меня, знаете, у жены въ сундучкѣ шапочка такая пуховая сохраняется, ровно котелокъ быдто...

— Жаль только, жены-то вы не любите... Она, говорите, старая?

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ, мало-ли что нашъ братъ говорить! Языкъ-то тоже вѣдь скучать не любить. Какъ можно жены родной не любить? Это правда, конечно, что она лѣтъ на десять меня старѣ и теперь, какъ есть, вовсе старушоночка. Ну, а все же законъ я соблюдать долженъ. . особенно по трезвому р... ный—ну, тогда другое дѣло. Искра эта дьяволова еже... намъ въ горло, тогда на человѣкѣ нѣтъ отвѣта...

— Чѣмъ же вы хлѣбъ станете добывать въ вольной командѣ?

— Примудримся, Иванъ Николаевичъ, примудримся! Первое дѣло—у меня къ торговлѣ большое склоненіе есть. Второе дѣло—жена у меня на всѣ руки мастерица большая—и шить, и стряпать, и торговать тоже. А главное, Иванъ Николаевичъ, тутъ секретъ одинъ нужно знать, чѣмъ торговать.

— Чѣмъ-же?

— Да этой самой водицей дьяволовой.

— То-есть водкой?

— Ну, да-съ, въ точку самую попали,—ею-съ.

— Но вѣдь если попадетесь, опять въ тюрьму засядете?

— Это ужъ на фартъ. Все можетъ случиться. И въ тюрьму засядешь. Очень даже просто. Только съ моимъ, Иванъ Николаевичъ, умомъ орудовать можно. Сколько въ эту башку, еслибъ знали вы, заложено Господомъ Богомъ! Сколько тамъ всякихъ плантовъ и размышленіевъ колобродить! Эхъ! Объ одномъ жалѣю: въ одномъ номерѣ съ вами не пожилъ, къ грамотѣ не приобыкъ настоящимъ манеромъ. Ну, а все же большое вамъ спасибо, Иванъ Николаевичъ, что свѣтъ показали. Безъ васъ никому бы тутъ и въ голову не вошло книжками заниматься, потому тунсы всѣ колыванскіе, простокішныя. А теперь я все же склады мало-мало разбирать zacząть. Немножко-немножко „Братьевъ Разбойниковъ“ не дочиталъ—отняли проды! Расчудесная книга; безпремѣнно куплю, какъ на волю выйду. Я вамъ лѣтомъ ягоды носить буду, Иванъ Николаевичъ. Каждый Божій день по цѣлому тунсу приносить стану, ей-богу! Самому некогда собирать будетъ, Кешку-подлеца пошлю. Парню три года вѣдь, пора ужъ отцу помогать.

— А что, Ракитинъ, не приходитъ вамъ иногда въ голову туда, за сопки махнуть?

— Это домой-то?

И безпечное лицо Ракитина вдругъ омрачилось и подернулось морщинками.

— Какъ не приходитъ, Иванъ Николаевичъ,—заговорилъ онъ таинственно:—только теперь жена и сынъ по рукамъ, по ногамъ меня связываютъ. Ну, а все-таки попомните мое слово, Иванъ Николаевичъ,—и Ракитинъ энергично ударилъ себя кулакомъ по колѣну:—не буду я Егоромъ Ракитинымъ, коли не услышите вы обо мнѣ! Ужъ я дожду своей черты! Потому мнѣ безпремѣнно нужно побывать дома!

— Для чего же это? Если не секретъ, скажите.

— Уже есть тамъ у меня одно дѣльце. Человѣчекъ одинъ такой есть, что какъ подумаю объ немъ, такъ ажно сердце у меня кровью обомреть! Живъ не буду, коли груди ему не выйму... Такъ вотъ и вопьюсь зубами, чуть только увижу!

— Бросьте, Ракитинъ, вздоръ говорить. И человѣка такого, вѣроятно, нѣтъ у васъ, и бѣжать вы вовсе не собираетесь.

— Кто? Я-то?! Еще какъ лататы-то задамъ, Иванъ Николаевичъ! Только, конечно, точки такой дождусь прежде.

Когда послѣ одного изъ такихъ разговоровъ мы вернулись въ тюрьму, оказалось, что тамъ произошло уже давно желанное событіе: около сорока человѣкъ выпустили въ вольную команду, въ томъ числѣ Тарбагана, Малахова, Пестрова и Гандорина. Ракитина также немедленно увели за ворота, и, уходя, онъ долго махалъ мнѣ шапкой и восторженно кричалъ:

— Благодаримъ, за все благодаримъ, Иванъ Николаевичъ! Не поминайте лихомъ Егора Ракитина. Ягодокъ безпремѣнно притащу вамъ. Въ ногахъ вываляюсь у господина начальника, а ужъ выпрошу, чтобъ пропустилъ.

За то для оставшихся въ тюрьмѣ былъ поднесенъ пренепріятный сюрпризъ въ видѣ новаго размѣщенія по номерамъ; придя въ свою прежнюю камеру, я узналъ, что уже переведенъ въ № 1. Кромѣ вышедшихъ на волю, я потерялъ Гончарова и Семенова, попавшихъ въ другую камеру, Гнуса и еще нѣсколько человѣкъ изъ старыхъ сожителей. Остались со мною братья Буренковы, Чирокъ, поэтъ Владиміровъ и Желѣзный Котъ съ своимъ молотобойцемъ Ефимовымъ. Съ присоединеніемъ пяти новѣхъ арестантовъ, насъ стало двѣнадцать человѣкъ,—число, при которомъ атмосфера камеры могла быть сносною. Администрація тюрьмы время отъ времени производила подобныя перемѣщенія, имѣя въ виду ту же цѣль, какую преслѣдовала и рѣшительно во всемъ—однообразіе. Въ данномъ случаѣ имѣлось въ виду однообразіе духовное, такъ какъ предполагалось, что съ теченіемъ времени у каждой камеры могла создаться своя особая фizioномія и особый характеръ, могли выработаться единомушіе и единомысліе, при которыхъ возможны мечты о подкопахъ и сопротивленіи волѣ начальства. Я уже говорилъ, что Лучезаровъ былъ великій политикъ и имѣлъ всѣ шансы пойти далеко...

Какое-то невольное чувство обиды (странное, положимъ, въ

каторгѣ!) примѣшивалось всякій разъ къ моему настроенію, когда, приходя въ тюрьму, я узнавалъ, что „перегнанъ“ на другое мѣсто: точно скотомъ распоряжались тобою, перемѣщая по капризу изъ одного стойла въ другое! Говорятъ, будто колодники съ сожалѣніемъ покидаютъ ту цѣпь, къ которой долгое время были прикованы, и я думаю, что въ этомъ утвержденіи есть доля правды. Я хорошо, по крайней мѣрѣ, помню то мрачное недовольство, которое испытывалъ послѣ каждой насильной разлуки со старыми стѣнами и сожителями и помѣщенія среди новыхъ, почти незнакомыхъ людей. То же самое чувствовалось и въ этотъ первый разъ. Мнѣ было невыразимо жаль и Гончарова съ Семеновымъ, и Тарбагана, и Малахова и даже двухъ дикарей-киргизовъ, спавшихъ у меня подъ нарами и нерѣдко смѣшившихъ весь номеръ своими продѣлками. Только присутствіе Чирка смягчало нѣсколько мое уныніе; но и онъ, видимо, скучалъ безъ „чернопазаго дьявола“ и Тарбагана. Ученики, со времени отнятія книгъ, мало меня занимали, да и сами они стали какъ-то лѣнивѣе и грустнѣе: ходили слухи о предстоявшей весной „выборкѣ“ на островъ Сахалинъ... Владиміровъ (Медвѣжье Ушко) и прежде былъ вялъ и неразговорчивъ, и большого интереса къ себѣ и привязанности внушить не могъ. Наконецъ, кузнецовъ я зналъ совсѣмъ мало: въ прежней камерѣ они стояли почему-то на заднемъ планѣ. Новые же арестанты всегда казались мнѣ въ большинствѣ несимпатичными, угрюмыми, враждебно настроенными.

— Нѣтъ, эти далеко не то, что тѣ были!—думалъ я про себя...

ФЕРГАНСКІЙ ОРЛЕНОКЪ.

Въ каждой тюрьмѣ можно замѣтить кучку арестантовъ, держащихся въ сторонѣ отъ общей тюремной жизни, замкнуто и отчужденно отъ большинства товарищей. Это инородцы-магометане,—киргизы, сарты, узбеки, татары (русскіе арестанты всѣхъ ихъ безъ различія называютъ „татарами“, такъ же, какъ всѣхъ уроженцевъ Кавказа—„черкесами“).

Въ свободное отъ работы время они или сидятъ гдѣ-нибудь въ уголку, съ грустнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ монотонно-пѣвучему, нѣсколько гнусавому чтенію своего муллы изъ Корана, или расхаживаютъ по тюремному двору степенно-тихою, почти торжественною поступью и ведутъ между собою таинственный, тоже, какъ-будто, грустный разговоръ.

Но мнѣ всегда казалось, что самою серьезною преградой къ сближенію мусульманъ-арестантовъ съ христіанскимъ большинствомъ является незнаніе ими русскаго языка, а отнюдь не религіозный фанатизмъ. Какъ только магометанинъ научается понимать русскую рѣчь и владѣть ею, взаимное отчужденіе быстро исчезаетъ, и онъ почти сливается съ общею арестантскою массой. Къ сожалѣнію, у большинства инородцевъ нѣтъ ни стимуловъ, ни желанія учиться по-русски, такъ какъ каждый изъ нихъ постоянно мечтаетъ о возвращеніи на родину. Изъ вольныхъ командъ и съ поселенія они бѣгутъ сразу цѣлыми десятками, при чемъ большая часть гибнетъ въ пути, или снова попадаетъ въ тюрьму, и только рѣдкимъ единицамъ удается пробраться въ Хиву, Бухару и даже въ Афганистанъ.

Особенной непріязнью русскіхъ арестантовъ пользуются почему-то сарты, среди которыхъ можно различить два главныхъ

типа: одни угрюмы, молчаливы и откровенно лѣнны; другіе, напротивъ, болтливы, веселы, но лукавы и искусно умѣютъ отлынивать отъ работы, сваливая ее на товарищей. Я помню одного такого сарта, молодого здоровеннаго толстяка, съ черной окладистой бородой, потѣшавшаго своей болтовней всю тюрьму. Онъ любилъ рассказывать о своихъ походахъ на волѣ и, хитро подмигивая, самъ про себя говорилъ, что Айдаръ Якубайка былъ „мошенчикъ, балшой мошенчикъ“, что если „урусъ“ поймалъ и посадилъ его въ тюрьму, то отъ этого онъ только „лученіе“, т. е. ученіе сталъ, и когда выйдетъ опять на волю, то урусамъ плохо придется. Якубайка былъ забавенъ, смѣшливъ, любознателенъ, ко всякому разговору прислушивался и, не смотря на плохое знаніе языка, всегда какъ-то умудрялся что-нибудь понять. Эти качества могли бы снискать ему общее расположеніе арестантовъ, если бы не ужасная лѣнность и хитрость во время работъ, гдѣ онъ показывалъ только видъ, что работаетъ, а всякую тяжесть сваливалъ на другихъ; къ этому присоединялась отвратительная жадность, обидчивость и сварливость. Онъ поминутно вступалъ въ драки и, при всей своей силѣ и дородствѣ, часто бывалъ при этомъ битъ, такъ какъ былъ неуклюжъ и комично-неповоротливъ; то проламывали ему голову, то вырывали клочъ волосъ изъ бороды... И нужно было видѣть Якубайку во время драки: онъ превращался тогда въ настоящаго звѣря, оскалывалъ зубы, страшно выворачивалъ бѣлки глазъ, рычалъ и визжалъ, подобно тигру. Къ чести его я долженъ, впрочемъ, сказать, что злопамятствомъ онъ не отличался: черезъ два часа онъ уже не помнилъ такихъ обидъ, за которыя русскіе арестанты, по крайней мѣрѣ на словахъ, въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ мечтаютъ отомстить. Выпущенный въ вольную команду, Айдарка немедленно бѣжалъ и, говорятъ, былъ убитъ степными тунгусами. Вѣроятно, хотѣлъ что-нибудь „скоропчить“ (украсть), но шелайское „лученіе“ не пошло въ прокъ: тунгусы оказались лучшими „мошенчиками“, чѣмъ онъ...

Гораздо симпатичнѣе были киргизы, или, какъ сами они себя называли, кыргызы.

Я любилъ наблюдать этихъ дѣтей природы, почти не затронутыхъ европейской городской культурой. Среди нихъ попадались лица съ тонкими, деликатными чертами, съ благороднымъ очеркомъ лба и нѣжнымъ выраженіемъ глубокихъ бархатистыхъ глазъ,

съ изящными нерабочими руками. При видѣ этихъ удивительныхъ фигуръ, вышедшихъ изъ глубины нашихъ оренбургскихъ и туркестанскихъ степей, мнѣ часто вспоминались индѣйскіе романы Купера, трогательная исторія послѣдняго изъ Могиканъ... Такъ, врѣзались мнѣ въ память братья Стамбеки—Теленчій и Эскамбай. Они пришли въ каторгу за грабежи каравановъ и неоднократный угонъ чужого скота. Теленчи былъ старшій и имѣлъ одинъ изъ тѣхъ симпатичныхъ обликовъ, о которыхъ я только что говорилъ: гибкій и тонкій станъ, длинное, смуглое, европейскаго типа, лицо съ небольшою эспаньолкой и глубокими задумчивыми глазами. Онъ былъ слабъ и хрупокъ и, пользуясь правами старшаго брата (*арá*), почти не работалъ. Эскамбай исполнялъ обыкновенно двойной урокъ—и за себя, и за него. Эта нѣжность братскихъ отношеній страшно возмущала кобылку, и на Теленчій сыпался отовсюду ругательства и попреки:

— У, лѣнивая татарская лопатка! Все только на братѣ ѣдишь? Радъ, что дурака нашелъ!

Теленчи былъ молчаливъ и постоянно грустенъ. Если бы можно было, онъ, кажется, съ зари до зари лежалъ бы на нарахъ, не поднимаясь съ мѣста. Но спалъ онъ мало, и часто ночью я видѣлъ открытыми его длинныя рѣсницы, изъ-подъ которыхъ задумчиво глядѣли большіе темные глаза. Эскамбай спалъ безмятежно, а Теленчи все думалъ...

Эскамбай имѣлъ совсѣмъ другой характеръ и даже другія черты лица, болѣе грубыя, болѣе отвѣчающія монгольскому типу: выдающіяся скулы, желтоватый цвѣтъ кожи, нѣсколько вкось поставленные глаза. Пара выбитыхъ переднихъ зубовъ придавала ему совсѣмъ дикарскій видъ. Но всѣ эти недостатки выкупались замѣчательно добрымъ, дѣтски-веселымъ нравомъ. Эскамбай былъ добръ и услужливъ не только по отношенію къ брату, но и ко всѣмъ, кто только безъ злобы къ нему относился. Такъ, онъ находился въ большой дружбѣ съ Чиркомъ, который съ своей стороны благоволилъ къ нему. Забравшись къ нему подъ нары, Эскамбай лаялъ оттуда, какъ настоящая собака, блеялъ, какъ чистокровный баранъ, и куковалъ, какъ самая несомнѣнная кукушка. Чирокъ не выдерживалъ, вскакивалъ и начиналъ выгонять обидчика изъ-подъ наръ ремнемъ, крича:

— Ахъ ты, татарская лопатка! Гадъ! Творенье!

А Эскамбай рычалъ оттуда по своему:

— У, идъ палась! Кучукъ палась (собачій сынъ)!

И вся камера помирала со смѣху.

Тотъ же Чирокъ обучалъ Эскамбая просить милостыню въ русскихъ деревняхъ.

— Вѣдь безпремѣнно пойдешь по бродяжеству, ужъ я хорошо знаю вашу звѣриную породу. Только выйдешь въ команду, сейчасъ котель на плечи—и айда домой!

И Эскамбай, лукаво улыбаясь этому пророчеству, учился у него „стрѣлять подъ окнами“ и „собирать саватейки“ *), кланяясь въ поясъ и уморительно выговаривая:

— Матушки, батушки, подайте мылостынку Бога рады!..

Стамбеки, дѣйствительно, бѣжали въпослѣдствіи изъ вольной команды, и о дальнѣйшей судьбѣ ихъ мнѣ ничего неизвѣстно.

При переводѣ въ № 1 я съ радостью увидѣлъ сосѣдомъ своимъ по нарамъ молодого узбека Усанбая Маразгалі, давно уже привлекавшаго мои симпатіи и сожалѣнія. Было что-то особенное, не передаваемое словами, въ этомъ гибкомъ, граціозномъ существѣ, въ его легкой походкѣ, въ лицѣ, то юномъ и жизнерадостномъ, то вдругъ словно поблекшемъ и постарѣвшемъ, съ замѣтными морщинками на щекахъ, съ горькимъ выраженіемъ въ углахъ губъ и въ черныхъ прекрасныхъ глазахъ. Я усердно разспрашивалъ арестантовъ, и, къ удивленію моему, оказалось, что почти вся тюрьма благосклонно относится къ этому странному юношѣ.

— Это Усанка-то?—говорилъ старикъ Гончаровъ:—да одного только его изъ всего этого звѣрья и видалъ я за всю жизнь, что мало-мало на человѣка находить. Этотъ совсѣмъ отъ ихняго брата особый. Мы-то всѣхъ зовемъ ихъ ровно—татарами да сартами, а по настоящему Усанка не сартъ. Онъ серчаетъ даже, когда его сартомъ зовутъ: „Моя, говорить, узбекъ, а сартовъ наша сторона тоджи не любятъ“. И чудной же парень этотъ Усанка, весельчакъ такой, забавникъ. Его и въ дорогѣ вся партія любила... Лѣни этой, что въ Якубайкѣ сидитъ, въ немъ, помни, и слѣда нѣтъ: и за себя сробитъ, и другому еще подсобить поровитъ. Я и то часто ему говорю: чего ты, Усанъ, надрываешься? Изъ нашихъ тоже вѣдь лодырей сколь хошь есть... Въ каторгѣ не надо себя черезъ силу нудить... Только смѣется, рукой ма-

*) Попрошайничать—на арестантскомъ жаргонѣ.

шеть: „Ладно! моя не боится!“ А какое ладно: самъ, помни, со-
всѣмъ больной! Онъ вѣдь избитый весь... Съ дороги у нихъ по-
бѣгъ былъ, въ ихней еще сторонѣ; отца-то и брата солдаты убили,
да и самъ при смерти былъ... Другой разъ такъ закашляется,
бѣдняга, ажно смотрѣть тошно... За грудь схватится: „Тутъ, го-
ворить, больно“. Славный парень, безхитрошный, нечего говорить!

Въ рудникъ Маразгали не назначали, и потому я долго не
имѣлъ случая познакомиться съ нимъ покороче, встрѣчаясь боль-
шею частью лишь на повѣркахъ; но въ тюрьмѣ ни о комъ чаще
не говорили арестанты, какъ объ Усанѣ, о томъ, какой онъ без-
хитрошный на работѣ, какъ черезъ силу тянется, не желая по-
нять, что и „изъ нашего брата тоже вѣдь есть подлецы“. Всѣ
единогласно хвалили также его веселость и любовно передразни-
вали плохой выговоръ русскихъ словъ. Между прочимъ, прошелъ
однажды по тюрьмѣ слухъ, что Маразгали замѣчательно искусный
борецъ, и что въ кухнѣ, въ борьбѣ на кушакахъ, онъ повалилъ
подъ-рядъ троицъ русскихъ силачей, отъ которыхъ никто не ожи-
далъ такого срама. Тюрьма заволновалась. Большинство было въ
восторгѣ отъ Усанбая и подзадоривало его къ дальнѣйшимъ по-
двигамъ; меньшинство же, тѣ, которые сами претендовали на славу
хорошихъ борцовъ, негодовали, увѣряя, что только мараться не
хотятъ, а то сразу могли бы „кишки выпустить татарскому га-
дѣнышу“... А Усанбай положилъ, между тѣмъ, одного за другимъ
на полъ еще съ пятокъ хвастуновъ, изъ которыхъ многіе были
вдвое тяжелѣе его и больше; но онъ бралъ подвижностью и лов-
костью своего гибкаго, молодого тѣла. Наконецъ, противники
привели въ кухню самого Андрюшку Борца, дѣтину страшнаго
роста и огромной силы. Его насилу, впрочемъ, уговорили—онъ
трусилъ... Не понадѣявшись, должно быть, на свою силу, Андрюш-
ка прибѣгъ къ подлой хитрости: не предупредивъ о способѣ, ка-
кимъ станетъ бороться, онъ вдругъ съ легкостью мячика пере-
бросилъ Маразгали черезъ голову... Дѣлается это ужасно риско-
ванно, прямо по-варварски: послѣ нѣсколькихъ примѣрныхъ эво-
люцій, одинъ изъ борющихся внезапно падаетъ впередъ на одно
колѣно, а ошеломленного неожиданностью противника съ силой
перекидываетъ въ то же время черезъ собственную голову. Не-
рѣдки, говорятъ, случаи смертельныхъ исходовъ такой борьбы...
Несчастный Маразгали сильно ударился плечомъ объ лежавшее
на полу колѣно и долго послѣ того хворалъ. Противъ Андрюшки

ополчилась вся тюрьма, но самъ пострадавшій только улыбался и, корчась отъ боли, говорилъ:

— Ничего, ничего, ладно.

Подвиги борьбы, однако же, прекратились послѣ этого случая. Я всячески старался сблизиться съ Маразгали, но странное дѣло: веселый и развязный съ другими арестантами, вѣчно съ кѣмъ-нибудь шутившій и возившійся, меня онъ почему-то конфузился и избѣгалъ, отдѣлываясь обыкновенно ничего не значащими фразами и спѣша убѣжать. Подражая арестантамъ, онъ долгое время даже называлъ меня на *вы*, хотя это было вполнѣ чуждого родному языку, и не иначе обращался ко мнѣ, какъ со словомъ „гас-падинъ“. Когда я, случалось, заходилъ къ нему въ камеру, то, не имѣя возможности куда-нибудь скрыться, конфузясь и отворачиваясь, онъ волей-неволей принужденъ бывалъ вступать со мною въ бесѣду. Къ намъ присосѣживался какой-нибудь доброволецъ, являвшійся въ затруднительныхъ случаяхъ переводчикомъ; Маразгали уморительно-плохо говорилъ по-русски, и часто я буквально ничего не понималъ изъ его рѣчей. Но, дойдя до исторіи своего побѣга, онъ обыкновенно оживлялся, переставалъ смущаться и съ горящими глазами и бурными жестами рассказывалъ о томъ, какъ онъ побѣжалъ, какъ въ него выстрѣлили... Онъ упалъ... На него налетѣлъ солдатъ со штыкомъ... Онъ вскочилъ, схватился за ружье и сталъ защищаться... Защищаясь, укусилъ солдату руку, и тотъ съ крикомъ убѣжалъ прочь... Тогда примчалась цѣлая орава новыхъ солдатъ, его повалили и искололи штыками... Плохо понимая слова, я, тѣмъ не менѣе, живо представлялъ себѣ этого молодого тигренка, который, будучи окруженъ врагами и ни откуда не видя спасенія, визжалъ, царапался и кусался, дорого продавая свою жизнь и свободу...

Потомъ Маразгали переходилъ къ самому больному мѣсту своей исторіи. Съ дороги онъ написалъ матери о томъ, что отецъ и братъ убиты, а ему самому срокъ каторги увеличенъ съ двухъ до десяти лѣтъ. Но мать, по его словамъ, вернула это письмо, не желая вѣрить, что писалъ его Усанбай, а не какой-нибудь „обманчикъ“.

— Не вѣрить... Ну, пускай не вѣрить!—съ горечью восклицалъ Усанъ, сердито махая рукой, а на глазахъ его стояли слезы.

По сбивчивымъ рассказамъ его самого и плохой передачѣ

самозванныхъ переводчиковъ, только это немного и могъ узнать я о прошломъ Маразгали. Однажды дошелъ до меня слухъ, будто онъ выказываетъ необыкновенную понятливость въ грамотѣ и уже усвоилъ самоучкой половину русской азбуки. Я съ радостью ухватился за это обстоятельство и тотчасъ же предложилъ Маразгали учиться со мной. Услыхавъ это, онъ почему-то страшно смутился и началъ умолять меня оставить его въ покоѣ.

— Гас-падинъ! Поджалуста, не надо, поджалуста!

Я приставалъ, убѣждалъ учиться, увѣряя, что самъ онъ потомъ радъ будетъ, когда пойдетъ на поселеніе грамотнымъ человекомъ. Маразгали слушалъ молча, отвернувшись, а потомъ опять шепталъ:

— Не надо, гас-падинъ, лютче не надо!

Я замѣтилъ даже слезы у него на глазахъ и пересталъ убѣждать.

— Это все штуки ихняго муллы Сафарбаева,—сказалъ мнѣ одинъ русскій, слышавшій нашъ разговоръ:—онъ запрещаетъ имъ учиться по русски.

Я отправился немедленно къ Сафарбаеву, молодому еще сарту, который лучше другихъ шелайскихъ магометанъ читалъ по-арабски и зналъ Коранъ, почему и считался среди нихъ муллою, и прямо задалъ вопросъ: не по его ли совѣту Маразгали не хочетъ учиться русской грамотѣ? Мулла, разсмѣявшись, объяснилъ мнѣ, что магометанскій законъ не запрещаетъ никакихъ наукъ и языковъ, и обѣщалъ съ своей стороны поговорить въ этомъ смыслѣ съ Маразгали. Но вскорѣ случилось новое размѣщеніе арестантовъ по камерамъ, и Маразгали очутился неожиданно моимъ сожителемъ и сосѣдомъ. Сближеніе наше произошло послѣ этого очень быстро, и мы сдѣлались друзьями.

Сожителемъ Усанъ былъ незамѣнимымъ, веселымъ, всегда вѣжливымъ и услужливымъ. Всѣ арестанты его любили и рѣзко выдѣляли изъ остальной массы магометанъ, не пользовавшихся въ большинствѣ симпатіями; да и самъ Маразгали стоялъ какъ-то въ сторонѣ отъ нихъ, рѣдко подходя къ ихъ бучкамъ и невнимательно вслушиваясь въ гнусливое чтеніе муллы изъ священной книги. Онъ, вообще, не умѣлъ долго сосредоточивать вниманіе на одномъ какомъ-либо предметѣ. Когда я снова предложилъ ему обучаться русской грамотѣ, онъ съ радостью согласился, объяснивъ прежнее свое нежеланіе тѣмъ, что очень меня боялся

и, считая себя почему-то неспособнымъ, думалъ, что я буду за это сердиться... Умѣя читать по-арабски, онъ скоро усвоилъ русскую азбуку и склады; даже научился довольно правильно писать тѣ слова, которыя я ему диктовалъ. Но, увы! плохое знаніе русскаго словаря не позволяло ему понимать прочитанное, и этимъ сильно охлаждалось рвеніе къ ученію. Для того же, чтобъ скоро научиться говорить по-русски, ему бы нужно было совсѣмъ не жить въ одной камерѣ съ татарами, а этого почти никогда не случалось. Въ концѣ концовъ, онъ такъ и не научился правильно говорить, хотя читалъ и писалъ недурно.

Вскорѣ я обстоятельно узналъ его грустную исторію.

Онъ былъ родомъ изъ Ферганской области, изъ окрестностей города Маргелана, гдѣ родители его занимались земледѣліемъ и разведеніемъ фруктовъ. Въ самый городъ они изрѣдка ѣздили по торговымъ дѣламъ. Семья, состоявшая изъ отца, матери и двухъ сыновей, жила очень дружно. Родителей огорчалъ только старшій сынъ Марасилъ, научившійся пить водку и играть въ кости. За это Норбютъ Маразгайлъ, отецъ Усанбай, часто жестоко билъ Марасила, но тотъ не унимался. Скоро онъ вошелъ въ долги, которыхъ отецъ не хотѣлъ уплачивать, и однажды ночью киргизъ, которому Марасилъ проигралъ въ кости значительную сумму, подерался къ ихъ жилищу, схватилъ лучшаго коня и поскакалъ въ степь. Норбютъ однако замѣтилъ покражу, разбудилъ сыновей, и всѣ трое верхами помчались въ погоню за похитителемъ. Они догнали его подлѣ самой его деревни, и Марасилъ первый свалилъ противника съ ногъ ударомъ кистеня по головѣ. Маразгайлъ-отецъ отрубилъ ему голову пашкой. Усанбай клялся и божился, что самъ онъ не билъ киргиза, а ограничился тѣмъ, что подалъ отцу пашку; впрочемъ, онъ вполне одобрялъ убійство, и когда я начиналъ съ нимъ спорить,—полушутя, полусерьезно говорилъ:

— Зачѣмъ жить такой человѣкъ, Николаичикъ (такъ называлъ онъ меня, не умѣя выговорить „Николаевичъ“; арестанта Канаревича, жившаго въ нашей же камерѣ, онъ называлъ Канарейчикомъ)? Воровать, карты играть... Зачѣмъ жить?

— Да вѣдь и Марасилъ въ карты игралъ?

— Марасилъ помиръ... Богъ наказилъ его.

— А ты самъ, Усанбай, никогда не пробовалъ играть?

— Пробовалъ, Николаичикъ,—говорилъ онъ смущенно, вино-

ватымъ голосомъ:—разъ пять рублей кости пригралъ... дорога шель... Алгачи тоджи разъ карты рупъ пригралъ...

— Нехорошо, Усанъ!

— Да я такъ, Николаичикъ... Я не умѣй... Чортъ знайтъ! Ничего не умѣй карты!

Когда убійство совершилось, начиналось уже утро, и убійцъ видѣлъ проѣзжій киргизъ. Норбютъ съ сыновьями былъ вскорѣ арестованъ и осужденъ: самъ онъ на 15 лѣтъ каторги, Марасилъ на 10, а Усанбай, какъ несовершеннолѣтній, на два года. Безъ слезъ не могъ онъ вспомнить сцену прощанія съ матерью, которую, видимо, страстно любилъ. Да и самъ онъ былъ ея любимымъ сыномъ. Кто то изъ арестантовъ похвалилъ однажды волосы Маразгали, нѣсколько вьющіеся и черные, какъ вороново крыло, съ синеватымъ отливомъ. Онъ оживился и сталъ рассказывать, какъ дома у него, по обычаю ихъ религіи, вся голова была бритая, только на макушкѣ оставался длинный локонъ-оселедецъ.

— Мать оставилъ, мать,—говорилъ онъ объ этомъ локонѣ:—глинный, глинный, вотъ такой... Ахъ, какъ мать плакалъ—прощался, лицо себѣ царапалъ, въ кровь царапилъ, кричалъ... Ахъ, какъ онъ кричалъ, мать!..

И каждый разъ, подойдя къ этому мѣсту разсказа, онъ замолкалъ, спѣшилъ уткнуться носомъ въ подушку и тамъ глубоко вздыхалъ... Сильное душевное волненіе, радостное или горестное, онъ выражалъ также комичнымъ прищелкиваніемъ языка.

Въ партіи Маразгали было тридцать два человѣка узбековъ, сартовъ и киргизовъ, конвойныхъ же солдатъ всего лишь восемнадцать. На третьемъ или четвертомъ станкѣ отъ города Вѣрнаго, гдѣ происходила дневка, замышленъ былъ побѣгъ. Конвой, ничего не подозревая, устави́лъ ружья въ козлы въ той-же камерѣ, гдѣ были арестанты, и усѣлся играть въ карты; только за дверями сталъ одинъ часовой. По условію, Норбютъ Маразгали съ крикомъ: „Алла!“ долженъ былъ кинуться на этого часового и обезоружить его, остальные должны были захватить ружья и перебить конвой. Норбютъ такъ и сдѣлалъ—съ крикомъ „Алла!“ обезоружилъ и умертвилъ часового; но остальные девятнадцать человѣкъ, бывшіе въ заговорѣ, въ рѣшительную минуту, очевидно, дрогнули и, не захвативъ ружей, кинулись вразсыпную бѣжать, куда глаза глядятъ. Побѣжали въ томъ числѣ и Усанбай

съ Марасиломъ. Конвой, опомнившись, выскочилъ изъ этапа и началъ стрѣлять въ бѣглецовъ. Норбюта былъ тутъ же, у порога этапа, поднять на штыки. Бѣглецовъ затрудняли тяжелые кандалы, висѣвшіе у всѣхъ на ногахъ; кусты были не близко. Только троимъ удалось скрыться; остальные шестнадцать всѣ были перестрѣяны и переколоты. Усанбай былъ раненъ въ ногу и упалъ; но, когда выстрѣлившій въ него солдатъ подбѣжалъ и хотѣлъ заколотъ его штыкомъ, онъ поднялся на ноги и отнялъ ружье. Между ними завязалась отчаянная рукопашная схватка, въ которой Маразгали такъ больно прохватилъ зубами руку солдата, что тотъ съ крикомъ убѣжалъ прочь. Но тутъ подоспѣли другіе конвойные и штыками и прикладами прикончили его. Такъ, по крайней мѣрѣ, сами они думали. По словамъ Маразгали, онъ больше сутокъ пролежалъ въ безпамятствѣ, а когда очнулся на вторую ночь, то сообразилъ, что надъ тѣлами убитыхъ стоитъ часовая, и что малѣйшій стонъ можетъ его погубить. Шестнадцатилѣтній мальчикъ, тяжело раненый, умиравшій отъ нестерпимой жажды и боли, имѣлъ силу воли не издать ни единого звука, не сдѣлать ни одного движенія до тѣхъ поръ, пока еще черезъ сутки не пріѣхалъ изъ Вѣрнаго докторъ и не сталъ свѣдѣтельствовать убитыхъ. Только тутъ Маразгали простоналъ и пошевелился. Но даже и тогда озвѣрѣвшіе солдаты кинулись къ нему и, навѣрное, добились бы, если бы не докторъ. Избиты были даже и тѣ двѣнадцать человѣкъ, которые не дѣлали попытки къ побѣгу и все время оставались въ этапѣ. вмѣстѣ съ ними Маразгали отвезенъ былъ въ Вѣрный и помѣщенъ въ лазаретъ; а тѣмъ временемъ, пока онъ болѣлъ и поправлялся, военносудная коммиссія судила его и, принявъ во вниманіе несовершеннолѣтіе и увлекающій примѣръ отца и старшаго брата, прибавила восемь лѣтъ каторги...

Выздоровѣвъ, Маразгали опять былъ записанъ въ партію и отправился по старой дорогѣ. На третьемъ станкѣ, гдѣ происходилъ побѣгъ и гдѣ были убиты отецъ и братъ, онъ такъ горько плакалъ, что возбудилъ состраданіе даже конвоя. Старшій (тотъ самый, что былъ и въ тотъ разъ) подошелъ къ нему и сказалъ:

— Моли Бога, Маразгали, что нѣтъ здѣсь кой-кого изъ тогдашнихъ солдатъ! Они и теперь еще прикончили-бъ тебя... Зачѣмъ ты бѣгалъ?

— Я плакалъ и ничего не могъ говорить. Старшій жалѣлъ меня и говоритъ: пойдѣмъ, Маразгали, могила смотрѣть, гдѣ Норбютъ и Марасиль лежатъ. Я пошелъ. Ахъ, сколько я плакалъ! Я взялъ тряпочка земля сыпать... та земля, гдѣ отецъ лежитъ... и всегда ее тутъ носить.

И Маразгали показывалъ мнѣ мѣшочекъ, висѣвшій у него на груди, въ которомъ былъ зашитъ драгоценный песокъ.

Часто, лежа на нарахъ съ заложёнными подъ голову руками, онъ напѣвалъ грустнымъ речитативомъ на тотъ манеръ, какимъ вообще читаютъ магометане Коранъ, какую-то жалобу-молитву, сложенную однимъ сартомъ-муллою, шедшимъ вмѣстѣ съ нимъ въ каторгу. Къ сожалѣнію, я не помню ея дословно, хотя Маразгали и не разъ переводилъ мнѣ эту прекрасную, истинно-поэтическую пѣсню; но каждый разъ, какъ я слышалъ ея монотонный, горькій напѣвъ, у меня разрывалось сердце отъ тоски и боли.

„Мы покинули нашу родину, женъ, матерей, дѣтей и братьевъ,—говорилось въ пѣснѣ муллы,—мы покинули наши прекрасныя поля, гдѣ растутъ джугара, рисъ и марена, гдѣ спѣетъ и наливается сладкій урокъ... Боже! не оставь насъ, не забудь на чужбинѣ!

„Страшна чужбина, куда мы идемъ, гдѣ безжалостный врагъ закуетъ насъ въ цѣпи, заключить въ мрачныя подземелья, заставить работать тяжкую работу... Никто не придетъ насъ утѣшить... Великій Боже! Не оставь же хоть Ты насъ на чужой сторонѣ, не забудь насъ!

„Въ страшную годовщину разлуки, когда наши жены и матери будутъ оплакивать насъ, какъ мертвыхъ, рвать на себѣ волосы, царапать лицо до крови и призывать Тебя въ свидѣтели своего горя,—Великій Отецъ! сосчитай ихъ и наши слезы, вспомни о насъ на чужбинѣ!“

Выше я упоминалъ уже о томъ, что съ дороги Маразгали писалъ матери, и письмо это она, будто бы, возвратила ему со словами, что его сочинилъ какой-то „мошенникъ“, что Норбютъ и Марасиль живы... По прибытіи въ каторгу, Усанбай послалъ ей второе письмо, въ которомъ повторялъ свои грустные новости и просилъ имъ вѣрить, и ровно черезъ восемь мѣсяцевъ,

уже при мнѣ, получилъ его обратно съ надписью Маргеланской почтовой конторы: „за неявкой адресата письмо возвращается“. Эти два обстоятельства: „невѣріе“ матери и ея „неявка“ ужасно смущали и огорчали Маразгали, и онъ часто спрашивалъ меня:

— Почему мать не вѣрить? Почему не приходитъ? „За неявкой“—какой неявка? Зачѣмъ?

Я самъ былъ, какъ въ темномъ лѣсу, и тщетно старался составить себѣ по неяснымъ и сбивчивымъ разсказамъ Маразгали какое-нибудь представленіе о почтовыхъ порядкахъ въ Ферганской области. Бѣдняга ровно ничего не зналъ, а я зналъ только фактъ, что никому изъ его земляковъ, которымъ я писалъ письма, ни разу не приходило съ родины отвѣта *). Наконецъ, Усану первому пришла въ голову мысль, что мать, можетъ быть, умерла... Тогда я предложилъ ему сдѣлать еще одну попытку послать письмо на имя одного изъ дядей, Пирмата, который жилъ въ той же деревнѣ, но по торговымъ дѣламъ часто ѣздилъ въ Маргеланъ и имѣлъ тамъ большія связи. Чтобы окончательно обезпечить успѣхъ, я вызвался въ контору къ самому Лучезарову и, обрисовавъ ему всю трагичность положенія Маразгали, просилъ, въ виду исключительности этого положенія, разрѣшить написать письмо по-татарски. Къ удивленію моему, Лучезаровъ, почти не колеблясь, далъ разрѣшеніе: ему, видимо, польстило мое обращеніе къ его гуманнымъ чувствамъ... Мы съ Маразгали торжествовали.

Въ ближайшее воскресенье мулла Сафарбаевъ написалъ подѣ нашу диктовку письмо на татарскомъ языкѣ; я, съ своей стороны, самымъ точнымъ образомъ надписалъ на конвертѣ адресъ и въ самое письмо также вложилъ конвертъ съ точнымъ адресомъ Маразгали. Однимъ словомъ, все, казалось, было рассчитано и застраховано. Письмо было отправлено заказной почтой, и квитанція его сберегалась самымъ тщательнымъ образомъ. Остает-

*) Объясняется это, по всей вѣроятности, дальностью разстоянія почтовыхъ станцій отъ мѣстожительства родни, живущей гдѣ-нибудь въ глуши, въ деревнѣ, а еще больше—незнаніемъ ею русскаго языка. Иногда, получивъ даже письмо отъ сына или брата съ каторги, узбекъ или сартъ не найдеть никого, кто бы могъ не только написать отвѣтъ, но и прочесть самое письмо, написанное обыкновенно варварски-безграмотно и неразборчиво. А писать изъ тюрьмы или получать не по-русски писанныя письма арестантамъ запрещается

лось терпѣливо дожидаться отвѣта. Почти каждый вечеръ съ тѣхъ поръ мы мечтали о томъ, какъ получить письмо дядя Пирмать, какъ немедленно извѣстить о немъ мать Усанбая, какъ послѣдняя будетъ рада и поспѣшить отвѣтить. Но, увы! дни шли за днями, мѣсяцы за мѣсяцами, а отвѣта почему-то не приходило... И Маразгали впалъ въ мрачное отчаяніе...

— Все померъ, все!.. — говорилъ онъ, ломая руки: — и мать померъ, и дядя померъ... Никто не остался!

Даже какое-то озлобленіе по временамъ овладѣвало имъ.

— Зачѣмъ, Николаичикъ, мать не вѣрить, почта не ходить? Зачѣмъ мать родилъ меня? Надо убійть мать, убійть!

— Что ты говоришь, Усанбай, Богъ съ тобой!

— Богъ тобой, Богъ тобой... Какой Богъ? Гдѣ Богъ? Зачѣмъ Богъ каторга дѣлалъ?

Я не зналъ, что отвѣтить на этотъ вопросъ, а Маразгали горестно прищелкивалъ, по своему обыкновенію, языкомъ и, упавъ на постель, предавался „хапъ“. Такъ называлъ онъ свой мрачный сплинъ, въ которомъ находился иногда по нѣскольку дней, когда ничто не могло его занять и развеселить, когда все свободное отъ работы время онъ лежалъ, какъ пласть, на нарахъ, закрывшись халатомъ, тяжело вздыхая и все думая, думая... Старикъ Гончаровъ хорошо переводилъ это „хапъ“ русскимъ словомъ „думка“... Однажды вечеромъ онъ былъ особенно грустенъ, и когда я присталъ къ нему съ неотступными вопросами, объяснилъ мнѣ:

— Ахъ, Николаичикъ! Сегодня мать плячетъ... Сегодня я вѣхалъ каторга... Отецъ, братъ... Мать кричалъ, плакалъ... Ахъ!

И вдругъ, всплеснувъ руками, самъ засыпалъ меня вопросами:

— Зачѣмъ, скажи, Николаичикъ, человекъ на свѣтъ приходитъ? Зачѣмъ каторга на свѣтъ? Зачѣмъ урусь законъ нехорошій? Наша сторона законъ лютче: убилъ человекъ — самъ земля кушай! Башка рубить! Колъ сажать! А то каторга... Мучиться, плякать... Ахъ! Нашъ законъ лютче... Умирать надо, Николаичикъ!

Онъ глядѣлъ на меня глазами, полными слезъ, и я пришелъ въ ужасъ при мысли, что для Маразгали и, дѣйствительно, нѣтъ впереди лучшаго исхода... Но я утѣшалъ его, какъ могъ, стараясь разогнать черныя мысли о смерти и направить ихъ въ другую сторону.

А „халатъ“ продолжалась, становясь тѣмъ мрачнѣе и упорнѣе, чѣмъ ближе подходило лѣто, чѣмъ ярче зеленѣли за стѣнами тюрьмы сопки и сильнѣе доносился до насъ ароматъ расцвѣтшаго шиповника и лиловаго богульника. Здоровье Маразгали совсѣмъ пошатнулось; онъ все лѣто кашлялъ, иногда даже кровью, и хватался за бокъ, жалуясь на боль.

— Маразгали, — говорили ему даже надзиратели: — чего бы тебѣ къ фершалу хвостомъ не ударить? Дуракъ ты этакій, вѣдь изведешься совсѣмъ.

— Не хочу холстомъ, — отвѣчалъ онъ, печально улыбаясь: — скажутъ — холстобой, холстобой Маразгали! Не хочу.

И нерѣдко мнѣ приходилось, противъ его воли и желанія, просить фельдшера освободить его на нѣсколько дней отъ работы. Тогда онъ по цѣлымъ днямъ лежалъ гдѣ-нибудь на дворѣ, на солнцѣ, кутаясь въ халатъ и предаваясь своимъ мрачнымъ думкамъ. Къ концу лѣта, однако же, онъ поправился, повеселѣлъ и опять сдѣлался на время душою камеры и всей тюрьмы. Опять возился, боролся, шутилъ съ арестантами, надрывался на работѣ. Вернулась и надежда получить письмо съ родины...

— Спой-ка что-нибудь, Усанка, — говорили ему, шутя, арестанты, и онъ начиналъ читать на распѣвъ свое любимое:

— Балá мено джинка,
Балá мене любка..
Я поѣхалъ въ лѣсъ по дрова,
Шизая голубка.

Далѣе онъ не зналъ словъ этой пѣсни, да не понималъ смысла и того куплета, который зналъ; но тѣмъ милѣе звучали въ его устахъ эти перековерканные слова и тѣмъ больше вызывали смѣху.

— Нѣтъ, ты „старушку“ спой, настоящимъ манеромъ спой, да попляши!

Маразгали, краснѣя, отказывался. Тогда кто-нибудь изъ бойкихъ входилъ въ середину собравшейся вокругъ него толпы и начиналъ плясать и пѣть:

А старушкѣ сорокъ лѣтъ,
Молодушкѣ году нѣтъ!

Услыхавъ знакомый и любимый мотивъ, Маразгали не выдерживалъ и тоже начиналъ подтягивать и очень мило покачиваться,

топчае на мѣстѣ, на подобіе того, какъ ходятъ дѣвушки въ хоровахъ, въ довершеніе сходства помахивая при этомъ платкомъ.

Ой, старушка постарѣла,
Молодая, подбодрись!..

Кто-нибудь третій прихлопывалъ въ тактъ ладошами.

Но вдругъ, замѣтивъ по близости меня или кого-нибудь изъ надзирателей, любующихся его пѣніемъ и пляской, Маразгали страшно конфузился, обрывалъ пѣсню на полусловѣ и, сопровождаемый общимъ хохотомъ, убѣгалъ къ себѣ въ камеру...

Онъ находился въ непрерывномъ движеніи. Сейчасъ можно было встрѣтить его въ корридорѣ борющимся съ кѣмъ-либо изъ арестантовъ, или весело напѣвающимъ свое „Балъ мене джинка, балъ мене любка“; черезъ минуту — увидѣть сидящимъ за книжкой, или вяжущимъ себѣ татарскую феску изъ моихъ старыхъ шерстяныхъ носковъ; а еще черезъ минуту — гуляющимъ по двору и съ любопытствомъ наблюдающимъ за ласточками, выющими около своихъ гнѣздъ. Но вотъ вниманіе его привлечено молодымъ голубемъ, усѣвшимся на тюремномъ крыльцѣ и изъ-за деревянной колонки не замѣчающимъ приближенія челоуѣка. Мгновенно Усанъ преобразается: изогнувшись, какъ кошка, вытянувъ впередъ голову и одну руку, а другую какъ-то странно закинувъ назадъ, онъ осторожными, неслышными шагами по песку двора подкрадывается къ намѣченной жертвѣ. Лицо его приняло хищное выраженіе, глаза горятъ, какъ у звѣренка, въ которомъ пробудился охотничій инстинктъ, и весь онъ превратился изъ деликатнаго и мягкосердечнаго Маразгали, котораго я знаю и такъ люблю, въ первобытнаго дикаря, кровожаднаго сына степей... Одинъ мигъ — и зазѣвавшійся голубокъ трепещется въ его цѣпкой рукѣ, громко бьетъ крыльями и пускаетъ по двору пухъ. Праздно бродившіе по угламъ арестанты, привлеченные шумомъ, бѣгутъ на мѣсто дѣйствія и смѣхомъ и восклицаніями привѣтствуютъ Усанкину ловкость. Я тоже подхожу, недовольный жестокіой игрой, придуманной моимъ ученикомъ, и готовый прочесть ему нравоученіе... Но оно оказывается уже лишнимъ — Маразгали опять весь преобразился: онъ такъ нѣжно прижимаетъ къ своему лицу перепуганную птичку, съ такой лаской и осторожностью проводитъ рукой по ея перышкамъ, и лицо его сіяетъ такой мягкостью и любовью, что готовый сорваться упрекъ застываетъ

на моихъ губахъ. И прежде, чѣмъ я успѣваю окончательно приблизиться, Маразгали, поднявъ голубка кверху, разжимаетъ ладонь. Оторопѣвшій плѣнникъ, будто, раздумываетъ нѣсколько секундъ, но затѣмъ стрѣлой взвивается къ небу и начинаетъ въ немъ радостно кружиться, провожаемый ликующимъ хохотомъ кобылки и внимательными сіяющими взорами Маразгали...

Однако, я съ затаенной тревогой слѣдилъ за этимъ видимымъ воскресеніемъ, опасаясь, что оно лишь временное и продлится недолго. И, дѣйствительно: благодаря своей неосторожности на работахъ, отъ которой я безсиленъ былъ уберечь его, въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда наступила гнилая сѣверная осень, вѣтреная, то со снѣгомъ, то съ дождемъ, то съ внезапнымъ морозомъ, Маразгали сильно простудился и заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ. Цыница-фельдшеръ не хотѣлъ было класть его въ лазаретъ и все допрашивалъ меня: чего я такъ хлопочу объ этомъ звѣренушѣ? Но я пригрозилъ, что пожалуюсь начальнику тюрьмы, и тогда, вѣря преувеличеннымъ слухамъ о моемъ вліяніи на послѣдняго, онъ немедленно исполнилъ всѣ мои желанія. Впрочемъ, если Маразгали и перенесъ счастливо эту болѣзнь, то единственно благодаря могучей природной организаціи, а отнюдь не заботливости или искусству этого темнаго эскулапа. Съ своей стороны, я дѣлалъ все, что могъ, для Маразгали, дѣлясь съ нимъ тѣмъ, что самъ имѣлъ, и все свободное время просиживая близъ его койки. Говорить ему много нельзя было, но онъ глядѣлъ на меня теплыми, благодарными глазами и ласково улыбался. Однажды онъ спросилъ меня шепотомъ:

— Я не умру, Николаичикъ, нѣтъ?

Я поспѣшилъ, разумѣется, дать отрицательный отвѣтъ и даже разсмѣялся дѣланнымъ смѣхомъ, хотя въ душѣ далеко не былъ увѣренъ, что опасности нѣтъ,—и Маразгали горячо пожалъ мою руку. Онъ перенесъ эту тяжелую болѣзнь, но потомъ часто мнѣ признавался, что сильно боялся смерти и страстно хотѣлъ остаться жить...

Между тѣмъ, въ моей головѣ созрѣлъ планъ освободить Маразгали изъ каторги и вернуть на родину. Планъ этотъ состоялъ въ подачѣ на Высочайшее имя прошенія отъ имени Усанбая, съ изложеніемъ всей его плачевной исторіи, безъ малѣйшихъ прикрасъ и оправданій. Мнѣ представлялось яснымъ, какъ Божій день, что если только прошеніе дойдетъ до Петербурга и будетъ

тамъ прочитано, — свобода Маразгали обезпечена. Придя къ этому убѣжденію, я рѣшился опять прибѣгнуть къ „гуманнымъ“ чувствамъ браваго штабсъ-капитана. На этотъ разъ Лучезаровъ удивился моей просьбѣ и прежде всего выразилъ сомнѣніе, чтобы попытка могла имѣть успѣхъ.

— Такихъ просьбъ тысячи пишутся, — сказалъ онъ, — и изъ тысячи на одну обращаютъ вниманіе.

Я отвѣчалъ, что эта именно просьба и можетъ быть одной изъ тысячи, такъ какъ я глубоко увѣренъ въ ея правотѣ и законности. Лучезаровъ пожалъ плечами.

— Да какая ему польза будетъ? — продолжалъ онъ еще отговаривать: — вѣдь онъ... все равно же умретъ? Вѣдь у него чуть ли не чахотка?

На это я возразилъ, что всѣ люди смертны, и тѣмъ не менѣе каждый думаетъ о лучшемъ будущемъ.

— Ну, что же, — рѣшилъ, наконецъ, Лучезаровъ: — сочиняйте, пожалуй... Я прикажу потомъ своему писарю переписать по настоящему.

Вернувшись въ тюрьму, я немедленно написалъ прошеніе, переливъ на бумагу, казалось мнѣ, лучшую часть своей сердечной крови... Лучезаровъ, прочитавъ, выразилъ полное одобреніе:

— Сильное у васъ перо, сильное!

И еще разъ подтвердилъ обѣщаніе отдать прошеніе писарю для переписки и отправить затѣмъ, куда слѣдуетъ.

Послѣ этого мы предались съ Маразгали мечтамъ еще болѣе радужнымъ, чѣмъ въ тотъ разъ, когда писали къ дядѣ Пирмату. Мы рѣшили, что ровно черезъ годъ, слѣдующей осенью, долженъ получиться отвѣтъ изъ Петербурга... Въ томъ, что отвѣтъ будетъ благопріятный, я не сомнѣвался ни на минуту и старался увѣрить въ томъ же и своего друга. Но однажды мы чуть серьезно не поссорились. Еще разъ (кажется, уже въ десятый разъ) заставивъ Усана разсказать исторію убійства киргиза, я впервые обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что онъ подалъ отцу шапку, и мнѣ показалось, что раньше онъ скрылъ отъ меня это важное обстоятельство.

— Затѣмъ же ты раньше молчалъ? — разсердился я: — Вотъ, царь и скажетъ теперь, прочитавъ прошеніе, что ты лжешь, потому что въ дѣлѣ отыщется другой твой-же разсказъ.

Маразгали ужасно огорчился.

— Я говорилъ, Николячикъ, говорилъ, — шепталъ онъ, оправдываясь и глядя на меня умоляющимъ взоромъ: — ты забылъ...

— Нѣтъ, ты скрылъ, Усанъ, скрылъ и этимъ, можетъ быть, повредилъ себѣ!

Но тутъ за Маразгали вступились другіе арестанты, много разъ, подобно мнѣ, слышавшіе его рассказы о своемъ прошломъ и подтвердившіе, что онъ всегда упоминалъ о шашкѣ, и я напрасно обвиняю его во лжи.

Маразгали съ упрекомъ взглянулъ на меня.

— Вотъ видишь, вотъ видишь, — вскричалъ онъ радостно: — Маразгали говорилъ... Онъ ничего не пряталъ!

Я былъ пристыженъ... И хотя Усанъ тотчасъ же простилъ и забылъ мою несправедливость, но имъ овладѣло уже безпокойство о томъ, ладно ли написано прошеніе. Съ большимъ трудомъ я его успокоилъ, сообразивъ и самъ, что допущенная мною неточность, бывшая скорѣе простымъ умолчаніемъ, нежели ложью, ни въ какомъ случаѣ не могла повліять на неблагопріятный исходъ дѣла.

Незабвенные вечера, полные вѣры и счастья! Мы оба такъ живо рисовали себѣ, что вотъ уже пришло Маразгали полное помилованіе, и онъ ѣдетъ домой, въ свой теплый и свѣтлый Маргеланъ... Онъ находитъ тамъ живой и здоровой мать и всѣхъ родныхъ и собственной рукой пишетъ мнѣ обо всемъ подробныя письма... Наши мечты забѣгаютъ иногда такъ далеко, что уже и я выхожу на поселеніе и ѣду къ нему же, Маразгали, въ его Маргеланъ; онъ угощаетъ меня урюкомъ, рисомъ и жирной бараниной, и мнѣ до того приходится по вкусу Ферганская область, что я самъ рѣшаюсь тамъ навсегда поселиться... Въ концѣ концовъ Маразгали женилъ меня на узбечкѣ и плясалъ на моей свадьбѣ... Наивныя золотыя мечты! Что случилось съ вами?

Между тѣмъ, бравый штабсъ-капитанъ съ своей стороны хотѣлъ выказать Маразгали благоволеніе и въ самый день Нового года объявилъ о выпускѣ въ вольную команду, до которой по закону ему оставалось еще около года. Выпускъ этотъ для обоихъ насъ былъ такъ неожиданъ, что Маразгали въ первыя минуты совсѣмъ растерялся, хотя, видимо, всетаки обрадовался. Обрадовался и я...

Однако, вспомнивъ, что намъ приходится разстаться, Маразгали внезапно омрачился и сталъ меня увѣрять, что не радъ

вольной командѣ, что тюрьма лучше. Я утѣшалъ его и, пожимая руку, все повторялъ:

— Помни, Усанъ, что я говорилъ тебѣ: не играй въ карты, не пей водки, не бѣги! Убѣжишь — тогда все пропадетъ, ни дома, ни матери не увидишь, потому что все равно тебя поймають. Жди лучше отвѣта на прошеніе.

— Лядно, лядно, Николяичикъ... Пасибо... Будь здоровъ!

И мы разстались.

Къ сожалѣнію, жизнь Маразгали въ вольной командѣ сложилась въ высшей степени неудачно. Не было тамъ руки, которая бы оберегала его отъ всего злого и темнаго. Прежде всего у него установились дурныя отношенія съ русскими вольнокомандцами-товарищами. Многіе и въ тюрьмѣ уже съ завистью поглядывали въ послѣднее время на то, что, благодаря дружбѣ со мной, онъ находился въ лучшемъ матеріальномъ положеніи и жилъ, „словно баринъ какой“. Не нравилось нѣкоторымъ и то, что я написалъ ему прошеніе, тогда какъ многимъ русскимъ отказывался писать.

— Чѣмъ онъ лучше насъ, татарскій змѣенышъ? Вѣдь каждому на волю-то хочется.

Путемъ разныхъ темныхъ слуховъ и сплетенъ недоброжелательство это перенеслось и за стѣны тюрьмы: говорили, что Усанъ самъ начальникъ покровительствуетъ, и что тутъ дѣло не просто, — что онъ „язычкомъ, видно, ударять умѣетъ“... Начались мелкія придирки и преслѣдованія. Представляю себѣ, чтѣ должна была выстрадать гордая душа Усанбая, терпя эти неправыя обиды и нападки; представляю себѣ и дикія вспышки его чисто-восточнаго гнѣва, во время которыхъ онъ и въ тюрьмѣ бывалъ страшенъ... Такъ, помню одну стычку его съ Тараканьимъ Осердіемъ изъ-за какого-то злополучнаго мѣшка, полученнаго изъ стирки: Тараканье Осердіе признавало его своимъ, а Маразгали указывалъ на какой-то значекъ зубами, сдѣланный имъ на мѣшкѣ въ видѣ мѣтки. Сначала шло простое словесное переосердіе, причемъ оба соперника держались обѣими руками за спорную вещь; но потомъ Маразгали внезапно вспыхнулъ, какъ огонь, и вслѣдъ затѣмъ смертельно поблѣднѣлъ... Руки задрожали и судорожно сжались... Онъ былъ живописенъ въ эту минуту со своей поднятой гордо головой и страшно потемнѣвшими глазами... Тараканье Осердіе выпустило мѣшокъ изъ рукъ

и, шамкая про себя какія-то ругательства, отступило... Могу, поэтому, вообразить, какъ бѣгалъ однажды Маразгали съ ножомъ въ рукѣ за вольнокомандцемъ, который обозвалъ его самымъ ужаснымъ для каждаго арестанта словомъ, означавшимъ шпиона... Насилу удержали его и успокоили.

Естественно, что при такихъ условіяхъ онъ принужденъ былъ отдалиться отъ русскихъ и тѣсно сплотиться съ кучкой своихъ единовѣрцевъ-магометанъ. Жизнь шелайскихъ вольнокомандцевъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ была далеко хуже жизни тюремныхъ арестантовъ: заработать копѣйку было негдѣ и нечѣмъ, и [приходилось питаться, какъ и въ тюрьмѣ, одной казенной баландой, не имѣя ни чаю, ни сахару; а уроки казенной работы были подчасъ тяжелѣе и больше. На Маразгали свалили ночной караулъ у амбаровъ съ арестантскими вещами и продуктами. Ему приходилось бодрствовать по ночамъ въ жестокіе январскіе и февральскіе морозы, да и днемъ еще быть на посылушкахъ у надзирателей. Бѣдныя вскорѣ совсѣмъ изморились и началъ опять усиленно кашлять. Въ довершеніе злосключеній, въ началѣ великаго поста съ нимъ случилось несчастье. Злобная и мстительная кобылка рѣшила подвести его, и вотъ, замѣтивъ однажды подъ утро, что Маразгали задремалъ на своемъ посту, кто-то утащилъ нѣсколько гирекъ изъ-подъ казенныхъ вѣсовъ. Проснувшись и замѣтивъ покражу, онъ началъ умолять арестантовъ вернуть гирьки; но негодяи не сжалились и даже поспѣшили донести эконому о пропажѣ. Послѣдній, впредь до рѣшенія начальника, который еще спалъ, приказалъ Маразгали идти въ тюремный карцеръ.

Я былъ въ рудникѣ въ то время, когда его привели, а вернувшись съ работъ, узналъ уже о постановленіи держать Маразгали подъ арестомъ пять сутокъ. Каждый день посылалъ я заключенному черезъ парашниковъ табакъ и сахаръ и узнавалъ отъ нихъ, что здоровье его совсѣмъ плохо, что онъ лежитъ, не поднимая головы, и, по временамъ, только тихо стонетъ. На четвертый день ареста я еле уговорилъ фельдшера навѣстить Маразгали въ карцерѣ, и даже этотъ сомнительный представитель медицины нашелъ необходимымъ просить у Лучезарова разрѣшенія немедленно перевести его въ лазаретъ. Во время этого перевода я и увидалъ Маразгали, и съ трудомъ узналъ. Мой бѣдный ферганскій орелъ, что съ тобой случилось?..

Онъ показался мнѣ какимъ-то ошипаннымъ, полинялымъ, постарѣлымъ и невыразимо жалкимъ! Желтый, блѣдный и грустный, онъ съ трудомъ улыбнулся мнѣ и кивнулъ головою; онъ едва переставлялъ ноги; волосы были всклокочены и влажны отъ лихорадочнаго пота. Даже одежда имѣла самый плачевный видъ: скомканная шапочка, разорванный халатъ и рыжія дырявыя бродни...

Въ лазаретъ его помѣстили въ отдѣльную маленькую каморку, и все свободное время я опять проводилъ съ нимъ. Признаюсь: теперь я временами даже желалъ ему смерти... Чего могъ, въ самомъ дѣлѣ, ждать онъ отъ жизни? Что еще могла она ему дать, кромѣ новаго горя, обидъ и лишеній? Самъ Маразгали, повидимому, былъ въ конецъ истомленъ, и той молодой жизнерадостности, той безконечной жажды—во что бы ни стало существовать, какія замѣчались въ немъ во время первой болѣзни, теперь не было и слѣда. Но я старался отгонять прочь эти мрачныя думы и недобрыя желанія, старался увѣрить все-таки и себя, и больного, что онъ не умретъ и на этотъ разъ. И иногда, благодаря моимъ рѣчамъ, въ немъ опять вспыхивалъ огонекъ надежды; но чаще онъ грустно качалъ головою, въ отвѣтъ на всѣ мои увѣренія, и горько улыбался. Все время онъ не переставалъ каплять кровью. Однажды я засталъ его въ чрезвычайно возбужденномъ состояніи. Онъ ждалъ меня и обратился ко мнѣ со страстными упреками.

— Зачѣмъ я не бѣжалъ, Николаичикъ? Зачѣмъ слюшалъ тебя? Зачѣмъ ты говорилъ?..

И слезы хлынули градомъ...

Вскорѣ послѣ этого Усану стало, какъ-будто, лучше. Когда пріѣхалъ, наконецъ, тюремный врачъ, очереднаго посѣщенія котораго (разъ въ полгода) давно уже тщетно ждали въ нашемъ рудникѣ,—въ немъ возродилась настоящая надежда, и, приподнявшись съ постели, онъ, казалось, съ мольбой устремилъ на него взоръ. Но докторъ, — подлинно каторжный докторъ!—едва взглянулъ на больного и, махнувъ рукой, пошелъ вонъ. Я не вытерпѣлъ и подошелъ со словами:

— Ради Бога, докторъ, осмотрите получше этого мальчика... Быть можетъ, еще возможно что-нибудь сдѣлать.

Докторъ нахмурился.

— Братъ? Родственникъ?

— Нѣтъ, но судьба этого юноши трогательна...

— Будь она вдвое трогательнѣе, медицинѣ тутъ нечего дѣлать. Если бы можно было въ Италію, или на островъ Мадеру, ну, тогда... Но въ каторгѣ...

— Но вы же его не осматривали?

— То есть, это... что же такое? Учить меня? Служителя, больничные служителя! Господинъ фельдшеръ! Съ какой стати ходитъ сюда посторонній народъ? Здѣсь не театръ, а больница! Здѣсь не трактиръ! Больные нуждаются въ спокойствіи!

Я пожалъ плечами и вышелъ.

Наступила новая весна. Прилетѣла первые ея вѣстники—маленькія вертлявыя плиски. Солнышко начало пригрѣвать сильнѣе. На крышахъ ворковали голуби; весело летали и чирикали повсюду забіяки-воробьи. На сопкахъ показалась зеленая травка, и Маразгали сталъ выходить на дворъ грѣться на солнышкѣ. Возродились мечты о домѣ и матери...

— Николяничикъ, я видѣлъ сегодня,—сказалъ онъ однажды,—ночью видѣлъ... сартанка... Красивый, красивый!

Онъ прищелкнулъ даже языкомъ для лучшаго опредѣленія красоты видѣнной во снѣ сартанки—и вдругъ страшно перекоффузился, покраснѣлъ и укрылъ голову желтымъ больничнымъ халатомъ.

— Я выпишусь скоро, Николяничикъ, ей-Богу, выпишусь! Смотри: я совсѣмъ здоровъ, совсѣмъ. Только вотъ тутъ немножко болить... тутъ... вотъ какъ это мѣсто... Чортъ знайтъ, что тамъ болить? Сердце болить, печенка болить? Чортъ знайтъ!

Порывы жизнерадостности проходили, и ихъ смѣняла тупая, ничѣмъ не интересующаяся апатія, когда даже въ самые солнечные и теплые дни я не могъ уговорить его покинуть душную больницу и выйти на свѣжій воздухъ. Тогда пугалъ его самый легкій вѣтерокъ, и ни птички, ни солнышко, ни первые цвѣты—ургуи *), которые я приносилъ ему изъ рудника, не могли развѣять его мрачнаго сплина. Внѣшній видъ тоже быстро ухудшался. Тѣло превратилось въ настоящій скелетъ; въ лицѣ не

*) Ургуй—забайкальскій подсѣжничекъ, красивый и довольно крупный цвѣтокъ. Пять лиловыхъ лепестковъ съ желтымъ глазкомъ по срединѣ.

было ни кровинки, на губахъ только играла порой кровь, да глаза горѣли особенно яркимъ огнемъ и необыкновенно расширились. Онъ догоралъ, какъ свѣча...

Разъ я засталъ его разбирающимъ передъ осколкомъ зеркала волосы на головѣ. Увидавъ меня, онъ хрипло засмѣялся.

— Смотри, Николаичикъ, смотри: сидой... И тутъ сидой, и тутъ... Весь волосъ—старикъ!..

— А сколько тебѣ лѣтъ, Маразгали?

— Богъ знаетъ. Судился Маргеланъ—шестнадцать лѣтъ.. Судился Вѣрный—два годъ прошло... Дорога одинъ годъ... Алагачи сидѣлъ—еще годъ... Здѣсь—еще полтора годъ.

— Значитъ, тебѣ двадцать два года.

— Да, двадцать два. Кто знаетъ? Мать знаетъ...

И при последнемъ словѣ онъ горько задумался.

Я давно уже чувствовалъ нѣкоторый упадокъ собственныхъ силъ и рѣшилъ, пользуясь этимъ предлогомъ, самому записаться въ больницу, предвидя близость роковой развязки и желая найти послѣдніе дни при своемъ любимцѣ. Лампада угасала быстро, масло было на исходѣ...

Въ послѣдніе дни умирающій говорилъ со мной о Богѣ, спрашивалъ, куда попадетъ онъ—въ бегимъ—рай, или джагенѣмъ—адъ? Увидитъ ли отца и брата? Увидитъ ли мать? За послѣднее онъ особенно боялся, такъ какъ въ Коранѣ, по его словамъ, ничего не упоминалось о будущихъ судьбахъ женщинъ...

Утромъ послѣдняго дня онъ еще разъ оживился, привсталъ на койкѣ и началъ яркими красками описывать Маргеланъ, восхищаясь его сладкимъ урюкомъ, рисомъ и проч., при чемъ нѣсколько разъ прищелкнулъ даже языкомъ.

— Наша сторона, Николаичикъ, тоджи трава есть: всякая болѣзнь лечитъ, всякая болѣзнь!.. Ахъ, здѣсь нѣтъ такой трава.. А эти лекарства... Чортъ знаетъ, ничего не помогайтъ, ничего.

И онъ опять прищелкнулъ языкомъ, чтобы лучше выразить свои горестныя чувства по этому поводу. Не зная, что отвѣтить, я нашелъ почему-то нужнымъ сообщить одну слышанную мною новость, будто на Кавказѣ устраивается каторжная тюрьма—для южныхъ инородцевъ, которые не въ силахъ выносить холоднаго сибирскаго климата. Услыхавъ это, онъ, какъ будто, обрадовался.

— Это хорошо,—сказалъ онъ серьезно:—Кавказъ хорошо.

И, улегшись снова, завернулся съ головой въ одѣяло. Я вышелъ. Въ два часа дня пришелъ ко мнѣ больничный служитель Дорожкинъ, улыбаясь.

— Вотъ чудакъ этотъ Усанка! Сейчасъ зоветъ меня: „Давай, говоритъ, ѣсть! Теперь много ѣсть буду... Больше, больше всего тащи!“ Я натащилъ ему яицъ, хлѣба... и онъ цѣлыхъ три яйца съѣлъ и большущій ломоть черного хлѣба. Теперь спать легъ.

Я разсердился на Дорожкина.

— Съ ума вы сошли! Что вы надѣлали? Вѣдь черный хлѣбъ можетъ повредить...

Дорожкинъ засмѣялся.

— Ему-то повредить?! Да вы что? Сами-то въ себя-ль вы? Все равно вѣдь не сегодня—завтра помретъ. Пущай на дальнюю дорогу провіантомъ запасается.

Я замолчалъ. Черезъ часъ Дорожкинъ снова вошелъ.

— Теперь скоро конецъ!

Я встревожился.

— Почему вы такъ думаете?..

— Потому одѣяло зачалъ дергать и руками въ воздухъ что-то ловить. Ужъ это вѣрный знакъ, будьте надежны...

Съ сильно бьющимся сердцемъ пошелъ я къ Маразгай и, не заходя въ комнату, сталъ слѣдить въ открытую дверь. Лежа на койкѣ лицомъ къ стѣнѣ и, казалось, съ раскрытыми глазами, по временамъ онъ, дѣйствительно, хваталъ что-то въ воздухъ лѣвой рукой... Я тихо окликнулъ его—онъ не отозвался.

На вечерней повѣркѣ онъ былъ еще живъ и, внезапно поднявшись, заговорилъ что-то на своемъ языкѣ.

— Чего ты, Маразгай?—спросилъ надзиратель.

— Ничего, ладно, — отвѣчалъ онъ и опять легъ. Это были послѣднія его слова.

Заглядывая робко въ дверь, мы долго еще видѣли, что онъ дышетъ. Уставъ отъ томительно-долгаго ожиданія, я задремалъ на своей койкѣ. Около полуночи Дорожкинъ разбудилъ меня.

— Кончился!..

— Не можетъ быть?..—вырвался у меня совершенно непроизвольный крикъ, котораго Дорожкинъ не удостоилъ даже отвѣтомъ, и я поспѣшилъ за нимъ въ комнату Маразгай. Нѣсколько больныхъ арестантовъ уже толпились около тѣла, тщетно стараясь закрыть широко раскрытые, точно удивленно глядѣвшіе глаза.

Я возмущился этой поспѣшностью и, отогнавъ прочь непрошенныхъ опекуновъ, взялъ исхудалую, какъ спичка, блѣдную, свѣсившуюся съ койки руку—она показалась мнѣ еще теплой. Я посмотрѣлъ въ глаза, но они не глядѣли уже осмысленно и казались стеклянными. Усанбай Маразгали окончилъ земное странствіе!

Дорожкинъ началъ суетиться вокругъ мертвеца.

Одна черта поразила меня въ старомъ бродягѣ, не признававшемъ ничего святого и ничего въ мірѣ не чтившемъ: довольно грубый и часто невыносимо-придирчивый въ обращеніи съ больными, теперь, по отношенію къ мертвому, онъ обнаруживалъ какую-то странную, почти материнскую нѣжность и заботливость.

— Ну, вотъ, гол-убчикъ! — приговаривалъ онъ, надѣвая на тѣло чистую рубашу,—увидишь теперь и Маргеланъ свой, и мать... Никто тебя больше не обидитъ, въ тюрьму не посадитъ!

Между тѣмъ, загремѣлъ замокъ, и въ больницу съ шумомъ вошли фельдшеръ и нѣсколько надзирателей, которымъ было уже дано знать о смерти арестанта...

Маразгали похороненъ на тюремномъ кладбищѣ, недалеко отъ дороги, по которой каторжная кобылка ходитъ въ рудникъ. Надъ его могилой нѣтъ креста, и зимой она вся бываетъ занесена снѣгомъ, а лѣтомъ густо покрыта цвѣтами богульника и томительно-душистаго шиповника. Какіе сны грезятся тебѣ, мой дорогой, бѣдный мальчикъ? Нашелъ-ли ты хоть здѣсь, въ этой темной могилѣ, успокоеніе отъ своей неисцѣлимой тоски по далекой родинѣ? И если да, то не къ лучшему ли случилось, что ты умеръ въ то время, когда жизнь не успѣла еще ожесточить тебя и загрязнить твой чистый, прекрасный образъ?..

ОДИНОЧЕСТВО.

I.

Въ новой камерѣ.—Невинные и жестокіе.

Разсказъ мой забѣжалъ, однако, далеко впередъ, и теперь я долженъ вернуться къ тому моменту, когда при новомъ размѣщеніи арестантовъ по камерамъ попалъ въ № 1. Репрессіи, вызванные инцидентомъ съ Шахъ-Ламасомъ, продолжались не дольше мѣсяца; затѣмъ снова начались мало-по-малу послабленія. Возвратили котлы, отсутствіе которыхъ такъ смущало Никифора, небрежнѣе стали опять замыкать камеры; появились неизвѣстно откуда карты; староста Юхоревъ съ другими иванами сталъ умудряться раздобывать по временамъ даже и водку... Единственнымъ напоминаніемъ о погибшей человѣческой жизни остались кандалы на ногахъ арестантовъ, да отобранныя у меня книги, которыхъ я не рѣшался снова просить у Лучезарова. Впрочемъ, съ горныхъ рабочихъ и кандалы вскорѣ опять были сняты: въ виду неоднократно случавшихся въ рудникахъ несчастій съ арестантами, закованными въ цѣпи, администрація горнаго вѣдомства, въ общемъ чрезвычайно гуманно относящаяся къ каторжнымъ и часто берущая ихъ сторону въ столкновеніяхъ съ тюремнымъ начальствомъ, ставила непремѣннымъ условіемъ, чтобы каторжные ходили въ гору раскованные *). Между тѣмъ, отсутствіе чтенія

*) Въ отношеніи кандаловъ тюремное начальство, вообще, не обнаруживало большой послѣдовательности и руководилось больше своимъ настроеніемъ. Вотъ почему и въ моихъ запискахъ (какъ въ I, такъ и во II томѣ) арестанты фигурируютъ то въ кандалахъ, то безъ кандаловъ; одно время вѣчные носили даже наручни...

Прим. авт.

вслуухъ было очень чувствительно въ долгіе зимніе вечера: не занятое ничѣмъ воображеніе арестантовъ, естественно, направлялось къ воспоминаніямъ о жизни на свободѣ, и мнѣ волей-неволей приходилось быть слушателемъ самыхъ ужасныхъ, кровавыхъ и циничныхъ исторій. Благодаря ли тяжелому внутреннему состоянію, покрывавшему для меня траурнымъ флеромъ весь Божій міръ и заставлявшему яснѣ видѣть въ людяхъ именно ихъ дурныя стороны, или благодаря чему другому, но только отъ этого времени сохранились у меня наиболѣе мрачныя воспоминанія о своихъ невольныхъ сожителяхъ; самые страшные рассказы врѣзались въ память именно въ этотъ періодъ. Особенно одно обстоятельство пугало меня въ этихъ рассказахъ: замѣчавшееся у большинства довольство своимъ прошлымъ и своимъ преступленіемъ, чрезвычайно легкое отношеніе къ пролитой человѣческой крови, къ разбитой чужой жизни и сожалѣніе объ одномъ только, что не хватило ума получше скрыть слѣды преступленія, не „пофартыло“ ускользнуть отъ рукъ правосудія... Даже въ наименѣ испорченныхъ я постоянно замѣчалъ стремленіе, во что бы то ни стало, оправдать себя, выставить невинно пострадавшимъ. Часто я склонялся даже къ заключенію, что раскаяніе въ томъ высшемъ смыслѣ, въ какомъ понимается оно образованнымъ міромъ, чувство совершенно незнакомое простолюдинамъ-арестантамъ. Всякій зародышъ его уничтожается въ ихъ душѣ сознаніемъ, что они терпятъ наказаніе, что ихъ мучаютъ и торзуютъ за совершенный грѣхъ. Въ началѣ знакомства почти каждый каторжный, даже изъ самыхъ закоренѣлыхъ, старался для чего-то увѣрить меня, что онъ осужденъ безъ вины, по злобѣ оскорбленнаго имъ слѣдователя или кого-нибудь изъ свидѣтелей (чаще всего свидѣтельницъ). Я настолько привыкъ къ этимъ увѣреніямъ, что сталъ потомъ скептически относиться къ рассказамъ и тѣхъ, которые, быть можетъ, дѣйствительно попали въ каторгу за чужой грѣхъ. Мнѣ гораздо больше нравилось, когда арестанты прямо, не стѣсняясь, признавали себя „разбойниками, подлецами и мошенниками“. Впрочемъ, и такихъ можно было раздѣлить на нѣсколько своеобразныхъ категорій. Одни, самые закоренѣлые, какъ-бы кичились и хвастались подобными „качествами“; это были—или дѣйствительно озлобленные до послѣдней степени, незаурядные въ своемъ родѣ люди, или же, наоборотъ, самыя дешевыя натурашки, крикуны и хвастуны, наглецы и вралы, не уважаемые своими же, на жизнь че-

ловѣка смотрѣвшіе, какъ на жизнь мухи, готовые за грошъ или рюмку водки совершить звѣрское убійство и всякую другую гнусность. Въ довершеніе всего—страшные трусы. Стараясь подражать большимъ злодѣямъ и приобрести славу такихъ же „громиль“, они заходили безконечно дальше ихъ въ радикализмъ взглядовъ на вещи: не только отрицали все святое на свѣтѣ, но и походя богохульствовали и кощунствовали; не просто убивали, а выпивали еще при этомъ стаканъ живой человѣческой крови; имъ нравилось на каждомъ шагѣ щегольнуть своей безпардонной и безповоротной отпѣтостью и развращенностью. Этотъ разрядъ арестантовъ, живые образцы которыхъ я въ свое время представляю читателю, самый антипатичный и вредный. Мелкія душонки и убогіе умишки, они неспособны ни къ какимъ высшимъ движеніямъ души, которыя такъ часто бываютъ знакомы преступникамъ типа Семенова или даже Гончарова. Само собой разумѣется, что и этотъ основной характеръ въ свою очередь имѣетъ нѣсколько подраздѣленій, начиная съ самаго беззастѣнчиво-откровеннаго нахальства и цинизма и кончая отвратительной двуличностью и подлипальствомъ. Что же касается тѣхъ, которые упорно объявляютъ себя безъ вины осужденными, то повторяю: всегда слѣдуетъ относиться къ подобнымъ завѣреніямъ *cum grano salis*. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что сорокъ лѣтъ назадъ, во времена Достоевскаго, когда Россія была „глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-безсудной“; когда, кромѣ крѣпостного права, существовала еще 25-лѣтняя солдатчина, и, по выраженію поэта, „ужасъ народа при словѣ *наборъ* подобенъ былъ ужасу казни“,—несомнѣнно, что въ тѣ времена въ каторгу долженъ былъ попадать огромный процентъ совершенно невинныхъ людей и еще больше—осужденныхъ не въ мѣру строго. Самыя ужасныя преступленія могли совершаться въ то время людьми вполне нормальными, нравственно неиспорченными, выведенными лишь изъ границъ терпѣнія несправедливымъ и аномальнымъ строемъ самой жизни. Поэтому Достоевскій имѣлъ, думается мнѣ, нѣкоторое право идеализировать обитателей своего Мертваго Дома, состоявшихъ почти на половину изъ военныхъ (чуть не поголовно грамотныхъ), по душевному строю стоявшихъ очень близко къ *народу*; но такого права не было бы у современнаго наблюдателя, который задался бы цѣлью нарисовать картину современной русской каторги. Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ,

сомнѣваться въ томъ, что за сорокалѣтній періодъ русское законодательство и русскій судъ такъ же, какъ и самая жизнь и нравы, сдѣлали огромные шаги впередъ по пути гуманизма и справедливости. А priori можно, поэтому, думать, что въ современную каторгу попадаютъ несравненно болѣе по заслугамъ, чѣмъ въ былыя времена, и что населеніе нынѣшней каторги, *въ главныхъ своихъ частяхъ*, представляетъ *подонки* народнаго моря, а отнюдь не самый народъ русскій... И дѣйствительно, не смотря на то, что добрая половина видѣнныхъ мною арестантовъ утверждала, что пришла въ каторгу за чужой грѣхъ, и почти всѣ безъ исключенія жаловались на суровость осудившаго ихъ „шемякинскаго“ суда,—при ближайшемъ ознакомленіи съ ихъ характеромъ, съ ихъ прошлымъ и тяготѣвшими надъ ними обвиненіями, мнѣ рѣдко приходилось отыскивать совершенно безъ вины осужденнаго человека. Въ большинствѣ случаевъ, если и можно было допустить ошибку, или пристрастіе судей въ данномъ случаѣ, то самъ же арестантъ сознавался, подобно Гончарову, что, невинный въ этотъ разъ, раньше того онъ совершилъ множество преступленій, достойныхъ каторги, но оставшихся не изобличенными. И, сознаваясь въ этомъ, онъ, тѣмъ не менѣе, жаловался на судьбу, клялъ всѣ суды и законы на свѣтѣ и утверждалъ, что его несправедливо послали въ каторгу...

Однако, значить ли все это, что я проповѣдую жестокое отношеніе къ нынѣшнимъ каторжнымъ, что, называя ихъ „подонками народнаго моря“, я тѣмъ самымъ выражаю къ нимъ полное презрѣніе, какъ къ „отбросамъ“, которые и заслуживаютъ того только, чтобы ихъ бросили и предали, по возможности, уничтоженію? Позволю себѣ надѣяться, что все написанное мной о мірѣ несчастныхъ отверженцевъ удержитъ читателя отъ столь несправедливаго и превратнаго пониманія моихъ словъ. Развѣ на днѣ моря нѣтъ перловъ? Если говорится, что сверху сосуда вода отличается лучшимъ качествомъ, то развѣ значитъ это, что на днѣ она совершенно уже негодна для питья? И развѣ главная задача моихъ очерковъ не заключается именно въ томъ, чтобы показать, какъ обитатели и этого ужаснаго міра, эти искалѣченные, темные, порой безумные люди, подобно всѣмъ намъ, способны не только ненавидѣть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать свѣта и правды и не меньше

насъ страдать отъ всего, что стоитъ преградой на пути къ человѣческому счастью? *)

Но вернемся къ нашему анализу. Существуютъ ли всетаки въ каторгѣ невинные, жертвы несчастныхъ недоразумѣній или судебныхъ ошибокъ? Теоретически говоря, несомнѣнно существуютъ, хотя мнѣ лично и не удавалось встрѣчать такихъ, въ невинности которыхъ я съ увѣренностью могъ бы поручиться. Что, напримеръ, могу я сказать объ отцеубійцѣ Дашкинѣ, неуклюжемъ дѣтинѣ огромнаго роста, съ непріятно-животнымъ выраженіемъ краснаго лица и бессмысленно сонными глазами,—о человѣкѣ, мыслительныя способности котораго имѣли самый первобытный характеръ? Онъ долженъ былъ отбыть въ каторгѣ, не снимая кандаловъ и не выходя въ вольную команду, ровно семнадцать лѣтъ, а по окончаніи этого срока, какъ всѣ отцеубійцы, отправиться въ Верхнеудинскій централъ на вѣчное одиночное заключеніе... Всякій арестантъ на его мѣстѣ, не имѣя впереди никакой надежды, только и думалъ бы о томъ, какъ бы „сорваться“, бѣжать или, по крайней мѣрѣ, перебраться въ другую тюрьму, гдѣ существованіе нѣсколько вольготнѣе; наконецъ, оставаясь даже и въ Шелайской тюрьмѣ, былъ бы для начальства бѣльмомъ на глазу, велъ бы себя дерзко, лодырничалъ и ничего не боялся. Между тѣмъ, Дашкинъ работалъ, какъ волъ, былъ тихъ и покоренъ, какъ агнеенокъ. Свѣдѣю, совсѣмъ не знавшему его человѣку могло бы придти, пожалуй, въ голову, что его грызетъ червякъ раскаянія, что онъ хочетъ заглушить муки совѣсти тяжестью взятаго на себя креста. Ничуть не бывало! Онъ категорически утверждалъ, что не убивалъ отца, или что, по крайней мѣрѣ, не помнить этого, такъ какъ въ моментъ убійства былъ безчувственно пьянъ.

— Ничего не могу сказать, самъ не знаю,—говорилъ онъ растерянно:—убилъ, али не убилъ, ничего не помню. Только вѣришь, что не я убилъ, а зять, потому не за что мнѣ было убивать отца!

По словамъ Дашкина, онъ и на слѣдствіи сначала не сознавался; но потомъ, будто бы, зять, котораго самого онъ не подозревалъ въ то время въ убійствѣ, убѣдилъ его сознаться, говоря, что судъ отнесется къ нему въ такомъ случаѣ мягче. Дуракова-

*) Резюме моихъ взглядовъ на этотъ предметъ читатели могутъ найти въ послѣсловіи къ настоящей книгѣ (см. т. II, 2-е изданіе)—«Отъ автора (postscriptum)».

Прим. авт.

тый Дашкинъ повѣрилъ этому и попалъ въ тюрьму на всю жизнь. Возможно, конечно, что осужденіе Дашкина и, въ самомъ дѣлѣ, было ужасной, истинно-трагической ошибкой; но возможно и то, что Дашкинъ вралъ, зная, какъ враждебно относится арестантская масса къ отцеубійцамъ.

Гораздо чаще встрѣчались случаи, когда человѣкъ осужденъ былъ только съ формальной точки зрѣнія законно и справедливо, но за то безчеловѣчно жестоко по существу. Наиболее яркимъ примѣромъ такого рода было дѣло Маразгали, о которомъ я выше рассказывалъ. Наше уложеніе о наказаніяхъ, вообще, черезчуръ сурово относится къ побѣгамъ, и только въ послѣднее время сама администрація начала обращать вниманіе на тотъ ужасный фактъ, что въ каторгѣ *до сихъ поръ* находятся люди, осужденные совершенно безвинно, съ современной точки зрѣнія, *еще во времена крѣпостного права* и на малые сроки, но потомъ, благодаря частымъ побѣгамъ, безъ совершенія при этомъ какихъ-либо преступленій, заслужившіе себѣ вѣчную и даже болѣе, чѣмъ вѣчную каторгу!.. *)

Но что было дѣлать закону съ такимъ, наприм., человѣкомъ, какъ нѣкій Шемелинъ, осужденный на двадцать лѣтъ за убійство родного брата, дѣйствительно имъ совершенное? Законъ и даже народные нравы особенно сурово относятся къ подобнымъ преступленіямъ. Худшіе изъ арестантовъ нерѣдко кричали на него и въ шутку, и серьезно:

— Ты хуже любого изъ насъ! Ты родного брата убилъ, Канинъ! Ты вѣшалицу заслужилъ!

И старикъ, видимо недовольный такими окриками и въ душѣ считавшій себя безконечно выше и лучше развращенной до мозга костей шпанки, терпѣливо выслушивалъ ихъ и молчалъ. Между тѣмъ, разбирая дѣло по существу, нельзя было строго винить Шемелина. Русскій мужикъ изъ самой глухой и забытой Богомъ мѣстности, выросшій, какъ пень въ лѣсу, среди такихъ же, какъ самъ, темныхъ и первобытно-простыхъ умовъ, набожный, трудолюбивый, запуганный, богатый терпѣніемъ и выносливостью, наконецъ, по своему глубоко-честный, онъ былъ обиженъ старшимъ

*) «Вѣчная» каторга фактически длится 20 лѣтъ; но сложные сроки арестантовъ, судившихся за побѣги и другія преступленія, совершенныя уже въ каторгѣ, бываютъ несравненно длиннѣе (25, 30 и даже 50 лѣтъ!).

Прим. авт.

братомъ, который оттягалъ у него клочокъ земли и ни за что не хотѣлъ вернуть. Споръ изъ-за межи длился цѣлыхъ семь лѣтъ, то затихая, то вновь вспыхивая, какъ потухающій костеръ, въ который упадетъ новая щепка, и постоянно поддерживая въ братьяхъ вражду. Старшій былъ, повидимому, смѣлѣе и нахальнѣе. Фактически завладѣвъ землей, онъ еще позволялъ себѣ при всемъ народѣ издѣваться, „галиться“ надъ младшимъ. Шемелинъ самъ говорилъ, что нѣсколько разъ приходило ему въ голову убить врага, но Богъ каждый разъ отводилъ отъ грѣха его руку. Но, наконецъ, и его терпѣніе лопнуло; и когда, въ одинъ изъ воскресныхъ дней, братъ, нарядившись въ праздничную одежду, шелъ мимо его дома въ церковь, онъ выстрѣлилъ въ него изъ ружья и убилъ на-повалъ. Шемелинъ никогда не защищалъ своего поступка, никогда не говорилъ, что такъ и въ другой разъ поступилъ бы; но онъ не сознавалъ, съ другой стороны, и всей моральной тяжести этого преступленія и глядѣлъ на него не какъ на грѣхъ, который нужно искупить муками каторги, а лишь какъ на несчастье, которое нужно какъ ни есть избыть. Молчаливый и уклонявшійся большею часгью отъ всякихъ споровъ и пререканій съ товарищами-арестантами, въ душѣ онъ все-таки считалъ себя хорошимъ человѣкомъ, имѣлъ своего рода гордость честности. Любилъ онъ, на примѣръ, рассказывать, какъ въ дорогѣ на одномъ изъ этаповъ вернулъ торговкѣ лишній двугривенный, который та дала ему сдачи, и какъ вся кобылка подняла его за это на смѣхъ. Этотъ первобытный умъ ярче всего обрисовался мнѣ въ одной бесѣдѣ, происходившей въ камерѣ по поводу прямыхъ и косвенныхъ налоговъ. Среди каторжныхъ были доки, для которыхъ теорія и практика государственныхъ финансовъ были сущими пустяками. Одинъ изъ нихъ, ругая на чемъ свѣтъ стоитъ правительство, сыпалъ фактами и цифрами. Остальные внимательно слушали его и поддакивали. Наконецъ, молчаливый Шемелинъ не выдержалъ и пѣвуче протянулъ:

— Ну, это ты вре-ошь.

— Что вру?..

— Да что эстолько берутъ съ насъ. У меня, къ примѣру, и въ жистъ столько денегъ не было, сколько ты въ одинъ годъ начелъ.

— Какъ? А ситецъ на рубаху себѣ-или на сарафанъ бабѣ ты покупалъ?

— Мы не покупали ситчевъ... Мы сами ткали, что было нужно. Это теперь только мода пошла и у насъ по деревнямъ наряжатча.

— Хорошо. Ну, а спички ты покупалъ?

— И спички мы сами дѣлали... Въ мое время крестьяне все сами для своего обихода дѣлали.

— О, чортова голова! Да табакъ-то курилъ ты? Чай, сахаръ имѣлъ?

— Табаку не курилъ я, Богъ миловалъ; а чай, сахаръ... Да я до каторги слыхалъ только про ихъ, а не зналъ съ чѣмъ и ѣдать!

— Вотъ трататонъ проклятый! Поди вотъ, поговори съ нимъ образованный человѣкъ, полюбуйся на дичь эту сосновую! Да водку-то ты пилъ? Платилъ за водку?

— Мы не платили и за водку.. Мы сами сидѣли...

Послѣ этого заявленія, ораторъ отошелъ отъ Шемелина прочь, съ сердцемъ плюнувъ и безнадежно махнувъ рукой; а Шемелинъ тоже замолчалъ, въ блаженномъ сознаніи своей неодолимой правоты и превосходства, предъ которыми безсильны всѣ козни враговъ. И, въ самомъ дѣлѣ, можно было умилиться передъ этой трогательной простотою физическихъ потребностей и умственныхъ интересовъ, не очень далекихъ отъ тѣхъ интересовъ и потребностей, какими живетъ трава въ полѣ, птица въ небѣ, дерево въ лѣсу. Не этой ли психической несложности обязанъ онъ былъ и своей „честностью“, устоявшею даже въ каторгѣ, подъ вліяніемъ сотенъ развращающихъ примѣровъ и фактовъ, подъ давленіемъ самой назойливой пропаганды всяческой подлости и мошенничества? Впрочемъ, и Шемелинъ уже сдѣлалъ имъ кой-какія уступки. Такъ, узнавъ, что всѣ лишнія казенныя вещи въ каторгѣ отбираются, и скопивъ въ то же время за дорогу путемъ старческой бережливости и аккуратности нѣсколько паръ веревекъ, онучекъ и другихъ тряпокъ, онъ зашилъ ихъ передъ прибытіемъ въ рудникъ въ подстилку, надеясь, что тамъ ихъ не найдутъ. Но въ Шелайской тюрьмѣ не только нашли ихъ, но и самую подстилку вмѣстѣ съ сбереженіями отобрали и предали сожженію. Старикъ очень былъ огорченъ этимъ и нерѣдко жаловался мнѣ, что дорогой онъ могъ бы продать ихъ за хорошую цѣну, да „вотъ, дурь какая-то вошла въ голову—непремѣнно въ каторгу пронести!“—Но какъ невинна

и проста была эта не удавшаяся хитрость въ сравненіи съ продѣлками и аферами настоящихъ каторжныхъ „артистовъ“!

Шемелинъ былъ честный изъ честныхъ въ Шелайской тюрьмѣ, честный настолько, что всѣ товарищи глумились надъ нимъ и сами признавали уродомъ въ своей семьѣ. Онъ и, дѣйствительно, былъ рѣдкимъ исключеніемъ. Что же могла дать такому человѣку каторга? Неужели что-нибудь полезное, душеспасительное? И не лучше ли было бы, не справедливѣе ли даже—отпустить такого человѣка на волю, ограничивъ наказаніе удаленіемъ съ родины? Я думаю, лучше; но законъ, къ сожалѣнію, не руководится соображеніями иной справедливости, кромѣ чисто-формальной и вѣшной, и потому Шемелинъ, осужденный на двадцать лѣтъ каторжныхъ работъ, долженъ былъ провести изъ нихъ семь лѣтъ въ тюрьмѣ (четыре года въ ножныхъ кандалахъ и всѣ семь съ бритой головой) и еще одиннадцать въ вольной командѣ, гдѣ нужно исполнять тѣ же каторжныя работы и подчиняться тому же безсудному режиму. Жизнь человѣка была разбита окончательно и безнадежно...

Я не разъ упоминалъ уже, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ арестанты напоминали настоящихъ дѣтей и дикарей. Хотя я и далекъ отъ мысли проводить полную параллель между преступниками и дѣтьми, даже и дурно направленными, сильно испорченными, тѣмъ не менѣе, невольно бросаются въ глаза нѣкоторыя сближающія черты: та же пылкая впечатлительность безъ глубины, и прочности впечатлѣній; то же неумѣнье скрывать душевныя движенія; та же неустойчивость воли, быстрые переходы отъ одной мысли къ другой, часто совсѣмъ противоположной первой, и—что еще хуже—необдуманность самихъ поступковъ, чересчуръ скорый переходъ отъ словъ къ дѣлу. Эта-то неустойчивость воли и служить, мнѣ кажется, главной причиной большинства преступленій. Но есть ли она непремѣнно признакъ прирожденной преступности, или такъ называемой дегенерантности? Ненормальность социальныхъ отношеній, невѣжественное воспитаніе, некультурность среды—вотъ, думается мнѣ, главные очаги заразы. Люди, столь же нормальные и здоровые, какъ и тысячи другихъ людей, преспокойно живущихъ на волѣ съ репутаціей безукоризненной честности, нерѣдко толкаются на преступный путь лишь дурными примѣрами, привычкой къ виду крови и всяческаго насилія. Нужно, впрочемъ, вспомнить, что и

дѣти бываютъ страшно жестоки и равнодушны къ чужому страданію; еще дѣдушка Крыловъ выразился о нихъ, что „сей возрастъ жалости не знаетъ“. Я самъ помню изъ временъ своего ранняго дѣтства, какъ бывалъ подчасъ жестокъ съ птичками, насѣкомыми и другими беззащитными существами, и какъ съ любопытствомъ присутствовалъ иногда при сценахъ возмутительнаго насилія (конечно, въ томъ случаѣ, если онѣ самому мнѣ ничѣмъ не грозили); между тѣмъ, ставъ взрослымъ и образованнымъ человекомъ, я не могъ спокойно выносить вида крови, даже слышать о какой-нибудь страшной ранѣ безъ невольнаго содроганія и ощущенія чисто-физической боли. Такъ велика разница между психикой ребенка и взрослого интеллигента! Многіе изъ арестантовъ сходны еще въ томъ отношеніи съ дѣтьми, что такъ же, какъ они, отличаются неумѣньемъ представить себѣ помощью воображенія и почувствовать, какъ свои, чужую боль и страданіе.

Жестокость нерѣдко объясняется также чувствомъ мести... Нельзя, впрочемъ, отрицать, что встрѣчаются среди преступниковъ и субъекты, у которыхъ природное легкомысліе соединяется съ особаго рода сладострастіемъ, цинизмомъ жестокости, совершенно бессмысленной, повидимому, ничѣмъ не объясняемой... Но это уже вырожденіе, исключенія, — больные люди, которыхъ нужно лечить, а не мучить.

До каторги я, напримѣръ, никогда бы и никому не повѣрилъ, что въ Россіи и по сію пору существуютъ еще людоеды; но меня увѣряли не только арестанты, но и представители тюремной администраціи, будто въ Алгачинскомъ рудникѣ сидѣло нѣсколько русскихъ и татаръ, осужденныхъ за торговлю (?) человѣческимъ мясомъ... На Сахалинѣ, будто-бы, есть множество убійцъ, ѣвшихъ мясо умерщвленныхъ ими враговъ. Даже въ Шелайской тюрьмѣ былъ одинъ бродяга, утверждавшій, что онъ самъ отвѣдывалъ пирожки съ начинкой изъ „человѣчины“ и нашелъ ихъ очень вкусными... Будь даже этотъ рассказъ лживъ, онъ всетаки довольно характеренъ. Другой арестантъ вполне хладнокровно рассказывалъ уже вполне правдоподобную, хотя и не менѣе возмутительную исторію. Онъ бродяжилъ съ товарищемъ-киргизомъ. По дорогѣ встрѣтили они молодую женщину и, прежде чѣмъ убить и ограбить, киргизъ отрѣзалъ несчастной правую грудь и выпилъ изъ нея чашку живой крови.

— Какъ же вы позволили ему сдѣлать такую гнусность?—спросилъ я рассказчика.

— А какое я имѣлъ полное право запретить?—былъ невозмутимый отвѣтъ:—онъ мнѣ товарищъ былъ.

— Да вѣдь это Богъ знаетъ что! Нужно было силой помѣшать.

— Ха! силой... А почему ему меня не осилить?

— За что же вы убили эту женщину?

— Такъ пришлось. Необходимость вынудила. Мы три дня голодомъ шли, а у нея были деньги. Самимъ было погибать, что-ли? Тутъ я, братцы, въ первый разъ увидалъ, какъ человѣчечью кровь пьютъ. Раньше думалъ, что это звѣри только лѣсные дѣлаютъ; ну, а тутъ увидалъ, что и нашъ братъ тоже...

— Еще какъ дѣлаютъ-то! — подтвердилъ одинъ изъ слушателей.

Никогда я не видалъ и не слыхалъ, чтобы рассказъ о какомъ-либо убійствѣ или истязаніи со всѣми ихъ гнуснѣйшими подробностями заставилъ кого-либо изъ слушателей содрогнуться, вскрикнуть, высказать злодѣю прямое неодобреніе. Напротивъ, публика была, видимо, всегда на сторонѣ палача, а не жертвы, и для перваго изъ нихъ всегда отыскивалось въ ея глазахъ какое-либо оправданіе. За то приходилось слышать веселый, дружный, раскатистый смѣхъ всей камеры при такихъ разсказахъ, отъ которыхъ у меня волосы на головѣ становились дыбомъ, и морозъ пробѣгалъ по кожѣ... Однажды маленькій и тихій обыкновенно арестантикъ, Андрюшка Поваръ по прозванію, повѣствовалъ въ моемъ присутствіи о томъ, какъ онъ убилъ свою любовницу. Исторія эта нѣкоторыми внѣшними чертами сильно напомнила мнѣ исторію Парамона, но по существу между ними не было никакого сходства.

Жилъ Андрюшка со своей Ульяной три года, причемъ, по собственнымъ его словамъ, безпробудно пьянствовалъ. Наконецъ, Ульяна изъ-за чего-то поссорилась съ нимъ и, забравъ свою „лопотъ“ (одѣжу), ушла отъ Андрюшки къ другому мужику. Самой любовницы Андрюшка не жалѣлъ, но „лопотъ“ считалъ своею и потому, нѣсколько дней спустя, явился къ бывшей сожительницѣ требовать назадъ принадлежавшія ему вещи. Послѣдовалъ грубый отказъ.

— Раньше я ничего такого на умѣ не держалъ,—разсказывалъ Андрюшка,—но тутъ меня забралò! Какъ, думаю! За мои

же деньги смѣять стерѣва такъ надо мной галиться?—Оглядываюсь. Въ углу на лавкѣ мужикъ сидитъ, ея новый любовникъ, а на столѣ большой ножъ лежитъ. Схватываю я ножъ: „А! ты такъ? говорю. Такъ вотъ же тебѣ, тваринѣ!“ и всаживаю ей ножикъ въ самое пузо... Она и шары выпучила... Гляжу: руки растопырила и валится, валится на меня... Вотъ этакъ... Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!..—грянула въ отвѣтъ камера при видѣ Андрюшки, изображающаго, какъ валилась на него убитая, распяливъ руки и вытаращивъ глаза!

— Куды налазишь, падло? — говорю ей. Толкъ ее отъ себя рукою... Она—брыкъ ногами и грянулась навзничъ... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!

Дрожа всѣмъ тѣломъ, съ ужасомъ смотрѣлъ я на этихъ людей, недоумѣвая, какъ могутъ они хохотать надъ подобными вещами. Ясно помню, какъ мнѣ показалось въ ту минуту, что я нахожусь въ домѣ сумасшедшихъ, и я невольно подумалъ объ одной криминальной теоріи, когда-то сильно возмущавшей меня тѣмъ, что она признаетъ всѣхъ „преступниковъ“ людьми съ ненормальными умственными способностями.

— Тутъ любовникъ ея какъ вскочить съ лавки! Схватилъ откуда-то топоръ, да какъ швырнетъ въ меня! Такъ мимо уха и просвистѣлъ топоръ, въ дверь на полчетверти вонзился. Опомнился я и къ нему тоже съ ножикомъ кинулся. „А! и ты жить не хочешь? Иди за ней!“ Полысъ и его въ брюхо... Онъ тоже шары выпучилъ и хлопъ на землю... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Чего же вы смѣтаетесь, Андрей?—не вытерпѣлъ я, все еще весь дрожа и ужасаясь:—развѣ такъ легко и пріятно людей убивать?

Камера притихла на минуту.

— А чего же тутъ труднаго? — спросилъ въ свою очередь Андрюшка, удивленно на меня взглянувъ:—я и самъ сначала думалъ: „не приведи, молъ, Богъ убить человѣка“. А на дѣлѣ увидалъ, что все едино—что барана, что человѣка зарѣзать! Тотъ же паръ. Ткнешь ножикомъ въ брюхо и не слышишь даже: такъ во что-то мягкое, ровно въ мякину, ножикъ ползетъ.

Въ камерѣ нѣкоторые опять засмѣялись, неизвѣстно на этотъ разъ—надъ чѣмъ: дивясь ли глупости Андрюшкиныхъ рѣчей, или же сочувствуя имъ. Мнѣ почудилось въ смѣхъ немножко того, немножко и другого.

— Теперь я, какъ изъ каторги выду,—продолжалъ расходившійся Андрюшка:—каждый день стану по одному ихъ рѣзать.

— Кого это ихъ?

— Да кого придется. Кто заслужитъ. Чѣрна овца, бѣлая овца—духъ одинъ. Попъ ли, попиха ли, пономарь ли—одно словіе. А пуще всего, братцы, бабъ стану рѣзать, потому въ ихъ я наиболѣе вкусу нашелъ... Ха-ха ха-ха-ха!

— Ну, а что же потомъ было, Андрей, послѣ совершенія убійства?

— Чтò было? То, что я дуракомъ самъ себя набитымъ okazaлъ. Могъ бы убѣчь очень легко, а я пошелъ и заявилъ сельскому старостѣ: такъ и такъ, молъ, убилъ двухъ чертей, принимайте. Ну, и скрутили мнѣ руки. Дѣло рано утромъ было. А къ ночи столько всякаго начальства наѣхало, что цѣлый бы день вѣшать—не перевѣшать. А въ ледникъ идти, гдѣ мертвяки лежатъ, бояться! Никто лѣзть не хочетъ... „Иди, говорятъ, ты, Андрей, вытащи ихъ сюда“. Мнѣ чего! Я полѣзъ. Гляжу: лежатъ, не шевелятся. Беру одну за волосы, другого за ногу и выволакиваю обоихъ на свѣтъ Божій: любуйся, честная компанія! Всѣ такъ и шарахнулись прочь... „Это твои, эти самые?“—спрашиваетъ меня застѣдатель. — Мои, говорю, ваше благородіе. Не сумлѣвайтесь, отдѣлка самая чистая... Ха-ха-ха-ха-ха! Потомъ въ тифу я шесть недѣль пролежалъ: все лѣзли ко мнѣ, проклятые...

— Кто?

— Мертвяки эти... Такъ и налазятъ, такъ и налазятъ! Я все ножомъ ихъ въ брюхо пырять: прочь, окаянные, отвяжитесь!

Андрюшка Поваръ пошелъ за свое убійство въ работу на одиннадцать лѣтъ. Сколько разъ ни рассказывалъ онъ товарищамъ свою исторію (я слышалъ ее отъ него, по крайней мѣрѣ, три раза), каждый разъ имъ овладѣвала почему-то неудержимая, почти истерическая веселость, и часто онъ готовъ былъ надорвать, что называется, животики отъ смѣха. А между тѣмъ, въ обычной жизни это былъ арестантъ далеко не изъ худшихъ, тихій и работающій, не потерявшій окончательно совѣсти и не наплевавшій на честность. Впрочемъ, онъ производилъ впечатлѣніе придурковатаго парня. Обыкновенно смирный и незамѣтный въ толпѣ, онъ былъ чрезвычайно вспыльчивъ и чувствителенъ къ насмѣшкамъ. Любилъ, кромѣ того, прилгнуть и прихвастнуть въ

разказахъ о своей прошлой жизни: такъ, если онъ пьянствовалъ, такъ непременно ужъ круглый годъ безъ просыпу; если убивалъ на охотѣ сохатаго, такъ прямо съ домъ величиною; если видѣлъ страшную змѣю, такъ съ крыльями. Кобылка относилась поэтому къ Андрюшкѣ свысока и разговорамъ его не слишкомъ довѣряла.

Помню не мало и другихъ рассказовъ, на меня наводившихъ трепетъ, а на сожителей моихъ самую, повидимому, беззапятную веселость. Однажды зашелъ разговоръ о мертвецахъ и связанныхъ съ ними повѣрьяхъ. Нѣкто Соколицевъ, одинъ изъ самыхъ бывавшихъ въ Шелайской тюрьмѣ арестантовъ, началъ съ сравнительно невинной исторіи.

— Дѣло было на Ленѣ. Я еще по первому разу въ Сибири былъ. Приспичило мнѣ съ товарищемъ—до зарѣзу деньжонками или припасами разжиться. Вотъ, приходимъ мы ночью въ большое село; видимъ, на краю—нежилая избушка, а заперта на замокъ. Ну, думаемъ, видно, клѣтъ, тутъ пожива предстоитъ. Снимаемъ замокъ, заходимъ. Въ сѣнцахъ ничего нѣтъ. „Постой, говорю я товарищу, на стремѣ, а я пойду, въ той половинѣ пошарю“. Захожу туда, чиркаю спичку. Глядь: туши бараньи лежатъ... Вотъ радость-то! Только хотѣлъ было одну за морду спалать—ахъ, чортъ возьми: мертвецъ!.. Штукъ ихъ десять лежатъ. Скоростязные, значить, убитые и прочіе доктора дожидаются. Дѣло зимой. Ага! думаю: сострою-жъ я надъ тобой штуку, испытанье сдѣлаю... Выхожу къ товарищу въ сѣнцы. „Ну, братъ, говорю, въ шляпѣ дѣло. Десять бараньихъ тушъ нашелъ. Иди, тащи одну али двѣ. Да ступай безъ огня, а то какъ бы не увидели“.— „Нѣтъ, говоритъ, безъ огня еще лобъ расшибешь, давай хоть пару спичекъ“! — На, говорю.—Вотъ онъ и пошелъ, а я замѣсто его на стремѣ сталъ. Какъ онъ вдругъ выскочить отсюда, ровно сумасшедшій... Куды? куды? кричу ему. Онъ ни слова въ отвѣтъ, мимо меня стрѣлой, да въ двери! На другой только день къ полудню его встрѣтилъ... Остался я одинъ, обшарилъ всѣ углы, снималъ съ покойниковъ рубахи и ушелъ.

— Что-жъ, такъ и не узнали?

— Нѣтъ, узнали. Глупъ еще былъ—уличили. А впрочемъ, ничего особеннаго не было. Подержали съ мѣсяцъ въ каташкахъ и отпустили на всѣ четыре стороны. Ну, высыпали, конечно, штукъ тридцать.

— А я такъ вотъ не таковъ: я боюсь мертвяковъ!—сказалъ Водяникъ, онъ же Желѣзный Котъ, извѣстный тюремный рѣмачъ и острякъ.—Право же, боюсь, хоть и самъ лапчатый гусь. Самъ себѣ дивлюсь: какъ я своего татарина убивалъ и хоронилъ!

— А ты развѣ за татарина?—спросилъ кто-то.

— О! я, братъ, за большаго барина,—отвѣчалъ кузнецъ:—у меня тоже не было въ грязь лицомъ ударено. Чисто было дѣльце обдѣлано. Кабы не баба проклятая, никто бы никогда и не дознался.

— Какая баба?

— Да своя же жаба.

— Жена? Вотъ сволочь! Чего-жъ это она?

— Такъ, братецъ, подвела, что по гробъ жизни попомню. Она-то и заслала меня въ здѣшнюю каменоломню.

— Расскажи-ка путемъ, Желѣзный Котъ.

— Идетъ. Ходилъ по нашему мѣсту мелочникъ-татаринъ. По двѣ сотельныхъ носилъ съ собой, да товару на столько же. Вотъ я разъ и говорю бабѣ: „Смотри, заведи съ нимъ торгъ покрупнѣе, мнѣ это будетъ половчае“. Зову татарина къ себѣ на дворъ: иди-ка, миляга, сдѣлаю у тебя кой-какой заборъ. Выходитъ моя баба, обступаетъ его середь двора—и ну цѣлую кучу товара изъ короба выволакивать. Я начинаю побрякивать: „Куда ты эстолько закупить хочешь? У меня мелкихъ нѣтъ, онъ размѣнять не сможетъ“. Будто, это меня тревожить. „Э! смѣется мой татаринъ: моя хоть сто цѣлковыхъ тебѣ размѣняетъ“. Ага! думаю: коли такъ, хорошо. Заплачу тебѣ ужю. Приношу изъ кузницы балодку фунтиковъ въ десять, становлюсь позади. Баба еще пуще торговаться и спорить. Теперь, вижу, въ самый разъ дѣльце спроворить. Хвать его балодкой по головѣ! Онъ и скovyрнулся на бокъ секунды въ двѣ. Тутъ я ему веревку на шею и утащилъ въ конюшню. Потомъ вмѣстѣ съ бабой мы пескомъ всѣ слѣды закрыли и затоптали; товары въ коробъ поклали и спрятали. Рѣшили: какъ наступитъ ночь, татарина въ болото уволочъ и въ прудъ спустить. Вотъ наступилъ вечеръ. Гляжу, а мѣсяцъ во всѣ лопатки свѣтитъ. Нельзя нести мертвяка—замѣтятъ. Ложусь опять спать. Просыпаюсь—еще того свѣтлѣе на дворѣ. Вотъ наказалъ Богъ! Плюнулъ со злости, еще разъ легъ. Наконецъ, просыпаюсь—темно. Ну, такъ бы давно. „Возьмемъ, говорю, хозяйка, но-

силки, понесемъ“. А она, стерва, упираться вздумала: „Какъ я ребенка оставляю? Онъ еще тутъ завенѣгаетъ, шуму надѣляетъ, народъ услышитъ, придетъ. Неси одинъ“. Разсердился я, плюнулъ ей въ косу: ладно, одинъ понесу! Пошелъ въ конюшню. А раньше того я шибко мертвяковъ боялся. Но тутъ крѣплюсь. Иду, за его берусь. Подтянулъ ему веревкой ноги къ спинѣ и посадилъ въ тачку... вотъ такъ...

Желѣзный Коть сталъ на колѣни, показывая, какъ мертвецъ сидѣлъ у него въ тачкѣ.

— Вывезъ за ворота, повезъ въ болото. Трудно было болотомъ ѣхать. Чуть гдѣ кочка, тачка моя куврыкъ на бокъ вмѣстѣ съ мертвякомъ. Вотъ этакъ.

Желѣзный Коть самъ повалился на бокъ.

— А гдѣ поболѣ толчокъ, тамъ мой мертвякъ и вовсе изъ тачки скокъ. Что тутъ дѣлать? Поднимаю тачку, опять его туды кладу.

Разсказчикъ при этомъ опять подымается на колѣни; вся камера заливается смѣхомъ, глядя на это живое представленіе.

— Ну, и Желѣзный-же Коть! Прямо два съ боку... Это не котъ, а объяденье.

— Ъду, братцы мои, далѣ. Сдѣлаешь шага три-ли, два-ли—кувыркъ опять мой татаринъ!

Желѣзный Коть опять ложится на бокъ, приводя зрителей въ неистовое веселье.

— И долго такъ я бился, покамѣстъ черезъ болото къ пруду не спустился. Ну, думаю, теперь слава Богу! Спущу туды и назадъ въ путь-дорогу. Бросаю въ прудъ. А заводъ-то ночью не работалъ *), воды въ прудѣ оказалось мало, двѣ четверти всего до дна. Не тонетъ мой татаринъ, да и на! Я его на одинъ бокъ, на другой—торчитъ, ничего не подѣлать. Пришлось снова вытащить, въ тачку мокрого посадить, опять тащить. Привезъ, наконецъ, къ золотомойной ямѣ. Яма будетъ съ нашу камеру, на днѣ вода. Мнѣ бы его вверзить туда, да бока-то у ямы не ровные. Мертвякъ мой покатиля, да гдѣ-то сбоку и зацѣпился. Не захотѣлось мнѣ туда лѣзть. Осерчалъ я, плюнулъ, махнулъ рукой и пошелъ домой. На утро пошелъ къ Агапову, фартовцу одному, и сговорился съ нимъ объ товарѣ, куда принести и что. На грѣхъ

*) Дѣйствіе происходитъ въ Пермской губерніи.

Прим. авт.

подслушай насъ его баба. Какъ попался татаринъ мой въ ямъ на глаза, у Агапова въ числѣ прочихъ сдѣлали обыскъ и нашли ситцу полштуки. Его сейчасъ же, голубчика, и въ руки. Цопъ въ тюрьму, во кромѣшную во тьму! Баба его испужайся и покажи на меня, что вотъ, молъ, слышала разговоръ мужа съ кузнецомъ объ товарѣ. И меня, молодчика, тоже забрали. Приходитъ моя баба ко мнѣ на свиданіе, рассказываетъ, кого да кого еще забираютъ. Клюкина, молъ, тоже зарестовали, нашли аршинъ ситцу, и свидѣтели показываютъ, что татаринъ къ нему въ тотъ день заходилъ, а онъ, дуракъ, отпирается. Я думаю себѣ: намъ въ пользу этотъ аршинъ. Ты ему, баба, еще подкинь. А тутъ еще и другое славное дѣльце наклевывалось у насъ съ Агаповымъ. Солдатъ одинъ высидочный соглашался въ сухарники идти, снять на себя убийство. Ужъ сговорились, какъ и что: 75 рублей денегъ, сапоги, шаровары плисовые, двѣ рубахи шелковыхъ, красную и синюю. Не будь моя баба розинкою—оказался бы я на волѣ. Жду ее на другое свиданіе, День проходитъ и два, и три, и недѣля цѣлая. Неидетъ баба. Вызываетъ меня слѣдователь: „Твоя, говоритъ, жена созналась“. Читаетъ мнѣ ея показаніе: все, какъ было, въ самую точку обсказано. У бабъ, извѣстное дѣло, рты не замазаны.

— Вотъ стерва! Что-жъ это ей въ башку взбрело? Надоумилъ, знать, кто?

— Вѣстимо, надоумили. Послѣ-то сама ревма ревѣла, въ ногахъ у меня валялась. Думала, вишь ты, мнѣ лучше будетъ, коли сознаюсь во всемъ! Что тутъ дѣлать? Поругалъ ее, поругалъ, въ зубы малость посовалъ, душу облегчилъ, да и простилъ. Пусть, говорю, дѣти не пропадаютъ, на меня жалобы послѣ не имѣютъ, я тебя отъ грѣха отстороню, все возьму на себя. И точно: такое показаніе далъ, что судъ ее вполне оправдалъ, мнѣ одному двадцать лѣтъ накачалъ. Только баба-то шельмой оказалась. Я рассчитывалъ, она по гробъ жизни мнѣ обязана послѣ этого будетъ, въ каторгу за мной пойдетъ. Пока тянулись судъ да дѣло, она и точно на шеѣ у меня висѣла, посулами да обѣщаньями тѣшила меня; а какъ вынулъ ее изъ огня, она не пришла и проститься. Посиживай теперь, милъ дружокъ, засадила я тебя въ хорошій мѣшокъ!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— А что, Миколанчъ,—обратился внезапно ко мнѣ Желѣзный Котъ,—могу-ль я ее, гадину, силой къ себѣ привести?

— Какъ это силой?—удивился я.

— А такъ. Нѣтъ ли закону такого, чтобы мужъ и въ каторгѣ могъ жену къ себѣ по этапу вытребовать?

— Нѣтъ такого закона. Да если она нехорошо съ вами поступила, зачѣмъ она вамъ? И жалѣть ее нечего!

— Да мнѣ чего вѣдь жалко? Приди она сюды—прошлась бы по ей моя палка! Такъ бы славно прошлась, что попомнила бы напередъ, каковъ я есть Желѣзный Котъ. Нельзя-ли какъ, Миколанчъ, письмоцо такое ей сварганить, притвориться, будто скучаю я по ей шибко, чтобы обманомъ, то есть, вызвать?

— Такого письма я, Водянинъ, не напишу.

— Ха! да почему-жъ? Что тутъ такого?

— То, что я былъ бы участникомъ обмана.

— Да обманъ-то не ко злу. вѣдь былъ бы? Не на смерть же я ее забилъ бы? Такъ, поучилъ бы только легонько, для памяти. А потомъ опять стали бы жить да поживать. Мнѣ дѣтей пуще всего жалко. Теперь бы старшаго къ ремеслу пора приучать. И самъ бы я въ вольную команду ранѣ вышелъ, человѣкомъ опять сталъ бы. Цѣль бы у меня была... А теперь я что? Пропавшая душа—одно слово. Выду на волю,—либо бродяжить пойду, либо въ новую втюрюсь бѣду. А безъ бабы какъ сюда дѣтишекъ достанешь?

Впослѣдствіи я убѣдился, что Водянинъ былъ отчасти правъ. Будь у него какая-нибудь цѣль въ жизни, онъ еще могъ бы стать на честную дорогу. Въ характерѣ его были нѣкоторыя очень хорошія черты. На слово, данное имъ товарищу, можно было смѣло положить; лицемѣрія въ немъ совсѣмъ не было. Дѣтей своихъ онъ очень любилъ, иногда со слезами вспоминалъ о нихъ и, не желая писать женѣ, освѣдомлялся о нихъ черезъ тестя и посылалъ имъ гостинцы. Отсутствие жадности также пріятно бросалось въ глаза въ этомъ человѣкѣ. Зарабатывая въ качествѣ кузнеца порядочныя для арестанта деньги, онъ дѣлилъ ихъ пополамъ съ молотобойцемъ Ефимовымъ, что вовсе не полагалось по правиламъ мастеровыхъ.

II.

Ефимовъ.—Тюремный софистъ и Мефистофель.

Заговоривъ о Желѣзномъ Котѣ, обрисую ужъ вкратцѣ и его молотобойца Ефимова. Это былъ совсѣмъ другого рода типъ. Водянинъ сошелся съ нимъ, какъ съ землякомъ; сблизило ихъ также и мастерство. Какъ-то случайно надзиратели назначили ихъ вмѣстѣ въ кузницу и потомъ, по привычкѣ, не разрознивали въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Станнымъ даже показалось бы всѣмъ, еслибы Водянина и Ефимова назначили въ разныя мѣста. Даже во время новыхъ размѣщеній по камерамъ ихъ всегда помѣщали вмѣстѣ. Вмѣстѣ обѣдали они изъ одного бака, вмѣстѣ пили чай, по-ровну дѣлили всѣ заработанныя деньги. Однимъ словомъ, можно было подумать, что это друзья закадычныя. А между тѣмъ, на дѣлѣ было совсѣмъ другое. Ефимовъ, дѣйствительно, велъ себя съ Водянинымъ осторожно, ни въ чемъ ему не переча и во всемъ уступая; но простой расчетъ заставлялъ его поступать такъ... Желѣзный Котъ удѣлялъ ему половину всего заработка, тогда какъ обыкновенно кузнецы даютъ молотобойцамъ лишь ничтожную часть, и онъ могъ сыскать себѣ десятокъ другихъ такихъ же молотобойцевъ, отнюдь не хуже.

За то Водянинъ, человѣкъ, вообще, очень покладистый и мягкій, не стѣснялся высказывать Ефимову въ глаза такую горькую правду, которой тотъ, съ его самолюбіемъ, ни отъ кого другого не сталъ бы спокойно выслушивать. Я ужъ сказалъ, что это была натура совсѣмъ особаго рода. Родомъ онъ также былъ пермякъ, и хотя изъ мѣстности болѣе глухой, земледѣльческой, но тоже достаточно уже развращенной. Въ работу пришелъ за убійство двухъ проѣзжихъ торговцевъ. По словамъ Ефимова, идея убійства явилась у него совершенно внезапно, благодаря глухому лѣсу, въ которомъ онъ встрѣтилъ свои жертвы. При гигантскомъ ростѣ и силѣ онъ живо съ ними управился и всѣ слѣды скрылъ самымъ тщательнымъ образомъ. Подозрѣніе никогда бы не пало на него, и погибъ онъ только благодаря чисто сумасшедшей случайности — *ложному* оговору и *ложной* уликѣ. Одна женщина, встрѣтившая купцовъ въ день убійства, показала, что встрѣтила также и Ефимова, осторожно выходившаго изъ того же лѣсу; а между тѣмъ, въ дѣйствительности, она

видѣла совсѣмъ другого человѣка, только похожаго на него ростомъ. Кромѣ того, при обыскѣ нашли у Ефимова рубашку со свѣжимъ пятномъ крови, которая на самомъ дѣлѣ была не человеческая, а телячья кровь. Еще нѣсколько другихъ такихъ же мнимыхъ уликъ сложились вмѣстѣ столь роковымъ образомъ, что Ефимовъ, до конца не признававшійся въ убійствѣ, осужденъ былъ на пятнадцать лѣтъ каторги. Это обстоятельство сильно его поразило. Онъ много разъ говорилъ мнѣ, что хорошо испыталъ, какъ невыгодно быть мошенникомъ, и что впредь станетъ жить только честнымъ трудомъ.

— Вѣдь вотъ всѣ, кажется, слѣды укрывъ, чисто все обдѣлалъ, ни одной справедливой улики не оставилъ, а въ каторгу попалъ! И сколько я ни наблюдалъ, рѣдко-рѣдко какое убивство не открытымъ оставалось.

— А раньше вы, Ефимовъ, занимались какими-нибудь мошенничествами?

— Ни Боже мой! И вся семья у насъ честная!

— Чего-жъ ты, Еграха, врешь? — оборвалъ его Чирокъ: — а зачѣмъ же братъ у тебя по Якутскому трахту сосланъ?

— Ага! поймалъ тебя Чирокъ на крючекъ, — заготовила радостно вся камера, почему-то крайне недоброжелательно относившаяся къ Ефимову.

— Братъ мой совсѣмъ по другому дѣлу сосланъ, — смущенно отвѣчалъ Ефимовъ: — не по мошенническому.

— По святому, небось? — ядовито продолжалъ приставать Чирокъ.

Ефимовъ молчалъ; всѣ ехидно улыбались и переглядывались между собою. Мнѣ становилось яснымъ, что только мы съ Чиркомъ не понимаемъ, въ чемъ дѣло.

— Да они скопцы! — не выдержалъ, наконецъ, Желѣзный Котъ, давно уже сердито ерзавшій на своихъ нарахъ. — У нихъ вся деревня скопческая... И братъ его за это-жъ по Якутскому пошелъ... Одинъ Еграшка какимъ-то чудомъ не оскотился...

— Тѣфу! Тѣфу! — отплеывался Чирокъ: — вотъ ненавижу этихъ людей... Самые супротивные люди! Чтобъ свое тѣло я сталъ рѣзать, себя увѣчить? Да лучше-жъ совсѣмъ помереть. Изъ чего-жъ тогда и жить, коли это... отрѣзать? Я почти старичонко ужъ, а и то въ надѣжѣ еще живу, что на волю выду, опять человѣкомъ стану.

— Ты судишь, Чирокъ, какъ всѣ мірскіе люди судятъ, — робко вступался за скопцовъ красный, какъ ракъ, Ефимовъ: — а они люди особаго сорту... Они объ небѣ думаютъ, потому въ Писаніи сказано...

— Паскудники вы окаянныя! — перебивалъ его Чирокъ, поддерживаемый общимъ одобреніемъ: — объ небѣ вы думаете? Гадовъ такихъ, какъ ваши скопцы, и свѣтъ не создавалъ. Самый двуликій народъ. И жадности въ ихъ сколько, жадности этой сколько сидитъ! Объ небѣ они думаютъ... Тьфу!.. Ты-то почему-жъ уцѣлѣлъ?

— Такъ какъ-то не пришлось. Рано женился. Вѣдь не неволять тоже, по добродушію печатъ принимаютъ. Было и у меня, конечно, желаніе, только бѣсъ пересилилъ, міръ плѣнилъ.

— Вотъ дуракъ! Бѣсъ, говоритъ, переселилъ. Да гдѣ-жъ и бѣсовъ-то искать, какъ не въ вашей сѣтѣ? Знаю я ее хорошо. Что у васъ тамъ дѣлается, какъ на богомолье тайное сходитесь!

— Ничего дурного не дѣлается, это все поклепы одни. Слышалъ я.

— Ты, вѣстимо, своихъ заставлять будешь. Да меня, братъ, не проведешь! Я тоже изъ тѣхъ вѣдь мѣстовъ. Самое поганое племя — скопцы.

— Что вѣрно, то вѣрно, — опять не выдержалъ Желѣзный Котъ: — и что скоплѣнные у нихъ, что не скоплѣнные — одна порода таврѣная! Жадные, лицемѣрные! Посмотрите хоть на Еграфа. Вѣдь другого такого жиды съ огнемъ сыскать трудно. Надъ каждой копѣйкой трясется, ровно осиновый листъ, на деньгахъ, ровно пѣсъ цѣпной при амбарѣ, сидитъ!

При послѣднихъ словахъ Ефимовъ, видимо, страшно оскорбившись, но не желая заводить ссоры съ Желѣзнымъ Котомъ, съ сердцемъ махнулъ рукой и, весь пылая, какъ огонь, выбѣжалъ изъ камеры. А за глаза его еще сильнѣе начали ругать и костить на всѣ корки.

Дѣйствительно, Ефимовъ былъ страшно скупъ. Въ дорогѣ онъ держалъ майданъ; теперь, будучи немного грамотнымъ, онъ велъ счетъ издержанныхъ вмѣстѣ съ Желѣзнымъ Котомъ денегъ и цѣпко хватался за каждый грошъ. Если случалось ему потихоньку отъ начальства купить молока или мяса, онъ никогда не приглашалъ къ своей трапезѣ товарищей и этой скупостью своей,

видимо, стѣснялъ кузнеца, имѣвшаго болѣе открытый нравъ и щедрое сердце. Мнѣ кажется, только слабость характера мѣшала послѣднему порвать съ Ефимовымъ всякія отношенія; онъ страшно не любилъ его и часто, не вытерпѣвъ, высказывалъ въ глаза рѣзкія обличенія.

Жена Ефимова рѣшила пріѣхать къ нему въ каторгу и, уже отправившись въ дорогу по этапамъ, выслала мужу на храненіе нѣсколько десятковъ рублей, вырученныхъ отъ продажи имущества. Я посоветовалъ Евграфу отправить ей заказныя письма въ Красноярскъ, Нижнеудинскъ и Иркутскъ, города, находившіеся на ея пути. Ефимовъ задумался.

— Конечно, не мѣшало бы послать, — согласился онъ, наконецъ: — только можно, я думаю, и простенькія...

— Вѣстимо, лучше простенькія, — поддакнулъ Желѣзный Котъ такъ, что я и не примѣтилъ сначала тонкаго яда въ его словахъ: — три заказныхъ письма — вѣдь это лишнихъ 21 копейка... На 21 копейку можно семью въ теченіе двухъ дней прокормить!

По наивности, я сталъ даже спорить съ Желѣзнымъ Котомъ, доказывая ему, что нечего быть столь расчетливымъ, когда дѣло идетъ о спокойствіи одинокой женщины съ тремя маленькими дѣтьми на рукахъ, ѣдущей въ невѣдомый край и на невѣдомую жизнь труднымъ этапнымъ путемъ.

— А все же лучше простенькія-то, Миколаичъ, — возразилъ серьезно Желѣзный Котъ: — простенькія, по моему, куда лучше!

И вдругъ разразился громкимъ, насмѣшливымъ хохотомъ, который поддержала и вся камера, опять страшно переконфузивъ Ефимова.

Ефимовъ держался всегда солидно и дѣловито; онъ считалъ себя неиспорченнымъ, честнымъ человекомъ, гораздо выше и лучше всѣхъ другихъ арестантовъ. Онъ страшно всегда обижался, когда ему напоминали, что и самъ онъ двѣ души на тотъ свѣтъ отправилъ. Свое убійство онъ считалъ почему-то неважнымъ проступкомъ, чѣмъ-то вродѣ несчастнаго эксперимента, который со всякимъ можетъ случиться, и убѣжденно завѣрялъ, что въ другой разъ не наживетъ себѣ каторги. Я тоже склоненъ думать, что въ другой разъ Ефимовъ семь разъ отмѣритъ прежде, чѣмъ рѣшится отрѣзать кому-нибудь голову: „выгоды“ не нашелъ онъ въ этомъ ремеслѣ... Однако, я никогда не поручился бы, что мой Евграфъ устоитъ противъ соблазна преступленія, если будетъ

имѣть полную гарантію того, что оно пройдетъ вполнѣ безнаказанно и принесетъ очень большой барышъ.

Изъ новыхъ моихъ сожителей былъ одинъ арестантъ, давно уже привлекавшій мое вниманіе. Фамилія его была Соколицевъ. Прежде всего онъ бросался въ глаза самой внѣшностью: плотный, небольшого роста брюнетъ, лѣтъ сорока, онъ отличался такого рода красотою, какая совершенно чужда типу русскаго крестьянина. Въ тонкихъ чертахъ лица, правильномъ, почти изящномъ очеркѣ чувственныхъ губъ, въ тонкости блѣдно-матовой кожи, бархатистомъ выраженіи большихъ черныхъ глазъ, въ мраморной шеѣ и во всѣхъ движеніяхъ было что-то истинно-аристократическое, что создается только десятками холеныхъ, не занимающихся физическимъ трудомъ поколѣній. А между тѣмъ, Соколицевъ былъ простой неграмотный крестьянинъ одной изъ внутреннихъ русскихъ губерній, рано свихнувшійся съ пути и попавшій въ Сибирь. Впрочемъ, по его словамъ, онъ былъ изъ дворовыхъ одного богатаго графа, и это обстоятельство невольно наводило на мысль объ истинномъ его происхожденіи... Среди обитателей тюрьмы Соколицевъ пользовался репутаціей одного изъ самыхъ умныхъ арестантовъ, отнюдь не „дешевыхъ“ и выдавшихъ на своемъ вѣку виды. Каторжный срокъ его былъ сорокъ четыре года, и дѣло, которымъ онъ заработалъ этотъ срокъ, было одно изъ самыхъ кровавыхъ, о какихъ когда-либо мнѣ приходилось слышать. Глядя на это красивое, умное лицо, слыша этотъ мягкій голосъ, говорящій всегда такъ осторожно и вкрадчиво, я съ трудомъ иногда вѣрилъ, что передо мной стоитъ тотъ самый Соколицевъ, который могъ съ спокойнымъ духомъ продолжать подобныя вещи; а между тѣмъ, страшные разбойничьи подвиги его были истинной, невымышленной исторіей.

Соколицевъ жилъ на поселеніи въ Иркутской губерніи въ качествѣ работника у одного зажиточнаго „челдона“. Послѣдній занимался скупкой золота у „хищниковъ“ и присковыхъ рабочихъ. Дознавшись однажды, что въ домѣ хозяина скопилось около полутора пудовъ золота, Соколицевъ подговорилъ одного товарища-поселенца и, впустивъ ночью въ домъ, придушилъ общими силами хозяина, его жену и пятерыхъ малютокъ. Потомъ, забравъ золото и наличныя деньги, которыхъ также было не мало, спрятали ихъ въ лѣсу въ заранѣе приготовленномъ мѣстѣ. Товарищъ послѣ этого ушелъ къ себѣ, а Соколицевъ, вернувшись въ домъ,

заперъ его изнутри, запалилъ хорошенько и, выйдя въ окно, улегся въ сѣняхъ, притворясь спящимъ. Когда сбѣжался народъ, пожаръ разлился уже такой волною, что не только не было никакой возможности потушить его, но даже и войти въ комнаты. Кое-какъ удалось проникнуть лишь въ сѣни, тоже объятые пламенемъ и наполненные дымомъ, и вытащить оттуда, казалось, крѣпко спавшаго и нѣсколько уже опаленнаго Сокольцава. Звѣрски совершенное преступленіе такъ было ловко обставлено, что ни тѣни подозрѣнія не могло упасть на работника, который самъ казался пострадавшей жертвой. Трупы убитыхъ сгорѣли, къ тому же, до тла. Предполагали чью-то злодѣйскую руку, но искали ее совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. На бѣду Сокольцава, товарищъ его былъ гораздо неосторожнѣе, онъ сталъ кутить, мѣнять крупныя бумажки, навлекъ на себя подозрѣніе и былъ арестованъ. У него нашлись нѣкоторыя вещи убитыхъ. Звено по звену, показаніе за показаніемъ, и судебный слѣдователь докопался до самого Сокольцава. И онъ, и товарищъ были осуждены на каторжныя работы безъ срока; только золота не могли сыскать. Оно такъ и осталось закопаннымъ гдѣ-то въ лѣсу, поддерживая въ осужденныхъ бодрость и мечту о побѣгѣ. Товарищъ Сокольцава попалъ, впрочемъ, на Сахалинъ, откуда не такъ-то скоро „срываются“, а Сокольцеву, дѣйствительно, удалось въ дорогѣ нанять сухарника, шедшаго на поселеніе, придти вмѣсто него въ назначенную волость и немедленно отправиться оттуда на розыски зарытаго сокровища. „Но кобылка нетерпѣлива“, рассказывалъ про себя самъ Сокольцевъ: „ей всегда хочется сразу двухъ или даже трехъ зайцевъ поймать“. Желая разжиться деньгами для „перваго обзаведенія“, онъ запутался въ новый грабежъ съ убійствомъ и былъ снова арестованъ. Въ Иркутской тюрьмѣ его, конечно, уличили, и подъ прежнимъ своимъ именемъ онъ опять пошелъ въ каторгу, на этотъ разъ уже на сорокъ четыре года. Вотъ главное дѣло, которое привело Сокольцава въ Шелайскій рудникъ и сомнѣваться въ истинности котораго было невозможно. Но если вѣрить рассказамъ арестантовъ о Сокольцевѣ и ему самому, то это была лишь ничтожная частица его походовъ въ Россіи и Сибири: ему было уже за сорокъ лѣтъ, и въ волосахъ кое-гдѣ серебрилась сѣдина. Къ сожалѣнію, трудно было рѣшить, гдѣ правда, гдѣ выдумка въ рассказахъ о себѣ самого Сокольцава, гдѣ серьезная рѣчь, а гдѣ тонкая насмѣшка надъ слуша-

телями. Странный это былъ человѣкъ. Онъ не принадлежалъ къ тѣмъ арестантамъ, которые въ своей же средѣ слывуть „боталами“ и „заливалами“, и тѣмъ не менѣе всѣ отлично понимали, что ни одному его разсказу нельзя съ полнымъ спокойствіемъ вѣрить. Чрезвычайно уминый, Соколицевъ, казалось, наслаждался своимъ умомъ и превосходствомъ надъ окружающею шпанкой; ему, повидимому, ужасно нравилось сегодня защищать передъ ней одно, завтра съ меньшимъ успѣхомъ доказывать совсѣмъ другое, противоположное тому положеніе. Это былъ своего рода тюремный софистъ и Мефистофель. Казалось, онъ игралъ своими собесѣдниками, какъ кошка съ мышью, и часто, начавъ, повидимому, вполне серьезный разговоръ, шедшій въ униссонъ съ общими мнѣніями, незамѣтно ни для кого доводилъ его до такихъ явныхъ абсурдовъ и шутовскихъ несообразностей, что собесѣдники только рты развѣвали и, глядя на него, какъ бараны, не знали, смѣяться ли имъ, или сердиться... Такъ, онъ пресерьезно разсказывалъ однажды, какъ во время жатвы, за какое-то оскорбленіе, на него напали тридцать двѣ бабы и сначала здорово-таки побили его, но какъ потомъ онъ извернулся и, схвативъ лежавшій по близости колъ, десять изъ нихъ убилъ до смерти, десяти другимъ выкололъ глаза, еще нѣсколькихъ изувѣчилъ другимъ способомъ, и только очень немногимъ удалось спастись живыми и невредимыми. Разсказывалъ онъ эту исторію съ такими реальными подробностями, съ такимъ живымъ и вмѣстѣ страшнымъ юморомъ, что положительно трудно было сказать (особенно при первомъ впечатлѣніи), все ли была въ ней выдумка, или же таилось и зерно правды. Когда надъ Соколицевымъ начинали смѣяться и говорить, что онъ опять „заливаетъ“, онъ ничуть не обижался и самъ лукаво по-смѣивался—неизвѣстно, въпрочемъ, надъ кѣмъ: надъ собой, или надъ слушателями. Внутренняя ли сила, чужавшаяся въ этомъ человѣкѣ, громкая ли слава, или что другое, но, не смотря на свое несомнѣнное „заливанье“ и „ботанье“, Соколицевъ, повторяю, считался однимъ изъ серьезнѣйшихъ арестантовъ, изъ такихъ, которые при случаѣ ни передъ чѣмъ не остановятся и ни надъ чѣмъ не задумаются...

Разъ я самъ слышалъ разсказъ Соколицева о томъ, какъ, скитаясь по бродяжеству, голодный, какъ собака, и безъ гроша денегъ, онъ придушилъ попавшуюся на встрѣчу старушку-богомолку и нашелъ у нея сорокъ копѣекъ денегъ.

— Ну, ты, должно быть, и теперь, какъ собака, жрать хочешь, коли такія пули отливаешь,—замѣтилъ на это одинъ изъ его пріятелей, тоже серьезный арестантъ: — надо, видно, чаемъ тебя напоить, меньше врать будешь.

Соколицевъ засмѣялся въ отвѣтъ своимъ обычнымъ бархатнымъ смѣхомъ, и я такъ и остался въ недоумѣніи, точно ли онъ убилъ богомолку, или сейчасъ только придумалъ это ради краснаго словца. За то не разъ слыхалъ я отъ него и другое. Онъ искренно, повидимому, негодовалъ на тѣхъ бродягъ, которые за копѣйку готовы совершить самое ужасное преступленіе, цѣлую семью вырѣзать.

— Я варваръ,—говорилъ онъ, бывало, въ такихъ случаяхъ,—такой варваръ, какихъ, можетъ быть, и свѣтъ мало видывалъ; а только я соглашусь лучше съ голоду помереть, чѣмъ убить человека за одежду, или за пять рублей денегъ. Другое дѣло изъ мести или за большой капиталъ, который сразу дастъ случай кадило раздуть, на дорогу стать.

Такой именно репутаціей и пользовался онъ среди товарищей, не смотря на всѣ свои „заливанья“ и выдумки о прошлой своей жизни. Послушать Соколицева всегда бывало любопытно; но отталкивала меня одна его черта: это былъ страшный, утонченный циникъ, и распущенный языкъ его не имѣлъ соперниковъ себѣ во всей тюрьмѣ... Ему и въ этомъ отношеніи нравилось доходить до геркулесовыхъ столбовъ, и часто, начавъ разсуждать вполне разумно и благородно, онъ переходилъ неожиданно къ такимъ пошлостямъ и мерзостямъ, что отпугивалъ половину даже своихъ неразборчивыхъ и охочихъ до всякаго цинизма слушателей.

Для каждаго было ясно, что такой человекъ не имѣетъ въ виду спокойно отсиживать въ Шелайской тюрьмѣ свой безконечный срокъ, и что въ умѣ его бродитъ постоянная забота о побѣгѣ или, по крайней мѣрѣ, о переводѣ въ другую, болѣе вольготную тюрьму. Однажды я спросилъ Соколицева, полагается-ли ему вольная команда, и когда именно указана она въ его „квиткѣ“ (такъ зовется билетъ, выдаваемый каждому арестанту, съ расчисленіемъ его срока). Соколицевъ, смѣясь, отвѣчалъ, что немедленно же уничтожилъ квитокъ, какъ только получилъ его, не полюбопытствовавъ даже узнать, что въ немъ написано.

— Почему такъ?

— А на что мнѣ вольная команда?

— Какъ на что? Оттуда уйти можно, а изъ тюрьмы не такъ-то легко вѣдь.

— Нѣтъ, ни къ чему мнѣ команда,—отвѣчалъ, немного подумавъ, Соколицевъ:—по моему разумѣнью, изъ тюрьмы уйти духовому человѣку даже много легче. Тутъ ужъ на себя одного надеешься, ухо остро держишь. А тому, который легкаго обороту себѣ ищетъ, вольной команды ждать, цѣна грошъ. Ничего такой человѣкъ не стоитъ.

Отвѣтъ былъ красивъ и замысловатъ, но, должно быть, не такъ-то легко было подтвердить его фактами. Изъ вольной команды то и дѣло убѣгали арестанты, человѣкъ по десяти каждое лѣто (даже при Шелайской малочисленности команды), а изъ тюрьмы не было пока ни одной серьезной попытки къ побѣгу. Охрана тюрьмы, дѣйствительно, была обставлена прекрасно, и большинство серьезныхъ арестантовъ съ безнадежно-огромными сроками на плечахъ мечтало больше о предварительномъ переводѣ въ другія тюрьмы, чѣмъ о побѣгѣ изъ Шелайскаго рудника. Ниже я посвящу этому предмету особую главу, теперь же скажу только о Соколицевѣ, что при всемъ его умѣ и скрытности наружу выплыло одно дѣльце, показавшее всѣмъ, что и онъ мечталъ о томъ же. Превосходный столяръ и мебельщикъ, Соколицевъ постоянно работалъ въ мастерской, находившейся за тюремной оградой; кромѣ него, работали тамъ еще два человѣка: слесарь Заботкинъ изъ вольной команды и сидѣвшій въ тюрьмѣ бондарь Калининъ. Явившись однажды въ мастерскую, Соколицевъ обнаружилъ всѣ признаки большого волненія.

— Ты не знаешь, куда подѣвались мои пилки?—обратился онъ шепотомъ къ молодому бондарю.

— Какія пилки?—спросилъ тотъ удивленно.

— Мои... секретныя пилки... Значить, все открыто. Какая-нибудь сука донесла!

— Я и не зналъ даже. Откуда мнѣ было знать?

— Объ тебѣ я и не говорю ничего. Тутъ одинъ только человѣкъ могъ. Одинъ онъ и зналъ, кромѣ меня. Какъ вѣдь хорошо запрятаны были. Непремѣнно доносъ!

— Кто же это? Неужто Заботкинъ?

Соколицевъ пожалъ плечами и ничего не отвѣтилъ.

— Что ты? Такой человекъ? Да вѣдь онъ твой товарищъ, другъ закадычный?

— Вотъ тебѣ и товарищъ. Нынче ни на кого, братъ, нельзя положиться. Если хочешь знать, такъ я давно уже подозрѣніе имѣлъ, что онъ—сука.

— Вотъ подлецъ! Вотъ мерзавецъ!—негодовалъ Калинчукъ, и скоро вся тюрьма знала, что у Сокольцева найдены въ мастерской пилки, и что доносъ сдѣланъ Заботкинымъ. Пилки, дѣйствительно, оказались въ рукахъ начальства. Въ тюрьмѣ произведенъ былъ вскорѣ обыскъ, и въ подстилкѣ Сокольцева также оказались зашитыми двѣ маленькія пилки. Надзиратели, какъ только вошли въ камеру, такъ и бросились тотчасъ же къ его подстилкѣ. Доносъ не подлежалъ сомнѣнію. Заботкина костили и такъ, и этакъ, клялись и божились, что, если только случится ему когда-нибудь вернуться въ тюрьму, поломаютъ ему ребра. Сокольцевъ ничего не говорилъ, но и онъ былъ, казалось, озлобленъ. Ждали, что Шестиглазый подвергнетъ его суровой карѣ; но онъ ограничился почему-то тѣмъ, что во время обыска провѣрилъ прочность тюремныхъ рѣшетокъ и усилилъ ночные дозоры подъ окнами. Прошло послѣ этого случая полгода, и Заботкина, дѣйствительно, посадили въ тюрьму за какія-то художества. Всѣ съ любопытствомъ наблюдали, какъ встрѣтитъ его Сокольцевъ, имѣвшій больше всѣхъ право мстить ему. Но каково же было общее изумленіе, когда увидали, что онъ не только простилъ Заботкину, но и снова съ нимъ подружился, сталъ вмѣстѣ пить и ѣсть. Для всѣхъ, даже самыхъ непроницательныхъ, стало тогда ясно, что если доносъ и былъ сдѣланъ, то *по просьбѣ самого же Сокольцева*, который хотѣлъ запугать Шестиглазаго и побудить его выпроводить себя въ другую тюрьму; но хитрость не удалась, и его оставили въ Шелайскомъ рудникѣ, окруживъ только болѣе зоркимъ присмотромъ. Молодой и горячій Калинчукъ страшно и открыто негодовалъ на Сокольцева за столь нахальный обманъ; что касается остальной шпанки, то выкинь подобную штуку другой, менѣе знаменитый и уважаемый арестантъ, на него бы всѣ ужасно озлились. Но Сокольцевъ былъ Сокольцевъ, и никто даже словомъ не смѣлъ попрекнуть его. Всѣ постарались поскорѣе выбросить изъ головы эту исторію, а въ глазахъ многихъ Сокольцевъ, благодаря ей, даже еще больше возвысился. Мнѣ лично она показала только лишній разъ, что человекъ этотъ для своего спасенія или выго-

не побрезгуешь никакими средствами, не пощадить ни друга, ни недруга...

III.

Демоны зла и разрушенія.

Въ знакомствѣ съ прошлымъ арестантовъ, съ ихъ, повидимому, простой и въ то же время загадочной психологіей проходила моя жизнь въ новой камерѣ, тянулись длинные вечера безъ книгъ и чтенія вслухъ, вносившаго въ жизнь такое осмысленное и пріятное оживленіе. По временамъ рассказы надоѣдали, и сожители мои придумывали какую-нибудь игру, въ которой можно было поразмѣть кости и вдоволь пошумѣть. Одной изъ любимыхъ игръ въ этомъ родѣ были „жмурки“, игра, впрочемъ, совсѣмъ непохожая на ту невинную забаву, которою всѣ мы такъ наслаждаемся въ дѣтствѣ. Завязавъ туго-на-туго глаза несчастному, на котораго падалъ жребій, арестанты вооружались полотенцами и, подкрадываясь со всѣхъ сторонъ, немилосердно хлестали его по спинѣ и по чему попало (за исключеніемъ, впрочемъ, лица) до тѣхъ поръ, пока ему не удавалось поймать одного изъ палачей и поставить на свое мѣсто. Въ концѣ игры у всѣхъ почти оказывались багровые рубцы и кровоподтеки по всему тѣлу, не говоря уже о ломотѣ костей и разодранныхъ рубахахъ, но все это ничуть не уменьшало общаго пристрастія къ жмуркамъ. „Онѣ кровь разбиваютъ, говорили арестанты,—что твоя баня!“ Гораздо большимъ препятствіемъ являлись окрики надзирателей, почти немедленно прибѣгавшихъ на страшный шумъ, поднимаемый игрою, и начинавшихъ страшать шалуновъ карцеромъ и докладами начальнику. Тогда шумъ понемногу утомонялся, и жмурки замѣнялись другой, менѣе обращающей на себя вниманіе забавой. Являлись ловкіе акробаты, выдѣлывавшіе такіе фокусы, что всѣ только рты развѣвали и тщетно старались продѣлать то же самое. Маразгали ложился, напримѣръ, на полъ лицомъ вверхъ, а на полу, за своей головой, клалъ ложку или двугривенный, если таковой отыскивался въ камерѣ. Затѣмъ, выгибая постепенно спину, но не касаясь пола руками, онъ ухитрялся взять въ ротъ лежавшій на полу предметъ и, быстро поднявшись, съ торжествомъ вскрикивалъ:

— Вотъ какъ!.. Пушай теперь другой!

Но изъ другихъ, къ общему удивленію, одинъ только Чирокъ, не смотря на свою кажущуюся нескладность и неуклюжесть, могъ продѣлать приблизительно то же самое, что дѣлалъ ловкій и граціозный Маразгали. Тотъ же Маразгали легко перепрыгивалъ безъ разбѣга съ однихъ наръ на другія, на разстояніи трехъ съ половиной аршинъ. Никто не могъ сдѣлать этого безъ разбѣга. Чирокъ похвастался разъ, но, не долетѣвъ до другихъ наръ, едва не разбилъ себѣ носъ... Легко было и затылокъ сломать, и насилу удалось мнѣ уговорить публику бросить опасные эксперименты; но скоро затѣвали другое.

— Давайте, братцы, Чирку банки ставить,—предлагалъ вдругъ Желѣзный Котъ.

— Безстыжіе твои шары, за что? — вскидывался Чирокъ, на котораго, какъ на бѣднаго Макара, обыкновенно всѣ шишки сыпались.

— Да такъ, ни съ того, ни съ сего.

— Дѣло!—поддерживала Желѣзнаго Кота камера.

— Нѣтъ,—выѣшивался Соколицевъ,—зачѣмъ же ни съ того, ни съ сего. Мы вину подыщемъ, по всей правдѣ поступимъ, по закону. Можно судить его.

— Судить! Судить!—гадѣли всѣ.

— Да ошалѣли вы, што-ль, братцы? Я и такъ осужденъ Богомъ и людьми наказанъ. За что меня, старичонку этакаго, мучить?

— Молчать! Предсѣдатель лишаетъ тебя слова. Подсудимый! Ты обвиняешься въ томъ, что утаилъ отъ Николаича еще одну душу.

Я спѣшилъ отказаться, съ своей стороны, отъ всякой претензіи на бѣднаго Чирка, хорошо зная, что за мерзость арестантскія „банки“.

— Что изъ того, камера не прощаетъ! — кричалъ Желѣзный Котъ и уже суетился вмѣстѣ съ Никифоромъ подлѣ Чирка.

— Стойте, черти! Какую такую я душу скрылъ?

— А тетку-то... Тетку, про которую мнѣ ночѣсь сказывалъ?

— Котикъ родной! Да разнѣ можно этакъ товарищецкіе секлеты выдавать?

— Ага, „секлеты...“ Новая рина! Милѣоланчъ, слышите, какъ опять выговариваетъ: секлеты?

— Банки! Банки! Пять банокъ поставить!

— Я не ученикъ... Караулъ!

— Заткните ему глотку скоря! Микишка, руки держи... Маразгали, рубашку вытягивай. Голову держите, кусается, дьяволъ!

— Давай, давай, — съ радостью кидался было Маразгали помогать дикой забавѣ, но я останавливалъ его.

— Не ходи, Маразгали. Это мерзость.

— Ничаво, Николаичикъ, — просительно говорилъ онъ, жалобно на меня оглядываясь: — пять банка можно... нѣтъ худа банка...

— Худо, Маразгали, очень худо, не надо!

И Маразгали, слушаясь меня, печально отходилъ прочь. Но, улегшись рядомъ со мной на нары, онъ не могъ утерпѣть, чтобы отъ всей души не смѣяться громкимъ ребяческимъ смѣхомъ и хоть мысленно не участвовать въ страшной вознѣ, происходившей на противоположныхъ нарахъ, откуда слышались звуки лопавшихся банокъ и заглушенные крики злополучнаго Чирка.

Банки состояли въ томъ, что „палачъ“ оттягивалъ одной рукой кожу на обнаженномъ животѣ наказываемаго и быстрымъ ударомъ по ней другой руки приводилъ въ прежнее положеніе, „отрубалъ банки“. При самыхъ легкихъ ударахъ кожа багровѣла отъ нѣсколькихъ банокъ, а въ случаѣ серьезнаго наказанія послѣ двухъ банокъ могла уже брызнуть кровь.

— Разъ! два! три! — отсчитывалъ Желѣзный Котъ свои удары по брюху Чирка: — четыре! пять! шесть!

— Стойте, окаянные, лишку дали! Пять присудили, а онъ шесть отсѣкъ.

— За это и Коту надо банки. Это несправедливо, — подтверждалъ Соколицевъ, не принимавшій въ „игрѣ“ активного участія, но все время руководившій ею съ своихъ наръ.

— Нѣтъ, не банки, а ложки! — вскрикивалъ озлившійся Чирокъ.

— Ложки, такъ ложки. Одну слѣдуетъ отпустить.

— Не одну, а тоже шесть, какъ и мнѣ!

— Вишь ты, хитрый какой, — протестовалъ Желѣзный Котъ: — тебѣ пять по закону дадено было, по суду. Лишнюю одну я тебѣ отрубилъ, вотъ и получай свою, коли камера присуждаетъ. Я противъ общества нейду.

И Желѣзный Котъ покорно улегся на нары и самъ заворо-

тилъ себѣ рубаху. Чирокъ засуетился, забѣгалъ по камерѣ, отыскивая ложку... Лицо его сіяло, какъ хорошо намащенный блинъ: такъ живо предвкушалъ онъ упоеніе мекъ... Наконецъ, онъ выбралъ самую увѣсистую деревянную ложку. Подойдя затѣмъ къ голому животу кузнеца, онъ плюнулъ на него, растеръ плевкомъ рукою и съ крикомъ: „Поддаржись, о-жгу!“ изо всей силы ударилъ по тѣлу донцемъ ложки. Желѣзный Котъ охнулъ отъ жестокой боли и вскочилъ на ноги: животъ съ одного удара поси-нѣлъ и вздулся... Всѣ захохотали. Подошедшій къ форточкѣ надзиратель опять прикрикнулъ:

— Въ карецъ, что-ль, захотѣли? Ей-богу, доложу начальнику. Завтра же всѣхъ расселить по другимъ нумерамъ. Ни одного нумера такого шалопутнаго нѣтъ.

Послѣ этого всѣ притихли и начали понемногу укладываться спать. Заводятся тихіе разговоры. Толстякъ Ногайцевъ заявляетъ:

— Ну, и налопался-жъ я сегодня. Солонины, пожалуй, фунта три сожралъ, огурцовъ соленыхъ полбоченка опросталъ.

— Гдѣ?—удивленно спрашиваютъ его.

— Въ штольнѣ на откатѣ былъ. А Монаховъ тамъ цѣлую кладовую устроилъ. Оно хорошо тамъ — холодокъ, погребъ настоящій... Вотъ я и залѣзъ туды. Теперь ажъ все нутро воротить.

— Ну, это вотъ не хорошо,—назидательно замѣчаетъ ему Сокольцевъ.—Потому я такъ понимаю: ежели ты человѣкъ услужливый и потрудишься для него, тогда другое дѣло. А то онъ тебѣ ничѣмъ не обязанъ. Изъ-за васъ, вотъ, чертей, и довѣрія никакого нѣтъ къ нашему брату!

— Вѣстимо, изъ-за ихъ, сволочей—слышится и другіе голоса.

— Да не замѣтятъ вѣдь,—оправдывается Ногайцевъ. — Такъ сѣдено, что ничего нельзя замѣтить... Не зря же!

— Ну, коли не замѣтятъ, тогда хорошо, — подтверждаетъ Ефимовъ.

Кто-нибудь начинаетъ рассказывать о своей прошлой жизни, о своихъ преступленіяхъ, о другихъ тюрьмахъ, въ которыхъ приходилось ему сидѣть. Заводится споръ. Мысли такъ и перескакиваютъ у спорщиковъ съ одного предмета на другой, такъ что нерѣдко они сами тотчасъ же забываютъ, съ чего начали разговоръ. Только что живописатьъ, какъ голова скатилась у человѣка съ плечъ, промолвя, будто: „Гриша! что ты сдѣлалъ?“—рассказчикъ

вспоминаетъ уже о томъ, какая въ Тарской тюрьмѣ каша великолѣпная...

Мало-мальски отвлеченныхъ разговоровъ съ этими людьми положительно невозможно вести. Какой-нибудь мелкій, ничтожный фактъ, приведенный вами или однимъ изъ вашихъ собесѣдниковъ въ видѣ примѣра, увлечетъ ихъ далеко въ сторону; предметъ бесѣды забывается, и на первый планъ выступаетъ реальная дѣйствительность съ ея конкретными деталями и интересами. Такъ, однажды зашла рѣчь о томъ, кого чаще убиваютъ въ тюрьмахъ: надзирателей, или своего-же брата-арестанта? Споръ на минуту сильно обострился; но вдругъ одинъ изъ главныхъ участниковъ его, услышавъ рассказъ объ одномъ убійствѣ въ Томской тюрьмѣ, сдѣлалъ поправку въ томъ смыслѣ, что расположеніе камеръ тамъ не совсѣмъ, молъ, такое, какъ говорить его противникъ. Послѣдній сталъ возражать, и основной вопросъ былъ настолько всѣми забытъ и покинутъ, что бесѣда стала для меня неинтересной, и я поспѣшилъ заснуть. Въ другой разъ зашелъ споръ о томъ, другъ ли человѣку собака, или нѣтъ. Большинство стояло за то, что другъ. Тогда одинъ изъ арестантовъ началъ почему-то повѣствовать о своемъ дѣлѣ, о томъ, что онъ забрался съ товарищемъ въ одинъ домъ, какъ пыталъ старика-хозяина со старухой, требуя денегъ и разодравъ старику ротъ, а старуху посадивъ на колъ; дальше о томъ, какъ въ первый разъ сидѣлъ онъ въ тюрьмѣ и знакомился къ арестантскими обычаями, какъ жилъ потомъ въ Сибири... Ужасный рассказъ этотъ длился около часу, такъ что всѣ забыли уже о собакѣ, и многіе давно спали. Я одинъ недоумѣвалъ и, наконецъ, спросилъ:

— При чемъ же тутъ собака-то?

— Какая собака?

— Да вѣдь мы начали съ того, другъ она или врагъ человѣку?

— Такъ вотъ объ этомъ же самомъ и говорилъ я.

— То есть, какъ объ этомъ?

— Да такъ. Я забылъ только сказать, что собака залаяла и выдала насъ... Какой же она другъ человѣку? Кабы она была другъ, она бы меня не погубила. А то убили мы съ товарищемъ старика и старуху, она возьми и залай! Наша же собака. Насъ и поймали. Какой же она другъ? Она первый, значитъ, врагъ.

Такова ассоціація идей въ темныхъ умахъ, и такова логика развращенныхъ сердець...

Заводились иногда общіе разговоры и на широкія общественныя темы. И здѣсь также приходилось мнѣ поражаться дикостью взглядовъ и душевной очерствѣлостью моихъ невольныхъ товарищей... Между прочимъ, почти всѣ безъ исключенія отличались страшной ненавистью къ „желѣзнымъ носамъ“, дворянамъ, купцамъ и чиновникамъ (попы зовутся на этомъ странномъ жаргонѣ „молотягами“). Предлагались самыя дикіе, невозможно-кровавыя проекты соціальнаго переустройства, проповѣдывались такія разрушительныя теоріи, какія не снились ни одному анархисту въ мірѣ!

— Я бы вотъ что сдѣлалъ,—кричалъ нетерпѣливый Никифоръ:—я бы крестьянъ на мѣсто господъ поставилъ, посадилъ бы столовать да пировать, а дворяновъ да поповъ землю бы пахать заставилъ, насъ кормить, какъ мы ихъ теперь кормимъ...

— Ничего, братъ, съ этого-бъ не вышло,—отвѣчалъ дальновидный Соколицевъ:—дворянъ сравнительно съ нашимъ братомъ незначущее число, сотая развѣ какая часть. Много-ль бы они наработали, особливо съ непривычки? Теперешніе крестьяне на должности господъ съ голоду-бъ подохнуть должны! Нѣтъ, тутъ одно, братъ, средство остается: крышку всѣмъ имъ сдѣлать—и конецъ! Вотъ, какъ Пугачевъ у Пушкина хотѣлъ...

— Вѣстимо, крышку имъ всѣмъ, гадамъ!—увлекался такимъ предложеніемъ Чирокъ, энергично почесывая брюхо:—И нашъ же народъ, право, дурной! Безъ счету насъ, а ихъ—тыща-другая, не болѣ, —и мы покоряемся!

(Ни у кого изъ этихъ мечтателей, замѣчу въ скобкахъ, не являлось даже и тѣни сомнѣнія въ томъ, что „народъ“ и они, обитатели каторги,—совершенно одно и то же).

— Это что же будетъ за наказанье,—вступался Ногайцевъ,—крышку сдѣлать? Сколько они теперь крови изъ насъ выпили, на шею сколько нашей поѣздили, а имъ всего только крышку? А я-бъ вотъ что сдѣлалъ. Я весь бы народъ перебилъ, весь до послѣдняго человѣка, однихъ бы желѣзныхъ носовъ на свѣтѣ оставилъ. Вотъ пушай бы попробовали тогда сами пропитаться! Вотъ бы запѣли тогда!..

Это неожиданное и оригинальное предложеніе на минуту всѣхъ

ошеломило. Никто не нашелся ничего возразить. Соколицевъ первый тихонько захихикалъ, и ему стали вторить другіе.

— Вотъ такъ ловко придумано, нечего сказать! Умная башка!

— А я бы...—забасилъ внезапно, вскакивая съ наръ, Медвѣжье Ушко:—я бы всѣхъ первыхъ богачей въ одну бы ночь вездѣ перебилъ... Въ одну бы ночь всѣхъ! Вотъ тогда бы заплѣли!

— Ну, а что-жъ бы изъ этого вышло?—не выдержалъ я своего нейтралитета, заинтересованный кровожаднымъ проектомъ нашего кроткаго обыкновенно поэта:—положимъ, вы убили бы... На завтра сыновья убитыхъ стали бы первыми богачами...

— А я бы тогда и ихъ перебилъ!—ревѣлъ Медвѣжье Ушко.

— Ну, а послѣ что?

— А послѣ грабежъ бы по всей Расеѣ учредить!—отвѣчалъ за Владимірова Чирокъ:—тюрьмы бы всѣ отворить, богатыхъ всѣхъ перерѣзать...

— Такъ. Дальше что?

— Дальше?.. Какъ дальше что? Э, Миколанчъ! да что съ тобой толковать... Хорошій ты человѣкъ, спору нѣтъ — хорошій, а только и тебѣ крышку пришлось бы сдѣлать... Потому ты ихъ сторону держишь, желѣзныхъ носовъ. Кровь-то въ тебѣ свое говорить!

Всѣ захохотали при этомъ неожиданномъ нападеніи Чирка на меня.

— Изъ чего же вы заключаете это, Чирокъ?

— Да ужъ я заключаю, меня не проведешь!

Съ мнѣніемъ обо мнѣ Чирка соглашались, повидимому, и остальные. Напрасно развивалъ я собственные взгляды на прогрессъ, говорилъ о силѣ и власти просвѣщенія, о бесполезности и вредѣ кровавыхъ расправъ; напрасно указывалъ на существованіе образованныхъ людей, выходящихъ изъ среды тѣхъ же „желѣзныхъ носовъ“ и, однако, готовыхъ жертвовать для блага народа и своимъ личнымъ счастьемъ, и свободой, и даже жизнью... Слова мои были, очевидно, гласомъ вопіющаго. Смыслъ всякой иной борьбы съ тяжестью и зломъ современной жизни, борьбы иными средствами, кромѣ пролитія рѣкъ крови, всеобщаго пожара и разрушенія, былъ совершенно непонятенъ и чуждъ этимъ сердцамъ, покрытымъ темной чешуей озлобленія, невѣжества и испорченности. Невеселыя думы овладѣвали мной послѣ cadaго

изъ такихъ разговоровъ; жутко и страшно становилось за будущее родины...

IV.

Новые ученики.—Луньковъ.

Въ новой камерѣ завелись у меня, кромѣ Буренковыхъ, еще и другіе ученики: Маразгали, Петинъ, Ногайцевъ и Луньковъ. Образовалась настоящая школа, которой по временамъ я и не радъ былъ. Послѣдніе трое спеціально для ученія перепросились изъ другихъ номеровъ въ нашъ, кппя, повидимому, одинаковымъ рвеніемъ къ наукѣ. Петинъ умѣлъ, впрочемъ, и на волѣ еще читать и писать довольно порядочно; онъ сочинялъ даже стишки и теперь мечталъ лишь о „вышемъ образованіи“. Къ сожалѣнію, большому самолюбію не соответствовали ни размѣры ума, ни способности. Петинъ, подобно Соколицеву, имѣлъ на плечахъ больше тридцати лѣтъ каторги (которую онъ, къ тому же, только что начиналъ) и среди не знающихъ его людей пользовался славою большого „громилы“. Прозвище Сохатый, данное ему за частые побѣги изъ тюремъ, было извѣстно по всей Сибири. Однако, слава эта была въ сущности дутая... Прежде всего у Петина не было никакой самостоятельности характера. Постоянно находясь подъ вліяніемъ какого-нибудь „поддувалы“, въ товариществѣ онъ, дѣйствительно, отваживался на самыя дерзкіе поступки, вродѣ неоднократныхъ побѣговъ среди бѣлаго дня изъ-подъ самаго строгаго караула; но, предоставленный самому себѣ, одинъ онъ велъ себя на волѣ самымъ нелѣпымъ образомъ, шелъ тотчасъ же домой, гдѣ его искали („къ матери за нитками“—шутили про него арестанты), и, конечно, попадался въ руки полиціи. Обладая широкимъ горломъ, здоровымъ кулакомъ и страстно желая играть въ тюрьмѣ роль заправскаго ивана и коновода, онъ имѣлъ, въ сущности, нравъ теленка, былъ довольно недалекъ, вялъ и сонливъ, и потому всегда и во всемъ шелъ въ хвостъ другихъ. „Настоящіе“ арестанты, къ которымъ онъ лѣнулъ, цѣнили его невысоко и часто въ глаза звали „дешевкой“. Въ ученіи Петинъ оказался точь въ точь такимъ же, какъ и въ жизни. Ему хотѣлось сразу все объять; къ упорному труду и медленному движенію впередъ, шагъ за шагомъ, онъ чувствовалъ положительное отвращеніе. Прочестъ мало-мальски толстую книгу для него

былъ непосильный подвигъ. Тѣмъ не менѣе, самъ онъ былъ чрезвычайно высокаго о себѣ мнѣнія, и на другихъ учениковъ, начавшихъ съ азовъ, но, благодаря способностямъ и усидчивости, угрожавшихъ скорѣ догнать и опередить его, глядѣлъ съ величайшимъ презрѣніемъ. Между прочимъ, съ Луньковымъ, другимъ моимъ ученикомъ, у него шла постоянная война и соперничество, начавшіяся еще въ дорогѣ. Луньковъ былъ совсѣмъ молодой паренекъ, лѣтъ 23, маленькаго роста, безусый, нѣсколько сутуловатый, но хорошенкій, какъ дѣвушка, шустрый въ движеніяхъ и бойкій на языкъ. Это былъ своеобразный субъектъ, жестоко ненавидимый такими иванами, какъ Петинъ. Дѣло въ томъ, что Луньковъ, подобно Михайлѣ Буренкову, презиралъ арестантовъ и отвергалъ всѣ обычаи теремной жизни, разъ они шли въ разрѣзъ съ его личной пользой и взглядами. Но Михайла былъ скрытенъ и только въ исключительныхъ случаяхъ обнаруживалъ свои индивидуалистическіе взгляды и склонности; напротивъ, Луньковъ отличался вредной для себя говорливостью и откровенностью. Не смотря на свою крошечную фигурку и небольшую физическую силу, безбоязненно рѣзалъ онъ каждому въ глаза то, что думалъ, не останавливаясь ни передъ угрозами, ни передъ затрепичинами и не отступая передъ рукопашными схватками съ самыми первыми силачами и хватами. Эта невыгодная для самого себя смѣлость какъ-то странно соединялась въ немъ съ трезвой практичностью, которая, несомнѣнно, была основной чертой его ума и характера; во многихъ отношеніяхъ Луньковъ былъ то, что называется—изъ молодыхъ, да ранній. Въ другой тюрьмѣ его, конечно, забили бы, и онъ принужденъ былъ бы смириться; но въ Шелайской всѣ были острижены подъ одну гребенку,—и великаны, и карлики, и глупые и умные; самый послѣдній парашникъ имѣлъ здѣсь такой же голосъ, какъ и самый первый глотъ и храпъ, что было, конечно, большимъ достоинствомъ шелайскаго режима. Со злобой глядѣлъ Петинъ на своего пигмей-соперника, дѣлавшаго быстрые успѣхи въ ученьи и хвастливо утверждавшаго, что скоро онъ оставитъ его позади. Петинъ, съ гордостью называвшій себя и Михайлу Буренкова „старшими учениками“, а всѣхъ остальныхъ „младшими“, ни за что не хотѣлъ этого допустить. Забавны бывали ихъ стычки за вечерними занятіями.

— Пошелъ, болванъ, прочь, теперь старшій ученикъ станетъ

заниматься!—рычалъ Сохатый, сверкая своими телячьими глазами.

— Я тебя, братъ, не боюсь, чего ты рычишь?—пищаль маленький Луньковъ, немного отодвигаясь:—мѣста всѣмъ хватить, садись. Только безъ пользы тебѣ наука.

— Какъ это безъ пользы? Знаешь ли ты, болванъ, что такое нмѣ существительное?

— Я въ свое время узнаю, не безпокойся. А вотъ какъ ты-то, старшій ученикъ, вчера „свѣтлый“ черезъ е написалъ?

— Оселъ! описка была. Сволочь тюремная, трепачъ, мараказина!

— Петинъ, зачѣмъ вы ругаетесь?—выѣшивался я въ споръ:—это ужъ не хорошо.

— Ничего, Иванъ Николаевичъ,—спокойно отвѣчалъ Луньковъ,—пушай ругается. Его брань у меня на вороту не повиснетъ. Тѣмъ болѣе, я хорошо знаю, что самъ онъ вѣчный тюремный житель, а я такихъ не обожаю. Это вѣдь у дураковъ только громкимъ считается его имя: Со-ха-тый! А я знаю, чѣмъ онъ и дышетъ даже, этотъ Сохатый.

— Чѣмъ я дышу? Говори.

— Дешевизной ты дышешь, вотъ чѣмъ.

— Какой дешевизной, болванъ?

— Такой. Я вѣдь хорошо знаю, что ты на волѣ дѣлалъ, изъ-за чего въ каторгу пришелъ.

— А ты изъ-за чего? Ты что дѣлалъ? Ты хвосторѣзомъ былъ. Ты въ Красноярскѣ съдохлыхъ лошадей шкуры снималъ.

— Случалось, и снималъ, не такую. Только дѣвушекъ я не насильничалъ, не хваталъ въ охапку и не волокъ въ кусты. Въ дорогѣ я партіонныхъ денегъ не проигрывалъ, какъ другіе прочіе.

Чѣмъ дальше, тѣмъ жарче разгорался споръ и кончался иногда потасовкой. Побитый Луньковъ плакалъ со злости, но смириться не хотѣлъ передъ нахаломъ Петинимъ. Впрочемъ, у послѣдняго даже для нахальства и озорства не хватало на долгое время энергіи и терпѣнія. Скоро онъ впадалъ въ обычную апатію, спалъ по цѣлымъ суткамъ и надолго забрасывалъ всякое ученье и самолюбивыя мечты. Такое настроеніе овладѣвало имъ послѣ каждой крупной ссоры. Тогда въ камерѣ водворялись миръ и спокойствіе. Никифоръ давно примирился съ мыслью, что братъ обогналъ его, и прежнихъ сценъ ревности уже не устраивалъ.

Все ученіе его ограничивалось теперь однимъ чтеніемъ. Объ успѣхахъ Маразгали и о томъ, что успѣхи эти остановились, благодаря незнанію русскихъ словъ, и онъ охладѣлъ къ грамотѣ, я уже рассказывалъ. Что касается Ногайцева, тотъ оказался изряднымъ тупицей, и не общалъ пойти дальше чтенія по складамъ. Своеобразной любознательностью отличался, между прочимъ, этотъ сонный и ожирѣлый мозгъ.

— А что, Иванъ Николаевичъ, бываютъ прокуроры изъ хохловъ?—обращался онъ вдругъ ко мнѣ съ вопросомъ, встрѣтивъ на ключѣ найденной гдѣ-нибудь печатной бумаги слово „хохоль“.

Или еще:

— Иванъ Николаевичъ! Вотъ тутъ сказано, что въ Россіи царствовалъ Алексѣй, а въ Китаѣ была династія.. Православное это имя династія, или нѣтъ?

Подобно гоголевскому Петрушкѣ, онъ съ равнымъ наслажденіемъ читалъ всѣ книги и бумажки, какія только попадались подъ руку.

При подобномъ характерѣ моихъ учениковъ не мудрено, что главное вниманіе я сосредоточилъ, кромѣ Михайлы Буренкова, на усердномъ и способномъ Луньковѣ. Между прочимъ интересовало меня и его прошлое. Благодаря говорливости Лунькова, вечера наши превратились вскорѣ въ настоящія судбища. Я былъ слѣдователемъ, Широко моимъ помощникомъ, Соколицевъ, землякъ Лунькова (воронежскій уроженецъ), свидѣтелемъ, Петинъ прокуроромъ, а вся прочая камера — публикой, живо интересовавшейся малѣйшими подробностями преній. Оказывалось, что, не смотря на свою молодость, Луньковъ былъ уже рецидивистъ.

— Только я дурно попалъ, Иванъ Николаевичъ, этотъ второй разъ въ каторгу,—съ грустью рассказывалъ Луньковъ.

— Какъ, то есть, дурно?

— Да такъ, что за пустяки, безо всякаго интересу.

— Какъ за пустяки! Вѣдь вы, говорятъ, человека убили?

— Что же изъ того, что убилъ. Я изъ-за его, изъ-за сволочи, по крайней мѣрѣ, тринадцать лѣтъ долженъ въ каторгѣ мучиться, однихъ спытуемыхъ семь лѣтъ *); а онъ-то теперь спитъ, ему ничего...

*) Рецидивистамъ испытующе сроки (всегда, сравнительно, длинные) назначаются самимъ судомъ.

— Расскажите подробно, какъ дѣло было.

— Я, Иванъ Николаевичъ, не скажу, что въ первый разъ изъ Расаи задаромъ въ Сибирь пришелъ. Тогда, дѣйствительно, по глупости по своей, отъ отца отбился, съ людьми такими связался... Ну, а что теперь—такъ совсѣмъ ни за что пропалъ, увѣряю васъ! Изъ-за характера своего, конечно. Сердце у меня, сами можете видѣть, нетерпѣливое; я не стерплю, чтобъ какой-нибудь храпъ (многозначительный взглядъ въ сторону Петина) жизнь свою надо мной куражилъ. Пушай лучше онъ меня убьетъ, или я его!.. Я въ Енисейской губерніи, поселенцемъ будучи, мелочью торговалъ. Накупишь, знаете, разнаго дешеваго товару, ситцу, бусъ, иголокъ, серегъ, колець, и ходишь съ коробомъ по деревнямъ, отъ бабочекъ хлѣбъ зарабатываешь. Вотъ однажды обращается ко мнѣ этотъ... убившій... то есть, убитый: „Позволь мнѣ, Коля, походить вмѣстѣ съ тобой, торговать поучиться. Я хоть и старый человекъ, а въ дѣлахъ этихъ ничего не смыслю“.—А я, надо вамъ сказать, мало и зналъ-то его до тѣхъ поръ, и, признаться, не по душѣ онъ мнѣ былъ: взоръ такой нехорошій, угрюмый... Однако, думаю себѣ: мнѣ то что? Дорога не моя — Божья. Иди, говорю, коли хочешь. Я въ понедѣльникъ отправляюсь.— А это было въ субботу. Въ понедѣльникъ рано утромъ онъ приходитъ ко мнѣ, тоже съ коробомъ за плечами. Пошли мы, и такъ съ недѣлю ходили вмѣстѣ. Онъ идетъ за мной, молчитъ все больше. А то начинаетъ ворчать про себя, что неладно идемъ, не той дорогой, какъ слѣдуетъ. Я вниманія не беру, скажу только развѣ: „Мы, дяденька, не связаны; не нравится тебѣ — своей дорогой иди“. Онъ и замолчитъ. При мнѣ, къ тому же, всегда въ дорогѣ левѡльвертъ. Безъ него я не ходилъ. Наканунѣ убивства ночевали мы у одной знакомой вдовы. Утромъ пробудились, я завтракать себѣ заказываю; сажусь ѣсть и его приглашаю, убитаго. Онъ отказывается:—„Не хочу“, говорить. — „Чего ты, дѣдунька, пасмурный такой?“—спрашиваетъ его хозяйка.—„Ничего, говорить, такъ. Сонъ я чудной видѣлъ: будто снѣгъ большой выпалъ, и на дорогѣ бревна лежатъ“.—„Да,—отвѣчаетъ хозяйка,— сонъ не то чтобы изъ пріятныхъ“. Вотъ какъ сейчасъ, Иванъ Николаевичъ, я эти слова ея слышу:—„сонъ не то, чтобы, говорить, изъ пріятныхъ“. И къ чему ему такой сонъ въ ту ночь приснился? Неужели душа его чуяла что-нибудь такое?

— Ну, рассказывайте дальше.

— А въ эту ночь, точно, снѣгъ глубокой выпалъ, чуть не по колѣно. Вотъ, отправились мы въ путь-дорогу. Я впереди, какъ всегда, онъ сзади. Не успѣли за поскотиину выйти, онъ заспорилъ.— „Куда ты, говоритъ, идешь?“ — Я говорю, на Лѣсное.— „Дуракъ, Лѣсное не на этой совсѣмъ дорогѣ лежитъ, а вонъ на той“—и показываетъ мнѣ чуть видную тропочку, по которой мужики по дрова въ лѣсъ ѣздить.— „Иди, говорю, туда, а я своей дорогой пойду“. Онъ хватъ меня за корбѣ: „ты что, говоритъ, все грубишь? Я наскучилъ этимъ“. Я обернулся:— „Остань, говорю, отъ меня, не вводи въ грѣхъ. Я тоже тобой наскучилъ. Мы, значить, не товарищи больше. Ступай отъ меня“. И хочу идти. Онъ изъ себя выпрягся, дорогу мнѣ загораживаетъ:— „Иди, говоритъ, куда старшіе велятъ“. Тогда я вынимаю левольвертъ:— „Вотъ, кто у меня старшій! Прочь съ дороги, тварь этакая!“ Онъ замахнулся было палкой, но тутъ я стрѣлялъ... Гляжу — онъ и шлепнулся на земь: пуля прямо въ лѣвый сосокъ угодила... Пощупалъ я его—мертвый. Отволокъ въ сторону отъ дороги, засыпалъ малость снѣгомъ и пошелъ дальше. Только съ горки спущаясь, знакомый мужикъ навстрѣчу ѣдетъ: „Что тутъ, Луньковъ, за выстрѣлъ ровно былъ?“ — „Ничего, я говорю, не слыхалъ; видно, послышалось тебѣ“. Пошелъ дальше—еще нѣсколько мужиковъ встрѣчаю. Сердце у меня такъ и кипѣло, кровью обливалось. Ну, думаю, теперь пропалъ! Надо скрыться... Продавъ поскорѣй корбѣ, взявъ чужой паспортъ и укатилъ верстъ за сто отъ того мѣста. Только паспортъ-то этотъ и погубилъ меня: челоуѣкъ ненадежный далъ... Арестовали меня, привезли въ волость. Повели въ помѣщенье, гдѣ мертвецъ лежалъ.— „Тотъ-ли это, спрашиваютъ, котораго ты убилъ?“ Я посмотрѣлъ, посмотрѣлъ на него... Лежитъ, какъ живой: борода съ сѣдинкой, и на груди раночка махонькая... Взялъ я его за бороду и къ свѣту этакъ повернулъ. Еще посмотрѣлъ, посмотрѣлъ... Да какъ размахнусь вдругъ ногой, да какъ хвачу его въ подбородокъ носкомъ: „за одно ужъ пропадать мнѣ за тебя, сволочь!“ Ну, тутъ схватили меня, увели, протоколъ составили.

— Зачѣмъ же вы, Луньковъ, такую гадость сдѣлали? Убили ни за что, да и надъ мертвымъ еще надругались?

— Съ сердцемъ, Иванъ Николаевичъ, ничего не подѣлаешь. Я и до сихъ поръ, какъ вспомню объ ѣмъ, задрожу весь. Разъ во снѣ привидѣлся... одинъ только разъ за всѣ два года...

Приходить, стоит и глядит на меня... „Ты зачѣмъ, спрашиваю, пришелъ?“ Молчитъ, только бородой на меня трясеть—этакъ упрекаетъ ровно. „А, говорю, подлецъ, ты еще смѣяться надо мной?“ Схватываю топоръ и за нимъ. Онъ прочь. Какъ убѣждалъ, съ тѣхъ поръ и не приходилъ больше. Меня вѣдь за поруганіе то, Иванъ Николаевичъ, и осудили такъ строго; а то развѣ-бъ дали тринадцать лѣтъ при полномъ сознаніи?

— Ну, а теперь я скажу свое мнѣніе, — началъ Чирокъ по окончаніи разсказа:—Все ты врешь. Не такъ убилъ ты старичонку, а за коробъ убилъ!

— Да, за коробъ, какъ же! При немъ, какъ подняли его, все такъ и нашли въ томъ самомъ видѣ, какъ было: и коробъ съ товаромъ, и денегъ 4 рубля 90 копѣекъ.

— Сказывай! Я тебя знаю...

— Много ты знаешь! Я тебѣ свидѣтелей представлю, изъ красноярскихъ же, и въ Алгачахъ, и въ Александровскомъ централѣ. Да чего далеко ходить? Здѣсь же, вонъ, у Степѣи Челдончика спроси...

— Я тоже красноярскій,—закричалъ вдругъ Петинъ, — тоже свидѣтелемъ могу быть. Конечно, за коробъ убилъ старика!

— Тебя я отвожу,—спокойно возразилъ Луньковъ:— ты мнѣ врать. Ты можешь еще и новое убійство на меня открыть.

Всѣ разразились хохотомъ. У Петина не хватило пороку продолжать лжесвидѣтельство.

— А раньше за что вы попали въ Сибирь?—спросилъ я Лунькова.

— Раньше, Иванъ Николаевичъ, за дѣло,—отвѣчалъ онъ, глубоко вздыхая, — тамъ всетаки я себя, а не судьбу долженъ винить.

— Ну, рассказывай, землячокъ, толкомъ, — замѣтилъ Соколовъ,—тутъ я ужъ не дамъ тебѣ соврать. Какъ разъ объ ту пору я съ Кары сорвался и на улочку въ воронежскій замокъ приведенъ былъ.

— Чего мнѣ врать,—грустно отвѣчалъ Луньковъ,—коли врать, такъ и не говорить лучше.

— Вы и въ первый разъ, Луньковъ, за убійство судились?

— Зачѣмъ, Иванъ Николаевичъ! Такъ, за шалости за разные...

— Какъ! ты смѣешь отпираться, болванъ? — грозно кинулся къ нему Петинъ, вытаращивъ глаза и стиснувъ кулаки,—а не самъ

ли ты сказывалъ при мнѣ въ шестомъ номерѣ, что дѣвчонку убили?

— Этого я не считаю, — хладнокровно отвѣчалъ нашъ обвиняемый:—это была малолѣтняя шалость, объ ней нечего поминать. За нее я не судился.

— Всетаки... какъ вы убили ее?

— Желѣзиной... Пѣддоской нечаянно по виску ударилъ... Да на что вамъ знать такіе пустяки, Иванъ Николаевичъ?

— Какъ же ты говоришь, болванъ, нечаянно, а самъ сказывалъ, что дѣло было подъ мостомъ? Откуда-жъ пѣддоска у тебя взялась?

— Не съ тобой разговариваютъ, глотъ Красноярскій! Много будешь знать, скоро состаришься.

— Я теперь знаю, за что онъ убилъ дѣвчонку, — выѣшался опять Чирокъ: онъ изнасилничать хотѣлъ, а она не давалась.

— Да, какъ же! Мнѣ тринадцать лѣтъ всего было, а ей десять. Много ты узналъ!

Однако, Луньковъ упорно отказывался почему-то рассказать подробности этого убійства, и я такъ ничего и не узналъ кромѣ того, что самый трупъ дѣвочки найденъ былъ лишь зиму спустя.

— Ну, ладно. Расскажите, за что вы судились въ первый разъ.

— Видите ли, Иванъ Николаевичъ, я по духовной части займовался...

— Какъ по духовной?! Вѣдь вы говорили, что отецъ вашъ извозчикъ былъ?

Дружный смѣхъ всей камеры былъ мнѣ отвѣтомъ. Самъ Луньковъ захихикалъ.

— То есть, я по церквамъ ходилъ...

— Богу молиться, — договорилъ Соколицевъ: — нашъ Воронежъ, сами знаете, съ древности богатъ храмами и благочестіемъ славится.

Всѣ опять засмѣялись. Я понялъ, наконецъ, въ чемъ дѣло.

— Только надо, Иванъ Николаевичъ, съ краю обсказать вамъ мою жизнь,—продолжалъ Луньковъ, принимая опять серьезный и даже грустный видъ. — Отецъ мой сыпкой зерна займовался, а также биржу держалъ. Сначала одинъ старшій братъ съ сѣдоками ѣздилъ. Онъ зачалъ баловаться. Насчетъ вина, значить, и бабенокъ. Ему по злобѣ разъ хвосты у коней отрѣзали. Отецъ шибко

побилъ его за это. Вдругорядъ пришли къ нему знакомыя барышни, попросили покатыть ихъ. А конямъ только что кровь открывали. Братъ взялъ и поѣхалъ. Коня распарилась, пошла кровь, и такъ двѣ самыхъ лучшихъ у отца лошади пали. Ухъ, какъ билъ тогда отецъ брата, ажко вспомнить страшно... Приковалъ цѣпью за руки къ бревну, привѣсилъ бревно къ потолку, гдѣ зыбка вѣшается, и цѣлыхъ три часа супонью стегалъ. Отдохнетъ и опять бить принимается. Онъ до смерти убилъ бы его, кабы мѣтра сосѣдей не позвала на помощь. Ну, однако, братъ не исправился. Съ другимъ извозникомъ ограбилъ одного господина, сто цѣлковыхъ денегъ отобрали, часы золотые, шубу и сапоги хорошіе, а самого живого отпустили. На другой день стрѣма по городу началась, но уличить ихъ не могли. Только отецъ вскорѣ узналъ по часамъ, что братъ это сдѣлалъ. Сначала онъ въ полицію хотѣлъ ихъ нести, да мѣтра отговорила. Жестоко онъ избилъ опять брата, еще жесточе прежняго. Послѣ того, выздоровѣвъ, братъ ушелъ отъ отца и сталъ съ любовницей кабачокъ держать. Тутъ онъ и совсѣмъ запутался, на Сахалинъ вскорѣ ушелъ... Тогда я сталъ на биржу ѣздить. Мѣтра въ это время померла, и отецъ на другой женился. Дома хуже жить стало, и я тоже зачалъ баловаться. Биржа, сами знаете, Иванъ Николаевичъ, хуже всякаго другого ремесла можетъ развратить человѣка... Безпрестанно господъ возишь по вокзаламъ, гостиницамъ, трактирамъ, видишь, какъ люди веселятся, хорошо пьютъ, ѣдятъ, много денегъ имѣютъ. Ну, конечно, и самъ начинаешь утаивать отъ хозяина деньги, винцо попивать, съ дѣвочками гулять... Кромѣ того, всякаго сорта народъ видишь. Разъ у меня на пролеткѣ убийство случилось.

— Какъ такъ убійство?

— Такъ. Знакомый мѣщанинъ Улитинъ съ одной барышней на мнѣ ѣхалъ; оба, конечно, подгулявши. Зачали ссориться, спорить о чемъ-то. Дѣло ночью было. Онъ хватъ мой же ключъ изъ ящика, да и бацъ ее по виску. Изъ нея и духъ вонь!

— Что-жъ вы сдѣлали? Въ полицію представили?

— Знакомаго-то? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Я благородно поступилъ. Отвезли мы ее за кирпичные сараи и спустили тамъ въ помойную яму...

— Хорошо благородство! Это ужъ третья душа, значить, на вашей совѣсти?

— Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да я-то при чемъ же тутъ? Мое дѣло совсѣмъ тутъ постороннее было.

— А много крови натекло къ тебѣ въ пролетку-то?—полюбопытствовалъ зачѣмъ-то Чирокъ.

— Ни одной капли. Только ключъ въ крови былъ.

— Ну, вотъ и врешь, путаешь. Коли ключъ въ кровѣ былъ, обязательно вся пролетка была залита кровью.

Начался по этому поводу споръ въ камерѣ. Эксперты по этой части были все опытные... Большинство поддерживало Чирка; но Луньковъ упорно стоялъ на своемъ, утверждая, что дѣвушка была закутана шалью, и кровь изъ-подъ шали не вышла наружу. Съ трудомъ убѣдилъ я спорщиковъ прекратить этотъ нелюбопытный для меня споръ и вернуться къ разсказу.

„Баловство“ Лунькова все шло дальше и дальше; отецъ началъ и его учить, какъ брата, и въ одинъ прекрасный день семнадцатилѣтнимъ мальчишкой онъ бѣжалъ изъ родительскаго дома и попалъ въ шайку нѣкоего „Степана Ивановича“, знаменитаго воронежскаго жулика, отъ котораго Луньковъ и до сихъ поръ былъ въ восторгѣ. Степанъ Ивановичъ занимался, главнымъ образомъ, „по духовной части“. Въ первую же ночь, въ которую Лунькова посвятили въ эту часть, ему пришлось быть свѣдѣтелемъ убійства. Когда отпирали у церкви замокъ, одному изъ товарищей прищемили въ дверяхъ руку, и онъ заоралъ не своимъ голосомъ: тогда Степанъ Ивановичъ уgomонилъ его навѣки ломомъ по головѣ, а трупъ стащилъ въ рѣчку. Нѣсколько дней спустя та же шайка совершила грабежъ съ убійствомъ, догнавъ за городомъ двухъ проѣзжихъ купцовъ. Луньковъ былъ при этомъ кучеромъ, а Степанъ Ивановичъ, съ нѣкимъ Федоромъ и еще третьимъ товарищемъ, стрѣляли изъ револьверовъ, и на этомъ основаніи Луньковъ отрицалъ свою виновность въ этомъ убійствѣ.

— Что вы, Иванъ Николаевичъ, помилуйте! Какое же тутъ было мое преступленіе? Я не стрѣлялъ, кушаками я не давилъ... Я только лошадьми правилъ... Не донесъ я, конечно, это правда; такъ вѣдь это по нашему не вина, а заслуга.

Когда Луньковъ говорилъ подобныя вещи своимъ тоненькимъ пѣвучимъ голоскомъ, серьезно и даже печально, то нельзя было рѣшить, своего ли это рода наивность и недомысліе, или же верхъ развращенности и лицемерія.

Отобранный у одного изъ убитыхъ паспортъ Степанъ Ивановичъ далъ Лунькову, и по этому-то виду онъ и судился впоследствии. А настоящая его фамилія была, будто бы, не Луньковъ, а другая.

Утомительно было бы пересказывать всѣ жульническія похождения, въ которыхъ Луньковъ участвовалъ въ теченіе пяти мѣсяцевъ своей свободной жизни. Своеобразный міръ, своеобразные идеалы и понятія о чести и товариществѣ. Въ одномъ селѣ подъ Ельцомъ какая-то женщина „подвела“ ихъ шайку, состоявшую изъ Степана Ивановича, Ѳедора и самого Лунькова, подъ богатаго мужика, на котораго имѣла зубъ, сообщивъ имъ, что въ одномъ изъ трехъ амбарчиковъ около его дома стоитъ сундучекъ съ деньгами. Они, дѣйствительно, нашли въ указанномъ мѣстѣ три тысячи рублей и въ одну ночь „отжарили“ оттуда босикомъ сорокъ пять верстъ. Остановились у развалинъ какого-то погребка, за городомъ. Луньковъ съ Ѳедоромъ остались отдыхать, а Степанъ Ивановичъ отправился въ городъ за покупками. Черезъ нѣкоторое время онъ вернулся пьяный съ четырьмя новыми товарищами, изъ которыхъ одинъ былъ завѣдомый шпіонъ. Всѣ семеро отправились въ притонъ разврата и тамъ въ нѣсколько дней прокутили двѣ тысячи. Затѣмъ начали думать, какъ бы отвязаться отъ шпіона. Хотѣли даже „пришить“ его, но предпочли дать денегъ и отослать съ какими-то порученіями. Шпіонъ на время скрылся. Тогда хозяйка притона указала на церковь, въ которой можно было пожавиться. Ночью посѣтили церковь, но въ расчетахъ ошиблись, добывъ всего сорокъ рублей денегъ и вещей на сотню. Въ то же утро нагрянула полиція. У Ѳедора нашли при обыскѣ церковный „воздухъ“ въ карманѣ... Началась провѣрка документовъ. У всѣхъ оказались подлинныя; только въ документѣ Лунькова откопали четыре прежнихъ подсудности, о которыхъ онъ и не зналъ даже. Благодаря этимъ-то чужимъ грѣхамъ, онъ и пошелъ, будто бы, на поселеніе, тогда какъ товарищи его отдѣлались простой высылкой.

— А за что же ты, землячекъ, годомъ раньше сидѣлъ въ тюрьмѣ?—спросилъ вдругъ Сокольниковъ, все время о чемъ-то думавшій.

— Когда раньше?—вспыхнулъ Луньковъ.

— Да тогда. Вѣдь въ это-то время, про которое ты говоришь, меня ужъ не было въ Воронежѣ. Я опять въ каторгу шелъ.

— Какъ такъ? Ну, значить... ты и не видалъ меня въ воронежской тюрьмѣ, обознался. Я раньше не сидѣлъ.

— Какъ не сидѣлъ! Еще отпираться станешь! Не обознался я. Да и ты же первый узналъ меня?

— Го-го-го! Попался, голубчикъ!—закричала камера, радуясь тому, что Лунькова, наконецъ, уличили.

— Положимъ, я точно... сидѣлъ одно время... мѣсяца съ полтора... такъ это за пустяки,—завертѣлся Луньковъ.

— Ну, однако.

— Говори, болванъ!—варычалъ Сохатый.

— Сказывай, землячекъ, сказывай. Самъ же хвалился, что коли врать, такъ лучше и совсѣмъ ничего не говорить.

— Это я по дѣлу брата сидѣлъ... То есть, нѣтъ, по дѣлу Карла Ивановича.

— Да вѣдь Карлъ Ивановичъ за почту обвинялся, а братъ твой за попа. Я хорошо вѣдь знаю.

— Да... тутъ... Только Карлъ Ивановичъ оправданъ былъ въ этомъ дѣлѣ.

Наконецъ, общими усиліями Сокольцева, Чирка, Петина и моими, Лунькова такъ приперли къ стѣнѣ, что онъ рассказалъ намъ слѣдующее. Онъ у отца еще жилъ, когда совершенно было дерзкое покушеніе на грабежъ почты съ сорока пятью тысячами денегъ: два почтальона были убиты на мѣстѣ, а ямщикъ успѣлъ скрыться съ почтой. Подозрѣніе пало на арестованныхъ вскорѣ по другимъ дѣламъ „Карла Ивановича“ и брата Лунькова съ шайкой. Два мѣсяца просидѣлъ подъ арестомъ и младшій Луньковъ, нашъ знакомецъ. Ямщикъ показывалъ, что „маленькій“ сидѣлъ во время нападенія и кричалъ: „не вяжите ихъ, бейте на смерть!“ Прокуратура подозрѣвала, что этотъ маленький и былъ младшій Луньковъ. Но во время слѣдствія онъ держалъ себя, какъ невинный ребенокъ; кромѣ того, товарищъ прокурора сдѣлалъ, по словамъ рассказчика, крупнѣйшую ошибку, назвавъ ямщику по фамиліямъ тѣхъ, кого подозрѣвалъ въ убійствѣ. Благодаря, будто бы, этому, все обвиненіе рушилось, и дѣло было прекращено. Рассказывая это, Луньковъ не думалъ, однако, сознаваться, что „маленькій“ былъ онъ самъ, хотя Чирокъ и говорилъ прямо:

— Да, вѣстимо, онъ! Онъ, гадъ!

— Вы дурно жили,—сказалъ я однажды Лунькову.

— Чѣмъ же дурно, Иванъ Николаевичъ?—возразилъ онъ:— вотъ, если бы я голоднымъ ходилъ, оборваннымъ, подъ окнами просилъ, тогда можно бы сказать: дурно! А то я жилъ, слава Богу Меня возмутило такое циничное оправданіе.

— Еще и Бога помннаете!

— Онъ простить, Иванъ Николаевичъ. Въ Писаніи сказано вѣдь,—вотъ я недавно читалъ: „ежели Богъ захочетъ, ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы человѣческой“. Мнѣ жестоко врѣзались эти слова въ память. Какой же, слѣдовательно, грѣхъ, что я убилъ? Значить, такъ Господь хотѣлъ. Вы не сердчайте на меня, Иванъ Николаевичъ. Я вижу, что вы сердчаете... Что же! Я правду вамъ говорю... А другіе лицемерятъ передъ вами, скрываютъ, что они такое есть, и вы любите такихъ двуликихъ... А вотъ я объ одномъ тужу, Иванъ Николаевичъ. Какъ жилъ я въ Сибири передъ убивствомъ, мнѣ одна бабочка предлогъ дѣлала: „Увези меня, Коля! Возьмемъ у мужа пятьсотъ рублей и уѣдемъ“. Увезъ бы я ее до Перми, сдалъ бы кому-нибудь съ рукъ на руки и поѣхалъ бы себѣ дальше... Вотъ объ этомъ я, дѣйствительно, тужу немного.

— А что бы вы стали дѣлать, Луньковъ, если бы на волю вышли? Вернулись бы домой?

— Конечно, вернулся бы. У меня вѣдь чистое мѣсто. Прямо на свое родное имя могъ бы заявиться.

— Къ отцу?

— Нѣтъ, раньше бы я... Въ Ельцѣ къ одному... въ гости бы зашелъ.

— Въ хорошіе, должно быть, гости!

— Да какъ же, Иванъ Николаевичъ! Совѣстно было бы къ отцу безъ денегъ придти, съ пустыми руками. Гдѣ, скажетъ, шлялся столько лѣтъ? Нищимъ вернулся? Я теперь корми тебя!

Маленькій резонеръ, нисколько не таясь и даже кичась еще своей откровенностью, говорилъ мнѣ прямо, что за сто, за двѣсти цѣлковыхъ не поколебался бы убить человѣка.

— А если-бъ Миколанчъ пошелъ съ тобой бродяжить,—спросилъ его однажды Чирокъ:—пришилъ бы ты его?

— Нѣтъ, зачѣмъ же! Подошелъ бы я къ Ивану Николаевичу по вольной жизни, попросилъ бы у нихъ деньжонокъ, они и такъ бы не отказали.

— Ну, а коли отказалъ бы?

— Конечно, не зарекаюсь... А только, ежели они обучать меня грамотѣ, тогда за что же убивать?

Я смѣялся вмѣстѣ со всѣми, слушая эти рѣчи, но въ душѣ ужасался и не зналъ, что думать объ этомъ странномъ субъектѣ, почти еще мальчикѣ, и уже такъ бесконечно, такъ безнадежно испорченномъ и погибшемъ. Единственное, что въ немъ привлекало меня, это—неустранимость, съ которою онъ, маленький и слабый, воевалъ съ тюремными геркулесами-иванами, рѣжа имъ въ глаза матку-правду. Если вѣрить словамъ Лунькова, то въ бытность на волѣ онъ страшно идеализировалъ арестантовъ.

— Я думалъ, Иванъ Николаевичъ, что коли религія у нихъ одна, такъ и душа должна быть одна, что они твердо стоятъ другъ за дружку въ несчастіи.

— То есть какая такая религія?

— Такая, что всѣ вѣдь мошенники, по одному дѣлу суждены... А на дѣлѣ я увидалъ, что всѣ они твари дешевыя. Сегодня ты напоилъ его чаемъ—и ты первый у него другъ; а завтра не напоилъ—и онъ тебя на чемъ свѣтъ клянеть ужъ! Самый, Иванъ Николаевичъ, дешевый и продажный народъ. Всѣ ихъ законы и уставы гроша мѣднаго не стоятъ. И рѣшилъ я съ этихъ поръ не уважать имъ, во всемъ наперекоръ идти. Никакой жалости не имѣю къ этимъ тварямъ бездушнымъ. Къ тому только хорошъ я, кто ко мнѣ хорошъ; того только пожалѣю, кто меня пожалѣетъ. И не того боюсь я, Иванъ Николаевичъ, что съ сердцемъ своимъ отъ начальства погибну, а того, что своему же брату когда-нибудь кишки выпущу, или самъ отъ его руки пропаду. Знаю, что и меня тоже ненавидятъ глоты и храпы эти разные; да я не боюсь ихъ. Пуцай убьютъ—не погонюсь за жизнью. Я, можетъ, даже радъ буду, коли меня кто на смерть полыснетъ. Пуцай! Во злѣ пропадать не страшно... Вотъ отъ суда петлю заслужить—этого я не желалъ бы, точно не желалъ бы... Неохота еще съ бѣлымъ свѣтомъ разставаться! Кабы петли-то я не боялся, развѣ сталъ бы терпѣть? Давно-бъ ужъ одного, а не то и двоихъ пришилъ.

— Значитъ, очень вамъ жить хочется, Луньковъ?

— Конечно, охота, Иванъ Николаевичъ. Много-ль я и свѣта-то еще Божьяго видѣлъ? Ну, а все же, если-бъ знать навѣрное, что года черезъ два мнѣ помереть Богомъ назначено, не сталъ бы тогда ждать... Не подорожилъ бы этими двумя годами... Та-

кое-бъ дѣльце одно сдѣлалъ, что лѣтъ пятьдесятъ, а то и сто, пожалуй, помнили-бъ меня! Имя бы громкое приобрѣлъ!

— Что-жъ бы вы такое сдѣлали?

— Не стоитъ зря говорить, Иванъ Николаевичъ. Одно только скажу вамъ: не на *той* половинѣ дѣло мое было бы (Луньковъ кивнулъ головой на дверную форточку), а на *этой*, здѣсь вотъ (онъ загадочно постучалъ пальцемъ по столу). Потому *ту* половину я не такъ виню. Тамъ я даже совсѣмъ никакого зла не имѣю, а вотъ *здѣсь*... Здѣсь я больше вины нахожу!

Никогда не хотѣлъ Луньковъ объяснить мнѣ всѣхъ причинъ своей ненависти къ арестантской массѣ; я могъ только догадываться по нѣкоторымъ намекамъ, что въ числѣ многихъ другихъ обидъ онъ не могъ забыть и простить несправедливаго обвиненія его кѣмъ-то изъ тюремныхъ главарей въ одномъ низкомъ пороѣ, владущемъ въ глазахъ арестантовъ неизгладимое клеймо позора на каждого, уличеннаго въ немъ. На свое несчастье, Луньковъ, какъ я говорилъ уже, имѣлъ молодежавое, женственно-смазливое личико, и обвиненіе это имѣло правдоподобность въ глазахъ развращенной шпанки. Къ жертвамъ этого омерзительнаго порока каторга не знаетъ вообще ни пощады, ни состраданія, и, напротивъ, къ тѣмъ изъ своей братіи, которые пользуются ихъ слабостью, относится не только съ снисходительностью, но даже съ уваженіемъ...

— Въ тюрьмѣ я долженъ терпѣть, Иванъ Николаевичъ,—говорилъ Луньковъ:—постараюсь все стерпѣть; но когда вырвусь на волю,—двоихъ, а не то и троихъ безпремѣнно уговорю! Вотъ честное мое слово—уговорю! И даже нацѣжу сначала изъ него чашку крови и выпью, а потомъ уже прикончу стервину!

Къ отдѣльнымъ лицамъ изъ тѣхъ же арестантовъ Луньковъ относился не только безъ злобы, но даже съ какой-то сентиментальной нѣжностью. Нѣсколько человѣкъ, стоявшихъ, подобно ему, въ сторонѣ отъ общей тюремной жизни, особенно одинъ больной старичокъ-землякъ, были даже закадычными его пріятелями. Долгое время чрезвычайно страннымъ и непонятнымъ казалось мнѣ: какъ могъ Луньковъ, при подобной враждѣ къ тюремнымъ законамъ и обычаямъ брать на себя роль самоотверженной сестры милосердія по отношенію ко всѣмъ, сидящимъ въ карцерѣ? Никто съ бѣльшей смѣлостью и неутомимостью не слѣдилъ за тѣмъ, чтобы они рѣшительно ни въ чемъ

не нуждались, и никто съ бѣльшей ловкостью не передавалъ имъ все, что нужно, при самыхъ зоркихъ и хитрыхъ надзирателяхъ. Яшка Тарбаганъ лѣзъ, бывало, на удалую, а Луньковъ дѣлалъ свое дѣло артистически, точно самъ любясь и играя своимъ искусствомъ... Вскорѣ я замѣтилъ, впрочемъ, что и къ этой дѣятельности его поощряло отчасти чувство той же ненависти и того же презрѣнія къ арестантскимъ мнѣніямъ и рѣшеніямъ. Онъ заботился рѣшительно обо всѣхъ, кого только садили въ карцеръ, не дѣлая никакого различія между тѣми, кого артель любила и кого ненавидѣла. Такъ, однажды посаженъ былъ въ карцеръ вольнокомандецъ, котораго всѣ называли шпиономъ и которому рѣшено было ничего не подавать. Луньковъ демонстративно ухаживалъ за нимъ даже больше и усерднѣе, чѣмъ когда либо и за кѣмъ-либо.

— Потому, Иванъ Николаевичъ, я это дѣлаю,— объяснилъ онъ мнѣ свое поведеніе,— что ничего не знаю: правильно, или ложно говорить объ немъ кобылка. Для меня они всѣ равны. Много я насмотрѣлся въ тюрьмахъ, какъ совершенно безвинныхъ людей, Богъ знаетъ въ чемъ, обвиняли и убивали даже! Его начальство наказываетъ; зачѣмъ же еще и я, такой же, какъ онъ, несчастный, стану его мучить?..

При всѣхъ противорѣчіяхъ и путаницѣ мыслей, которыя поражали въ разсужденіяхъ и взглядахъ Лунькова, въ немъ таилось зерно, какъ будто, чего-то хорошаго, честнаго, самостоятельнаго, зерно, быть можетъ, едва замѣтное подъ темной скорлупою испорченности и невѣжества, но придававшее ему все-таки симпатичный обликъ, дѣлавшее его отраднымъ исключеніемъ среди дѣйствительно дешевой и безнадежно-развращенной шпанки.

Большинство арестантовъ страшно ненавидѣло и бранило Шелайскій рудникъ; Луньковъ, напротивъ, былъ одинъ изъ немногихъ, которые хвалили его. Онъ выражалъ довольство именно тѣмъ, чѣмъ Петины, Сокольцевы и Семеновы возмущались: тѣмъ, что въ этомъ рудникѣ было строго, что каждый членъ артели имѣлъ равный со всѣми голосъ, и потому воровства общаго имущества не происходило, и пища была лучше, чѣмъ въ другихъ тюрьмахъ. Картъ онъ также не любилъ и предпочиталъ имъ книжку.

Таковъ былъ второй изъ моихъ любимыхъ учениковъ. Пошло ли ему въ прокъ ученіе? И чѣмъ онъ кончитъ? Ставлю знаки

вопроса, на которые самъ я не въ силахъ дать опредѣленный отвѣтъ.

V.

Сахалинскія тревоженія.

Съ приближеніемъ весны пошли по каторжнымъ тюрьмамъ темные слухи о предстоящей выборкѣ на островъ Сахалинъ. Арестанты глухо волновались. Одни страшились, какъ смертной казни, одного имени этого ужаснаго острова; для другихъ, напротивъ, оно являлось символомъ тайной надежды на воскресеніе... Говорили, будто высылкѣ на этотъ разъ подлежали всѣ бродяги, непомнящіе родства, всѣ судившіеся во второй разъ, всѣ бѣгавшіе съ каторги, наконецъ, всѣ провинившіеся въ чемъ-нибудь въ тюрьмѣ. Категоріи эти обнимали огромную часть тюремнаго населенія, и понятно, что всѣ съ трепетомъ ожидали рѣшенія своей участи. О томъ, что такое, собственно, Сахалинъ, этотъ знаменитый Соколинный островъ, — никто съ положительностью ничего не зналъ. Одни утверждали, что это—живой гробъ, изъ котораго нѣтъ возврата назадъ; о каторжныхъ работахъ въ каменноугольныхъ копяхъ, гдѣ приходится ползать на колѣняхъ по горло въ водѣ, передавались ужасы.. Другіе, наоборотъ, смѣялись надъ подобными страхами, рисуя Сахалинъ чѣмъ-то вродѣ земного Эльдорадо: тамъ, по ихъ словамъ, самыхъ долгосрочныхъ немедленно отпускали на волю, на всѣ четыре стороны; казенныхъ работъ почти не было; арестантамъ давались орудія труда, скотъ и даже деньги на обзаведеніе хозяйствомъ; этого мало: каждому предоставлялось выбрать въ качествѣ жены любую изъ выстроеннаго шеренгой десятка каторжанокъ... Для тѣхъ же, кому и всѣхъ этихъ благъ казалось мало, всегда, будто бы, была возможность побѣга. Назывались въ подтвержденіе десятки фамилій зерентуйскихъ, алгачинскихъ и карійскихъ арестантовъ, бѣгавшихъ, якобы, съ Сахалина и очень его одобрявшихъ. Никто не зналъ въ концѣ концовъ, кому и чему вѣрить. Малосрочные каторжане, а также забайкальскіе уроженцы, мечтавшіе вернуться по окончаніи срока на родину, само собой разумѣется, больше всѣхъ трусили Сахалина, впадая въ уныніе при каждомъ возобновленіи слуховъ о скорой выборкѣ. Безнадежно долгосрочные, напротивъ, мечтали попасть въ списокъ высылаемыхъ: они го-

товы были отправиться хотя бы даже за Сахалинъ, на самый край свѣта, лишь бы только вырваться изъ стѣнъ Шелайской тюрьмы, которая большинству ихъ казалась хуже самой смерти. „Переимѣнить участь“, переимѣнить цѣною чего бы то ни было и какимъ бы ни было образомъ—было ихъ первой и самой завѣтной мечтою, не дававшей ни сна, ни покоя. Объ отдаленномъ будущемъ никто изъ этихъ мечтателей не любилъ и не умѣлъ задумываться. Сахалинъ, если бы даже онъ оказался и ужасной вещью, представлялся чуть ли не столь же далекимъ, какъ и существованіе за гробомъ, а между тѣмъ на пути туда рисовалась воображенію раздольная этапная жизнь съ майданами и картежной игрою, съ массой новыхъ тюремъ, черезъ которыя надо проходить, со множествомъ новаго народа, встрѣчами со старыми знакомцами и товарищами и—кто знаетъ?—быть можетъ, счастливыми случайностями, которыя опять вынесутъ мертваго человѣка на свѣтъ Божій... Особенно разгорались мечты долгосрочныхъ, имѣвшихъ при себѣ женъ. Среди арестантовъ, вообще, господствовало мнѣніе, не знаю—вѣрное или невѣрное, будто не только на Сахалинѣ, но и въ большинствѣ другихъ каторжныхъ пунктовъ семейныхъ не держать въ тюрьмѣ даже и въ теченіе испытываемаго срока, а почти немедленно выпускаютъ въ вольную команду, въ виду того, что семейные очень рѣдко бѣгаютъ. Въ Шелайскомъ рудникѣ такого обычая, во всякомъ случаѣ, не было: Шестиглазый относился къ женатымъ такъ же строго, какъ и къ холостымъ. Свиданіе съ женами давалось имъ одинъ разъ въ недѣлю подѣ строгимъ наблюденіемъ надзирателей; ничего съѣстного передавать съ воли не позволялось (кромѣ того, что можно было съѣсть во время свиданія), и никто не имѣлъ надежды выйти на свободу раньше окончанія испытываемаго и исправляющаго срока.

— И не мечтайте объ этомъ, — грозно заявилъ однажды штабсъ-капитанъ Лучезаровъ во время вечерней повѣрки:—для меня вы всѣ равны, и никого раньше законнаго срока я не выпущу. А если я не выпущу, то и самъ Богъ не поможетъ вамъ выйти за эти стѣны!

Между тѣмъ, испытываемые сроки у большинства шелайскихъ семейныхъ были безнадежно-большіе, и понятно, какъ всѣ они должны были рваться вонъ изъ когтей Шестиглазаго, если питали увѣренность, что другія тюремныя начальства относятся къ

женатымъ арестантамъ мягче. Положеніе нѣкоторыхъ дѣйствительно, внушало невольное состраданіе. Молодой полякъ Мусяль пришелъ на двадцать лѣтъ за убійство вотчина своей жены, который вывелъ его изъ терпѣнія рядомъ многолѣтнихъ несправедливостей, обмановъ и придирокъ. Мусяль былъ простой польскій мужикъ, умственной своей первобытностью и нравственной неисторченностью сильно напоминавшій русскаго Шемелина. Если вѣрить разсказу Мусяля (а не вѣрить не было причинъ—такъ разсказъ этотъ былъ простъ и похожъ на дѣйствительность), то большинство русскихъ арестантовъ безъ колебаній, немедленно сдѣлало бы то, что онъ сдѣлалъ лишь послѣ нѣсколькихъ лѣтъ самаго ослинаго терпѣнія: до того были возмутительны поступки тестя. Сама Юзефа, жена Мусяля, побуждала мужа отомстить обидчику. Когда Яна осудили за убійство, она отправилась за нимъ и въ каторгу, оставивъ маленькихъ дѣтей у родныхъ. Въ дорогѣ уже родилась у нихъ еще одна дочь, хорошенькая Кася, которую я видалъ иногда во время свиданій. Такому человѣку, какъ Мусяль, нравственно вполнѣ еще уцѣлѣвшему, дѣйствительно глубоко привязанному къ семьѣ и женѣ и отчасти изъ любви къ нимъ и совершившему свое преступленіе, можно было отъ души пожелать скорѣйшаго выхода на волю. Онъ много страдалъ, и на глазахъ моихъ въ его отношеніяхъ съ женою совершалась ужасная драма. Янъ былъ недалеко и ревнивъ; а красивая и здоровая Юзефа представляла такой лакомый кусокъ не только для арестантовъ-вольнокомандцевъ, но и для казаковъ и для самихъ надзирателей, что противъ счастья молодой четы неизбежно долженъ былъ начаться цѣлый рядъ самыхъ темныхъ интригъ и подвоховъ. Десятки соблазнительныхъ предложеній преслѣдовали Юзефу, и только крестьянская неисторченность и католическая набожность спасли ее: рѣдкая бы русская женщина выдержала такой искусъ, какой выпалъ ей на долю... Одинъ грязный слухъ за другимъ зарождался за стѣнами тюрьмы и черезъ уста злобной кобылки, всегда жадной до чужихъ страданій, доходилъ до ушей мужа. Долгое время онъ только смѣялся, вѣря въ свою жену, какъ въ святую. Клеветники и сплетники всячески изощряли свое воображеніе и остроуміе: то говорили, что Юзефа живетъ съ урядникомъ, то съ однимъ изъ надзирателей, то указывали на какого-то богатаго вольнокомандца. Передавались самыя реальныя подробности, выдумывались самыя правдоподобныя

сцены и подслушанные якобы разговоры... Подозрѣніе начало, наконецъ, свивать гнѣздо въ сердцѣ Яна... Въ довершеніе бѣды, на одномъ изъ свиданій надзиратель, давно уже точившій зубы на отвергшую его ухаживанья Юзефу, перехватилъ у нея какую-то незначащую записку, будто бы переданную мужемъ, и Шестиглазый, въ наказаніе, лишилъ ихъ на пять мѣсяцевъ свиданія. Того только и нужно было врагамъ. Клевета сдѣлалась еще беззащитнѣе и дерзче, а несчастный Янъ лишенъ былъ даже возможности провѣрять ее, и съ этихъ поръ ревность охватила его пожаромъ. Напрасно многіе доброжелатели пытались его успокаивать и убѣждать не вѣрить арестантскимъ слухамъ и выдумкамъ: онъ самъ превратился теперь въ обвинителя и открыто и громко поносилъ жену такими словами, за которыя прежде разбилъ бы голову всякому, отъ кого бы ихъ услышалъ. Встрѣчаясь иногда съ нею за тюрьмой, онъ металъ на нее свирѣпыя взгляды и изъ-подъ конвоя осыпалъ грубою бранью. Ни въ чемъ неповинная, Юзефа долгое время недоумѣвала и лишь горько плакала въ отвѣтъ на незаслуженныя оскорбленія; но вскорѣ тоже озлилась и на брань стала отвѣчать бранью. Кобылка, присутствуя при такихъ супружескихъ сценахъ, радостно хохотала, торжествуя свою побѣду. Кончилось тѣмъ, что по истеченіи пяти мѣсяцевъ, когда прошелъ наложенный срокъ наказанія, Юзефа сама не стала ходить къ мужу на свиданія. Семейный миръ и счастье, казалось, навсегда были разрушены; Юзефа собиралась уже ѣхать съ маленькой Касей въ Россію...

Простая случайность предупредила это несчастіе. Шелайскій рудникъ посѣтилъ завѣдующій нерчинской каторгой, и совершенно для всѣхъ неожиданно Мусяль обратился къ нему съ описаніемъ своего горестнаго положенія. Не смотря на комизмъ этой полурусской рѣчи, она прозвучала такъ сильно и трогательно, что завѣдующій, справившись тутъ же у Лучезарова о поведеніи арестанта и узнавъ, что черезъ какой-нибудь мѣсяць кончается его испытуемый срокъ, приказалъ немедленно выпустить его изъ тюрьмы. Кобылка проводила Мусяля на волю насмѣшками и зловѣщими пророчествами о прибыти, которая тамъ его ожидаетъ...

Но всѣ пророчества эти, къ счастью, оказались вздоромъ; недоразумѣнія разъяснились при личномъ свиданіи къ обоюдному

удовольствію, и молодая чета стала жить въ прежнемъ мирѣ и согласіи.

Портной Булановъ, имѣвшій многочисленную семью на рукахъ, меньше всѣхъ женатыхъ внушалъ къ себѣ сожалѣніе. Это была по истинѣ гнусная личность, лицемерная, себялюбивая, съ ушками всегда на макушкѣ, съ хитрыми бѣгающими глазками и сладенькой улыбочкой на губахъ. Жилъ онъ у себя дома вполне безбѣдно, ни въ чемъ не нуждаясь, и всетаки пришелъ въ каторгу за убійство трехъ душъ съ цѣлю грабежа. Съ ужасающимъ цинизмомъ рассказывалъ онъ подробности этого злодѣяства, не говоря, впрочемъ, прямо, что въ немъ участвовалъ; но это видно было по его хитрой усмѣшкѣ, по холодному блеску острыхъ глазокъ.

— Я безъ вины попалъ въ работу,—пѣлъ въ такихъ случаяхъ лукавый мордвинъ:—я, вѣдь, въ неосознаніи осужденъ навѣчно.

Искусный портной, онъ обшивалъ все мѣстное начальство включая и самого Лучезарова, и заработокъ имѣлъ изрядный; жена его была, повидимому, практичная особа и тоже умѣла добывать деньжонки. Тѣмъ не менѣе, Булановъ всѣми силами души рвался вонъ изъ Шелайскаго рудника и постоянно мечталъ о „переводѣ“: онъ пробылъ въ каторгѣ всего лишь два года, и впереди ему оставалось еще девять лѣтъ одного тюремнаго срока!...

Но никто изъ семейныхъ не велъ своей жизни такъ упорно и послѣдовательно, какъ нѣкто Дюдинъ, имѣвшій на шеѣ пятнадцать лѣтъ одного испытуемаго срока (въ качествѣ рецидивиста-вѣчника). Это былъ странный человѣкъ, котораго природа надѣлила способностью работать языкомъ до собственного утомленія. Несчастный былъ тотъ, кто обнаруживалъ хоть малѣйшую охоту поговорить съ нимъ: тогда ужъ рассказовъ его невозможно было переслужать! Говорилъ онъ при этомъ всегда съ странными вывертами и оборотами рѣчи, въ которыхъ видна была претензія блеснуть образованностью и европейскимъ лоскомъ. Такъ, по его словамъ, онъ „покушалъ однажды свою жизнь на австрійскаго подданнаго барона Розенвальда“; всѣ господа, у которыхъ онъ жилъ въ Россіи и за-границей, всегда были съ нимъ „въ симпатичныхъ отношеніяхъ“; если кто изъ арестантовъ, въ спорѣ, начиналъ говорить явно несообразныя вещи, Дюдинъ заявлялъ ему: „Ну, братецъ, ты ужъ до апогеевыхъ столбовъ негѣпцы дошелъ“! Именами бароновъ, князей и графовъ, съ которыми

онъ былъ знакомъ, онъ такъ и сыпалъ, какъ бисеромъ, въ глаза своимъ собесѣдникамъ. Понятно, что арестанты страшно его не любили, и рѣдкій день не выходило у Дюдина съ кѣмъ нибудь брани, ссоры и даже драки.

— Дюдинъ опять нашелъ приключеніе! — говорила кобылка, заслышавъ гдѣ-нибудь заведенный имъ шумъ.

Тогда какъ другіе семейные всячески лебезили передъ начальствомъ и „ударяли къ нему языкомъ“, Дюдинъ, который тоже, разумѣется, не прочь былъ отъ этого, вскорѣ умудрился вооружить противъ себя и всѣхъ надзирателей своей неугомонной вздорностью, неумолкаемой болтовней и страстью къ „волынкамъ“. Вѣчно онъ попадался въ какомъ-нибудь „приключеніи“: то незаконно проносилъ въ тюрьму со свиданія коlobа и шаньги во время дежурства „хорошаго“ подворотнаго надзирателя, и вслѣдъ затѣмъ попадался съ ними на глаза внутреннему „нехорошему“ дежурному, подводя тѣмъ подъ бѣду перваго; то заводилъ споръ и даже мордобой съ кухонниками или прачками; то, наконецъ, распускалъ сплетню про надзирательскихъ женъ, доходившую до свѣдѣнія послѣднихъ и производившую суматоху за стѣнами тюрьмы... Никакія взысканія, ни даже лишенія свиданій съ женой не могли исправить этого вздорнаго человѣка. Рѣшительно на каждой вечерней повѣркѣ онъ заводилъ съ самимъ Шестиглазымъ безконечныя пренія, обращаясь то съ просьбой, то съ жалобой, а то и просто съ какой-нибудь чепухой. Даже великолѣпнѣе браваго штабсъ-капитана не было для него достаточнымъ пугаломъ, и тотъ сталъ, наконецъ, отмахиваться руками и ногами, еще издали только завидѣвъ Дюдина, не успѣваго даже разинуть ротъ, чтобы начать свои словоизверженія... Кончилось тѣмъ, что Лучезаровъ самъ сталъ хлопотать о переводѣ Дюдина въ другую тюрьму.

Въ совершенно иномъ положеніи находились малосрочные: для этихъ былъ полный расчетъ отбыть свое наказаніе, хотя бы и въ строгой Шелайской тюрьмѣ, лишь бы послѣ того быть поселенными въ Забайкальской области, а не на страшномъ Сахалинѣ. Изъ бродягъ, непомнящихъ родства, былъ у насъ одинъ забайкальскій крестьянинъ, бѣглый солдатикъ, осужденный безъ „качества“ за одно лишь скрытіе „родословія“; срокъ его четырехлѣтней каторги кончался этимъ же лѣтомъ, и его могли, тѣмъ не менѣе, отправить на Сахалинъ. Понятно, какъ трепеталъ онъ въ ожиданіи, чѣмъ разрѣшатся слухи о выборкѣ. Говорили, что съ

Кары, изъ Зерентуйскаго, Алгачинскаго и другихъ большихъ рудниковъ „замели“ рѣшительно все здоровое населеніе, оставивъ на мѣстѣ только калѣкъ да богодуловъ; что отправляли на Сахалинъ даже тѣхъ, кому кончился уже срокъ каторги, но не успѣло придти назначеніе волости.

Но былъ въ Шелайскомъ рудникѣ одинъ человѣкъ, который больше всѣхъ трусилъ; онъ поблѣднѣлъ, осунулся, весь съежился и скорчился, словно надѣясь, что въ такомъ видѣ его не замѣтятъ и оставятъ въ покоѣ. Это былъ не кто иной, какъ нашъ старый знакомецъ и пріятель, Кузьма Чирокъ. Онъ крѣпко помнилъ свою исторію съ бараномъ-собакой, и хотя утверждалъ, что побѣгъ его не былъ внесенъ въ статейный списокъ, какъ простая отлучка, но въ глубинѣ души не былъ въ этомъ увѣренъ... Бѣдный Чирокъ лишился даже сна и аппетита. А злые шутники подмѣтивъ вскорѣ его тревогу, воспользовались ею и начали безъ конца и на всѣ лады донимать его.

— Угодишь теперь къ своей Лукейкѣ, безпремѣнно угодишь!— жужжали ему день и ночь.

— Чего печалишься, дружокъ? Тамъ сестрица тебя и зятекъ богоданный ждутъ.

— Пошелъ ко всѣмъ дьяволамъ, твореніе паршивое, гадъ!

— Да чего же ты лаешься, Кузьма Александрычъ? Аль въ счастье свое не вѣришь? Такъ это дѣло навѣрняка можно об ору довать. У насъ грамотные есть. Никишка, сочини прошеніе, что вотъ-моль Кузьма Чирокъ, находясь восемь лѣтъ въ тяжелой разлукѣ съ единокровной сестрицей своей Лукерьей Александровной, проситъ низающе ваше превосходительство, или какъ тамъ... соединить вновь. А потому желаетъ отправиться на островъ Сахалинъ, гдѣ она пребываньеимѣетъ съ супругомъ своимъ Семеномъ Пелевинымъ и дѣтками. Садись, братъ, я диктовку живой рукой сорудую

— Да! Никишкѣ и написать... Нашелъ грамотѣя,—пренебрежительно ворчалъ Чирокъ, съ безпокойствомъ слѣдя, однако, за тѣмъ, какъ полуграмотный Буренковъ важно усаживался за столъ раскладывалъ передъ собой бумагу и завастривалъ крошечный обломокъ карандаша,

— Да вотъ и напишу!—подзадоривалъ его Никифоръ, бойко начиная выводить какіе-то удивительные гіероглифы:—Прошеніе. А тому слѣдуютъ пунхты. Сестра Лукерья. Островъ Соколинный. Подписался Кузьма Чирокъ. Готово!

И онъ начиналъ торжественно складывать мнимое прошеніе. Тутъ Чирокъ не выдерживалъ:

— О, гады!—вскрикивалъ онъ:—они еще и въ самъ-дѣлъ подведутъ подъ плети!

Онъ соскакивалъ съ мѣста и кидался къ Никифору отнимать бумагу. Но тотъ успѣвалъ вырваться и, пробѣжавъ по наравѣ черезъ головы и ноги лежавшихъ на нихъ арестантовъ, бросался за дверь и выбѣгалъ на дворъ, преслѣдуемый по пятамъ Чиркомъ. Нѣсколько разъ обѣгали они вокругъ тюрьмы. Легконокій Никишка, бывшій къ тому же босикомъ и въ одномъ бѣлѣ, не взирая на лежавшій еще на дворѣ снѣгъ, летѣлъ, какъ вѣтеръ; но и неуклюжій на видъ Чирокъ, одѣтый въ тяжелые сапоги съ кандалами и бушлатъ, оказывался тоже замѣчательнымъ бѣгунъ. Разъ два или три онъ почти настигалъ Никифора, но тотъ ухитрялся каждый разъ увернуться въ сторону и, наконецъ, совсѣмъ убѣгалъ и прятался отъ запыхавшагося и сопѣвшаго, какъ паровикъ, Чирка. Минуты черезъ двѣ Буренковъ самъ къ нему подходилъ.

— Куда дѣлѣ прошеніе, гадъ? Давай!—приставалъ къ нему все еще тяжело дышавшій Чирокъ, кашляя, бранясь и отплевываясь.

— Подъ ворота бросилъ,—отвѣчалъ Никишка:—пушай надзиратели подымутъ.

— Врешь?!—вскрикивалъ Чирокъ не то шутливо, не то и въ самомъ дѣлѣ испуганно и начиналъ на чемъ свѣтъ стоитъ бранить и даже тузить помирающаго со смѣху Никифора. Шутки эти и забавный страхъ Чирка передъ Сахалиномъ стали извѣстны вскорѣ и надзирателямъ, и одинъ изъ нихъ вошелъ разъ въ нашу камеру и съ серьезнымъ видомъ прочелъ только что полученный, будто бы, списокъ арестантовъ, назначенныхъ къ отправкѣ на Сахалинъ: въ томъ числѣ былъ и Кузьма Чирокъ. Послѣдній поблѣднѣлъ весь и задрожалъ, какъ листъ... Шутка заходила ужъ слишкомъ далеко, и кто-то, сжалившись, поспѣшилъ объяснить Чирку, что противъ него составленъ заговоръ. Негодованію его не было предѣловъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новымъ восторгамъ кобылки.

Въ одинъ прекрасный мартовскій день точно электрическая искра пробѣжала по тюрьмѣ: прошелъ слухъ, что получился, наконецъ, списокъ тринадцати человѣкъ, подлежащихъ отправкѣ на Сахалинъ изъ Шелайскаго рудника. Все сразу затихло, всѣ

какъ бы ушли въ глубь себя, изрѣдка только и потихоньку сообщая другъ другу догадки, кто бы могли быть эти тринадцать человѣкъ—по мнѣнію однихъ, несчастливцевъ, по мнѣнію другихъ—фартовцевъ. Въ этотъ день насилу дождались вечерней повѣрки. Можно бы было услышать полетъ мухи—такъ было тихо, когда Лучезаровъ, явившійся самъ на повѣрку, громогласно объявилъ послѣ молитвы, что ровно черезъ недѣлю отсылаются на Сахалинъ всѣ уроженцы Забайкальской области, въ числѣ тринадцати человѣкъ, между прочимъ, и братья Буренковы. Одинъ только Дюдинъ какимъ-то образомъ затесался въ эту же категорію, хотя вовсе и не принадлежалъ къ ней.

Объявленіе это было для большинства ударомъ грома съ безоблачно-яснаго неба. У однихъ вырвался изъ груди глубокій вздохъ облегченія, у другихъ почти крикъ ужаса, у третьихъ—проклятiе досады и разочарованія.

— Господинъ начальникъ! Вѣдь мы семейные,—заговорилъ жалобно Никифоръ:—жены, дѣтишки маленькія... Къ тому же, ихъ нѣтъ при насъ... Да и срокъ совсѣмъ къ концу подходитъ.

— А насъ какъ же нѣтъ? Мы вѣдь просились!—загадѣли долгосрочные.

— Молчать! Что за манера говорить всѣмъ разомъ? Ждите, когда начальникъ объяснитъ. Въ нынѣшнемъ году нѣтъ требованій на Сахалинъ изъ другихъ категорій. Повѣрьте, что я самъ былъ бы радъ отдѣлаться отъ многихъ изъ васъ. Я посылаю списокъ всѣхъ артистовъ, которые не ко двору въ моей тюрьмѣ, но, къ сожалѣнію, пока берутъ одного только Дюдина. Что касается малосрочныхъ и семейныхъ, вродѣ Буренковыхъ, то положеніе ихъ дѣйствительно печальное. Но ничего не подѣлаешь: законъ! Надо покориться. Я тутъ не при чемъ. Одно могу вамъ посоветовать: телеграфируйте немедленно женамъ, чтобы собирались въ путь. Въ Усть-Карѣ вамъ придется, вѣроятно, долго сидѣть, и онѣ могутъ васъ догнать.

— А если хлопотать, господинъ начальникъ,—робко заговорили малосрочные:—ежели телеграмму отбить господину губернатору?.. Дѣтишки, молъ, малыя, жены больныя... Можетъ быть, снизойдетъ, оставить.

— Напрасно деньги потратите. Законъ не можетъ быть отмѣненъ; уроженцы Забайкальской области должны быть поселены на Сахалинѣ.

— Всетаки попробовать бы, господинъ начальникъ.

Лучезаровъ пожалъ плечами.

— Пробуйте, пожалуй. Надзиратели, разводите арестантовъ по камерамъ.

Въ нашемъ номерѣ не спали въ тотъ вечеръ до глубокой полночи. Чирокъ предавался безумной радости, со всѣми заигрывалъ, возился и ядовито подсмѣивался надъ тѣми, которые другимъ яму копали, подметныя письма и прошенія сочиняли и вдругъ сами въ бѣду втюрились. Никифоръ и Михайла были въ конецъ убиты... Петинъ, Ногайцевъ и Соколицевъ, мечтавшіе о Сахалинѣ, раньше всѣхъ утѣшились и начали строить другіе планы отбиться отъ Шестиглазаго и его тюрьмы.

На другой день Буренковы отправили въ Троицкосавскъ телеграмму женамъ. Двое другихъ изъ назначенныхъ къ отправкѣ послали по телеграфу же прошеніе губернатору. Не знаю, отослалъ ли Лучезаровъ это прошеніе, только четыре дня спустя онъ коротко объявилъ имъ, что получился отказъ... Буренковы сильно волновались, долго не получая изъ дому отвѣта. Никифоръ прямо заявилъ, что если жена почему-либо откажется за нимъ ѣхать, тогда онъ пропащій человекъ.

— Съ дороги безпремѣнно бѣгу и заявлюсь къ ей... А! скажу сволочь, ты думала, — отправила меня на Сахалинъ, такъ и отвязалась? На вольной волюшкѣ хотѣла пожить? Нѣтъ, шалишь. Я—вотъ онъ. Меня и цѣпь удержать не смогла. Я, вѣдь, братцы, и въ самъ-дѣлѣ... Коли ужъ рѣшусь на что, такъ я духовой парень! Ничего тогда не боюсь—ни людей, ни самого Бога. Коли приду, да замѣчу въ ей невѣрность, али тамъ баловство какое, такъ много разговаривать не стану: живо и голову подлой прочь! Знай нашихъ, соколицевъ! Ну, а ее побью—и ребятишекъ тоже побью. Не даль Богъ отцу талану, не коптите и вы свѣтъ бѣлыхъ, не будьте такими-жъ несчастными...

— Полно, Никифоръ,—возражалъ я:—вы сами не вѣрите тому, что говорите. Жена, конечно, пойдетъ за вами въ огонь и въ воду.

— Это вѣрно, положимъ... Оно нужно бы такъ думать, Миколанчъ, что пойдетъ... Только все же сумлѣніе иной разъ беретъ... Завтра пятый ужъ день, какъ телеграмма отбита, а отвѣта нѣтъ.

— Ничего, придетъ еще. Расскажите лучше, какъ вы поженились: отцы васъ сосватали, или какъ?

— Мы убьёмъ, Миколанчъ... У насъ это часто бываетъ, у семейскихъ. Помнишь, ты романы намъ разные читалъ и рассказывалъ? Такъ ты, поди, думалъ, это въ нашемъ только быту любовь тамъ разная водится, а мы, простые мужики, какъ скотина живемъ? Нѣтъ, и у насъ, братъ, то же бываетъ... Я про себя вотъ, коли хочешь, расскажу.

VI.

Романъ Никифора.—Отправка.

— Наши двѣ семьи,—моя, отцовская, и Настькина, жена,—страшеннѣйшую вражду промежъ себя имѣли,—такъ началъ Никифоръ свой романъ.—Отцы-то и матери видѣть другъ дружку спокойно не могли, зубами скыржетали... Не могу обсказать хорошенько, изъ-за чего въ началѣ у нихъ пошло, я еще махонькій объ ту пору былъ. Только и мы, конечно, ребятишки, большимъ подражали. Я Настьку-то не разъ, признаться, колачивалъ... Словлю гдѣ-нибудь одну—и сейчасъ въ волосы ей, а то пескомъ всю обсыплю. Только она, бывало, никогда не заплачетъ, развѣ со злости ужъ, что защититься нѣтъ силы... Дерется тоже, кусается, стервенокъ, разалѣется вся... Ну, только въ окончаніе всего я, разумѣется, накладу ей. Жалиться она тоже не любила: никогда, бывало, отцу-матери не скажетъ, что я побилъ, потому мнѣ тогда все-жъ бы и мои старики спуску не дали, даромъ что со взрослыми во враждѣ жили. И боялась же меня Настька: завидитъ, бывало, издали—и на убѣгъ... Бѣжитъ, бѣжитъ, падаетъ, подымается, опять во всѣ лопатки жарить... Я маленькій-то варваръ вѣдь былъ, вотъ у Михайлы спроси. Онъ помнитъ. Онъ самъ меня не одна за уши диралъ. Ну, вѣстимо, какъ подросли мы оба съ Настькой, драться перестали—совѣстно ужъ было... И Настька бѣгать отъ меня не стала; только пройдетъ мимо—глазомъ, бывало, не моргнетъ, не поглядитъ... Ровно незнакомые. Какъ царевна какая, мимо идетъ. Съ другими подростками, товарищами моими, и шутки всякія шутить и любезничаютъ (подростки тоже вѣдь, какъ взрослые, себя держатъ, особливо дѣвки), а меня ровно и нѣтъ для нея. Я иновѣ скажу что, мел-

кимъ бѣсомъ подѣду... Ни-ни! Развѣ глазомъ только обожжетъ, ненавистливо таково поглядить! Сталъ и я тогда въ амбицію вламываться, озлился. Разъ весной (мнѣ ужъ шестнадцать лѣтъ было) я на конѣ верхомъ ѣхалъ, а Настька съ матерью на встрѣчу въ гости куда-то шли. День былъ праздничный; обѣ нарядныя такія, расфуфыренныя... А на улкѣ грязи было, грязи—не приведи Богъ, потонуть можно. Какъ закипитъ во мнѣ злость! Какъ приударю я коня плетью, да мимо ихъ: всѣхъ съ ногъ до головы грязью залѣпилъ! Дѣвушки кругомъ, ребятишки, парни смѣхъ подняли... Настькина мать кричитъ: „Ловите, держите, разбойника!“—Гдѣ тутъ? Меня и слѣдъ давно простылъ. Послѣ того долго мы не встрѣчались. Самому мнѣ какъ-то совѣстно стало: завижу гдѣ—и въ сторону ворочу. А коли неминуче гдѣ встрѣнмся, среди хоровода, въ молодяжничѣ, такъ я стараюсь ужъ и не глядѣть, съ другими дѣвушками любезничаю. А только пала она съ той поры на сердце... Бравая была дѣвка нечего говорить. Вотъ Михайла знаетъ, не дастъ соврать... Даже говорить смѣшно: сплю, бывало, а самъ во снѣ вижу, обнимаю, словами пріятными называю... Вотъ, ей-богу, не вру! А по утру встану—сердитый, на свѣтѣ бы бѣлый не глядѣлъ. Ну, словомъ, буква въ букву со мной такъ выходило, какъ въ тѣхъ романахъ, которые ты читалъ, Миколаичъ... Вотъ она, любовь-то, что значить! Сталъ я, прямо надо сказать, сохнуть по Настькѣ. Думаю: видно, приходится покориться, прощенья, что-ли, просить; можетъ, и согласится замужъ пойтить. А потомъ опять сумлѣніе найдетъ: шибко ужъ, думается, злобится на меня, забыть не можетъ, какъ дѣвчонкой еще забижалъ я ее и какъ при всемъ народѣ потомъ осрамилъ—грязью обрызгалъ. Она на память крѣпкая, не даромъ гордости въ ей столько, никогда не жалилась на меня, какъ маленькая была, даже плакала рѣдко. Разъ возвращаюсь домой съ охоты. За утками весной ходилъ. Бреду по берегу рѣчки, по-за кустами, гляжу—Настька бѣлье на плоту колотить. Забилося во мнѣ, признаться, сердце... Закрутилъ усь (а и усь-то только что пробиваться началъ), поправилъ ружье на плечѣ и подхожу прямо къ ей.—Здравствуй, говорю, Настасья!.. Въ первый разъ за всю жизнь такъ къ ей обращаюсь. Она какъ испужается (не замѣтила, вишь, какъ я подходилъ), и валекъ даже изъ рукъ выронила...

— Ой, говоритъ, какъ ты испужалъ меня, Никифоръ!

И губы прикусила, что невзначай имя мое сорвалось. Замолчала, стала бѣлье выкручивать. Я остановился подлѣ.

— Ты, спрашиваю, шибко серчаешь на меня, Настя?

Не отвѣчаетъ.

— Видитъ Богъ, говорю, каюсъ передъ тобой, за все каюсъ (говорю, а у самого глотку будто перехватилъ кто), — прости, Настасьюшка!

Не глядитъ, бѣлье продолжаетъ выкручивать.

— Чего, говорить, мнѣ серчать? Дороги у насъ разныя, дѣлить намъ нечего.

— Неужто таки нечего? спрашиваю: — ты вотъ говоришь, не серчаешь, а сама даже и не взглянешь на меня.

Взглянула — и засмѣялась... Такъ засмѣялась, что и во мнѣ ровно все засмѣялось, ровно солнышко взошло на душѣ — такъ свѣтло стало.

— Узоровъ на тебѣ, говорить; не написано; чего мнѣ глядѣть? Насмѣлѣлъ я, еще ближе подошелъ.

— Вотъ что, говорю, Настя, я безъ тебя жить не могу. Пойдешь за меня?

Она того пуще разсмѣялась.

— Вотъ что выдумалъ! Маленькую билъ, забижалъ, недавно еще при всемъ народѣ срамилъ, а теперь сватаешь! Что-жъ, шибко ты любить меня сталъ бы?

И руки въ боки подперла, глядитъ на меня—огнемъ жжетъ, а сама хохочетъ. Свѣта я тутъ Божьяго не взвидѣлъ, схватилъ ее за руку, обнять хотѣлъ... Прочь отъ себя оттолкнула, осерчала, ажъ потемнѣла вся...

— Ты что это, говорить, обо мнѣ въ голову свою дурную забралъ? Гулящей меня, што ли, считаешь? Такъ знай же, говорить, Микишка: не видать тебѣ меня, какъ ушей своихъ! Никогда не владать тебѣ мной! Ни за что въ свѣтѣ не обмануть меня!

— А не боишься, спрашиваю, что убью тебя? Сейчасъ вотъ убью и себя, и тебя?

И ружье съ плеча снимаю...

— Стрѣлай, говорить, не боюсь, хотъ сейчасъ стрѣлай!

Сама руки на крестъ сложила и стоитъ. Ажно заплакалъ тутъ я, не вытерпѣлъ и убѣжалъ домой.

Ушелъ я послѣ того на присекъ. Все лѣто такъ чертомелилъ,

что не знаю, какъ у меня спина не треснула. Мнѣ съ ребятами пофартило: много мы золота намыли. Въ полтора какихъ мѣсяца на мою только долю съ тысячу рублей пришлось, — и началъ я гулять. Пилъ безъ просыпу, буянилъ, распутничалъ, деньги, какъ щепки, швырялъ во всѣ стороны. Отъ лавокъ до кабака дорогу ситцами дорогими выстилалъ: не хочу, молъ, по грязи идти!.. Дошли слухи до нашего мѣста: „Микишка, молъ, совѣмъ пропалъ, замотался“. А я нарочно еще всѣмъ ребятамъ, которые домой шли, наказываю: „кланяйтесь, молъ, роднымъ и знакомымъ, прощенья у всѣхъ друзей и товарищей просите, коли зло какое на мнѣ помнятъ! Больше меня не увидятъ. Не жилецъ я на бѣломъ свѣтѣ. Вотъ только деньги послѣднія догуляю“.

— Да и въ самъ-дѣлѣ, братцы, дурныя мысли въ башкѣ ходили. Просыпаюсь разъ утромъ посередѣ улицы, оборванный, грязный, въ кровѣ весь, чортъ чортомъ... Въ карманѣ хоть шаромъ покати, и кошелька даже нѣтъ. Босикомъ; головушка трещить. Ну, теперь, думаю, пора: камень теперь на шею, да и въ Чикой-батьюшку!.. Сажу это посередѣ дороги, думаю. Ранымъ-рано. На улицѣ ни души. Солнышко изъ-за сопки встаетъ. Радостно таково, свѣтло въ мѣрѣ Божьемъ... И вспомнилась мнѣ Настька опять... Будто слова ея слышу: „Какъ ты испужалъ меня, Никифору!“ Вижу будто, какъ глянула на меня, разсмѣялась...

— Эхма! думаю... Прежде чѣмъ помереть, пойду еще хоть глазкомъ однимъ погляжу на нее, прощусь. Какъ былъ, въ томъ самомъ видѣ всталъ на ноги и въ одинъ день безъ малаго пятьдесятъ верстъ пѣшкомъ откаталъ. Прихожу въ село—ужъ вечеръ на дворѣ, всѣ спать легли. Я прямо въ ихъ огородъ залѣзъ и къ окну Настькиной горенки подхожу. Смотрю—окно раскрыто, сама въ одной сорочкѣ у окна сидитъ. Я, какъ провидѣніе, чортъ-чортомъ, въ пыли весь, въ грязѣ, съ ногами въ кровѣ, и появляюсь передъ ей... Она было айкнуть хотѣла, прочь отъ меня; да я за руку изловчился.

— Не кричи, говорю, родная, не пужайся, я проститься только пришелъ. Ты видѣть меня, злодѣя, не можешь, а я изсохъ по тебѣ и жить безъ тебя не хочу... Взглянуть только въ ostatній разъ пришелъ... Камень на шею—и въ воду... Прощай!

И хочу уходить. А она ужъ, гляжу, сама меня не пускаетъ...

— Стой, шепчетъ мнѣ, я тебѣ всю правду истинную скажу. Я сама безъ тебя пропадаю... Думала, тебя ужъ и на свѣтѣ нѣтъ изъ-за меня, постылой, и тоже жизни рѣшиться хотѣла!

— Ой-ли? Значить, пойдешь за меня?

— Хочь сейчасъ на край свѣта! Я съ той поры еще, Ми-кишка, объ тебѣ одномъ думаю, какъ ты меня дѣвчонкой колачивалъ и забижалъ. — Того же разу и порѣшили мы уходомъ обвѣнчаться, потому родители наши ни за что не дали бы согласія. Такъ и сдѣлали, вотъ Михайла помнить. А потомъ, какъ дѣло сдѣлано было, и старики, глядишь, смягчились. Тѣмъ и вражда прежняя кончилась, изъ-за насъ съ Настькой всѣ помирились. Вотъ времячко-то счастливое было, Миколаичъ! Я, знаешь, для того вѣдь больше и писать-то хотѣлъ обучиться, чтобъ жизнь свою тебѣ описать!

Никифоръ говорилъ все это въ сильномъ волненіи, расхаживая большими шагами по камерѣ, съ заложенными за спину руками и съ огнемъ въ голубыхъ глазахъ. Какая-то благородная вспышка освѣщала все лицо его, отънесенное длинными бѣлокурыми усами, и выпрямляла высокую костлявую фигуру...

— Вишь ты, гадъ, въ бабу какъ врѣзался! — насмѣшливо замѣтилъ Чирокъ, внимательно слушавшій рассказъ Вуренкова: — еще описать ему нужно... Чего тутъ описывать? Дуракъ ты былъ — вотъ и все: изъ-за дѣвки топиться вздумалъ! Не зналъ ты еще, чѣмъ они дышутъ, твари!

Соколицевъ, Желѣзный Котъ и другіе подхватили слова Чирка и стали пространно развивать ихъ, разсѣвая мало-по-малу очарованіе простого и трогательнаго романа, разсказаннаго Никифоромъ. Но послѣдній, казалось, не обращалъ вниманія на циничныя замѣчанія и шутки товарищей и, въ глубокомъ раздумьи, продолжалъ ходить по камерѣ. И я съ невольной грустью размышлялъ о томъ, какъ несчастно сложилась судьба этого человека, отъ природы столь прямого и симпатичнаго.

— Вотъ видите, Никифоръ, — сказалъ я ему въ утѣшеніе: — развѣ можно сомнѣваться, что такая жена никогда не измѣнитъ?

— Никишка, вѣстимо, зря объ своей бабѣ бѣтаетъ, — подтвердилъ и Михайла: — Настасья женщина вовсе отдѣльная. А вотъ моя баба — это, въ самъ-дѣлѣ, змѣя подколодная. Она, я знаю, откажется ѣхать. И дуракъ я былъ, что деньги согласился на телеграмму бросить! Она, небось, рада теперь радехонька, что меня на Са-

халинъ упрутъ: оттуда, молъ, ужъ не сорвется милъ-дружокъ!. Ну, да и я тоже печалиться объ ей шибко не стану, кланяться не буду!

— А вы развѣ, Михайла, не такъ жену свою брали, какъ Никифоръ?

Михайла тихо засмѣялся. Никифоръ отвѣчалъ за него:

— Его силкомъ мать женила.. Онъ съ другой раньше жилъ... За нимъ тоже вѣдь всѣ дѣвки увивались, потому — и молодецъ былъ изъ себя и жилъ, справно.

— Но она-то не силой за него шла? Можетъ быть, и поѣдетъ?

— Коли прежде не поѣхала,—отвѣчалъ самъ Михайла,—теперь тѣмъ болѣе не поѣдетъ. Сахалинъ! Невѣдомая земля! Тамъ вѣдь люди съ собачьими головами живутъ, — насажутъ старухи разныя,—на что тебѣ ѣхать за имъ, варваромъ? Тамъ солнышко Божье не свѣтитъ, круглыя сутки ночь стоитъ... Не силой, говорите, замужъ шла? Ха! такъ тогда вѣдь у меня деньги были, руки не связанные, да и въ лицѣ-то кровь играла... А теперь я на старика, безъ малаго, нахожу ужъ, а ей-то, на волѣ, на хлѣбахъ-то моихъ даровыхъ, плясать еще, пожалуй, охота...

— Это правду Михайла говоритъ, — подтвердилъ и Никифоръ,—бабы вѣдь какой народъ? Съ глазъ ты у ихъ долой — и изъ ума вонъ. А тутъ еще старухи проклятыя отговаривать зачнутъ. Ты еще не знаешь, Миколаичъ, нашихъ старухъ? Вѣдьмы-вѣдьмами—только что хвоста развѣ нѣтъ... Вотъ и за свою Настьку я потому же боюсь... Хоть бы Михайлину жену взять: если сама не надумаетъ ѣхать, то ужъ обязательно и мою отговаривать зачнетъ, чтобъ одной людей не совѣстно было!

Я переводилъ разговоръ на то, какъ Буренковы пойдутъ дорогой, какъ на Сахалинѣ жить станутъ. Что касается, впрочемъ, Никифора, то это былъ человѣкъ момента, обстоятельствъ и постороннихъ вліяній, и если бы даже онъ клялся и божиться началъ, что мошенничать больше не будетъ, то слова его не имѣли бы ровно никакого значенія. Я могъ одного только желать для него отъ всей души: чтобы условія новой его жизни сложились по возможности благопріятно для честнаго существованія, и первымъ изъ такихъ благопріятныхъ условій была бы, по моему мнѣнію, забота о семьѣ и общая жизнь съ нею. Никифоръ самъ хорошо сознавалъ, что онъ человѣкъ минуты, и въ тѣ же дни

передъ разставаньемъ разсказалъ о себѣ одинъ смѣшной, но характерный для него анекдотъ.

— Шли мы разъ съ Михайлой съ прѣсковъ и подошли къ широкой рѣчкѣ, у которой, однако, бродъ былъ. Я первый разулся, раздѣлся и говорю Михайлѣ: „Я тебя такъ на спинѣ перенесу, не раздѣвайся“. Сурьезно это говорю, думаю: перенесу и впрямь. Онъ сдуру-то повѣрилъ, да и залѣзъ мнѣ на плечи. Вотъ отошелъ я отъ бѣрега шаговъ тридцать, на самое глубокое мѣсто забрелъ, да и раздумалъ. „Знаешь, говорю, что? Я присталъ“.—Ну, ничего, говоритъ, какъ-нибудь доволокъешь.— „Нѣтъ, говорю, присталъ, не понесу далѣ. Сяду“. Да и зачалъ садиться въ воду... Какъ онъ закричитъ:—Сдурѣлъ ты, Микишка, што-ли?—А я знай себѣ сажусь. Выскочилъ изъ-подъ его, да и на убѣгъ. Онъ дьяволъ-дьяволомъ вылѣзаетъ со дна: вода съ одежи рѣкой течетъ! Хохотъ на берегу! Съ тѣхъ поръ и говорить про меня Михайла, что мысли у меня долѣ тридцати шаговъ не держатся...

Слова Михайлы имѣли несравненно большій вѣсъ и значеніе, и мнѣ не казалось, на примѣръ, въ его устахъ пустымъ „бѣтаньемъ“, когда онъ разсказывалъ, что больше изъ злобы, чѣмъ изъ корысти, началъ мошенничать. По его словамъ, онъ былъ уже женатымъ человѣкомъ, когда родная мать, поощряемая враждебно относившимся къ нему дядей, настояла, чтобы мѣръ публично наказалъ его розгами. Большихъ провинностей за нимъ въ то время не числилось, но дядя убѣдилъ глупую старуху, что сынъ можетъ въ конецъ разбаловаться, если распустить возжи. Съ негодованіемъ, сохранившимся еще и теперь по прошествіи пятнадцати лѣтъ, разсказывалъ Михайла, какъ позорно наказали его при всемъ народѣ, и какъ хотѣлъ онъ за это убить и дядю, и мать какъ послѣдняя сама потомъ раскаялась въ своемъ поступкѣ, но было уже поздно: сынъ ожесточился и пустился во всѣ тяжкія... Злоба противъ односельчанъ, нанесшихъ ему и послѣ того не мало обидъ, была такъ сильна въ Михайлѣ, что въ случаѣ неудачно сложившейся на поселеніи жизни онъ общался бѣжать и по-свойски расправиться съ ними.

— У меня на двое теперь мысли въ головѣ расходятся,—отвѣчалъ онъ обыкновенно на мои вопросы:—въ мошенничествѣ я скусу большого не нашелъ. Это я прямо говорю, что не нашелъ, и отстать отъ этихъ пустяковъ мнѣ не трудно. Микишка, вотъ,

хорошо меня знаетъ: коли что я рѣшу, такъ то и сдѣлаю. Люди, товарищи—это ничто меня совратить не можетъ. Но и то опять въ мысли приходитъ: дѣло мое къ старости клонится, и коли буду я одинъ-одинешенекъ, для кого же и для чего я жить стану? Особливо, ежели еще и жить плохо будетъ? Такъ что обѣщать вѣрнаго ничего не могу. Посмотрю—увиджу, что-нибудь рѣшу и тогда напишу вамъ.

Относительно переписки у насъ придумана была цѣлая конспирація. Писемъ Буренковыхъ, адресованныхъ прямо на мое имя, Лучезаровъ ни въ какомъ случаѣ не передалъ бы: по инструкціи арестанты имѣютъ право переписываться только съ ближайшими родственниками. Въ виду этого, мы условились сообщаться между собою кругосвѣтнымъ путемъ: Михайла долженъ былъ писать въ Россію къ моей матери, адресъ которой я записалъ ему въ евангеліе.

Только на пятый день томительнаго ожиданія получился, наконецъ, отвѣтъ отъ женъ. Михайла оставался, по нездоровью, въ тюрьмѣ, и мы съ Никифоромъ, вернувшись изъ рудника, застали его разбирающимъ уже въ десятый разъ полученную телеграмму. Ядовито усмѣхнувшись, онъ подалъ мнѣ бумагу, и я прочелъ въ ней буквально слѣдующее: „Родные, не погнѣвайтесь, дѣтей жалко ѣхать“.

У меня болѣзненно сжалось сердце, и въ первую минуту не нашлось ни одного слова въ утѣшеніе... Никифоръ сразу упалъ духомъ и пришелъ въ самое отчаянное настроеніе. На другой день уныніе смѣнилось въ немъ порывомъ безшабашной веселости и чисто арестантскаго молодечества. Онъ закручивалъ свой длинный усъ, шагаль какъ-то особенно „по-гулевански“, и съ губъ его то и дѣло срывались слова: „Мы, соколинцы“... О женѣ онъ старался не заговаривать, а о бабахъ, вообще, отзывался съ безконечнымъ презрѣніемъ. Но я отлично зналъ, что и это его настроеніе не болѣе, какъ минутный порывъ, и, давъ пройти ему и остыть, уже наканунѣ отправки, попытался убѣдить, что изъ телеграммы ничего дурного, говорящаго о прямой измѣнѣ жены, не видно; что положеніе ея, какъ матери, дѣйствительно, ужасно затруднительно: нужно было бы настоящее геройство, равное почти отчаянности,—только что получивъ, какъ съ неба свалившуюся, телеграмму объ отправкѣ на Сахалинъ, немедленно же забрать маленькихъ дѣтей и покатить съ ними въ невѣдомый путь.

Я указалъ Никифору, что подробное письмо, которое жена его на дняхъ получить, дастъ ей возможность лучше обсудить и обдумать эту поѣздку, и увѣрялъ, что въ Усть-Карѣ его непременно догонитъ болѣе благопріятный отвѣтъ. Слова мои были, очевидно, настоящимъ бальзамомъ для наболѣвшаго сердца Никифора, и онъ опять повеселѣлъ; но Михайла отнесся къ нимъ явно скептически, хотя и не спорилъ. Тотъ и другой давали, однако, честное слово не пытаться бѣжать, по крайней мѣрѣ, въ теченіе года, и дожидаться того времени, когда окончательно выяснятся семейныя дѣла.

Что касается отношеній братьевъ другъ къ другу, то вѣтриный Никифоръ, размягченный несчастіемъ, одинаково обрушившимся на него и на Михайлу, казалось, и забылъ даже о своей прежней враждѣ съ нимъ. Имя Михайлы почти не сходило теперь съ его языка; въ каждомъ словѣ и взглядѣ онъ выражалъ къ нему чисто-братскую нѣжность, и посторонній зритель могъ бы подумать, что между ними и не пробѣгало никогда черной кошки, что ихъ дружбы и водой не разольешь; повидимому, ему и въ голову даже не приходило усомниться въ томъ, что они будутъ идти дорогой, какъ братья и товарищи. Для этой цѣли онъ заготовлялъ всякаго рода мѣшочки, котомки и такъ много суетился, какъ-будто на попеченіи его находилась цѣлая семья съ самымъ сложнымъ и запутаннымъ хозяйствомъ. Но не то держалъ, видимо, на умѣ Михайла, и на всѣ экспансивныя и сентиментальныя выходки Никифора упорно отмалчивался. Замѣтивъ это, я отозвалъ его разъ въ сторону и спросилъ, почему онъ, какъ будто, сердится на Никифора.

— Не сержусь я, Иванъ Николаичъ, — отвѣчалъ Михайла, — а только я твердо рѣшилъ: не пойду съ Никишкой въ товарищахъ.

— Какъ такъ? Съ чего это?

— Съ того. Я хорошо знаю и свой, и его характеръ. На два дня его хорошества хватить — не болѣ. Станетъ онъ, какъ прежде, съ гулеванами разными знаться, въ картишки играть, пойдутъ у насъ свары, злоба, а я этого смерть не люблю. Такъ лучше же съ самаго начала не обманывать другъ дружки, идти розно.

Долго, очень долго пришлось мнѣ уламывать Михайлу предать забвенію всѣ прошлые размолвки, счеы и обиды и, въ виду

общаго несчастья, сдѣлать еще одинъ, послѣдній уже, опытъ общей жизни съ Никифоромъ. Очевидно, только изъ желанія доставить удовольствіе мнѣ, передъ которымъ онъ считалъ себя въ неоплатномъ долгу, согласился онъ, наконецъ, еще разъ испытать Никифора...

Наконецъ, 25 марта, въ праздникъ Благовѣщенія, въ ясный солнечный день, соколинцы отправились въ походъ, провожаемые до воротъ рѣшительно всей тюрьмой и напутствуемые добрыми пожеланіями. Я отъ души расцѣловался съ Буренковыми...

Къ сожалѣнію, объ дальнѣйшей ихъ судьбѣ я такъ ничего и не знаю. Мать моя никогда не получала никакихъ писемъ отъ Михайлы. Арестанты объясняли это тѣмъ, что онъ, вѣроятно, убѣжалъ съ дороги. Нѣкоторые утверждали даже, что слышали объ этомъ; передавались; даже подробности, будто въ Сахалинской партіи была попытка огромнаго побѣга „на ура“, и Никифоръ Буренковъ въ числѣ многихъ другихъ былъ убитъ, а Михайла успѣлъ скрыться... Правду или ложь рассказывала кобылка—какъ узнать и провѣрить?

VII.

Побѣги и первая кровь.

Въ первыхъ числахъ мая какимъ-то путемъ достигъ изъ Покровскаго рудника до Шелайской вольной команды сенсационный слухъ о побѣгѣ одного арестанта черезъ горныя выработки. Слухъ этотъ перешелъ скоро и въ стѣны тюрьмы и чрезвычайно взволновалъ все ея населеніе. Только и разговоровъ было, что о фатовцѣ Красоткинѣ (такъ назывался бѣжавшій арестантъ). Многіе удивлялись, какъ это раньше никому въ голову не приходило бѣжать черезъ гору.

— Было и прежде извѣстно, — рассказывалъ теперь почти всякій, съ кѣмъ я бесѣдовалъ объ этомъ предметѣ, — что гдѣ-то съ другой стороны горы, гдѣ конвоя не ставится, выходъ есть. Тамъ на пятьдесятъ верстъ, выработки идутъ; заблудиться можно... Что твой лѣсъ: то прямо идешь, то вправо, то влѣво поворишься, то внизъ спустишься, то опять вверхъ полѣзешь... И вдоль, и поперекъ десятки корридоровъ тянутся... Одно только—страшно заходить далеко. Иныя выработки много уже лѣтъ заброшены, и ходить туда строго-на-строго запрещается;

крѣпи всё сгнили—того и гляди, повалятся, задавятъ... А въ другихъ мѣстахъ вода, ледъ.

Словомъ, большинство утверждало, что выходъ съ другой стороны всетаки есть, и духовому человѣку бѣжать можно. А поэтъ Владиміровъ, прослушавъ нѣсколько такихъ разсужденій, вдругъ поднялся однажды съ наръ и забасилъ категорически:

— Да и раньше бѣгали!

— Когда бѣгали? Кто бѣгалъ?

— Да вотъ бѣгали! Не хотѣли только совсѣмъ уходить, потому семейные были, а проходъ находили. Полякъ Ніясъ съ хохломъ Еговой нашли разъ. Забредли въ ледяной корридоръ и заблудились. Страху сколько натерпѣлись, разсказывали послѣ... По обмерзлымъ лѣстницамъ, чуть живымъ, лѣзли. Продрогли, промокли всё... И вдругъ къ выходу пришли... Вышла вонь—смотреть—лѣсъ кругомъ, а цѣпь далеко-далеко въ сторонѣ осталась! Такъ и могли-бъ уйти, кабы захотѣли. Только они не хотѣли, потому женатые были, и пошли казакамъ на встрѣчу. Тѣ сначала пропустить ихъ въ цѣпь не соглашались, а потомъ, какъ объяснилось, въ чемъ дѣло, такъ конвой просто диву дался, испугался!

— Да не во снѣ-ль это приснилось тебѣ, Медвѣжье Ушко?—спросилъ насмѣшливо Соколыцевъ.

— Зачѣмъ во снѣ! Спроси хохла Егозу, или Ніяса спроси.

— Гдѣ-жъ я теперь спрошу, коли они въ волости давно? А тебѣ-то они сами сказывали?

— Да хоть и не сами... Другіе все равно слышали... Уйти бы могли, кабы захотѣли! Только они не хотѣли, потому...

— То-то, кабы захотѣли. Нѣтъ, ужъ мы подождемъ лучше, узнаемъ, какимъ путемъ Красоткинъ бѣжалъ, а потомъ повѣримъ тебѣ. Нѣтъ, дружище, кабы выходы изъ горы были, начальство лучше-бъ нашего съ тобой знало, что они есть, и безъ караула не оставляло бы во время работы. Я такъ полагаю.

Скептическій взглядъ Соколыцева раздѣляли Гончаровъ, Юхоревъ и другіе бывалые, опытные люди. Взглядъ этотъ и оправдался спустя нѣкоторое время, когда пришло другое, болѣе вѣрное извѣстіе, что Красоткинъ и не бѣжалъ вовсе, а только пробовалъ отсидѣться въ горѣ, но, благодаря собственной глупости, черезъ двадцать сутокъ принужденъ былъ сдаться начальству. Соколыцевъ самъ принесъ изъ мастерской это извѣстіе и такъ разсказывалъ собравшейся вокругъ него шпанкѣ:

— Онъ точно могъ бы бѣжать, Красоткинъ, кабы другой на его мѣстѣ человѣкъ былъ. Я его хорошо знаю и тогда же, какъ въ первый разъ услышалъ, подумалъ про себя, что не Красоткину-бъ такія дѣла обдѣлывать. И задумалъ-то его не самъ онъ, а ребята предложили, силой почти уговорили, потому жалко парня: молодой совсѣмъ, а за спиной сорокъ пять лѣтъ работы. Задумано было такъ. Спрятали его во время работы въ старыхъ выработкахъ, въ очень распрекрасномъ мѣстѣ, про которое дватри только человѣка изъ всей тюрьмы знали. Туда заранѣе ему всякаго провіанту натаскали, чтобъ можно было дня три или даже четыре просидѣть. Заложили камнями и ушли. Кончилось рабочее время, пора въ тюрьму идти. Сосчитали казачишки арестантовъ, разъ и два сосчитали—что за чортъ? Нѣтъ одного. Нѣтъ, да и нѣтъ. Ношла трелого. Всю гору обѣгали казачишки—ничего не могли сыскать. Рѣшили всетаки цѣпи не снимать, выждать: можетъ быть, онъ спрятался гдѣ-нибудь, притаился—такъ рано, молъ, или поздно долженъ объявиться. Часовые клялись и божились, что изъ цѣпи никого не выпускали. Кабы кобылка веда себя хорошо, а главное, кабы самъ Красоткинъ не дремалъ, это все не бѣда-бъ, что цѣпи не сняли, потому ребята и раньше такъ располагали, что три-четыре дня строма будетъ. Эти дни надо было ухо остро держать, сидѣть спокойно. Въ первую же ночь цѣлая сотня казаковъ съ фонарями въ гору пошла, все обыскала, перерыла. Опять ничего, конечно, не нашли. Еще сутокъ двое постояли, постояли, глядь—и сняли посты. Рѣшили, что часовой, должно быть, прокараулилъ, того-жъ разу изъ цѣпи выпустилъ. Тутъ бы и махнуть Красоткину драла,—наши успѣли ему шепнуть, что розыски, молъ, утихли, проходъ свободный. Одѣжа вольная, деньги, пачпортъ, все у него было. А онъ возьми, дьяволовъ сынъ, и струсь! Еще почему-то три дня пропустилъ, даромъ пролежалъ. А тутъ, смотри, и провіантъ истощился, что въ занасѣ былъ. Пришлось таскать каждый день изъ тюрьмы. Придутъ утромъ на работу. Ну, думаютъ, теперь, должно быть, ушелъ. Глядь—а онъ все еще лежитъ. Что же ты, такъ тебя и этакъ, дѣлаешь? Погубить себя хочешь?—„Ей Богу, братцы, сегодняшнюю ночь убѣгу. Пошелъ было ночесъ, да показалось, караулъ опять стоитъ“. Вотъ трусливая ворона! А еще молодой парень, сорокъ пять лѣтъ каторги счумѣлъ заработать! И вотъ промежъ кобылки шорохъ пошелъ... Спервоначалу-то человѣка че-

тире только знали, и другие люди: большая часть, как и начальство, тоже думали, что Красоткинъ на воле давно — давно въ полъ вътра. А тутъ — замѣтила-ль какая штука, что виду ему носить въ гору, промежъ себя шепчутся, а въ тему другому — только скоро вся тюрьма узнала, что Красоткинъ въ выработкахъ старыхъ лежитъ. А вся тюрьма узнала — и надзиратели узнали, и конвой. Всюлокислись опять — цѣнь поставили, караулы строго стали обыскивать всѣхъ, чтобы хлѣба ему не пронесли. Мало того! Какіе хитрые кельи: негла по всѣмъ корридорамъ нашивали, нитки протянули. Дунають: коли станетъ ночью ходить — воды поидетъ къ ручью ваниться, или бѣжать захочетъ — непремѣнно слѣды останутся. И днемъ, и ночью въ горѣ зачали шарить. Разъ какую даже штуку удрали? Не выгнали арестантовъ на работу, а заиѣсто того казачишкамъ молотки и бѣры въ руки дали. Такой стукъ въ рудникѣ подняли, будто и заправская работа идетъ. Ну, да Красоткинъ догадался, что — подвохъ, не вышелъ. Натерпѣлся однако, бѣдняга страху за эти дни. Однажды (сказывалъ послѣ ребятамъ) два казачишка во время обыска вплоть подошли къ тому самому мѣсту, гдѣ онъ заложень камнями былъ. Стали, слышитъ, разбирать. Одинъ говоритъ другому: „Сейчасъ же заколемъ мерзавца, коли тутъ окажется“. Ажно духъ въ немъ за-, меръ: вотъ-вотъ увидать!... Вдругъ, на его фартъ, гдѣ-то вдали другіе закричали: „Здѣсь, здѣсь онъ!“ Какъ бросится туда духи... Такъ гроза и прошла мимо. Однако, плохо его дѣло стало! Проносить удавалось только по крохотному кусочку хлѣба, да и то не каждый день. Отощалъ вовсе. Темнота къ тому жъ, воздухъ душной... Ноги стали пухнуть, цынга появилась... И тутъ иной бы фартовець съумѣлъ еще выкрутиться: На проломъ бы пошелъ! Прямо на часового-бъ ночью кинулся: подкараулилъ бы, какъ онъ зазѣвается, стоитъ себѣ, въ носу ковыряетъ, и пришибъ бы духа проклятушаго! А Красоткинъ могъ только вокругъ да около ходить, а ни на что не рѣшался. Разъ таки наосмѣлѣлъ было, пошелъ... Да такъ неосторожно высунулся, что часовой увидалъ: выстрѣлъ далъ, закричалъ! Казаки набѣжали... Насилу ноги уволокъ. Послѣ того онъ ужъ вовсе оробѣлъ, вылѣзть изъ своей норы пересталъ, разнемогся. Смерть, видно, думаетъ, пришла... Разъ лежитъ такимъ манеромъ, вдругъ слышитъ — идетъ кто-то, промежъ камней пробирается. Мелкіе камешки падаютъ... Вовсе подошелъ, и въ темнотѣ ровно свѣтлѣе стало. Стоитъ передъ

нимъ, какъ есть человѣкъ—ни высокій, ни низкій, съ сѣдой бородкой. „Ты здѣсь?“—спрашиваетъ.—Здѣсь,—отвѣчаетъ Красоткинъ.—„Ѣсть хочешь?“—Шибко, говоритъ, хочу.—„А холодно тебѣ?“—Закоченѣлъ весь.—„Ну, погоди, говоритъ, маленько, легче станетъ“. Сказалъ—и словно въ землю провалился, невидимъ сталъ. А ему и точно легче сейчасъ же сдѣлалось: голодъ пропалъ, и, будто, тепломъ откуда-то потянуло...

— На другой послѣ того день (это на девятнадцатый ужъ!) Красоткинъ прямо объявилъ ребятамъ, что дольше терпѣть не въ силахъ, и если не придумаютъ средства вывести его живого, такъ онъ самъ выйдетъ—пускай убиваютъ. Что тутъ дѣлать? Объяснила кобылка старшему надзирателю (душа, говорятъ, человѣкъ для нашего брата): такъ и такъ, молъ, человѣку смерть предстоить, потому казаки безпремѣнно убьютъ, какъ только онъ покажется,—обозлены сильно; явите божецеую милость, примите подъ свою защиту. На утро онъ пошелъ съ ребятами въ гору, одѣлъ Красоткина въ вольную одежду и вывелъ незамѣтно для казачишекъ. Кто былъ на Покровскомъ, тотъ знаетъ, вѣдь, что рудникъ тамъ совсѣмъ подлѣ тюрьмы, и цѣпь разставляется далеко-далеко кругомъ... Какъ подошли къ воротамъ—тутъ только два молодыхъ подчаска смекнули въ чемъ дѣло. Какъ сумасшедшіе, метаться зачали туда, сюда, зубами щелкаютъ, не знаютъ, что дѣлать. „Смѣйте только пальцемъ тронуть!“—прикрикнулъ на нихъ старшій надзиратель:—„строго отвѣчать будете“. Кинулись подчаски въ караульный домъ—выбѣжалъ оттуда весь караулъ съ ружьями. Безпремѣнно убили-бъ Красоткина, ни на что-бъ не поглядѣли, да въ эту минуту дежурный ворота успѣлъ растворить и втолкнуть его во дворъ. Такъ и остались казачишки съ носомъ, ружьями только погрозились сквозь рѣшетку, да поругались всласть. Вотъ, вѣдь, звѣрье какое!

— Кажнаго изъ нихъ давить надо, духовъ окаянныхъ,—подтвердили слушатели, глубоко взволнованные рассказомъ Сокольцева.

Красоткина тоже ругали на всѣ корки. Разочарованіе было полное. Хотя идея побѣга черезъ горныя выработки и не имѣла никакого смысла въ крошечномъ Шелайскомъ рудникѣ, гдѣ обширныя выработки старыхъ временъ находились далеко отъ нынѣшнихъ, но въ арестантской душѣ были разбужены этой исторіей самыя завѣтныя чувства, задѣты самыя больныя струны... Къ тому

же, весна была въ полномъ разгарѣ; за высокой тюремной оградой зеленѣли красивыя сопки, благоухали цвѣты и деревья... Все напоминало о волѣ, о жизни, и сердце у каждаго мучительно ныло... Но бѣжать изъ Шелайской тюрьмы, такъ зорко оберегаемой Шестиглазымъ, было нелегко, и самые дерзкіе смѣльчаки предпочитали выжидать благопріятныхъ обстоятельствъ, мечтать о предварительномъ переводѣ въ другіе рудники. За то съ началомъ лѣта начались массовыя побѣги изъ вольной команды, за которой не было почти никакого надзора.

Прежде всего скрылись поварь и кухарка самого Лучезарова. Послѣдній снарядилъ за ними погоню изъ нѣсколькихъ надзирателей и казаковъ; но трехдневные поиски не привели ни къ чему, и преслѣдователи вернулись съ пустыми руками. Едва успѣло улеяться волненіе, произведенное въ тюрьмѣ этимъ первымъ побѣгомъ, какъ исчезъ арестантъ, бывшій любимцемъ Лучезарова и занимавшій въ его конторѣ должность писца. Бѣглецъ, между прочимъ, увелъ съ собой свояченицу Рахитина, дѣвочку четырнадцати лѣтъ, пріѣхавшую въ каторгу за сестрой. На этотъ разъ бравый штабсъ-капитанъ самолично отправился въ погоню, получивъ отъ кого-то изъ арестантовъ свѣдѣніе, по какому направленію ударились бѣглецы. Рассказывали, будто, уѣзжая, онъ хвалился, что приведетъ писаря назадъ, живого или мертвого.

— Ишь, вѣдь, аспидъ какой!—толковали межъ собой арестанты: — Пошто въ другихъ рудникахъ не взираютъ, что изъ вольной команды бѣгутъ? Начальство за нее вѣдь не отвѣчаетъ. Идите себѣ, голубчики, на всѣ четыре стороны, хоть всѣ разбѣгитесь!

— Потому онъ змѣй шестиголовый,—ораторствовалъ полоумный Жебреекъ,—онъ, ровно кашей золотомъ, дорожитъ нашимъ братомъ. Ровно мы братья ему [родные—такъ дорожить! Спать безъ насъ, ѣсть спокойно не можетъ. Вѣкъ бы не разстался ни съ однимъ арестантомъ. Онъ чахнуть начинаетъ, ежели кому срокъ на волю подходитъ, и пузо у него растеть съ радости, ежели кому надбавка выйдетъ. Почто насъ на Сахалинъ не пустили? Онъ не хотѣлъ этого. Ужъ я знаю, что онъ не хотѣлъ. Самъ за бѣглымъ арестантомъ погнался—гдѣ это видано? Какой благородный начальникъ во вниманіе такіе пустяки возьметъ? Ну, да пушай потѣшится, кровушки нашей напьется, пушай! Придетъ жогда-нибудь и его точка... Ужъ я знаю, что придетъ! Придетъ!

И, вытянувъ руку, Жебреевъ торжественно поднималъ указательный перстъ къ небу.

Похвальба Лучезарова оказалась, однако, напрасной. Ему съ казаками приходилось ѣхать по проѣзжей дорогѣ, а бѣглецы могли идти стороной, черезъ тайгу, имѣя передъ собой десятки дорогъ и только посмѣиваясь надъ нимъ издали. Другое дѣло—дальнѣйшій путь, гдѣ въ 30—50 верстахъ отъ шелайскихъ сопокъ начинались шедшія вплоть до Читы и дальше голыя степи, покрытыя казачьими станицами. Тамъ пройти несравненно труднѣе, и изъ десятковъ и сотенъ бѣглецовъ, направляющихся каждое лѣто изъ всѣхъ нерчинскихъ рудниковъ, только немногимъ удается пробраться за черту каторжнаго района. Большинство опять попадаетъ въ руки властей. Для шелайскихъ бѣгуновъ было счастьемъ, впрочемъ, и то, если имъ удавалось попасть послѣ поимки въ одну изъ другихъ тюремъ.

Шестиглазый вернулся изъ своей неудачной поѣздки злой и темный, какъ ночь. За то кобылка въ тайнѣ души ликовала. Изъ вольной конанды побѣги продолжались чуть не ежедневно; оставались на мѣстѣ только семейные, да тѣ, у кого срокъ совсѣмъ уже скоро кончался. Рассказывали, будто къ этому же времени Лучезаровъ получилъ отъ высшаго начальства выговоръ за излишнія траты по управленію Шелайскимъ рудникомъ, будто не были также утверждены представленныя имъ смѣты на новые расходы, отчасти уже сдѣланные имъ изъ собственного кармана. Не знаю, правда это была или вымыселъ, но такими именно слухами старались объяснить перемѣну, замѣченную этой весной въ Лучезаровѣ. Не смотря на всѣ громы и молніи своихъ рѣчей, обращенныхъ къ арестантамъ, онъ представлялся имъ до сихъ поръ человѣкомъ хотя и грознымъ, но способнымъ держаться въ рамкахъ строгой законности. Даже послѣ оскорбленія, полученнаго отъ Шахъ-Ламаса, онъ не поддался, казалось, чувству личнаго озлобленія и ограничился карцерами, запоромъ камеръ на замки, словесными угрозами; теперь же въ характерѣ браваго штабсъ-капитана появилась вдругъ совершенно новая, скрытая раньше, черта—чисто-русская способность „зарываться“. Въ тюрьму онъ являлся въ послѣднее время очень рѣдко, но то и дѣло доносились слухи о подвигахъ его на волѣ. Тамъ онъ, что называется, рвалъ и металъ. Прежде всего пришлось извѣдать его раздраженіе арестантами вышедшимъ канаву возлѣ тюрьмы: имъ

стали задавать неимоверно большіе уроки, почти по кубической сажени въ день на человѣка, забывал, что каторжные не наемные рабочіе, у которыхъ и лучшая пища, и больше физической силы и нравственной бодрости. Послѣ нѣсколькихъ дней подобной работы изнемогли самые сильные. Маленькаго Лунькова товарищи принуждены были босого вытаскивать изъ глинистой канавы; сапоги въ ней такъ вязли, что ихъ приходилось вырубать желѣзными лопатами... Не выработывавшимъ полного урока уменьшали на слѣдующій день порцію мяса и хлѣба и, всетаки, приказывали идти на работу. Въ этомъ случаѣ всего ярче обнаружилась „дешевизна“ тѣхъ арестантовъ, которые, обладая широкимъ горломъ и иванской репутаціей, были храбры и смѣлы лишь на словахъ. Теперь, когда дошло до дѣла, они были тише воды, ниже травы и, какъ волю, тянулись изъ жилъ, лишь бы не прогнѣвить страшнаго Шестиглазаго. За то Луньковъ лишній разъ доказалъ, что онъ не трусъ. Выбившись однажды изъ силъ, онъ обругалъ пристававащаго къ нему надзирателя и былъ отправленъ въ карцеръ. Шестиглазый распорядился арестовать его на мѣсяцъ, съ закованіемъ въ наручни и отдачей подъ судъ. Той же участи подвергся скорѣй другой мой пріятель—толстякъ Ногайцевъ. Карцера въ эти дни не пустовали. По слухамъ, Лучезаровъ бушевалъ и у себя на дому, собственноручно расправляясь съ прислугой. Нѣсколько надзирателей, вообще трусившихъ его больше самихъ арестантовъ, также подверглись выговорамъ, штрафамъ и даже удаленію. Въ тюрьмѣ съ трепетомъ ожидали появленія грознаго начальника на вечернихъ повѣркахъ, будучи увѣрены, что произойдетъ что-нибудь страшное. Всѣ притаились, точно въ ожиданіи бури...

И дѣйствительно, вернувшись однажды изъ рудника, мы услышали новость, невольно заставившую всѣхъ вздрогнуть: въ вольной командѣ только что былъ подвергнутъ жестокому наказанію розгами кучеръ Лучезарова—киргизъ Салмановъ, причѣмъ его раздирающіе душу крики были явственно слышны во дворѣ тюрьмы и даже въ больницѣ. Салмановъ недавно только вышелъ на свободу; неуклюжій дѣтина огромнаго роста, съ безобразнымъ лицомъ, изрытымъ оспой, и голосомъ, похожимъ на ревъ таежнаго звѣря, онъ былъ въ высшей степени добродушный и честный малый. Даже не любившіе киргизовъ арестанты удивились, услыхавъ, что такой человѣкъ обвиняется въ кражѣ пары казен-

ныхъ хомутовъ. Впослѣдствіи выяснилось, что воромъ былъ другой арестантъ, уже окончившій срокъ, но еще жившій въ вольной командѣ въ ожиданіи назначенія волости. Все это можно было выяснить въ тотъ же день при мало-мальски спокойномъ разслѣдованіи дѣла; но Лучезаровъ поспѣшилъ отдаться первой бѣшеной вспышкѣ гнѣва и немедленно велѣлъ наказывать Салманова розгами подъ окнами своей канцеляріи. Палачи-казаки были безпощадно-свирѣпо. Послѣ тридцати ударовъ, Лучезаровъ вышелъ на крыльцо и спросилъ у кучера, куда онъ дѣлѣ хомуты. Несчастный киргизъ повалился въ ноги, но отвѣта дать не могъ, такъ какъ самъ ничего не зналъ. Бравый штабсъ-капитанъ, приказавъ продолжить наказаніе, вернулся въ контору. Послѣ тридцати новыхъ ударовъ, онъ опять вышелъ и задалъ тотъ же вопросъ, и, по-прежнему не получивъ отвѣта, опять махнулъ казакамъ рукой. Эта жестокая сцена продолжалась четыре раза подрядъ, и Салмановъ самъ говорилъ мнѣ впослѣдствіи, что получилъ всего 134 розги, тогда какъ „по инструкціи“ мѣстная тюремная администрація имѣетъ право наказывать собственной властью лишь ста ударами. Обливавшійся кровью Салмановъ отведенъ былъ послѣ того въ тюремный карцеръ, отданъ подъ судъ и по истеченіи мѣсяца посаженъ въ общую камеру. По счастью, невинность его обнаружилась вскорѣ сама собою, и его снова выпустили въ вольную команду. Добродушный и трусливый дикарь не посмѣлъ жаловаться на самовольную расправу съ нимъ, и дѣло это такъ и было предано забвенію. Для самого Салманова, какъ и для всей остальной кобылки, важна была лишь физическая боль, которою сопровождалось варварское истязаніе: прошла боль—и стоило ли о ней помнить? Но не то чувствовалъ я... Мнѣ казалось, что лучшая часть моей души была осквернена и ошельмована, что на этотъ разъ нанесли и мнѣ жестокую, незабываемую несправедливость. Во всемъ прежнемъ поведеніи Лучезарова, во всей системѣ его управленія тюрьмою я могъ находить невѣрную постановку многихъ вопросовъ, излишне формальное пониманіе закона и проч., но тутъ впервые во всей красотѣ и блескѣ обнажилась передо мною его истинная подоплека, та русская крѣпостническая подоплека, которой долго еще не уничтожать никакой европейскій лоскъ, никакіе самоновѣйшей выдумки системы и режимы...

И долгое время послѣ этой исторіи я не могъ видѣть дебели

фигуры Лучезарова безъ невольной дрожи во всемъ тѣлѣ. Но, увы, это было еще не самое худшее, что мнѣ суждено было пережить въ Шелаевскомъ рудникѣ!

VIII.

Осиновое ботало меня развлекаетъ.

Какъ солнца не бываетъ безъ тѣни и ночи безъ утренней зари, такъ и въ жизни мрачное и печальное почти всегда стоитъ рядомъ съ комичнымъ и забавнымъ. Нѣсколько дней спустя послѣ исторіи съ Салмановымъ, разнесся по тюрьмѣ слухъ, будто Ракитинъ въ пьяномъ видѣ до полусмерти искусалъ зубами свою жену: если бы не сосѣдка, побѣждавшая немедленно къ старшему надзирателю, бабѣ конецъ бы пришелъ... Вечеромъ того же дня, послѣ повѣрки, загремѣлъ замокъ въ нашей камерѣ, дверь отворилась, и на порогѣ появился Ракитинъ съ вещами.

— Наше почтеніе, старики!—съ веселой развязностью обратился онъ къ арестантамъ.

Кобылка радостно загоготала.

— Попался, голубчикъ! Скоренко! Ну, рассказывай, братъ, какъ и за что?

Тутъ Ракитинъ понесъ такую чепуху, что ровно ничего нельзя было понять. Въ одну кучу сваливалъ онъ и тайную торговлю виномъ, въ которой Шестиглазый, будто бы, подозрѣвалъ его, и побѣгъ свояченицы съ писаремъ, и связь Марфы, жены своей, съ этимъ же самымъ писаремъ, и чортъ знаетъ еще что.

— А правда ли, что жену-то вы искушали, Ракитинъ?

— Пощипалъ немножко, Иванъ Николаевичъ, что вѣрно—то вѣрно. Да какъ же и не искушать было подлюку? Вѣдь онъ головушку мою закрутили! Вѣдь онъ давно ужъ собирались меня въ тюрьму упрятать!

— Кто онъ?

— Да все онъ же: Марфа-жена и Домна, сестра женина, которая съ писаремъ-то сбѣжала. Вѣдь если бы знали вы, что выдѣлывали онъ, какъ сердечушко мое раздражали... Кровь во мнѣ просто кипяткомъ по жиламъ волновали!

— Что-жъ онъ такое дѣлалъ?

— Эхъ! всю ночь говорить—не перескажешь. Домнѣ—четырнадцать лѣтъ всего дѣвчонкѣ. Отца, матери нѣтъ—сирота круглая.

Я ее пріютилъ, я ее одѣлъ, кормилъ, поилъ. И какой же благодарности, Иванъ Николаевичъ, дождался? Змѣю лютую отогрѣлъ на груди своей! Сколько хитрости, лицемѣрія въ ей, подлой, тайлось, такъ вы и не повѣрите даже. Когда я въ тюрьмѣ еще сидѣлъ, спрашиваю разъ Марфу, что дѣлаетъ Домна. „Домна больше чтеніемъ, говоритъ, занимается. Все за евангеліей сидитъ“. А она, точно, грамотная у насъ, Домна. Ну, это хорошо, думаю. Вотъ вышелъ я на волю, Иванъ Николаевичъ, вижу: дѣйствительно, за чтеніемъ Домна сидитъ. Что ты читаешь, спрашиваю, Домнушка? „Божественное, отвѣчаетъ, братецъ“. Мнѣ бы самому тогда же поглядѣть въ книжку-то, потому мало-мало вы научили ужъ мараковать меня, Иванъ Николаевичъ. Ну, только недосугъ все было. Вышелъ это, знаете, на волю, круженіе головы пошло—до науки-ль тутъ? Ну, а какъ бѣжала она съ писаремъ-то этимъ проклятымъ, —чтобы ему кишки челдоны изъ нутра выдавили!—я и домекнись въ книжки ея заглянуть. И что жъ бы вы думали, Иванъ Николаевичъ, какія книжки? Все про любовь, да про любовь... Описано такое все, что и негоже вовсе дѣвкамъ читать! Это писарь, значить, таскалъ ей отъ надзирателей да отъ Монахова романы разные. А она какія пули отливала мнѣ: божественное, говоритъ, евангеліе да библия! Вотъ что темнота-то наша значить дурацкая! Что значить, коли въ туисъ-то нашъ колыванскій ничего, кромѣ простокиши, не налит! Безпремѣнно теперь стану учиться у васъ, Иванъ Николаевичъ, въ науку хочу безпремѣнно углубиться!

— Почему же убѣжала отъ васъ Домна?

— Я не столько ее виню, Иванъ Николаевичъ, потому робячій еще умъ у дѣвчонки, сколько его, иродово сѣмя, Дормидошку-аспида. Вѣдь онъ землякъ мнѣ, и пріятели мы съ имъ были закадышныя, до послѣдняго часу друзья неотрывные... Вы не повѣрите, Иванъ Николаевичъ (тутъ Ракитинъ понизилъ голосъ до шепота): вѣдь я же... Егоръ же Алексѣевъ, не кто другой, и къ побѣгу его приготовилъ! Я и сухарей ему засушилъ на дорогу, и другихъ припасовъ надавалъ... А онъ—вотъ вѣдь какую махину подвѣлъ подъ меня, дѣвчонку сманилъ бродяжить!

Арестанты захохотали.

— Да ты чего жалѣешь ее? — спросилъ Широкий: — Аль, можетъ, самъ на нее мѣтилъ? Что она, родная тебѣ, что ли? Ушла—и дьяволъ съ ей, лишній ротъ съ шеи долой! Особливо, ежели гадина такая лицемѣрная!

— Чудакъ ты, Кузьма, право, чудакъ! А что бы ты запылъ, кабы у тебя сапожки плюшевые утащила стерва, шубку на колонбонитъ мѣху, да двадцать рублей денегъ... Вѣдь жалко! Кровинки мои денежки!

— Ну, это не врѣ. Откуда онѣ взялись у тебя? Марфа, небось, водкой наторговала, не ты.

— Это, братъ, все равно. Мужъ да жена, сказано въ писаніи, одна сатана. Какъ же не желать мнѣ ей, стервенку, голову оторвать?

— Но, всетаки, я не понимаю, Ракитинъ, за что вы Марфу то искусили?

— За то, Иванъ Николаевичъ, что она, навѣрное, знала, подлая, объ сборахъ сестры бѣжать. Безъ этого никакъ не обошлось. Я человѣкъ казенный, съ утра до вечера нахожусь на работѣ, а она весь день дома.

— Выходить, по вашему, что Марфа участвовала въ покражѣ у самой себя вещей и денегъ? Чудно! Да врядъ ли она согласилась бы и на побѣгъ родной сестры съ каторжнымъ бродягой: вѣдь онъ можетъ ее обидѣть, ограбить, убить? Жена у васъ, говорить, умная баба.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! Ничего-то вы въ нашемъ быту не понимаете, ничего не знаете... Извѣстное дѣло, вы всегда эту смѣшную породу защищать готовы!

— Молодецъ, Егорка! Здорово укусилъ Миколанча!.. Хоть разъ, да правду истинную молвилъ... Душить ихъ, тварюгъ, надо, всѣхъ безъ разбору душить!

— Извѣстно, надо,—ободрившись, еще болѣе, сказалъ Ракитинъ, ударяя по столу кулакомъ. Его очень обрадовало, что сочувствіе арестантовъ, недавно смѣявшихся надъ нимъ, начало, видимо, переходить на его сторону.

— Я и раньше, Иванъ Николаевичъ, замѣчалъ за ей такія продѣлки, что давно бы ей голову свернуть надо. И все прощаль. Развѣ не видалъ я, къ примѣру, какъ она съ тѣмъ же писаремъ сама любовь крутила? И такой-то, и сякой-то у насъ Дормидонтъ Иванычъ, и сухой, и немазанный; эго Дормидонту Иванычу подарить надо, этимъ угостить... За мной, за мужемъ роднымъ, такого уходу не было! А ужъ Егоръ ли Ракитинъ въ грязь лицомъ передъ Дормидоншкой ударить? Нѣтъ, ей не хочется, шкурѣ, по закону жить! Запретный плодъ, значить, больше просвѣщаетъ!

— Но какъ же вы только что говорили, Ракитинъ, будто сами и къ побѣгу приготовляли писаря, друзьями съ нимъ неотрывными до послѣдняго часа были? Если замѣчали за нимъ и за женой...

— Да вы какъ же полагаете, позвольте васъ спросить, объ Егорѣ Ракитинѣ? Дуракъ онъ, что ли, набитый? Нѣтъ, Иванъ Николаевичъ! Въ башкѣ этой тоже заложено кое-что... Сколько времени вы меня знаете, а все еще не признали! Думаете, я не умѣю химикомъ прикинуться? Еще какъ умѣю-то! Самому дьяволу безъ масла въ душу залѣзу, коли захочу. Какъ же мнѣ было съ одного разу высказать, что всѣ ихъ продѣлки наскровъ вижу? Я радоваться долженъ былъ, что онъ уйдетъ, сомуститель семьи, мучитель жизни моей!

— Ну, а почему вы зубами искусили жену, а не какъ иначе поколотили?

— Скусу больше, Иванъ Николаевичъ. Вцѣпишься этакъ зубами въ живое мясо—ажно замрешь весь! Распрекрасное дѣло. Поглядите, какіе зубки-то у меня, ровненькіе, будто у бѣлочки молоденькой, махонькіе, востренькіе...

И подъ оглушительный хохотъ камеры, Ракитинъ пресерьезно оскалилъ ротъ и показалъ мнѣ два ряда ослѣпительно-бѣлыхъ и, дѣйствительно, мелкихъ острыхъ зубовъ.

— Кабы не отняли отъ меня, напился-бъ я изъ стервинны крови, показалъ бы, какъ мужа обманывать и имущество его разорять!

— Что же теперь думаете вы дѣлать, Ракитинъ?

— Теперь ужъ, конечно, пропащая моя головушка, Иванъ Николаевичъ! Теперь сгноить меня въ тюрьмѣ Шестиглазый. Одно остается: выпустить ей брюшину на первомъ же свиданіи!

— А не лучше ли, Ракитинъ, попросить прощенія у Шестиглазаго и у жены и снова на волю выйти? Вы, вѣдь, навѣрное, пьяны были?

— Въ одномъ только глазу-съ, въ другомъ ни порошиночки... Но чтобъ я покорился? Бабъ чтобъ покорился? Помилуйте! Чтобъ Егоръ Ракитинъ въ вольную команду проситься опять зачалъ? Ни за что-съ на свѣтѣ. Пушай лучше съ живого шкуру съ меня сымутъ. Вы сами могли увѣриться, Иванъ Николаевичъ, что я не хвостобой и не язычникъ, а чинномъ видѣ арестантъ.

Вотъ увидите: какъ пенъ, будетъ стоять Егорушка передъ Шестиглазымъ, словечушка въ свое оправданіе не промолвить. Этакъ вотъ только головушку повѣшу на буйную грудь, и пушай господинъ начальникъ обрушить на меня свою немилость! Ихняя власть!

И при этихъ словахъ онъ съ такой комичной искренностью изобразилъ изъ себя рыцаря плачевнаго образа, что всѣ опять покатались со смѣху.

— Ахъ ты, осиновое ботало!—твердили арестанты.

Но осиновое ботало до глубокой полночи не давало еще уснуть мнѣ, то впадая въ самое воинственное и задорное настроеніе, обѣщая убить жену и стоять твердо, какъ пенъ, подъ ударами окружающихъ враговъ, то принимая минорно-слезливый тонъ и нагоняя на всѣхъ тоску и уныніе...

На вечерней повѣркѣ слѣдующаго дня въ тюрьму появился самъ Шестиглазый. Зловѣщее молчаніе, которое хранилъ онъ во время повѣрки, наводило на всѣхъ еще большій трепетъ. Однако, все обошлось, казалось, благополучно. Во время обхода камеръ никто изъ арестантовъ не обращался къ нему ни съ какими просьбами. Только Ракитина, къ величайшему моему удивленію, точно кто за пружину дернулъ сзади, и когда Лучезаровъ собирался уже величественно выплыть изъ нашей камеры, онъ выступилъ вдругъ впередъ и заговорилъ сладенькимъ, печальнымъ голоскомъ:

— Господинъ начальникъ!

— Стоять на мѣстѣ! Не выходить изъ ширинки!—закричали надзиратели.

— Что нужно? — тихо, безучастно спросилъ Лучезаровъ.

— Господинъ начальникъ, явите божецкую милость! Какъ я есть отецъ семейства... И къ тому же, здоровьемъ очень слабъ...

— Чего нужно?—повысилъ голосъ начальникъ.

— Я посаженъ въ тюрьму.

— Знаю. Это ты хотѣлъ сообщить мнѣ?

— Ей-богу, напрасно, господинъ начальникъ... Ей-богу, не знаю за что!

— Но я знаю: за то, что истязалъ жену. Я не могу допускать звѣрствъ со стороны арестантовъ, ввѣренныхъ моей власти.

— Семейное дѣло, господинъ начальникъ... Сами знаете: какъ

иногда мужу жену али дитѣ родное не поучить? Въ случаѣ ба-ловства особливо...

— Такъ не учать, какъ ты училъ. Я самъ видѣлъ черные знаки отъ твоихъ зубовъ на ея тѣлѣ. Ты у меня поплатишься, братецъ, за такое ученье!

— Простите великодушно, господинъ начальникъ!

Но, гнѣвно блеснувъ очами, начальникъ поспѣшно удалился. Дверь шумно захлопнулась за нимъ и за его свитой. Ракитинъ стоялъ обезкураженный, переконфуженный... Арестанты принялись подтрунивать надъ нимъ.

— Какъ же ты божился вчера Ивану Николаичу, что пущай лучше шкуру съ тебя живого сымутъ—не станешь проситься у Шестиглазаго? Банки бѣ тебѣ хорошія отрубить, ботало осиновое!

— Эхъ вы, братцы мои родные!—отвѣчало находчивое ботало:—что я такое передъ Шестиглазымъ? Червякъ—одно слово. Намъ ли фордыбачить, носъ кверху подымать, убитымъ людямъ? Семейный я человѣкъ къ тому же... Жена-то, конечно,—чортъ съ ей! Объ ей я-бѣ не заплакалъ... А сыночекъ-то, Кешенька-то родной? Какъ подумаю теперь объ ѣмъ, что онъ одинъ тамъ, голубчикъ мой, такъ повѣрите ли, Иванъ Николаевичъ, зубы такъ сами и заскрыжечуть! Истинное слово. Какой вѣдь забавникъ! Съ матерью ляжетъ — ни за что на свѣтѣ не заснетъ, безпре-мѣнно тятки дожидается. Есть у меня на грудѣ бородавочка. Такъ онъ, знаете, все эту бородавочку руками тербитъ. Тер-бить, тербитъ—съ тѣмъ и заснетъ.

Въ мрачное настроеніе впалъ съ этого вечера Ракитинъ. Куда дѣвались его пѣсни, шутки и прибаутки. Все свободное отъ работы время онъ бродилъ по тюрьмѣ, какъ „неприкаянный“, не зная, очевидно, куда дѣваться. Лишился сна и аппетита; ни о чемъ другомъ не могъ говорить, кромѣ предстоящаго ему на-казанія и той формы, въ какой оно выразится. Многіе нарочно пугали его увеличеніемъ срока каторги, розгами и пр. Вскорѣ я подмѣтилъ, что Ракитинъ началъ передавать черезъ Сокольцева и другихъ арестантовъ, работавшихъ за оградой, по близости къ вольной командѣ, какія-то таинственныя порученія женѣ. Прошло одно, два воскресенья, и поправившаяся отъ побоевъ Марфа явилась къ нему на свиданіе.. Ракитинъ опять повесе-лѣлъ. Вечеромъ этого дня онъ пѣлъ уже дифирамбы женѣ и пу-скался въ свои обычные откровенности, утверждая, что она

влюблена, какъ кошка, въ его молодость и честную красоту, что она вѣрная жена и славная баба, обладающая двумя только пороками—старостью и глупостью; все негодованіе свое обрушивалъ на Домнушку и злодѣя-писаря. Съ своей стороны и Марфа, очевидно, не первый уже разъ отвѣдавшая зубовъ любезнаго муженька и находившая этотъ способъ расправы столь же естественнымъ, какъ и всякій другой, начала хлопотать о выпускѣ его на волю. Семейная драма закончилась неожиданно комическимъ выходомъ самого браваго штабсъ-капитана. На одной изъ повѣрокъ, когда Ракитинъ снова присталъ къ нему съ просьбой о помилованіи, онъ вдругъ выпалилъ:

— А жаль, Ракитинъ, что ты до смерти не загрызъ своей жены, очень жаль. Я убѣдился, что она дурная женщина: она вѣдь водкой торгуешь? Тебѣ извѣстно это?

Ракитинъ такъ ошеломленъ былъ этими словами грознаго начальника, посадившаго его въ тюрьму за варварское обращеніе съ женой, что не нашелся, что отвѣтить.

— Хорошо,—отвѣчалъ, между тѣмъ, Лучезаровъ на свой же вопросъ:—я выпущу тебя, но подѣ условіемъ, что ты дашь мнѣ слово немедленно прекратить эту торговлю.

Обрадованное ботало начало клясться и божиться, что свято-выполнить это условіе, что не только торговать, даже и пить никогда не станетъ проклятаго зелья.

— Ну, смотри же!—погрозилъ ему пальцемъ Шестиглазый:—Собирай сейчасъ же вещи и выходи вонъ.

Ракитинъ вылетѣлъ изъ камеры, какъ бомба, позабывъ даже попрощаться съ товарищами.

IX.

Избѣненіе младенцевъ и женъ.

Шестиглазый продолжалъ свирѣйствовать. Выпускъ Ракитина въ вольную команду былъ какой-то счастливой случайностью, шедшей въ разрѣзъ со всей его политикой этого злополучнаго лѣта. Арестанты, надзиратели, даже казаки, которые не были ему прямо подначальными, всѣ находились каждый день въ невообразимомъ страхѣ. Любившій вѣщать и пророчествовать Жебреекъ, къ удивленію моему, не торжествовалъ и не резонировалъ, а ходилъ все время печальный и молчаливый. Разъ мнѣ вдумалось

заговорить съ этимъ сумасшедшимъ о недобрыхъ временахъ, наступившихъ въ тюрьмѣ. Въ отвѣтъ, Жебреекъ только грустно поглядѣлъ на меня, мотнулъ красной, какъ огонь, козлиной бородкой и, пробурчавъ: „Того ли еще дождемся!“—величественно пошелъ прочь неровными, мелкими шажками...

Однажды, по нездоровью, я не ходилъ на работу. Вдругъ вбѣгаетъ въ камеру запыхавшійся Чирокъ и объявляетъ, что одинъ изъ самыхъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Змѣиная Голова по прозванію, разоряетъ гнѣзда шурковъ подъ крышею тюрьмы. Шурками или стрижами зовется въ Сибири порода ласточекъ, съ большими неуклюжими головами и звукомъ голоса, похожимъ на трещаніе стрекозъ. Эти безвредныя и милыя созданія, лѣзящія свои гнѣзда подъ окнами домовъ и каждую весну возвращающіяся на грустный, холодный сѣверъ, доставляютъ большое утѣшеніе тюремнымъ обитателямъ своей хлопотливой заботливостью, неумолкаемой, веселой болтовней и чириканьемъ. Всѣ арестанты очень любили этихъ птичекъ и покровительствовали имъ. Если случалось раздобыть клочокъ ваты, его разрывали на мелкіе кусочки и, разбросавъ по двору, съ живѣйшимъ любопытствомъ слѣдили за тѣмъ, какъ шурки подхватывали ихъ и уносили въ свои жилища. Завернувъ иногда въ вату камешекъ, забавлялись тѣмъ, какъ шуреку не хватало силъ утащить желанную добычу, какъ, поднявшись на воздухъ, онъ ронялъ ее на землю и снова пытался поднять... Если глупые птенцы съ неокрѣпшими еще крыльями выпархивали преждевременно изъ гнѣздъ, ихъ бережно подбирали и старались пристроить къ подходящей чужой семьѣ, такъ какъ родную узнать было трудно. Ласточки, случалось, отказывались отъ подкидышей и выталкивали ихъ вонъ. Тогда изъ среды арестантовъ всегда отыскивалась сердобольная душа, бравшая на себя материнскія заботы и выкармливавшая покинутыхъ сиротъ тараканами и мухами.

Понятно послѣ этого, какъ взволновалась тюрьма, услыхавъ о несчастіи, постигшемъ любимыхъ птичекъ. Вмѣстѣ съ другими и я вышелъ на тюремный дворъ. Съ длиннымъ шестомъ въ рукахъ Змѣиная Голова, дѣйствительно, раскашивалъ около зданій и разбивалъ имъ гнѣзда злополучныхъ шурковъ. Изъ однихъ валялись на землю не высиженные еще яички, изъ другихъ голые птенчики; падая, они немедленно разбивались, и множество ихъ корчилось уже въ предсмертныхъ судорогахъ. Въ рѣдкихъ только

гнѣздахъ были оперившіяся малютки, да и тѣ не умѣли еще летать. Сострадательные изъ арестантовъ ловили ихъ на лету въ шапки и уносили прочь, надѣясь какъ-нибудь выкормить и воспитать. Другіе, посмѣлѣе, обращались къ надзирателю съ вопросомъ. зачѣмъ онъ производитъ свое избіеніе.

— Начальникъ приказалъ,—отвѣчала Змѣиная Голова, замахиваясь палкой на новое гнѣздо:—замѣтилъ соръ на фундаментахъ и сказалъ, чтобъ этого больше не было.

— Противъ сора можно бы принять другія мѣры,—вмѣшался и я: — велѣтъ, напр., парашникамъ обметать ежедневно фундаменты.

— Не мое это дѣло,—отвѣчала Змѣиная Голова:—я то исполняю, что мнѣ приказываютъ.

— А если-бъ вамъ приказали объ стѣнѣу головой биться,—замѣтилъ староста Юхоревъ,—или насъ убивать,—вы и это стали-бъ исполнять? Во всемъ нужно, Василій Андреичъ, разсужденіе имѣть.

— За такія неподобныя слова я-бъ тебя наказать, Юхоревъ, могъ, если бы захотѣлъ. Начальникъ не можетъ дать мнѣ такого приказанія. Онъ человѣкъ.

— А это приказаніе человѣчно?—спросилъ я:—Птички развѣ не живыя существа? Вонъ сколько вы побили ихъ! А около всей тюрьмы такихъ гнѣздъ наберется, пожалуй, нѣсколько сотъ, съ цѣлой тысячей птенчиковъ...

Кобылка поддержала мои слова громкимъ ропотомъ. Надзиратель смутился.

— Что же мнѣ дѣлать?—жалобно заговорилъ онъ:—развѣ мнѣ пріятность какую составляетъ это занятіе? Съ меня самого взыскиваютъ.

— Доложите начальнику, что черезъ двѣ недѣли птенцы оперятся, и тогда, если нужно, можно будетъ разорить гнѣзда.

— Нѣтъ, ужъ благодаримъ покорно—долаживать. Насъ-то онъ еще больше арестантовъ прохватываетъ.

— Такъ вотъ я съ обѣденной пробой пойду сейчасъ и доложу,—вызвался Юхоревъ.

— Ну, и распрекрасное дѣло, — смягчился Змѣиная Голова:—до одиннадцати часовъ я могу повременить. Мнѣ что! Я даже очень радъ.

Юхоревъ, отправившись къ Шестиглазому съ пробой, дѣйстви-

тельно имѣлъ съ нимъ любопытную бесѣду по поводу шурковъ. Этотъ умный и представительный разбойникъ умѣлъ говорить весьма патетически... Лучезаровъ спокойно выслушалъ его и сказалъ съ насмѣшкой:

— Ага! позднеенько надумались... Въ каторгѣ жалости начали набираться? На волѣ семьи вырѣзывали, маленькихъ дѣтей живьемъ жгли: среди васъ есть одинъ такой артистъ... Да ты и самъ, помнится, не одного человѣка покрошилъ?.. А тутъ птичекъ пожалѣли!.. Вадоръ, вадоръ, лицемѣріе. Изволь сказать надзирателю, что я приказываю всѣ гнѣзда разорить къ вечеру. На повѣрку я самъ приду посмотрѣть.

Юхоревъ принужденъ былъ замолчать, и съ обѣда возобновилось родовое избіеніе младенцевъ. Кобылка ограничивалась тѣмъ, что въ присутствіи Змѣиной Головы злобно обсуждала отвѣтъ Шестиглазаго.

— Это точно, что я былъ варваръ,—говорилъ Соколыцевъ, принявшій на свой счетъ сдѣланный Лучезаровымъ намекъ:—такой варваръ, какихъ и на свѣтѣ мало. Но все же и я до такого варварства не доходилъ, какъ вы и вашъ начальникъ. Безъ крайней нужды я мухи не убивалъ, не только что птицы. Потому что, по моему понятію, меньше грѣха вреднаго человѣка убить, чѣмъ невинное Божье творенье—ласточку. Изъ ребенка можетъ образоваться со временемъ первѣйшій варваръ, а ласточка никому никакого вреда причинить не можетъ.

Эта философія Соколыцева съ большимъ сочувствіемъ выслушивалась собравшимися на дворѣ арестантами, на всѣ лады развивалась и иллюстрировалась примѣрами; по ласточкамъ оттого не было легче: гнѣзда такъ и валились, такъ и валились подъ неистовыми ударами Змѣиной Головы. Взрослые шурки съ жалобнымъ пискомъ вились цѣлыми десятками вокругъ своихъ дорогихъ пепелищъ, но подѣлать ничего не могли. Только часа два спустя въ тюрьму полюбопытствовалъ заглянуть самъ Лучезаровъ и, увидавъ собственными глазами работу Змѣиной Головы, приказалъ остановить кровавое побоище. Уцѣлѣло, такимъ образомъ, около сотни гнѣздъ; но главное дѣло было уже сдѣлано. Множество маленькихъ трупишковъ долгое еще время валялось по всему двору, вызывая тяжелыя воспоминанія...

Приблизительно въ эту же пору произошло другое непріятное событіе. Вернувшись разъ изъ рудника, я чрезвычайно былъ

удивленъ, узнавши, что наша камера № 1 подвергнута на цѣлый мѣсяцъ тяжкому наказанію: заперта на замокъ, закована въ наручни, лишена табаку, собственнаго чаю, свиданій и переписки съ родственниками; камерный староста посаженъ, кромѣ того, на недѣлю въ темный кержеръ. Въ числѣ прочихъ и я долженъ былъ подвергнуться назначенному для всего номера режиму. Оказалось, что утромъ этого дня приходилъ въ тюрьму съ обыскомъ самъ Шестиглазый и замѣтилъ, что дверной пробой въ нашей камерѣ нѣсколько шатается. Немедленно же велѣлъ онъ одному изъ арестантовъ притащить ломъ и вытаскивать имъ пробой. Нѣсколько арестантовъ, одинъ за другимъ, пытались сдѣлать это и не могли.

— Не такъ вы дѣлаете,—вызвался тогда одинъ изъ надзирателей и, взявъ ломъ въ руки, началъ крутить имъ пробой на подобіе винта. Этимъ способомъ, дѣйствительно, удалось его вынуть. Приказавши отнести пробой въ кузницу и перековать по новому, а камеру арестовать, Лучезаровъ въ гнѣвъ удалился. Всѣ недоумѣвали. Дѣло объяснилось только на вечерней повѣркѣ: старшій надзиратель передъ строемъ арестантовъ прочелъ приказъ по Шелайской тюрьмѣ, въ которомъ значилось, что при обыскѣ, произведенномъ самимъ начальникомъ, дверной пробой въ камерѣ № 1 оказался „вынутымъ“, что несомнѣнно, будто-бы, свидѣтельствовало о подготовлявшемся побѣгѣ. Всѣ разинули рты, выслушавъ этотъ приказъ—такъ онъ былъ неожиданъ и удивителенъ! Посудивъ и погалдѣвъ втихомолку, кобылка, какъ водится, покорила своей участи, и не подумавъ даже протестовать противъ причиненной ей явной несправедливости; но я, признаться, волновался... Мнѣ было тѣмъ обиднѣе и больнѣе, что одна изъ наложенныхъ каръ (лишеніе переписки) относилась прямо ко мнѣ и только ко мнѣ, такъ какъ большинство остальныхъ арестантовъ писало письма не чаще одного раза въ годъ... Осмотрѣвъ тщательно то мѣсто двери изнутри камеры, гдѣ выходилъ наружу конецъ старого пробоя, я замѣтилъ, что оно такъ же гладко покрыто краской, какъ и вся остальная дверь: ясное доказательство того, что загнутаго конца пробоя никогда не существовало, и что никакой умышленной порчи его не могло быть. Кромѣ того, и арестантамъ, и надзирателямъ отлично было извѣстно (и это всегда легко было провѣрить), что дверные пробои и во многихъ другихъ камерахъ точно такъ же шатались, какъ у насъ, и, очевидно, при самой постройкѣ

тюрьмы были непрочно вколотены. Не говорю уже о томъ, что приготовленіе къ побѣгу черезъ дверь камеры, выходящую въ запертый со всѣхъ сторонъ корридоръ, гдѣ постоянно присутствовалъ надзиратель, было бы явнымъ безуміемъ, и предположить такое безуміе могло только намѣренно-злостное желаніе создать первый попавшійся предлогъ для новыхъ придирокъ и стѣсненій. Но и предлогъ-то былъ крайне неудачно и нехитро выбранъ... Подобныя размысленія страшно волновали меня и злили. Въ первый же воскресный день я потребовалъ себѣ жалобную книгу и вписалъ въ нее заявленіе объ оказанной мнѣ и всей камерѣ несправедливости. Ближайшимъ результатомъ этого заявленія было то, что дня черезъ три нашъ староста, наиболѣе отвѣтственное по закону лицо, прямо изъ темнаго карцера былъ выпущенъ въ вольную команду... Этимъ какъ бы еще рельефнѣе подчеркивалось безсмысліе нашего ареста. Шестиглазый, какъ будто, говорилъ намъ: „Я самъ знаю, что обвиненіе мое вздорно и несправедливо; но помните денно и нощно, что я—что хочу, то и дѣлаю“.

Ровно черезъ полгода послѣ этой исторіи, уже почти забытой всѣми, на вечерней повѣркѣ торжественно было объявлено, что моя жалоба на незаконное якобы наказаніе за вынутый арестантами дверной пробой оставлена завѣдующимъ Нерчинской каторгой безъ послѣдствій...

Камера наша сидѣла еще подъ арестомъ, когда изъ управленія пришли приговоры Лунькову и Ногайцеву за отказъ отъ работы и обруганіе надзирателя: первый, какъ болѣе виновный, лишился скидокъ „за поведеніе“ (что равнялось надбавкѣ одного года каторги) и подвергался ста ударамъ розогъ, а второй присуждался къ мѣсяцу заключенія въ темномъ карцерѣ и пятидесяти розгамъ (изъ управленія приходятъ обыкновенно тѣ самыя рѣшенія, какія предлагаютъ въ своихъ докладахъ смотрителя тюрьмы). Лунькова, дѣйствительно, тотчасъ же высѣкли въ одномъ изъ карцерныхъ двориковъ, а Ногайцевъ отдѣлался карцеромъ: когда онъ вышелъ оттуда, гроза уже пронеслась, Лучезаровъ былъ снова въ гуманномъ настроеніи, и розги были забыты.

Въ эти же дни бравый штабсъ-капитанъ велъ упорную войну съ каторжными женщинами, находившимися въ вольной командѣ. Женской тюрьмы при Шелайскомъ рудникѣ не существовало, но для исполненія нѣкоторыхъ чисто женскихъ работъ и въ немъ по-

стоянно имѣлось нѣсколько каторжанокъ, нерѣдко безсрочныхъ, которыя, за отсутствіемъ тюрьмы, жили на волѣ. Въ дорожныхъ воспоминаніяхъ я рассказывалъ о томъ, что уголовная каторжанка, въ большинствѣ случаевъ, и продажная вмѣстѣ съ тѣмъ женщина. Скопленіе огромнаго количества мужчинъ, арестантовъ и казаковъ, при полномъ почти отсутствіи женскаго элемента, дѣлало то, что въ Шелайской вольной командѣ эти 5—6 каторжанокъ были въ буквальномъ смыслѣ коммунальными женами... Развратъ достигалъ ужасающихъ размѣровъ. Безстыдство нѣкоторыхъ изъ этихъ мегеръ, всегда почти пьяныхъ и не боявшихся никакихъ наказаній, доходило до какого-то кретинизма. Уничтожить внѣшнія безобразныя проявленія разврата можно было только двоякимъ путемъ: или увеличеніемъ числа женщинъ, или же высылкой изъ шелайскихъ предѣловъ и тѣхъ, какія были на лицо. Лучезарову хотѣлось найти третій путь; онъ вѣрилъ въ цѣлебную силу репрессій и строгихъ взысканій. Въ это роковое лѣто онъ особенно неусыпно стоялъ на стражѣ арестантской нравственности и каждый день цѣлыми толпами присылалъ въ тюремный карцеръ вольнокомандцевъ и самихъ женщинъ. Въ послѣднемъ случаѣ, не смотря на крики и угрозы надзирателей, подъ окнами секретокъ съ утра до вечера бродила и шнырила кобылка; шли пріятные разговоры, съ обмѣномъ комплиментовъ, почерпнутыхъ, ужъ конечно, не изъ „Хорошаго тона“ Гоппе; тайно передавались въ карцера мясо, чай, сахаръ и табакъ. Но чисто-платоническая любовь, понятно, не могла удовлетворить тюремныхъ ловеласовъ, или „любителей“, какъ называются они на арестантскомъ жаргонѣ, и вскорѣ были пущены въ ходъ вся арестантская хитрость, ловкость и дерзость: вѣдь въ случаѣ поимки на мѣстѣ преступленія грозила не пустая какая-нибудь кара, и требовалась дѣйствительно дерзкая отвага и рѣшимость...

Среди каторжныхъ Лаисъ была одна, до тѣхъ поръ менѣе другихъ развращенная и безстыдная, но теперь преимущественно обрушившая на себя громы и молніи лучезаровскаго гнѣва. Лучезаровъ недоумѣвалъ, почему кроткая и тихая прежде Еленка превратилась внезапно въ нахальную грубіянку, которую не могло сдѣлать покорнѣе и нравственнѣе даже ежедневное почти сидѣнье въ темномъ карцерѣ. Ему и въ голову не приходило, что въ то самое время, когда вокругъ полновластно царилъ, казалось, ужасъ, наведенный на арестантовъ его строгостями, кар-

церами, наручниками, розгами, лишеніемъ скидокъ и пр.,—въ эти самые дни тюрьма, *его образцовая тюрьма*, сдѣлалась притономъ разврата, и что собственныя его мѣропріятія способствовали этому! Что почувствовалъ-бы бравый штабсъ-капитанъ, что онъ сказалъ-бы, если бы хоть во снѣ увидалъ однажды, какъ ненавистныя ему „артисты“, разставивъ на дворѣ стрелу, перелѣзаютъ черезъ заборъ карцернаго дворяка, проникаютъ въ „секретный“ корридоръ и идутъ на тайное свиданіе къ Еленкѣ Зоновой черезъ искусно разбирающуюся деревянную стѣнку карцера *)? Вѣроятно, онъ сошелъ-бы съ ума, или умеръ отъ апоплексического удара...

За время пребыванія своего въ карцерахъ эта каторжная сильфида успѣла пріобрѣсти и вынести на волю нѣсколько десятковъ рублей! Дерзость „любителей“ достигла, наконецъ, того, что даже изъ однихъ карцеровъ въ другіе были продѣланы тайныя ходы, такъ что сговорчивая Еленка и днемъ, и ночью находила себѣ работу, а для арестантовъ попасть въ карцеръ стало не только не страшнымъ, но даже прямо желательнымъ дѣломъ. Когда впослѣдствіи надзиратели открыли эти потаенныя ходы, то пришли въ ужасъ и, не рѣшившись донести о нихъ Шестиглазому, при ближайшемъ ремонтѣ карцерныхъ помѣщеній собственной властью заставили арестантовъ задѣлать ихъ. Я самъ узналъ только много позже объ этихъ романическихъ похожденияхъ своихъ сожителей и долго время недоумѣвалъ, что означали всѣ эти перешептыванья, таинственная бѣготня, загадочныя остроты надъ Чиркомъ и пр. и пр.,—такъ невѣроятно было то, что я рассказываю. Лучезаровъ, еще меньше моего подозрѣвавшій истину и полагавшій, что гроза его гнѣва единственно могучее средство исправленія арестантскихъ нравовъ и обузданія страстей, продолжалъ между тѣмъ свой негодующій походъ противъ женщинъ.

Въ одинъ прекрасный день разнесся по тюрьмѣ слухъ, что Шестиглазый отдалъ Зонову и вольнокомандца Калинкина подѣ судъ за непристойное поведеніе на глазахъ у маленькихъ дѣтей

*) За исключеніемъ каменной ограды, зданіе Шелаевской тюрьмы было сплошь деревянное и построенное, надо сказать правду, на живую руку, не смотря на огромныя затраченныя деньги. Одно посѣтившее насъ сановное лицо, наступивъ ногой на шатавшуюся половицу, сказала, укоризненно качая головой: «А вѣдь каждая доска обошлась здѣсь въ сотню рублей!..»

одного изъ надзирателей. Одинъ ребенокъ былъ двухъ лѣтъ, другой трехъ. Кромѣ нихъ, свидѣтелей не было, и, должно быть, маленькіе доносчики получили хорошее воспитаніе, если могли понимать подобныя вещи... Изъ управленія получился приказъ: Калининка посадить до срока въ тюрьму, а Зонову подвергнуть ста ударамъ розогъ. Лучезаровъ долго не объявлялъ этого приказа и, посадивъ Калининка въ тюрьму, относительно Зоновой, сидѣвшей попрежнему въ карцерѣ, не принималъ никакихъ мѣръ. Срокъ ея каторги, между тѣмъ, кончился; уже пришелъ конвой, который долженъ былъ отвезти ее на поселеніе, и можно было надѣяться, что жестокій приказъ не будетъ приведенъ въ исполненіе. Однако, надежда и на этотъ разъ обманула... Рано утромъ Зонову вывели изъ карцера и за воротами тюрьмы, недалеко отъ нея, свирѣпо наказали. Палачами были татары-арестанты, какъ говорятъ, имѣвшіе злобу противъ своей жертвы; а присутствовавшій при экзекуціи старшій надзиратель, приказывая имъ сѣчь сильнѣе, отпускалъ по адресу истязуемой шуточки, которыя невозможно передать въ печати.

Я хорошо зналъ, что женщина эта стояла на низшей ступени нравственнаго паденія, и что въ обыкновенное время въ ней было, быть можетъ, не больше стыдливости, чѣмъ въ послѣднемъ изъ арестантовъ; зналъ это—и, однако, не могъ отдѣлаться отъ мысли, что высѣкли *женщину*, надругались въ лицѣ ея надъ тѣмъ, что дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, а не скотомъ. Да и кто поручится, что въ страшную минуту истязанія даже и въ этой падшей душѣ не шевельнулось чувство, до тѣхъ поръ подавленное не-вѣжествомъ и развратомъ,—чувство опозоренной женщины?...

Объ этомъ именно подумалъ я, когда узналъ, что тотчасъ же послѣ наказанія каторжныя подруги Еленки, такія же, какъ она, погибшія и несчастныя созданія, собрались вокругъ нея и долго молча плакали *)...

Х.

Любопытная бесѣда.

Недѣли двѣ спустя послѣ этого событія, совершенно неожиданно, я вызванъ былъ въ тюремную контору. За широкимъ

*) Весною 98 года рѣшеніемъ государственнаго совѣта окончательно отмѣнено въ Россіи тѣлесное наказаніе женщинъ. *Прим. авт.*

письменнымъ столомъ сидѣлъ, сіяя во все лицо, Лучезаровъ, плотный, румяный, видимо довольный въ это утро собой и всѣмъ на свѣтѣ. Я безмолвно поклонился.

— Тутъ опять получилась на ваше имя посылочка,—любезно заговорилъ бравый штабсъ-капитанъ:—потрудитесь сами раскупорить и принять во всей цѣлости и невредимости. Да кстати, я хотѣлъ спросить васъ... лично спросить: какъ ваше здоровье?

Я сухо спросилъ, какая можетъ быть причина подобнаго вниманія.

— Видите ли,—отвѣчалъ Лучезаровъ нѣсколько смущенно,—одно лицо въ Петербургѣ освѣдомляется у меня объ этомъ.

— Во Петербургѣ?—удивился я еще больше.—Въ Петербургѣ одна только мать можетъ интересоваться моей судьбою; но я веду съ ней самъ переписку.

— Нѣтъ, есть, значить, и другія лица... По крайней мѣрѣ, одна особа—и замѣтите: сановная особа!—просить меня телеграфировать ему о вашемъ здоровьи.

— Ничего не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

Лучезаровъ, послѣ мгновеннаго колебанія, подалъ мнѣ телеграмму. Я прочиталъ: „Телеграфируйте здоровье Н. Родные тревожатся“. Слѣдовала не безъизвѣстная подпись. Въ сильномъ безпокойствѣ я бросилъ на Лучезарова пытливый взглядъ.

— Почему же мои родные тревожатся? Почему они лично мнѣ не телеграфировали, а обратились къ постороннему человеку?

Мучительное подозрѣніе мелькнуло у меня въ головѣ. Я вспомнилъ, что три недѣли назадъ былъ день моего рожденія, день, который на волѣ торжественно праздновался, бывало, въ нашей семьѣ; вспомнилъ, что я поджидалъ въ этотъ день даже поздравительной телеграммы. Потомъ, въ чадѣ быстро смѣнявшихся тяжелыхъ впечатлѣній, я позабылъ объ этомъ; но теперь подозрѣніе мое превратилось тотчасъ же въ увѣренность.

— Вы, должно быть, задержали телеграмму моей матери?—спросилъ я Лучезарова взволнованнымъ голосомъ.

— Да, я долженъ въ этомъ сознаться... Дѣйствительно...—торопливо заговорилъ онъ:—но... видите ли. Вы не вините меня. Я, по долгу службы (конечно, какъ я ее понимаю), не могъ передать вамъ той телеграммы.

— Почему?

— Потому что... она показалась мнѣ подозрительной.

— Подозрительной? Телеграмма матери?

— Да. Теперь-то я вижу, разумеется, что ошибался, но тогда...

— Бога ради, въ чемъ заключалась телеграмма?

— Спрашивалось о здоровьи и посылалось поздравленіе.

— И только? Но поздравленіе было съ днемъ рожденія...

Что могли вы тутъ заподозрить?

— Да! но почему же не было упомянуто, съ чѣмъ именно васъ поздравляли? Лишнихъ какихъ-нибудь два слова... двадцать копѣекъ... и ничего бы этого не случилось!

— Телеграмма была съ уплоченнымъ отвѣтомъ?

— Да.

— И вы ничего не отвѣтили хоть сами?

— Нѣтъ.

— Но вы могли, по крайней мѣрѣ, сообщить мнѣ, что получила телеграмма, которая не можетъ быть выдана? Я, право, не знаю, какъ назвать вашъ поступокъ. Что подумала моя мать, не получивъ отвѣта? Представляю себѣ, сколько начальствъ она обошла прежде, чѣмъ наткнулась, наконецъ, на сострадательную душу.

— Да, это вѣрно, вѣрно. Горькая правда. Я не подумалъ въ то время; я, дѣйствительно, былъ виноватъ. Мы поспѣшимъ исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое спрашиваетъ... Скажите: что именно я долженъ написать?

Я съ сердцемъ отвѣчалъ, что мнѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до сановнаго лица, что оно не ко мнѣ обращается, и онъ можетъ отвѣчать ему, что хочетъ.

— Но все-таки... Написать: здоровъ, бодръ?

— Повторяю: пишите, что вамъ угодно. Я пошлю телеграмму самой матери!

— Прекрасно, прекрасно. Вотъ бумага, садитесь и пишите сейчасъ же. Вотъ и бланки для телеграммъ. У меня онѣ всегда есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцію. Вижу, что доставилъ вамъ сильное огорченіе. Въ нынѣшнія времена подобная привязанность къ родителямъ рѣдкость, и она сильно меня трогаетъ.

Эти развязныя слова, отъ которыхъ вѣяло безсердечнымъ са-

модовольствомъ, опять взорвали меня. Я снова разразился горькими упреками.

— Преслѣдуйте меня, оскорбляйте, мучьте, — сказалъ я съ нервной дрожью и слезами въ голосъ: — Я человѣкъ со связанными руками... Но по какому же праву и за что мучите вы неповинныхъ ни въ чемъ людей—мою мать, моихъ родныхъ?

Лучезаровъ на минуту, казалось, растерялся и, покраснѣвъ, какъ піонъ, не зналъ, что дѣлать, что говорить.

— Я, кажется, не мучилъ васъ, не оскорблялъ,—лепеталъ онъ,—совсѣмъ даже напротивъ...

— И вы говорите это не противъ совѣсти?—продолжалъ я свое нападеніе:—вы не унижали меня въ исторіи съ пробоемъ? Во всѣхъ несправедливыхъ прижимкахъ и придиркахъ, которыя дѣлали арестантамъ, въ томъ числѣ и мнѣ? Вы полагали, что я равнодушно смотрю на то, что въ тюрьмѣ проливается кровь и совершается надруганіе надъ женщиной?

— Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что говорите,—отвѣчалъ Лучезаровъ, понижая голосъ почти до конфиденціального шепота.—Выйди, братецъ, за дверь!—обратился онъ громко къ стоявшему тутъ же съ ружьемъ часовому. Тотъ немедленно повиновался.

— Совершенно напрасно вините вы меня за отношенія къ арестантамъ,—началъ онъ свое оправданіе.—Что касается васъ лично, то какъ могу я выдѣлять васъ изъ общей массы? У меня нѣтъ даже права на это. Въ исторіи съ пробоемъ, напримѣръ, я упустилъ даже изъ виду первоначально, что вы находились въ этой самой камерѣ.

— Но неужели вы до сихъ поръ искренно убѣждены, что были правы въ этой исторіи?

— Видите-ли что. Вы судите, какъ частное лицо и отчасти нѣсколько заинтересованное... Можно сказать, пострадавшее... Вы не въ состояніи вникнуть въ положеніе лица, начальствующаго надъ такимъ... такимъ сложнымъ учрежденіемъ, какъ каторжная тюрьма. Я сомнѣваюсь даже, чтобы вы успѣли хорошо узнать, что за артисты господа арестанты. Вы слишкомъ для этого неопытны въ жизни и... слишкомъ неиспорчены! Для того, чтобы держать ихъ въ уздѣ, нужно умѣть быть страшнымъ, нужно употреблять время отъ времени грозныя мѣры!

— Но всетаки справедливыя мѣры...

— Конечно, конечно. По возможности... Знаете-ли вы, напримеръ, что весной нынѣшняго года я получилъ свѣдѣнія о подготавлившемся побѣгѣ и о томъ, что одинъ изъ этихъ артистовъ находится именно въ вашей камерѣ?

Я вспомнилъ о пилкахъ Сокольцева и, внутренно улыбнувшись, промолчалъ. Лучезаровъ продолжалъ, устремляя на меня торжествующій взглядъ:

— Не такъ-то легко рѣшаются вопросы, какъ вамъ кажется. Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный міръ, я десять уже лѣтъ имѣю несчастье вести знакомство съ этими артистами. Но признаюсь вамъ: начальство надъ Шелаевскимъ рудникомъ я принялъ съ самыми радужными мечтаніями, съ вѣрой въ человѣка, даже и заклеянаго позоромъ, съ надеждой, что для исправленія и обузданія его достаточно однѣхъ угрозъ и обычныхъ мѣръ наказанія... Повѣрьте: я серьезно и съ полнымъ убѣжденіемъ говорилъ... передъ строемъ говорилъ... что не хочу прибѣгать къ тѣлесному наказанію. И не прибѣгъ бы!

— Но, однако, прибѣгли? Вы сдѣлали то, о чемъ вспомнить нельзя безъ краски стыда—наказали женщину!..

— Къ чему такъ сильно чувствовать?.. Знаете-ли вы, что это была за женщина?

— Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она женщина.

— Но что-жъ было дѣлать? Я видѣлъ, какъ всѣ другія средства, предоставленныя мнѣ закономъ, безсильны, какъ распушенность и наглость этой твари доходятъ до невозможнаго, и значеніе власти такъ или иначе слѣдуетъ поддержать.

— И розгами, вы думаете, поддержали его? Въ чьихъ это глазахъ? Извѣстно ли вамъ, что любой арестантъ предпочтетъ небольшую порцію розогъ мѣсяцу тяжкаго заключенія въ карцерѣ?.. Или, быть можетъ, въ глазахъ образованнаго міра? Однако, скажите, желали-ль бы вы, чтобы печать русская и заграничная называла ваше имя въ связи съ такимъ фактомъ, какъ поруганіе женщины? Навѣрное, нѣтъ? Вы достигли одного, что замарали свое имя!

— Довольно, довольно. Прекратимъ этотъ разговоръ. Хотѣлъ бы я посмотрѣть на того, кто осмѣлится замарать мое имя!

— Я имѣлъ въ виду не оскорбить васъ, а только открыть вамъ глаза на настоящее положеніе вещей. Тѣлесными наказаниями можно, по моему мнѣнію, и не испорченныхъ людей испор-

тить, окончательно принизивъ въ нихъ чувство человѣческаго достоинства, заставивъ утратить послѣднюю искру стыда.

— Возможно, конечно, что вы правы. Я дѣйствовалъ въ порывѣ отчаянія. Всѣ мои добрыя намѣренія терпѣли одно за другимъ крушеніе, я видѣлъ кругомъ одну черную неблагодарность и низость. Самъ Господь Богъ вышелъ бы на моемъ мѣстѣ изъ терпѣнія! Во всякомъ случаѣ, я поступалъ на основаніи закона. Изъ предѣловъ законности я не выходилъ. Что дѣлать, если и законы наши еще несовершенны! Больше всего, впрочемъ, огорчаетъ меня, что я причинилъ такіа непріятности вашей матушкѣ. Не могу ли я чѣмъ-нибудь загладить свою вину передъ нею?

Я, молча, пожалъ плечами.

— Однако? Подумайте... Не послать ли мнѣ ей отъ себя телеграмму?

— Это лишнее. Будьте добры — отошлите сегодня же вотъ эту мою телеграмму. Этого будетъ достаточно. Что сдѣлано, того не вернуть. Пожелаемъ только, чтобы впредь не случалось подобныхъ недоразумѣній.

— Да, именно недоразумѣній! Вотъ настоящее слово... Весьма печальное недоразумѣніе!

Забравъ свою посылку, я раскланялся и поспѣшилъ въ тюрьму, полный горестныхъ чувствъ и мыслей о матери, о томъ, что должна была выстрадать за эти ужасныя три недѣли моя бѣдная старушка. Впослѣдствіи я получилъ отъ нея письмо, въ которомъ были описаны всѣ ея муки, письмо, растерзавшее мнѣ сердце... Не знаю, чувствовалъ ли какія-нибудь угрызенія совѣсти бравый штабсъ-капитанъ, но послѣ описанной бесѣды дышать въ тюрьмѣ стало опять легче: прекратились на время свистъ розогъ, сажанія въ карцеръ, лишенія скидокъ.

XI.

Отбой.

Лѣто съ его короткими ночами и увеличеннымъ рабочимъ днемъ было всегда наиболѣе труднымъ періодомъ въ жизни обитателей Шелайскаго рудника. Особенно тяжелы были работы на канавѣ, о которыхъ я говорилъ выше. Мнѣ лично пришлось испытать удовольствіе огородничества. Со словомъ „огородъ“ принято

обыкновенно связывать представлѣніе о сравнительно легкомъ и, главное, пріятномъ трудѣ на открытомъ воздухѣ, полезномъ для укрѣпленія физическихъ силъ и возбужденія аппетита. Но пусть вообразить себѣ читатель, что его, не выпавшагося и усталого, подняли на ноги въ три часа утра, „выгнали“ на довольно холодный еще утренній воздухъ, окружили цѣпью вооруженныхъ штыками солдатъ и заставили копать тупой желѣзной лопатой твердую, подчасъ состоящую сплошь изъ камней, землю. Если вы недовольны необозримой величиной назначеннаго „урока“, то извольте копать „отъ звонка до звонка“, т. е. до семи часовъ вечера. Уставшіе арестанты хотятъ покурить, присаживаются отдохнуть. Проходитъ минуты двѣ—и „стоящій надъ душой“ надзиратель уже кричитъ, что пора приниматься за работу. Одно, два слова возраженія—и угроза карцеромъ.

Солнце поднимается, между тѣмъ, выше и выше. Арестанты все нетерпѣливѣе поглядываютъ на небо, въ надеждѣ, что вскорѣ долженъ ударить благодѣтельный звонокъ на обѣдъ. Спрашиваютъ, наконецъ, надзирателя, который часъ и получаютъ отвѣтъ: „половина десятаго“.

— Господи! Еще цѣлыхъ полтора часа остается!

Солнце припекаетъ все сильнѣе и сильнѣе; потъ начинаетъ струиться цѣлыми потоками съ лица и шеи; ноги устали налегать на плохо идущую въ землю лопату... Вдругъ раздается команда:

— Смирно! Шапки долой!

Всѣ въ испугѣ останавливаются, бросаютъ на землю лопаты, какъ полагается по инструкціи, и поспѣшно обнажаютъ головы. Тогда только робко озираются вокругъ и видятъ приближающагося съ тростью въ рукѣ Шестиглазаго.

— Шапки надѣть, работу продолжать!—слышится его крикъ, и арестанты, быстро накрывъ головы, снова берутся за лопаты. Работа въ присутствіи начальника закипаетъ усерднѣе прежняго. Лучезаровъ подходитъ. Онъ все знаетъ, онъ во всякой работѣ мастеръ. Если вѣрить его словамъ, онъ былъ и огородникомъ, и хлѣбопашцемъ и садоводомъ; умѣетъ и слесарничать, и кузнечить, и плотничать, класть печи, проводить дороги... Въ Читѣ онъ оставилъ собственнаго издѣлія книжный шкафъ и телѣгу съ какими-то необыкновенно хитро устроенными колесами. Онъ громко разспрашиваетъ надзирателя о свойствахъ данной почвы, причемъ тутъ же рассказываетъ случаи изъ своей жизни гдѣ-то на подо-

тыхъ прискахъ. Надзиратель на все подобострастно поддакиваетъ и всему удивляется. Но среди этого разговора всевидящія очи Лучезарова не дремлютъ, и онъ не упускаетъ замѣтить Петину, что нужно глубже забирать лопатой, а Ногайцеву, что онъ лѣнится.

— Дай-ка сюда лопату, я покажу тебѣ, какъ слѣдуетъ рыть.

Онъ беретъ лопату изъ рукъ Ногайцева и пробуетъ надавить ее своимъ изящнымъ лакированнымъ сапогомъ. Но напрасно вся дебелая фигура бравого штабъ-капитана напрягается, тужится, краснѣетъ; напрасно, пыхтя и кряхтя, съ сердцемъ ударяетъ онъ ногой по лопатѣ: упрямая лопата туго погружается въ землю и не хочетъ „показать, какъ слѣдуетъ рыть“.

— Совсѣмъ каменистая земля, господинъ начальникъ,—осмѣливается замѣтить Ногайцевъ:—урокъ шибко великъ заданъ.

— Вадоръ изволишь говорить, братецъ!—сердито отзывается невозмутимый Лучезаровъ:—причина простая—кузнецъ плохо лопату отострилъ. Такъ и есть: остріе лепешка лепешкой! Онъ тоже лодорничаетъ, должно быть, каналья. Кто у насъ кузнечить сегодня?—обращается онъ съ вопросомъ къ надзирателю.

— Водянинъ!—подскакиваетъ Змѣиная Голова, дѣлая рукой подъ козырекъ:—молотобоецъ Ефимовъ.

— Ага! знаю я этихъ артистовъ... Вотъ я самъ схожу къ нимъ, посмотрю.

И Лучезаровъ, недовольный и пасмурный, удаляется по направлению къ кузницѣ. Изъ груди всѣхъ вырывается вздохъ облегченія.

— Надо отдохнуть, Василій Андреевичъ,—говорятъ рабочіе и, уже не дожидаясь разрѣшенія, садятся на землю и закуриваютъ. Но въ ту же минуту раздается звонокъ на обѣдъ, и арестанты съ радостнымъ галдѣньемъ и жужжаньемъ поднимаются съ мѣстъ, выстраиваются и отправляются въ тюрьму. Обѣденный звонокъ отдѣляется лѣтомъ отъ новаго звонка на работу тремя часами отдыха. Это—время наибольшаго зноя, когда земля раскаляется подобно желѣзной сковородѣ, когда пылающая голова трещитъ отъ нестерпимой боли, и усталыя ноги едва способны передвигаться. Благо тому, кто обладаетъ счастливымъ умѣньемъ спать днемъ, у кого не ходятъ ходенемъ нервы, не кипитъ ключемъ желчь и не болитъ до крика душа! Тотъ повалится, какъ мертвый, на нары и пролежитъ эти три часа, не шевелясь, безъ памяти,

безъ сознанія, во снѣ безъ сновидѣній. Но этотъ полдневный сонъ мало освѣжаетъ. Просыпаешься съ страшной болью въ вискахъ и съ дико глядящими на свѣтъ, воспаленными глазами. Два часа дня; въ ушахъ еще раздается звонъ разбудившаго васъ колокольчика. Солнце стоитъ еще высоко и нещадно палитъ своими гнѣвными лучами. Опять надо работать, работать вплоть до семи часовъ вечера, подъ тѣми же штыками, подъ той же грозой надзирательскихъ и Лучезаровскихъ окриковъ, работать для того, чтобы, проспавъ сномъ убитого короткую лѣтнюю ночь, проснуться утромъ для такого же мучительнаго каторжнаго дня... Нѣтъ, безъ невольнаго содроганія во всемъ тѣлѣ я не могу вспомнить объ огородахъ Шелайской тюрьмы!

Когда въ половинѣ іюня кончалась посадка капусты и другихъ овощей, и группу горныхъ рабочихъ опять начинали посылать въ рудники, я всегда чувствовалъ радость и облегченіе, не смотря на то, что и въ рудникѣ лѣтнія работы имѣли свои волчцы и тернии. Въ шахтахъ было холодно, какъ въ ледяномъ погребѣ; съ обмерзлыхъ лѣстницъ и стѣнъ струилась повсюду вода, попадая бурильщикамъ за шею и обливая сапоги. Для буренія приходилось подкладывать подъ себя доски; но и тѣ скоро заливались накопившейся постепенно водой. Тогда нужно было вылѣзть наверхъ, чтобы, выкачавъ нѣсколько кибелей собранной воды, получить возможность бурить впредь до новой отливки. Мракъ, холодъ, вода, онѣмѣвшія отъ усталости руки, дрожь во всемъ тѣлѣ... Вылѣзешь; бывало, со дна угрюмаго колодца на вольный свѣтъ, гдѣ столько вокругъ лазури, тепла и солнечнаго блеска, гдѣ шумить и зеленѣть по близости душистый листовичный лѣсъ, а дальше красивымъ полукругомъ возвышаются сопки, почти сплошь одѣтыя лиловымъ, будто кровавымъ цвѣтомъ богульника,—и при видѣ этого великолѣпія торжествующей природы заходитъ въ душѣ желчь, закипитъ негодованіе! Негодованіе противъ этой безотвѣтной, бездушной красавицы, способной только цвѣсти и радоваться передъ лицомъ великой человѣческой скорби и муки, при живыхъ воспоминаніяхъ о пролитыхъ тутъ же потокахъ слезъ, а быть можетъ—и крови!

За горами гори,
Хмарою повіти,
Засіяни горсмъ,
Кровію полети...

— Эхъ, кабы денечекъ хотъ на вольной пишшѣ теперь посидѣть!—мечтаетъ вслухъ кто-нибудь изъ арестантовъ при видѣ жирныхъ монаховскихъ свиней и поросятъ, бѣгающихъ у подошвы горы:—тогда-бы можно, пожалуй, и въ этой породѣ десять верховъ выбухать! А то гдѣ-жъ тутъ? Не двужильные мы!

— Вотъ чудакъ! Съ отошалаго брюха нешто можно работу спрашивать? Пущай въ карецъ сажаетъ, толстое его пузо, а я больше шести верховъ не стану ему бурить. Душа изъ его вонъ! Лучше-жъ я такъ на солнышкѣ проваляюсь, погрѣюсь.

— Да, не мѣшало-бъ теперь вольнаго питанія въ душу пропустить,—продолжаетъ первый,—на шестиглазовскомъ-то бульонѣ замрешь. Прижимъ, говоритъ, каторжный для васъ полагается... На то каторжная тюрьма... Да лопни твои шары окаянны! Почто-жъ въ другихъ рудникахъ не говорятъ этого? Почто тамъ всякую пишшу пропускаютъ? Были-бъ деньги, а то покупай на здорovie, чего хочешь! И молока, и свинины, и баранины, и ягодъ, чего только вздумаешь. Какое можетъ быть вредительство отъ пишши? Пишша только на пользу можетъ идти человѣку.

— Пишша?! Она, братъ, очищеніе крови дѣлаетъ, разбитіе и волнованіе. Еслибъ теперь, къ примѣру, фунтиковъ пять хорошаго мяса за одинъ присѣсть одолѣть, много-бъ отъ его здорovia по костямъ разошлось!

— А слышалъ, что говорятъ? Будто новый губернаторъ рудники объѣзжаетъ... Вотъ-бы пожаловаться!

— Слыхать-то я слышалъ; только не арестантское-ль это бумо? *) Залилъ кто-нибудь, а ему и повѣрили. А то, конечно, жаловаться-бъ надо.

— Не жаловаться, а просто-на-просто переводки просить! Пущай хотъ на край свѣта засылаютъ, лишь бы отседова прочь!

Таковы были обычныя мечты арестантовъ. Добрая половина населенія Шелайской тюрьмы, при малѣйшей возможности, съ удовольствіемъ перевелась бы на невѣдомый Сахалинъ, въ Хабаровку, на Кару, въ Зерентуй, въ Кадаю, куда угодно, лишь бы подальше отъ Шестиглазаго съ его „пищевымъ режимомъ“ и

*) Въ арестантскомъ жаргонѣ встрѣчаются слова, несомнѣнно, французскаго происхожденія. Такъ, «бумо» (сплетни, вымышленный слухъ, острота) есть, конечно, исковерканное *bon mot*; «мотя» (доля, часть)—*moitié* и т. п.

Прим. авт.

тошнотворно-скучными порядками, царившими въ тюрьмѣ, гдѣ не было ни игръ, ни пѣсенъ, ни майдановъ, ни всего, что веселить душу безнадежно-долгосрочнаго арестанта. Большинство, конечно, роптало лишь втихомолку, про себя тая мечты о переводѣ въ другія тюрьмы: проситься о переводѣ бесполезно, а больше что же подѣлаешь? Но было человѣкъ десять такихъ, которые, во что бы то ни стало, рѣшили „отбиться“... Ихъ поощрялъ примѣръ Дюдина, который такъ успѣлъ надѣсть Шестиглазому, что тотъ самъ хлопоталъ объ отсылкѣ его на Сахалинъ. Думали, что стоитъ только надѣсть—и съ ними сдѣлаютъ то же самое. Первыми изъ пошедшихъ по этому пути были нѣкто Комлевъ и знакомый уже намъ Петинъ-Сохатый. Долгое время они надѣялись миромъ покончить съ Лучезаровымъ, почти на каждой вечерней повѣркѣ обращаясь къ нему съ просьбой о переводѣ на Сахалинъ. Лучезаровъ, отвѣтивъ нѣсколько разъ, что онъ въ этомъ дѣлѣ не при чемъ, потому что никакой власти надъ Сахалиномъ не имѣетъ, пересталъ вскорѣ и выслушивать всѣ подобныя просьбы. Тогда Петинъ и Комлевъ, заключивъ союзъ между собой, приступили къ систематическому отбою путемъ непрерывныхъ ссоръ съ надзирателями, преднамѣренной лѣнности, отказовъ отъ работы и проч. Здѣсь рельефнѣе всего обнаружилась и внутренняя стоимость того и другого изъ союзниковъ съ арестантской точки зрѣнія. Лучезаровъ отвѣтилъ на первыя выходки отбивающихся обычнымъ отвѣтомъ—карцеромъ. Союзники не унялись и продолжали вести свою линію. Тогда Комлеву первому объявлено было лишеніе скидокъ.

— Эка важность!—сказалъ Комлевъ:—плевать я хочу на ихъ скидки!.. Мнѣ отъ роду сорокъ два года, а на шеѣ у меня тридцать пять лѣтъ каторги. Нешто могу я эстолько прожить и молодымъ остаться? Не все-ль мнѣ одно, если къ этакой прорвѣ и еще пять аль десять лѣтъ прибавятъ? Хошь сто пушай набавляютъ—все едино! Не на вольныя команды и манафесты нашему брату разсчитывать, а на свою голову, да на свою волю. Самъ я себѣ манафестъ дамъ!

— Значить, вы по-прежнему будете отбиваться?—полюбопытствовалъ я спросить Комлева.

— А то какъ же?—отвѣчалъ онъ, какъ бы удивленно.

— Ну, а если... Шестиглазый къ другимъ мѣрамъ прибѣгнетъ?

— Это къ плетямъ, то есть? Хорошо я знаю, что теперь ему

плети и розги остается въ ходъ пустить. Такъ что-жъ, пусть кушаетъ на здоровье! Какой бы я арестантъ былъ, ежели-бъ плетей боялся? Я ни во что такого арестанта ставлю. Коли каторги не боялся—ничего на свѣтѣ не бойся!

Слова эти сказаны были съ такой, свойственной всѣмъ рѣчамъ и поступкамъ Комлева, простотой и отсутствіемъ всякой бравады, но въ то же время съ такой внутренней силой и энергіей, что, признаюсь, я залюбовался этимъ человѣкомъ. Онъ и во всей исторіи своего „отбоя“ держался въ высшей степени просто, безъ той вызывающей шумливости, которою отличалось поведеніе его союзника и пріятеля Петина. Послѣдній, отказываясь отъ работы, каждый разъ считалъ нужнымъ рычать, жестикулировать, угрожать и словами, и жестами. Комлевъ, напротивъ, преспокойно лежалъ на нарахъ, дожидаясь, когда дежурный, подобно бѣшенному звѣрю, прибѣжитъ звать его на работу.

— Комлевъ! Тебя долго еще ждать? Всѣ выстроились, стоятъ подъ воротами, а тебя все нѣтъ. Живой рукой собирайся!

— Куда?—медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спрашивалъ Комлевъ.

— Какъ куда? Говорятъ тебѣ, на работу.

— Я не пойду сегодня!

— Какъ не пойдешь? Ты развѣ нездоровъ?

— Нѣтъ, здоровъ.

— Такъ ты что-жъ это? Шутки со мной шутить вздумалъ, али въ карецъ захотѣлъ?

— Въ карецъ—такъ въ карецъ. Пойдемте,—отвѣчалъ онъ тѣмъ же ровнымъ голосомъ, поднимаясь съ мѣста, и шелъ въ карцеръ.

Сохатый былъ не таковъ. Не смотря на его шумливость и внѣшній задоръ, было очевидно, что онъ куда „дешевле“ Комлева: сознавали это и арестанты, и надзиратели. Не замедлилъ подтвердить это фактами и самъ Петинъ. Въ то время, какъ Комлевъ непреклонно и неустанно продолжалъ гнуть одну и ту же линію, требуя перевода въ другую тюрьму, отказываясь отъ работъ и не пугаясь даже перспективы плетей и розогъ и тѣмъ внушая начальству серьезное къ себѣ уваженіе и страхъ, Петинъ въ самыя критическія минуты, когда дѣло принимало серьезный оборотъ, каждый разъ трусилъ и отступалъ: плетей и розогъ онъ ужасно боялся... Поэтому въ поведеніи его не было никакой по-

слѣдовательности: то онъ былъ лодыремъ и грубіяномъ, стоялъ на дурномъ счету у надзирателей, то превращался въ ретиваго работника и тихаго, покорнаго арестанта. Начальство видѣло, что онъ не опасенъ, и что страхомъ можно съ нимъ все сдѣлать.

Нашъ старый знакомецъ Семеновъ былъ также изъ числа тѣхъ, которые мечтали отбиться поскорѣе отъ Шелайскаго рудника и, подобно Комлеву, не дрогнули бы ни передъ какими мѣрами и угрозами Шестиглазаго. Но ему оставалось меньше года до выхода въ вольную команду, и велъ онъ себя чрезвычайно сдержанно и благоразумно. Тѣмъ не менѣе, совершенно для всѣхъ неожиданно, а больше всѣхъ для самого Семенова, разыгралась исторія, выставившая его въ глазахъ начальства однимъ изъ наиболѣе опасныхъ и нежеланныхъ для Шелайской тюрьмы обитателей.

Лѣтнія ночи были страшно коротки. Въ 8 часовъ вечера производилась повѣрка; въ случаѣ присутствія на ней самого Лучезарова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше 10. Въ половинѣ четвертаго утра уже раздавался свистокъ надзирателя, съ призывомъ приготовляться къ новой повѣркѣ, Истомленные работой и плохимъ питаніемъ, арестанты встаютъ, бывало, какъ дикіе, съ отяжелѣвшими глазами, отказывающимися глядѣть на свѣтъ, съ болью въ вискахъ, съ ломотой во всемъ тѣлѣ. Но надзиратель Безымѣнныхъ, отъ всей души ненавидѣвшій арестантовъ и на каждомъ шагу любившій имъ „пакостить“, въ дни своего дежурства сокращалъ даже и это недостаточное для сна время. Еще въ совершенной темнотѣ, въ два или въ три часа ночи, онъ ходилъ уже подъ окнами камеръ, стучалъ въ нихъ изо всей силы кулаками или даже ключами и, будя всѣхъ, кричалъ нечеловѣческимъ голосомъ:

— Староста! Лампы тушить!

Семеновъ былъ въ это время старостой въ одномъ изъ номеровъ и однажды такъ крѣпко спалъ, что не услышалъ даже и этого адскаго стука. Черезъ двадцать минутъ Безымѣнныхъ подошелъ къ дверной форточкѣ и, видя, что лампа все еще не потушена, принялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова по имени. Но тотъ продолжалъ спать, какъ убитый, молодымъ богатырскимъ сномъ. Другіе арестанты, отпуская насмѣшливыя остроты изъ-подъ своихъ халатовъ, притворялись тоже спящими и не двигались съ мѣста.

— Ну, ладно, я покажу же тебѣ, мерзавецъ!—сказалъ Безымѣнныхъ, потерявъ терпѣніе и отходя прочь.

Когда наступила утренняя повѣрка, арестанты почему-то забыли предупредить Семенова о случившемся, и Безымѣнныхъ безъ всякихъ объясненій повелъ его въ карцеръ. Ничего не подозревавшій, ошеломленный Семеновъ молча повиновался, но когда пришелъ въ карцеръ и узналъ, въ чемъ дѣло, то, пользуясь отсутствіемъ свидѣтелей, съ страшною бранью и стиснутыми кулаками бросился на врага. Безымѣнныхъ едва ноги уволокъ и еле успѣлъ затворить за собой на задвижку дверь карцернаго корридора. Онъ побѣждалъ къ старшему дежурному докладывать о покушеніи Семенова на его жизнь. Немедленно явился въ карцеръ конвой: Семенова заковали въ наручни и посадили въ строгое одиночное заключеніе. Ожидали, что ему дорого обойдется эта исторія... Закадычный другъ Семенова, старикъ Гончаровъ, ходилъ мрачный и задумчивый.

— Теперь пропала Петькина вольная команда,—говорилъ онъ мнѣ грустно:—а пропала команда—и головушка его пропала! Если набавятъ ему нѣсколько лѣтъ срока, тогда Безымѣнныхъ не жилецъ больше на бѣломъ свѣтѣ... Петька ужъ не попустится забыть такую обиду!

Больше мѣсяца просидѣлъ Семеновъ въ карцерѣ, готовясь къ самому печальному рѣшенію своей участи...

Но каково же было общее удивленіе, когда въ одинъ прекрасный день изъ управленія получился приказъ—засчитавъ Семенову въ наказаніе мѣсяцъ тяжкаго заключенія въ карцерѣ, перевести его вмѣстѣ съ Комлевымъ въ Зерентуйскую каторжную тюрьму. Семеновъ, вѣроятно, отъ души перекрестился, покинувъ въ тотъ же день ненавистный ему Шелайскій рудникъ, а товарищи, оставшіеся во власти Шестиглазаго, отъ души же позавидовали его „фарту“. Про Комлева молчали, потому что онъ являлся въ глазахъ всѣхъ не просто фартовцемъ: онъ велъ долгую и упорную борьбу за то, чего, наконецъ, добился, готовый собственной кровью запечатлѣть свою мрачную и твердую рѣшимость, и далеко не всѣ мечтавшіе и болтавшіе объ отбоѣ сознавали въ себѣ силу и способность къ тому же самому. Больше всѣхъ чувствовалъ себя пристыженнымъ Сохатый. Онъ ходилъ злой и угрюмый и срывалъ сердце и изливалъ досаду въ словесныхъ и кулачныхъ схваткахъ съ Луньковымъ и другими арестан-

тами, которые были подъ силу и ростъ его дешевому чванству и молодечеству.

Но существовали еще и другіе типы отбывающихъся. Я уже рассказывалъ, напримѣръ, какой искусный планъ составленъ былъ Сокольцевымъ, и какая неудача постигла его первый опытъ. Каждый дѣйствовалъ согласно съ своимъ темпераментомъ и способностями. Такъ, цѣлая масса арестантовъ прикидывалась страдающею разными безнадежными болѣзнями, которыя дѣлали ее негодною ни къ какой физической работѣ и помогали, по ея мнѣнію, раньше срока вылетѣть въ вольную команду, или хотъ попасть въ богадѣльню. Во всякой каторжной тюрьмѣ находится постоянно нѣкоторый процентъ мнимо-хромыхъ, сухорукихъ, слабосильныхъ и одержимыхъ всевозможными недугами. Не такъ, однако, легко быть симулянтъ, какъ это представляется съ перваго взгляда. Не надзиратели и не доктора являются главнымъ препятствіемъ для подобныхъ больныхъ, а своя же „кобылка“: къ каждому хроническому больному, освобожденному отъ работъ, рождается вскорѣ зависть въ средѣ своихъ же; начинаютъ подозрѣнія, сплетни, пересуды, систематическое шпионство за нелюбимымъ товарищемъ (а нелюбимъ почти каждый каждымъ), подозрѣваемымъ въ притворной болѣзни. Одни замѣтили, что сегодня онъ хромаетъ совсѣмъ не на ту ногу, что вчера, другіе видѣли ночью, какъ мнимый больной, полагая, что никто за нимъ не наблюдаетъ, или же позабывъ со сна о своей хромотѣ, всталъ и прошелся, какъ здоровый, не ковыляя ни на ту, ни на другую ногу... Скоро подобныя подозрѣнія, часто совсѣмъ ложныя, превращаются въ полную увѣренность, и темный слухъ доходитъ неизвѣстно какимъ путемъ до начальства. Къ дѣйствительному или мнимому „богодуду“ начинаютъ придираются, начинаютъ, не смотря на болѣзнь, гнать на работу... Тяжела бываетъ подчасъ жизнь и настоящихъ больныхъ, у которыхъ нѣтъ, по несчастью, явныхъ для невѣжественнаго глаза признаковъ болѣзни: цѣлы руки, цѣлы ноги, нѣтъ широко зіяющихъ ранъ, отвратительныхъ болячекъ. Только такіе признаки и уважаетъ кобылка, а заодно съ нею и большинство фельдшеровъ. Все остальное—кашель, лихорадка, мигрень, слабость, ревматическія и сердечныя боли—все это можетъ быть простой симуляціей! Въ Шелайскомъ рудникѣ были, между прочимъ, двѣ спеціальныя причины, усилившія обычную непріязнь арестантовъ къ хроническимъ боль-

нымъ и слабымъ, не ходившимъ на работу. Вслѣдствіе небольшихъ размѣровъ тюрьмы и сравнительно ничтожнаго количества арестантовъ, порціи мяса не дѣлились въ ней, какъ принято въ другихъ рудникахъ, на рабочія и богодульскія, а всѣмъ выдавались равныя. Съ другой стороны, лазаретъ былъ тѣсенъ и малъ и могъ вмѣщать только весьма ограниченное количество больныхъ. По совокупности всѣхъ этихъ причинъ арестантъ, рѣшившійся отбиваться отъ работъ на основаніи притворной болѣзни, долженъ былъ обладать изряднымъ запасомъ храбрости и искусства. Такимъ смѣльчакомъ и искусникомъ явился раньше другихъ старикъ Гончаровъ.

Пролежавъ нѣсколько недѣль въ лазаретѣ, благодаря дѣйствительно серьезной болѣзни, онъ сталъ вскорѣ жаловаться на постоянную боль въ ногахъ, потомъ охромѣлъ, а наконецъ, и совсѣмъ сѣлъ на нары... Последнее обстоятельство совпало, какъ разъ, съ увозомъ изъ Шелайскаго рудника Семенова. Никакихъ видимыхъ признаковъ этой странной болѣзни не было; однако, пріѣзжавшій время отъ времени врачъ не могъ также констатировать съ чистой совѣстью и симуляцію: не малое впечатлѣніе производила, конечно, и старость больного, его мощная львиная голова съ сильно посѣдѣвшими въ последнее время волосами... Въ концѣ-концовъ на Гончарова махнули рукой, отстранивъ его отъ всякихъ работъ. Вѣрили ему въ началѣ и арестанты. Но время шло, и, не высказываясь открыто въ присутствіи Гончарова (такъ боялись всѣ его физической силы и остраго, какъ топоръ, злого языка), многіе стали и его подозрѣвать. Случалось, что во время ссоръ подозрѣнія эти бросались въ лицо; тогда Гончаровъ впадалъ въ жалобный, столь несвойственный ему прежде слезливый тонъ. Онъ съ горечью вспоминалъ доброе старое время, когда у него были ноги и сила, когда на каждую обиду онъ могъ отвѣтить стократной обидой, когда враги трепетали его, и онъ имѣлъ деньги, друзей и пріятелей... Слыша подобные жалобы и упреки судьбѣ, я чувствовалъ иногда, какъ сердце поворачивается у меня въ груди отъ состраданія, и собственные мои подозрѣнія таяли, какъ воскъ. Я видѣлъ въ Гончаровѣ дѣйствительно безпомощнаго, несчастнаго старика, котораго всякій можетъ обидѣть, и никто не защититъ. Нерѣдко мнѣ приходилось даже распинаться за него, парируя яростныя (заочныя, конечно) нападки арестантовъ. Каково же было мое впечатленіе, когда Гон-

чаровъ самъ завелъ однажды со мной дружескій откровенный разговоръ по поводу своей болѣзни.

— Гдѣ-то теперь Петька мой?—началъ онъ, вадыхая:—Эхъ, Иванъ Миколаевичъ! Кабы въ вольную команду меня выпустили... Ужъ я безпремѣнно сходилъ бы въ Зерентуй, добился бы свиданія съ нимъ.

— Гдѣ же съ вашими ногами идти такую даль?—спросилъ я удивленно.

— Ну, да неужто онѣ вѣчно болѣть у меня будутъ?—отвѣчалъ старикъ,—дастъ же Богъ, поправятся когда. Особливо ежели на волѣ. Тамъ все же заработать можно, я ремесель много знаю: я и сапожничать, и портняжить, я и корзины плести могу и уголь жечь... Пища вольная, да свобода...

— Да вотъ что, Миколаичъ, я скажу тебѣ,—вдругъ заговорилъ онъ таинственнымъ полупешотомъ:—отъ тебя-то таится мнѣ нечего. Ты вѣдь не нашъ братъ, кобылка, не повредишь. Меня корятъ, что я притворяюсь, порціи, вишь, ихъ рабочія заѣдаю... Бѣдно мнѣ было въ началѣ, шибко бѣдно слышать эти попреки, потому ноги у меня взаболъ болѣли... Ну, а теперь я ужъ озлился! Теперь ногамъ, точно, лучше. Теперь я даже такъ скажу: и ходить бы я могъ, и работать не хуже каждаго изъ нихъ... Только я такъ думаю въ себѣ; къ чему мнѣ это? Больше ихняго, что ли, мнѣ надо? Милость я какую отъ начальства заслужу, медаль мнѣ на шею повѣсятъ, что-ль, коли я стану работать, какъ быкъ, жилы изъ себя тянуть? Мнѣ бы въ вольную команду только, Миколаичъ, выйти, а больного-то скорѣе вѣдь выпустятъ, потому Шестиглазому въ тюрьмѣ я вовсе ненужный человѣкъ, а тамъ, на волѣ, и я могу на что-ни есть пригодиться: амбары караулить, уголь для кузницы жечь. Вотъ объ чемъ я мечтаю, Иванъ Миколаичъ. Ну, а втапору, вѣстимо, я ужъ не жилецъ у нихъ! Недолго повидить меня Шелайская тюрьма! Петька въ вольную команду скоро выйдетъ: спаримся мы—и прощай, каторга-матушка, прости, Байкаль-батюшка!..

Я свято сберегъ, конечно, тайну Гончарова и отъ души посочувствовалъ, когда завѣтная мечта его сбылась, и въ сентябрѣ мѣсяцѣ Лучезаровъ выпустилъ его раньше срока въ вольную команду и посадилъ сторожемъ при амбарахъ. Я такъ и рѣшилъ, что только зиму перезимуетъ старикъ и съ первой же весной поступить на службу къ генералу Кукушенину. Но, къ удивленію

моему, случилось это значительно раньше: онъ бѣжалъ въ первыхъ числахъ октября, какъ только выдали арестантамъ теплую „лопотъ“, шубу, штаны, рукавицы... Шелайское начальство страшно негодовало на хитраго старика, который такъ ловко съумѣлъ провести его: вчера еще ползалъ на колѣнкахъ, а сегодня уже пустился бродяжить! Надзиратели громко ликовали по поводу дурно выбраннаго бѣглецомъ времени года, которое, несомнѣнно, должно было скорѣе предать его въ руки правосудія.

— Ужъ тогда мы покажемъ ему! И впрямь будетъ боленъ— не повѣримъ!

— И дернула-жъ сѣдого чорта нелегкая въ такую пору идти,—говорила промежъ себя кобылка:—лѣсъ обнаженъ, укрыться негдѣ, пропитаніе найти трудно, подходятъ холода... Того и гляди, снѣгу на дняхъ навалить!

Но старые, бывалые арестанты только посмѣивались себѣ въ усь, слыша такія рѣчи.

— Теперь-то и идти, — отвѣчали они на мои разспросы:— Гончаровъ тоже не дуракъ вѣдь... Къ тому-жъ, самъ челдонъ-сибирякъ... Онъ не пойдетъ зря! На поляхъ теперь народу нѣтъ, потому все убрано, дорога скатертью лежитъ, никто не приважится. Потомъ съ пріисковъ теперь ребята возвращаются домой—опять меньше подозрѣнія, что идетъ незнаемый человѣкъ. Будто тоже съ пріисковъ идетъ старичокъ почтенный...

Но что бы ни толковали опытные люди, мнѣ всетаки казалось страннымъ, что такой умный человѣкъ, какъ Гончаровъ, выбралъ для побѣга такую позднюю пору: августъ и отчасти, пожалуй, сентябрь были еще подходящимъ временемъ для бродяжества, но ужъ отнюдь не октябрь. Чѣмъ-то невольнымъ и вынужденнымъ вѣяло отъ подобнаго побѣга...

И точно, въ скоромъ времени прошелъ по тюрьмѣ неясный сначала шепотъ: въ одномъ изъ большихъ рудниковъ случилось въ вольной командѣ убійство, послѣ котораго нѣсколько человѣкъ бѣжало. Называли въ числѣ бѣглецовъ Семенова... Говорили, что смотритель Зерентуйскаго рудника, находясь въ распрѣ съ Лучезаровымъ, въ пику ему, немедленно же по переводѣ къ нему Семенова, выпустилъ его въ вольную команду; тамъ, въ ссорѣ изъ-за картъ, Семеновъ пырнулъ ножомъ одного татарина и, преслѣдуемый пустившейся по пятамъ погоней, бѣжалъ. Нѣкоторое время я всетаки недоумѣвалъ

отношеніе имѣеть

слухъ объ этомъ побѣгѣ къ побѣгу Гончарова, не вскорѣ дошла до моихъ ушей и другая новость (довѣренная, впрочемъ, подъ большимъ секретомъ). Семеновъ прибѣгалъ послѣ своего преступленія въ Шелайскій рудникъ и нѣсколько дней былъ укрываемъ земляками и друзьями своими, Гончаровымъ и Ракитинымъ... Послѣ этого мнѣ все стало понятно. При видѣ загадочнаго друга, почти сына, которому волей-неволей приходилось бѣжать, въ старомъ тайжномъ волѣхъ заговорила кровь, проснулась неудержимая жажда простора и воли, которой не могли одолѣть никакіе совѣты благоразумія... Ослѣпительно-ярко блеснула мечта о родинѣ, о семьѣ и, быть можетъ, о мести—и вотъ, не смотря на годы, на приближающіеся холода и зиму, онъ, пропустивъ въ горло стаканчикъ-другой оживляющей влаги, собрался въ путь-дорогу и смѣло пошелъ навстрѣчу всѣмъ опасностямъ и случайностямъ бродяжеской жизни...

Попались ли бѣглецы въ лапы забайкальскихъ казаковъ, сложили-ль свои буйныя головы подъ пулями дикихъ тунгусовъ, или благополучно ушли за „Святое Море“—Байкаль, у меня нѣтъ объ этомъ никакихъ свѣдѣній. Думаю, впрочемъ, что оба они не дешево продадутъ свою жизнь и свободу тѣмъ, кто на нихъ покусится!..

XII.

Шелайскіе посѣтители.

Слухъ о приѣздѣ новаго губернатора оказался, между тѣмъ, не пустымъ арестантскимъ „бумомъ“. Въ тюрьмѣ начинались дѣятельныя приготовленія къ приему сановнаго посѣтителя. Даже бравый штабсъ-капитанъ, гордившійся тѣмъ, что ввѣренный ему рудникъ постоянно готовъ „къ посѣщенію его самимъ государемъ“, обнаруживалъ замѣтные признаки безпокойства и волненія; извѣстно, что новая метла всегда чище метель, а главное—одинъ Богъ знаетъ, каковъ нравъ и каково направленіе новаго властелина края... Онъ не унизился, правда, до того, чтобы лично вмѣшаться и вникнуть во всѣ мелочи, тайники внутренней тюремной жизни, но надзирателямъ, очевидно, даны были строгія инструкціи. Цѣлые дни, съ утра до поздняго вечера, шныряли они по всѣмъ закоулкамъ зданія, поднимая каждую соринку и распекая арестантовъ за малѣйшее упущеніе въ чистотѣ

опрятности. Полы, мывшіеся прежде два раза въ недѣлю, теперь скреблись и мылись черезъ день, а послѣ мытья красились охрой, которая придавала имъ, дѣйствительно, красивый видъ, но за то, просохнувъ, превращалась вскорѣ въ мелкую пыль, заставлявшую всѣхъ при подметаніи чихать и кашлять. А подметали камерные старосты чуть не каждые полчаса...

Явившись на одну изъ вечернихъ повѣрокъ, Лучезаровъ обратился къ арестантамъ съ слѣдующею рѣчью:

— Вотъ что! Вы уже слышали, вѣроятно, что на дняхъ долженъ быть здѣсь новый военный губернаторъ. Прислушайтесь къ свистку, который будетъ поданъ дежурнымъ надзирателемъ, соблюдайте порядокъ и чистоту. Затѣмъ, не беспокойте губернатора нелѣпыми просьбами и жалобами. Я знаю, вы любите разговаривать со всякимъ новымъ начальствомъ: дескать, купить не удастся, а поторговать можно... Я буду взыскивать за нелѣпыя разговоры. Каждый, кто хочетъ говорить, долженъ сегодня же, когда я буду обходить камеры, предварительно сообщить мнѣ объ этомъ. Я рѣшу — дѣльная, или вздорная претензія. Кромѣ того, не завтра—послѣ завтра посѣтитъ нашу тюрьму одинъ иностранецъ, путешествующій съ религіозной цѣлью,—проповѣдникъ. И по отношенію къ нему также ведите себя прилично, не вздумайте обращаться къ нему съ какими-нибудь просьбами. У васъ хватить ума. Онъ совершенно частное лицо, не облеченное никакой властью. Да вотъ что еще скажу вамъ. Въ камерахъ отвратительный запахъ. Оно и немудрено. Я сейчасъ стоять не могъ во время молитвы позади Ногайцева... Вы со всѣмъ не умѣете вести себя. Вадоръ это, будто животь пучить съ хлѣба и капусты, вздоръ! Я самъ ѣмъ черный хлѣбъ и люблю щи... Поддержаться всегда можно, но вы просто-на-просто не хотите!

Огорошивъ арестантовъ такой проповѣдью, Лучезаровъ сталъ обходить камеры. Почти вездѣ обращались къ нему съ заявленіями, что собираются говорить съ губернаторомъ. Въ нашемъ номерѣ прежде всѣхъ выступили Петинъ и Соколицевъ.

— О чемъ хотите говорить?—сумрачно спросилъ ихъ Лучезаровъ.

— Проситься о переводкѣ на Сахалинъ, господинъ начальникъ.

— Зачѣмъ?

— Да никакъ невозможно, господинъ начальникъ, отбыть нашъ срокъ въ этой тюрьмѣ, оченно строго. А на плечахъ по тридцати, по сорока лѣтъ каторги.

— А на Сахалинѣ развѣ срокъ уменьшится? Вадоръ говоритъ. Нечего лѣзть съ такими глупыми просьбами. Да если бы губернаторъ и вздумалъ удовлетворить ихъ, то вы сами бы раскаялись. Сахалинъ въ десять разъ хуже Шелайской тюрьмы; туда ссылаются, кромѣ Забайкальскихъ уроженцевъ, только особо важные преступники, въ видѣ наказанія.

— Всетаки дозвольте, господинъ начальникъ, изложить нашу просьбу.

— Пожалуй, излагайте. Только знайте, что она не будетъ уважена. Ты что, Луньковъ, вертишься?

— Я, господинъ начальникъ... такъ какъ я не въ мѣру понесъ наказаніе, то... позволъте просить.

— Жаловаться?

— Гм... Да.

— Не совѣтую. Ты полагаешь, что тебя наказали несправедливо, а я думаю, что вполне справедливо.

И съ этими словами Лучезаровъ удалился въ другія камеры. Больше часу продолжался этотъ обходъ. Вездѣ просились на Сахалинъ и въ другіе рудники, и всѣ получали отказъ. Тѣмъ не менѣе, у многихъ назрѣло твердое рѣшеніе говорить съ губернаторомъ, какъ бы ни озлился на нихъ за это Шестиглазый. На слѣдующій день къ вечеру, неожиданно для всѣхъ, явился въ тюрьму иностранецъ-проповѣдникъ со своимъ переводчикомъ, въ сопровожденіи одного лишь старшаго надзирателя: Лучезарова не было дома—онъ куда-то отлучился. Высокій сгорбленный старикъ съ сѣдой бородою, въ черномъ сюртукѣ и съ грудой евангелій подъ мышками, началъ обходить камеры и читать арестантамъ нѣмецкую проповѣдь, которую переводчикъ дословно переводилъ на русскій языкъ.

— Эта книга—великая книга, одинаково необходимая, какъ для крестьянина, такъ и для императора. Ученіе, заключающееся въ этой книгѣ, истинно. Оно не только истинно, но также и въ высшей степени практично, полезно. Стоитъ искренно увѣровать и попросить Бога—и онъ исполнитъ всѣ наши просьбы и желанія.

Только что успѣлъ проповѣдникъ произнести въ нашемъ номерѣ эти слова, какъ раздалась оглушительная команда: „Смирно!!“

и въ камеру влетѣлъ съ надзирателями запыхавшійся, но весь сіяющій, Лучезаровъ. Иностранецъ смутился и замолкъ.

— Начальникъ Шелайской тюрьмы, штабсъ-капитанъ Лучезаровъ!—отрекомендовался ему бравый штабсъ-капитанъ.

Старикъ назвалъ свою фамилію, поклонился, подалъ руку и тотчасъ же вытащилъ изъ кармана бумагу, свидѣтельствовавшую о цѣляхъ его путешествія и о разрѣшеніи посѣщать каторжные тюрьмы. Съ наивностью, доходившей до остроумія, арестанты рассказывали послѣ, что Шестиглазый, какъ только явился, сейчасъ же потребовалъ у иностранца „пачпортъ“.

— Вотъ молодчина-то!—говорили про него не то съ насмѣшкой, не то съ дѣйствительнымъ восхищеніемъ.

— Онъ никому не уважить. Онъ и самому губернатору, пожалуй, двадцать очковъ впередъ дастъ!

— Ну, что-жъ, — сказалъ Лучезаровъ послѣ нѣсколькихъ секундъ неловкаго молчанія, возвративъ старику его „пачпортъ“:— вы ужъ поговорили съ ними?

Старикъ, узнавъ отъ переводчика смыслъ вопроса, кивнулъ головой въ знакъ согласія и началъ раздавать арестантамъ книги, спрашивая напередъ, грамотны они или нѣтъ. Но всѣ назывались грамотными, даже и тѣ, которые знали лишь азбуку. Послѣ этого посѣтителіи отправились въ другіе номера, при чемъ при входѣ въ каждый изъ нихъ раздавалось громогласное „смирно“. Иностранцу, вѣроятно, не сильно понравилось проповѣдывать при такихъ условіяхъ. Онъ поспѣшилъ удалиться, а арестанты принялись со всѣхъ сторонъ судить и рядить его. Къ сожалѣнію, я не слышалъ среди этихъ сужденій ни одного слова о томъ, ради чего посѣтилъ онъ тюрьму и что говорилъ. Толковали объ его внѣшности, объ одеждѣ.

— Вотъ такого-бы гуся на дорогѣ встрѣтить,—бравировалъ Андришка-Поваръ:—небось, съ одного-бъ слова все отдашь, что при ѣмъ есть, и часы, и сюртукъ, и деньги!

— Деньжонки-то у него, надо быть, водятся,—подтверждали другіе.

— А чего-бъ ему стоило намъ десятку, другую подарить? На-те, молъ, ребята, за мое здоровье обѣдъ хорошій сварите. Скупой, видно.

Тяжело было слышать подобныя рѣчи, больно думать, что для такихъ именно результатовъ проѣхалъ за тысячи верстъ

этотъ старикъ, быть можетъ, искренно вѣрившій въ святость и значеніе своей миссіи, отъ чистаго сердца мечтавшій заронить въ душевную тьму этихъ людей искру того божественнаго свѣта, которымъ горѣло собственное его сердце... Но кого было и винить съ другой стороны? Ихъ ли однихъ?

Розданныя арестантамъ евангелія въ большинствѣ получили, какъ водится, совсѣмъ не то назначеніе, какое имъ давалъ проповѣдникъ, и пошли на курево и на другія, еще болѣе низменныя потребности...

Наконецъ, наступилъ день, въ который ожидали пріѣзда губернатора. Съ ранняго утра надзиратели, нарядившіеся въ папахи, праздничные мундиры и бѣлыя перчатки, въ необыкновенномъ волненіи бѣгали по тюрьмѣ и раздавали арестантамъ свои распоряженія. Прежде всего опять приказали мыть и красить охрой полы, накануне только что вымытые. Но когда ихъ вымыли, явилась новая забота: успѣютъ ли они просохнуть? Раскрыли настежъ всѣ окна въ камерахъ и корридорахъ, всѣ двери... И все-таки волновались и ежеминутно бѣгали смотрѣть, какъ подвигается просушка. День былъ вѣтряный и пасмурный. Пообѣдали, отдохнули; все не было ни слуху, ни духу о губернаторѣ. Всѣ чувствовали себя утомленными отъ необычнаго душевнаго напряженія. Наконецъ, когда уже вернулись изъ рудника горные рабочіе, пролетѣлъ слухъ, что со станціи прискакалъ вѣстникъ:

— Сялъ!.. Ёдетъ!..

Все опять заволновалось и закопошилось. Но и послѣ этого только черезъ полтора часа пріѣхалъ губернаторъ, и тогда арестантамъ велѣли, наконецъ, собраться въ камеры, одѣться въ халаты и построиться... У воротъ, дѣйствительно, раздался пронзительный свистокъ; мы построились. Только самые бойкіе стояли еще въ корридорѣ и заглядывали на дворъ, гдѣ должна была появиться начальствующая свита. Соглядатаями отъ нашей камеры были Луньковъ и Петинъ. Оттуда приходили одна за другой „телеграммы“. По первому извѣстію, губернаторъ былъ высокаго роста мужчина съ рыжей бородой и сердитымъ взглядомъ; по позднѣйшему—толстенькій и маленькій, чернявый... Такъ же противорѣчивы были телеграммы и о внѣшнемъ видѣ Шестиглазаго. Луньковъ сообщалъ, что онъ блѣденъ и „ровно не въ себѣ“, тянется передъ генераломъ и держитъ руку подъ козырекъ,—по всѣмъ признакамъ нагоняй большой получаетъ! Сохатый, влюб-

ленный въ военную выpravку Лучезарова, утверждалъ, напротивъ, другое.

— Трепачъ! Мараказъ паршивый! Чего врешь? Шестиглазый герой героемъ глядитъ. Развѣ видали гдѣ въ другомъ мѣстѣ такого артиста? Ему развѣ штабсъ-капитаномъ бы быть? Онъ за самого фельдмаршала сойти-бъ могъ!

— Губы еще не обсохли у твоего Шестиглазаго. У насъ въ Воронежѣ одинъ частный есть: такъ за поясъ можетъ всѣхъ ихъ такихъ заткнуть! Усы, какъ смоль, черные, походка точно что иройская... А этотъ жиромъ заплылъ!

— Болванъ, что ты понимаешь? Въ умѣ дѣло, а не въ рождѣ.

— А чѣмъ онъ уменъ, твой Шестиглазый?

— Тѣмъ, что въ страхѣ умѣетъ вашего брата держать, скидокъ лишаетъ, поретъ... Самого Бога не боится!

— Брось смѣяться! Это васъ, дешевыхъ, запугать онъ можетъ, а мы не испугаемся. Я вотъ жаловаться стану губернатору, а посмотримъ, какъ ты ни живъ, ни мертвъ стоять будешь.

— Болванъ!..

— Да бросьте вы, черти... Патоку когда вздумали тереть Вѣдь, придутъ сейчасъ.

— Идутъ, идутъ!—кинулись со всѣхъ ногъ вѣстники, стоявшіе въ корридорѣ.

Всѣ построились, откашлялись, встали — точно аршинъ проглотили.

— Смир-рно!!—скомандовалъ надзиратель, и въ камеру вошли: губернаторъ, его адъютантъ, завѣдующій каторгой, Лучезаровъ, исправникъ, прокуроръ и много другихъ лицъ высшаго и низшаго разбора. Губернаторъ оказался человѣкомъ средняго роста, пожилой, съ просѣдью въ бородѣ. Онъ обошелъ выстроившіеся ряды арестантовъ, пристально вглядываясь каждому въ лицо, и затѣмъ, повернувшись, спросилъ, нѣтъ ли у кого просьбъ или претензій. Лучезаровъ указалъ на Петина.

— Что нужно?—спросилъ губернаторъ, подходя къ Сохатому.

— Ваше превосходительство, явите божескую милость.

— Какую именно?

— Отправьте на Сахалинъ.

— Это для чего-же?

Петинъ замолчалъ.

— Срокъ очень большой, ваше превосходительство,—вмѣшался Лучезаровъ:—такъ онъ надѣется, основываясь на арестантскихъ слухахъ, что тамъ сразу выпустятъ его на волю.

— Ты очень ошибаешься, дружокъ,—сказалъ губернаторъ,—законъ вездѣ одинаковъ. Да, къ тому же, я не знаю еще здѣшнихъ порядковъ. Имѣю ли я власть сдѣлать это?—обратился онъ къ завѣдующему каторгой:—какъ у васъ это дѣлается?

— Получаются время отъ времени затребованія, и тогда производится къ веснѣ выборка здороваго и годнаго народа. Обыкновенно же посылаются только забайкальскіе уроженцы.

— Вотъ видишь ли, голубчикъ,—обратился губернаторъ къ Петину,—и сдѣлать-то это трудно. Впрочемъ, если будетъ требованіе...

— Ваше превосходительство,—заговорилъ внезапно Ногайцевъ, который не заявлялъ Лучезарову о своемъ желаніи говорить съ губернаторомъ. Бравый штабсъ-капитанъ даже вздрогнулъ отъ неожиданности и, насунивъ брови, поднялъ изумленное лицо.

— Ваше превосходительство,—храбро продолжалъ Ногайцевъ,—и меня тоже отправьте на Сахалинъ... Будьте такъ любезны... Окажите такую любезность...

— Оказать тебѣ любезность? Видите, чего захотѣлъ!—улыбнулся губернаторъ, обращаясь къ свитѣ:—ну, почему-же ты хочешь на Сахалинъ? Почему онъ такъ любъ вамъ?

— Да такъ, ваше превосходительство. Чтобъ ужъ къ одному значить, берегу пристать.

— То есть, какъ это къ одному берегу?

— Такъ. Кругомъ, значить вода и некуда дѣться... Путаться бы ужъ пересталъ тогда по бѣлому свѣту.

— Путаться? Можно, и здѣсь оставаясь, бросить путанье. Кто еще что-нибудь имѣетъ?

Лучезаровъ указалъ на Сокольцева.

— Вотъ тоже на Сахалинъ просится... Ихъ полторьмы такихъ наберется... путешественниковъ.

— Ага! а каково ихъ поведеніе?

— Особенно дурного [пока ничего нѣтъ,—покривилъ душой Лучезаровъ, метнувъ искоса взглядъ въ сторону арестантовъ.

— Больше никто ничего не имѣетъ заявить?

— Ваше превосходительство,—заговорилъ дѣтски-пискливый голосокъ Лунькова.

— Что такое?

— Изнуряють насъ здѣсь непосильной работой... взысканія несправедливыя налагають...

— Въ чемъ дѣло, расскажи подробнѣе.

— Мы роємъ канаву... Уроки очень большіе задаются... Я не могъ выработать... Меня лишили скидокъ и дали сто розогъ...

— Правда это?—обратился губернаторъ къ завѣдующему каторгой, положивъ въ то же время руку на плечо Лунькову. Что-то мягкое, сочувственное къ этому хорошенькому арестантику, почти еще мальчику, мелькнуло, казалось, въ лицѣ стараго генерала.

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство,—подскачилъ бравый штабсъ-капитанъ:—господину завѣдующему хорошо извѣстно, что онъ наказанъ не за плохую работу, а за оскорбленіе, нанесенное надзирателю.

Завѣдующій каторгой подтвердилъ эти слова.

Губернаторъ снялъ руку съ плеча Лунькова и спросилъ его:

— Зачѣмъ же ты врешь, голубчикъ? Это нехорошо.

Опѣшившій Луньковъ молчалъ. Губернаторъ, видимо недовольный, вышелъ вонъ съ тѣмъ, чтобы направиться въ другія камеры.

Сожители мои сдвинулись въ одну кучу и принялись шепотомъ обсуждать случившееся. Луньковъ съ Петинымъ тотчасъ же поругались, начавъ критиковать одинъ другого. Петинъ обзывалъ Лунькова болваномъ за то, что онъ не сумѣлъ оправдаться.

— Какъ дошло до дѣла, и воды въ ротъ набралъ! Точно обухомъ его по лбу стукнули! У, трепачъ, хвастунишка... Вотъ ужъ поплатишься теперь, мараказъ проклятый!

— Я-то мараказъ, а вотъ ты-то, Иркулесъ-великанъ, Со-хатый по прозванью, какъ ты-то не умѣлъ своего дѣла обсказать? Не могъ объяснить, зачѣмъ на Сахалинъ просишься...

— Оселъ! Идіотъ! Да зачѣмъ мнѣ было объяснять, коли за меня самъ начальникъ мазу держалъ? Ну, что! Согласенъ теперь, что штабсъ-капитанъ Лучезаровъ герой передъ ними всѣми? Какой это губернаторъ? Ни дородства, ни осанки, ничего... А у того, по крайности, тѣла сколько! Румянецъ въ лицѣ... И развязность есть!

Споръ разгорался все жарче и жарче, начавъ переходить отъ шепота къ галдѣнью, когда пронесся, наконецъ, слухъ, что гу-

бернаторъ уже вышелъ изъ тюрьмы. Тогда всё кинулись изъ камеры въ корридоръ, гдѣ столпилась вся тюрьма и сообщались новости. Оказывалось, что въ каждомъ почти номерѣ просились два-три человѣка на Сахалинъ, и что губернаторъ въ одномъ изъ нихъ сказалъ завѣдующему: „Что-жъ, отправьте ихъ къ веснѣ!“ Ликованіе было полное.

— А я слышалъ другое,—объявилъ вдругъ сапожникъ Звонаренко, по прозванью Кожаный Гвоздь, глава тюремныхъ вѣстниковъ,—я слышалъ, какъ завѣдующій сказалъ губернатору въ корридорѣ: „Врядъ-ли слѣдующей весной будетъ выборка“. А онъ отвѣчалъ: „Пушай надѣются! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало“. Вотъ и надѣйтесь теперь, отправятъ васъ на Сахалинъ!

Извѣстіе это подѣйствовало въ первую минуту на мечтателей, какъ ушатъ холодной воды; но такъ какъ вѣрить хотѣлось тому, что сулило какую-нибудь надежду въ жизни, а никакъ не тому, что было вѣрнѣе, то въ слѣдующую затѣмъ минуту общее негодованіе обрушилось уже на самого вѣстника. На несчастнаго Кожаного Гвоздя, неизвѣстно за что, посыпалась такая отборная ругань, что онъ едва успѣвалъ отгрызаться. Дѣло чуть не кончилось дракой. Она прекращена была новымъ извѣстіемъ, что Лунькова и Ногайцева повели въ карцеръ.

— Какъ? За что? Кто велѣлъ посадить?

— Шестиглазый. За неправильные и самовольные разговоры. Всѣ на мгновеніе онѣмѣли.

— Ну, теперь пропишетъ имъ Шестиглазый,—думалось каждому:—будутъ помнить кузькину мать!

ХІІІ.

Н о ч ь .

Ночь. Уже прошло больше часа послѣ барабаннаго боя въ казацкихъ казармахъ; всѣ разговоры давно смолкли, и сожители мои лежатъ въ повалку,—кто на нарахъ, кто на полу, забывшись крѣпкимъ сномъ. Тишина мертвая и въ камерѣ, и въ корридорахъ тюрьмы; изрѣдка только надзиратель подкрадется кошачьими шагами къ дверному оконцу и, звякнувъ ключами, отойдетъ прочь. Раздастся чей-нибудь храпъ, кто-нибудь повернется на другой бокъ, проворчить или простонетъ во снѣ, брякнетъ кан-

далами,—и опять все тихо, какъ въ могилѣ... Лампа, висѣщая на стѣнѣ, запоетъ порой тонкимъ комаринымъ голосомъ—и тоже опять затихнетъ, точно сама испугавшись своего невѣрнаго пѣнія. Но я все еще бодрствую, одинъ среди множества живыхъ, распростертыхъ вокругъ меня тѣлъ, и мучительная тоска постепенно овладѣваетъ душою, поднимаясь, какъ морской прибой, волна за волной, съ тихимъ, но все усиливающимся ворчаньемъ и ропотомъ...

— Здравствуй, знакомая гостья, дитя тюремной безсонницы! Я знаю, сегодня ты опять промучишь меня вплоть до утренняго разсвѣта, опять истерзаешь мнѣ нервы, тѣло и душу... Мифическій Протей, сколько у тебя измѣнчивыхъ формъ и образовъ, сколько орудій пытки: мертвящая скука, чудовище съ ледяными объятіями и бездонными темными ямами, вмѣсто глазъ; чувство томящаго одиночества, отъ котораго такъ хочется плакать, плакать и кричать, безъ надежды кѣмъ-либо быть услышаннымъ; страхъ, поднимающій волосы на головѣ, пробѣгающій морозомъ по всему тѣлу...

Мрачныя думы встаютъ одна за другою, неизвѣстно изъ какихъ глубинъ мозга, и длинной похоронной процессіей проходятъ передъ глазами картины прошлаго, милаго, дорогого прошлаго, которое, увы! воскресить невозможно. А страшное, тяжелое, проклятое прошлое, вѣчно живое, стоитъ безсмысленно тутъ, у изголовья, со всѣми своими ошибками, паденіями, обидами...

Однако... что за странная галлюцинація? Гдѣ я? Какіе трупы лежатъ возлѣ меня—и справа, и слѣва, и тамъ, внизу, подъ ногами? Неужели я одинъ живой среди мертвыхъ? О радость, кто-то пошевелинулся... Да, да, припоминаю... Стоитъ мнѣ крикнуть, не совладавъ съ ужаснымъ кошмаромъ,—и трупы эти вскочатъ на ноги, зазвенятъ оковами, заговорятъ, задвигаются, и улетятъ прочь призраки ночи... Но зачѣмъ? Они вѣдь и живые мертвы для меня. Къ чему закрывать глаза на горькую правду? Я—одинъ. Одинъ, какъ челнокъ въ океанѣ, какъ былинка въ пустынѣ, одинъ, одинъ! Мнѣ нѣтъ здѣсь товарищей, какъ бы ни жалѣлъ я этихъ бѣдныхъ людей, какъ бы ни хотѣлъ перелить въ нихъ часть своего духа; нѣтъ сердца, которое билось бы въ тактъ моему сердцу, нѣтъ руки, на которую я довѣрчиво могъ бы опереться „въ минуту душевной невзгоды“... Горе, горе! Какъ попалъ я въ эту смрадную яму, надъ которой но-

сится дыханіе разврата и преступленія?.. Что общаго между мною, который порывался къ свѣтлымъ небеснымъ высямъ, и міромъ низкихъ невѣждъ, корыстныхъ убійцъ? Кровь, кровь кругомъ, разбитые вдребезги черепа, перерѣзанныя горла, удушенныя шеи, прострѣленные груди... И надъ всѣмъ этимъ ужасомъ витають тѣни погибшихъ, отыскивая своихъ убійцъ, отравляя ихъ сны черными видѣніями...

Какъ изболѣла душа... Какъ усталъ я хранить видъ равнодушнаго философа... Какъ страстно хотѣлось бы отдохнуть на близкой, родимой груди! Имѣть возлѣ себя товарища, думающаго тѣ же думы, переживающаго тѣ же чувства.. Ахъ, сколько говорили бы мы—

„О Шиллерѣ, о славѣ, о любви“!..

Всего два года, а какъ давно уже, кажется мнѣ, оторванъ я отъ всего, чѣмъ живетъ образованный міръ. Что случилось тамъ за эти два года? Быть можетъ, измѣнилась фізіономія всего политическаго міра; всплыли наверхъ и стали на очередь великіе, жгучіе вопросы, которые тогда, при мнѣ, казались еще столь преждевременными, столь отдаленными... Забила ключемъ могучая жизнь, брызнули яркія волны неслыханнаго свѣта... Туда, туда бы скорѣе, раздѣлить всѣ восторги, всѣ труды и заботы моихъ братьевъ, стать въ ряды простыхъ, скромныхъ работниковъ и, если нужно, погибнуть съ ними за дѣло прогресса и благо народа!

А быть можетъ, и то: надъ Европой нависла мрачная туча безвременья... Лучшіе бойцы сошли со сцены, и суетятся лишь мелкія, корыстныя мошки и букашки... Туда бы, всетаки туда бы! Страдать и гибнуть тамъ, на волѣ, со всѣми!

А что дѣлается теперь въ наукѣ, въ литературѣ, нашей родной литературѣ, поэзіи, искусствѣ? Я кинулъ ихъ въ трудную годину, когда сходили съ арены послѣдніе могикане великой эпохи, и „въ храмѣ истины, священномъ храмѣ слова“ начинала возвышаться голосъ мелкая, бездарная литературная „шпанка“. О, неужели и тамъ царить теперь мерзость запустѣнія?! Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть! Вспыхнули новыя яркія звѣзды, хлынули свѣжіе потоки силъ, явились бодрые вожди свѣта и правды, не давшіе погибнуть безслѣдно трудамъ столькихъ поколѣній. Явился могучій поэтъ, ударившій по сердцамъ съ невѣдомою силой, народился славный художникъ, отразившій въ большемъ романѣ все,

что.

Боже, Боже! прозябать въ этой жалкой норѣ и ничего не
знать, не идти на посильную помощь... Быть можетъ, и умереть
здѣсь, въ мрачномъ мірѣ отверженныхъ, умереть всѣми забытому,
съ клеймомъ общаго презрѣнія на челѣ, со стономъ безсильнаго
отчаянія въ сердцахъ и проклятія, кому—неизвѣстно!..

Ахъ, усни, безпокойное сердце! Замолчите, безумныя думы!

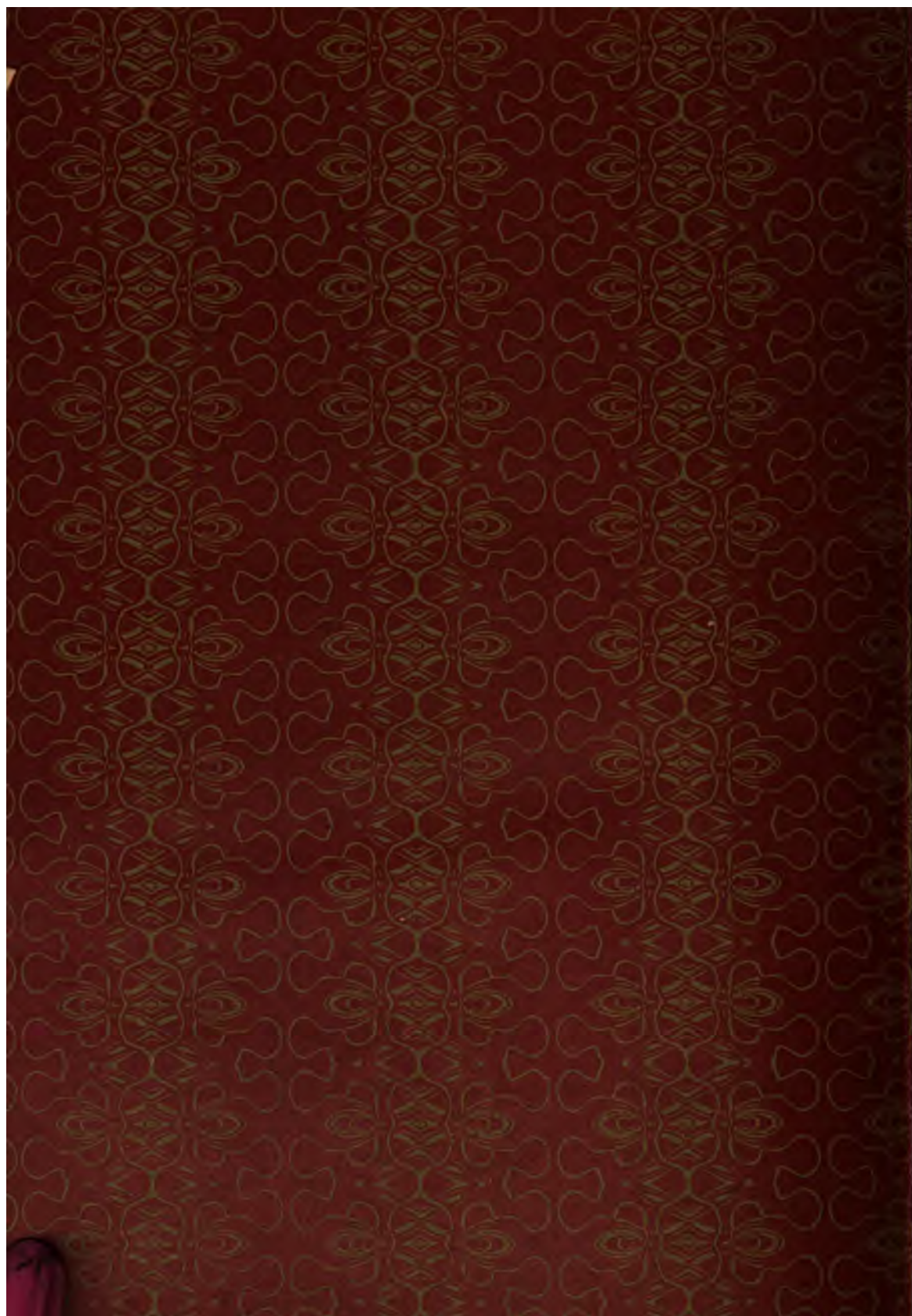
1893 г., іюль—августъ

Конецъ I-го тома.

Оглавленіе 1-го тома.

	<i>Стран.</i>
Въ преддверіи.	I
Шелаевскій рудникъ.	41
I. Встрѣча	41
II. Первый вечеръ	47
III. Впечатлѣнія и знакомства перваго дня	54
IV. На шарманкѣ	69
V. На днѣ шахты	84
VI. Подъемъ	100
VII. Тюремные будни	112
VIII. Начало моей школы	123
IX. Малаховъ и Гончаровъ	129
X. Мои ученики Буренковы	142
XI. Семеновъ	157
XII. Чтеніе Библіи. — Яшка Тарбаганъ. — Поэтъ-ка- торжникъ	166
XIII. Чирокъ	177
XIV. Лучезаровъ	183
XV. Великіе поэты передъ судомъ каторги	192
XVI. Шахъ-Ламасъ	207
XVII. Обычная развязка	219
XVIII. Въ штольнѣ	226
Ферганскій орленокъ	239
Одиночество	264
I. Въ новой камерѣ. — Невинные и жестокіе	264
II. Ефимовъ. — Тюремный софистъ и Мефистофель	282
III. Демоны зла и разрушенія	292
VI. Новые ученики. — Луньковъ	299

	<i>Стр.</i>
V. Сахалинскія треволненія	315
VI Романъ Никифора. Отправка	325
VII. Побѣги и первая кровь	334
VIII. Осинное Ботало меня развлекаетъ	343
IX. Избѣненіе младенцевъ и женъ	349
X. Любопытная бесѣда	357
XI. Отбой	362
• XII. Шелайскіе посѣтители	375
XIII. Ночь	383



[illegible]

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

